

Март 20
сек

Путешествие без карты

Грэм Грин

Путешествие без карты

В поисках «сути дела»

«Я не знаю ни одного писателя, кроме Грэма Грина, представление о котором, составленное только на основании его книг, так бы соответствовало его реальному облику», — сказал как-то Габриэль Гарсиа Маркес, признающий, что он многому научился у старшего собрата. И мы имели возможность убедиться в правильности суждения одного классика современной литературы о другом.

В сентябре 1986 года Грэм Грин прилетел в Москву, которую последний раз перед этим посетил почти четверть века назад — огромный срок, когда время так ускорило свой бег.

Он появился под сводами аэропорта «Шереметьево» — высокий, подтянутый, энергичный. Трудно было поверить, что ему уже за восемьдесят: годы лишь слегка ссутили его, но не притупили напряженного интереса ко всему происходящему на планете, не затуманили ни ясности мысли, ни взора. Сразу приковывали внимание живые, пронзительно — голубые глаза. Недаром после встречи с ним в феврале следующего года на московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» Гор Видал остроумно заметил, что Грэм Грин похож на молодого человека, заgrimированного под старика.

Спустя еще полгода прославленный английский писатель вновь побывал в нашей стране и, повинуясь зову Музы дальних странствий, на который он столь часто с готовностью откликался, отправился в Сибирь, чтобы повидать те места, где около столетия назад проезжал его любимый русский прозаик Чехов по дороге на Сахалин. Затем автор «Силы и славы» принял приглашение встретиться в Москве свой восемьдесят четвертый день рождения. К этой дате был приурочен симпозиум с его участием, организованный Институтом мировой литературы им. А. М. Горького, и в Московском университете состоялась церемония вручения ему диплома почетного доктора. Во время этих приездов мне посчастливилось много общаться с Грином (запись одной из наших бесед включена в настоящий сборник). Потом я сопровождал его в поездке в Клев. А летом 1989 года мне довелось побывать у него в гостях во Франции и получить в подарок новый, тогда еще не поступивший в продажу роман — «Капитан и враг». В 1991 году Грэма Грина не стало — но его книги по —прежнему вызывают самый живой интерес как простого читателя, так и интеллектуалов, как людей старших поколений, так и молодежи. Писатель был убежден, «что по сути своей человек добр, но его портит зло, распространенное в мире». * * *

Знакомство с творчеством Грэма Грина для меня, как и для других, началось во второй половине 50-х годов с романов «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване». Потом у нас были переведены «Суть дела» и «Комедианты», «Ценой потери» и «Тайный агент». В 80-е годы — после затянувшегося перерыва — вновь появились на русском языке его произведения: «Почетный консул» и «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой», «Ведомство страха» и «Меня создала Англия», «Десятый» и «Сила и слава», «Проигравший берет все» и «Человеческий фактор», «Брайтонский леденец» и «Доверенное лицо», «Конец одного романа» и «Монсеньор Кихот».

«Иногда я думаю, что книги воздействуют на человеческую жизнь больше, чем люди», — так размышляет гриновский персонаж в романе «Путешествия с моей тетушкой». Но в эссе

«Потерянное детство» Грэм Грин утверждает, что только книги, прочитанные в юные годы, могут по — настоящему оказать влияние на судьбу человека, а в зрелом возрасте испытываемое воздействие уже не столь значительно. Книги, пленившие воображение в детстве, способны прорицать будущее, считает Грин. Свое увлечение Африкой он возводил к «Копям царя Соломона» Генри Райдера Хаггарда, которого обожал школьником, и был убежден, что именно «Дочь Монтесумы» заманила его позже в Мексику.

Впрочем, когда мы заговорили об этом, я вспомнил, что мое знакомство с Грином было как бы предсказано заранее. На память об окончании школы дирекция подарила мне — с соответствующими подписями и печатью — только что выпущенного тогда на английском «Тихого американца». В подтверждение своих слов на следующий день я захватил с собой книгу. Грин умел ценить сочиняемые самой жизнью сюжеты, и он сделал рядом с прежней вторую дарственную надпись: «Святославу Бэлзе с самыми лучшими пожеланиями тому школьнику». С тех пор количество автографов Грина у меня умножилось, но этот как-то особенно дорог, и воспринял я его тогда прямо-таки с детским восторгом. Да простится мне столь смелая аналогия, но в памяти сразу всплыл текст посвящения «Маленького принца»: «Леону Верту, когда он был маленьким».

Прав Сент — Экзюпери: мы все приходим во взрослый мир из «страны своего детства». Какой была «страна детства» Грэма Грина, можно узнать из первой книги его мемуаров «Часть жизни».

Писатели давно ощутили тягу к автобиографическим повествованиям и, приступая к ним, по — разному изъясняли свои цели. Петрарке — «художнику жизни» — важно было предстать перед грядущими поколениями таким, каким мечтался ему собственный образ, и это откровенно звучит в строках его «Письма к потомкам»: «Когда ты услышишь что-нибудь обо мне — хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многообразны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле...»

Гёте во вступлении к «Поэзии и правде» трактовал свою задачу шире: «Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении со временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это воссоздать для внешнего мира» (причем под «правдой» творец «Фауста» понимал факты, запечатлевшиеся в памяти, а под «поэзией» их истолкование и сопряжение).

Мотивы, которыми руководствовался Грин, чтобы зафиксировать хотя бы «часть жизни», объясняются им следующим образом: «Это в значительной степени те же самые мотивы, что побудили меня стать романистом: желание как-то упорядочить хаос опыта и ненасытное любопытство».

Автор «Тихого американца» любил предпосылать своим книгам эпитафии, которые были призваны дать соответствующий настрой для восприятия произведения. Есть такой «словесный камертон» и у «Части жизни» — это цитата из датского философа и писателя Сёрена Кьеркегора: «Только разбойники и цыгане говорят, что никогда не следует возвращаться туда, где ты уже когда-то был». Любопытно сопоставить этот эпитаф со словами пребывающего в творческом кризисе, но некогда преуспевавшего режиссера Джесса Крейга в романе Ирвина Шоу «Вечер в Византии»: «Вот тебе урок: держись подальше от мест, где ты был счастлив». Слова эти герой Шоу мысленно произносит, проезжая мимо виллы близ Антиба (города, где, кстати, обосновался с середины 60-х годов Грин), той виллы у моря, в которой он блаженствовал три месяца с молодой женой.

Грэм Грин не боялся возвращаться в места, где был счастлив. И, естественно, первое из таких мест, куда приводят его воспоминания, — родной Берхэмстед, городок в графстве Хартфордшир, расположенный не слишком далеко на север от Лондона. Здесь он появился на свет 2 октября 1904 года. Отец его был директором привилегированной местной мужской школы, основанной еще в XVI веке. А мать приходилась двоюродной сестрой Роберту Льюису Стивенсону — так что литературные наклонности могли передаваться Грину по наследству, и не случайно испытанное им в начале творческого пути влияние автора «Острова сокровищ». Грэм был одним из шести детей в семье и ощущал нежную привязанность как к старшим — братьям Герберту и Раймонду, сестре Молли, так и к младшим — Хью и Элизабет.

Грэму Грину было четыре года, когда в далекой России на сцене Московского Художественного театра (которому бельгийский драматург предоставил право первой постановки) состоялась премьера метерлинковской «Синей птицы» и начался ее победный полет по городам Европы и Америки. Грандиозный успех пьесы породил моду: среди игрушек маленького Грэма появилась плюшевая Синяя птица. В этом тоже есть нечто символическое. Ведь Синяя птица у Метерлинка, на поиски которой отправляются Тильтиль и Митиль, — воплощение не только счастья, но также Истины. Истина - словно птица: ее нельзя поймать и запереть в клетку; она ускользает или меняет окраску. Счастье — в познании Истины, но путь к ней бесконечен, и останавливаться на этом пути нельзя. И еще об одном говорит поэтичная сказка Метерлинка — о том, что обрести Истину помогает познание самого себя и сострадание к другим, нуждающимся в помощи и утешении.

Мотив сострадания очень важен в творчестве Грина, который к тому же четко отделяет его от жалости. Если сострадание объединяет равных, считал писатель, и благородно по своей природе, то жалость таит в себе оттенок превосходства одного человека над другим, иной раз гордыни, а потому чувство это разрушительное, оно может оказаться губительным и для того, кто его испытывает, как это происходит в «Сути дела» с майором Скоби (терзания которого, в том числе религиозные, — по позднейшей оценке взыскательного автора — несколько преувеличены): «Чужая правда преграждала ему дорогу как невинно убиенный...»

Что же такое Истина, «суть дела» в понимании писателя? Создается впечатление, будто художник полагает: это не одна, а целая стая Синих птиц. И даже когда какая-то из них, кажется, у тебя в руках, другие — не менее привлекательные — упархивают вдаль, унося только им ведомые крупницы знания. Иными словами, Истина не просто целиком где-то запрятана, а сокрыта похитрее — частями. Одни из них лежат буквально на поверхности, до других надо докапываться или воспарять полетом творческой фантазии, интуиции, исследуя все новые «материки» и пласты жизни. Главное — ни одна отдельно взятая частица Истины не дает полного представления о ней: только сложив их вместе, собрав всю стаю Синих птиц, можно получить этот ускользающий образ, хранящий «великую тайну вещей и счастья».

И Грин неутомим в поисках, сопоставлении добываемых опытом и прозрениями частиц Истины, разбросанных в этом раздробленном мире. Он пробует разные пути подхода к заветной цели, включая излюбленные — парадокс и диалог. Как убежденный реалист, писатель ищет не некий абстрактный абсолют, а правду об окружающей действительности. Ищет не только в пространстве, но и во времени, стремительно убыстряющееся движение которого, изменяя мир, должно менять и представление о нем. Истина — не раз и навсегда изваянный сосуд, который можно восстановить по черепкам, а скорее «огонь, пылающий в сосуде». И, завладев хотя бы частицей этого огня, художник, движимый гуманистическими идеалами, несет ее людям.

В своих высказываниях, впрочем, Грэм Грин далек от того, чтобы уподоблять художника Прометею. В искусстве он видит «пути спасения» от абсурда бытия и от фальши, от страха и скуки, тоски и безверия. Писательский труд для него — форма терапии, но главным образом — аутотерапии. Однако в силу социальной значимости литературной профессии аутотерапия перерастает в терапию социальную: ставя диагноз и открывая как бы для личного

пользования некое средство от недугов, коими заражено исследуемое им общество, писатель тем самым врачует не только себя, но и всех, кому адресует свои книги.

Каждая книга — словно бутылка с запиской, брошенная в море. Успех, по мнению Грина, зависит не только от того, выловят бутылку или нет, а — главное — от того, что в ней содержится. Если там начертано нечто незначительное или необязательное для прочтения, то оно быстро и заслуженно выветривается из памяти. Добрых полсотни таких «бутылок» бросил Грэм Грин в читательское море, и содержание большинства из них не покрылось плесенью забвения. Книги его по — прежнему привлекают литературным мастерством, убедительностью художественных обобщений и искренним стремлением непредвзятого автора добраться до «сути дела», выяснить, почему так далек от совершенства окружающий мир и что наделяет смыслом человеческое существование. Этот глубинный философский, нравственный подтекст неизменно ощутим в гриновской прозе, и он-то, наверное, — как однажды выразился писатель — придает полке книг единство системы (при всей несхожести его книг и героев).

Грин не уставал повторять, что он прежде всего рассказчик, а не пропагандист каких-либо политических или религиозных идей. И это действительно так: в художественной прозе любые идеи выражаются или рассматриваются им сквозь «магический кристалл» подлинного искусства, интересующегося в первую очередь внутренним миром человека, его чувствами. Иное дело — публицистика. Тут Грин прямо высказывает свои убеждения и симпатии, отважно вступая в газетные дуэли и охотно прибегая, если надо, к испытанному оружию своей убийственной иронии. О твердости, с какой умел Грин отстаивать свои не только гражданские, но и творческие позиции, наглядно свидетельствует хотя бы следующий эпизод. Ознакомившись с рукописью романа «Путешествия с моей тетушкой», издатель из коммерческих соображений предложил изменить название. В ответ пришла лаконичная телеграмма от автора: «Легче переменить издателя, чем название».

«Я» сорокалетней давности — это не теперешний «я», — сказано в «Путях спасения». Грэм Грин, в самом деле, сохраняя верность определенным принципам, менялся со временем. Ибо без обостренного чувства времени, по его мнению, не может обойтись ни один настоящий писатель. И, отправляясь на страницах мемуарных книг в Страну Воспоминаний, он старается как можно точнее воскресить приметы «утраченного времени» и свои прежние мысли, переживания, побуждения, претворившиеся в романы. Правде отдается предпочтение перед поэзией.

Память, ты рукою великанши

Жизнь ведешь, как под уздцы коня,

Ты расскажешь мне о тех, кто раньше

В этом теле жили до меня...

Н. Гумилев

Перечитав спустя полвека (чего он обычно не любил делать) собственный ранний роман «Поезд идет в Стамбул», Грин отметил: «...старый писатель приветствует своего молодого предшественника с известной долей уважения». Уважение это — несмотря на то, что «старый писатель» попутно обнаружил в книге множество недостатков — вполне заслуженное. Уже в то время автор основательно овладел литературной техникой. Изданный в 1932 году «Поезд идет в Стамбул» — первый из так называемых развлекательных романов, но отнюдь не дебют Грина. До этого им было опубликовано уже три романа, а еще раньше, когда он учился в Оксфорде, — сборник стихов «Журчащий апрель».

«Поэтами рождаются...» Но вот когда и как человек осознает, что он рожден именно поэтом? Вглядываясь в «тех, кто раньше в этом теле жили» до него, Грин поведал, как это произошло с ним. То, что ему уготована писательская судьба, и никакая иная, он ясно почувствовал лет в четырнадцать, когда ему в руки попала «Миланская гадюка» Марджори Боуэн. Увлекательный, полный красочных сцен исторический роман об Италии эпохи Возрождения вдруг открыл мальчику его призвание, а также дал в доступной для детского сознания форме начальное представление о невероятной противоречивости человеческой природы, об идущей испокон веку борьбе добра со злом в душах людей и о тех принципах мироустройства, согласно которым «лишь движение маятника вселяет уверенность в конечное торжество справедливости».

С той поры Грэм Грин ощутил настоятельную потребность писать. История была его любимым предметом, и, давая волю буйной фантазии, он заполнял тетради мрачными рассказами о прошлом, полном трагизма, жестокости и романтики. Вскоре попробовал свои силы также в драматургии: небольшие одноактные пьесы получились в том же духе (но, начиная с 50-х годов, Грин завоевывает признание и как драматург). Тяга к густой сентиментальности и пышной цветистости прозы сохранилась, когда юный автор обратился к современным сюжетам. Тем не менее, рассказ о горестной смерти одинокой женщины, озаглавленный «Тиканье часов», был опубликован в школьном журнале, а потом даже перепечатан в городской вечерней газете, откуда пришел чек на три гиней — первый гонорар.

Осенью 1922 года Грин поступил в Бэйллиол — один из лучших колледжей Оксфордского университета. Здесь он отдал дань поэзии — сочинял и иногда печатал в периодике стихи, которые вышли потом отдельным сборником. Студентом, дабы излечиться от неудачной любви, он засел и за свой первый роман, никогда не увидевший света, — печальную историю темнокожего ребенка, появившегося у белых родителей. Таким образом, уже в первом крупном произведении Грина проявилась его склонность к парадоксу как средству постижения действительности (на выборе сюжета сказался также тогдашний всеобщий интерес к учению Менделя о наследственности).

С Оксфордом связан еще один эпизод биографии Грина. В девятнадцать лет он стал там кандидатом в члены Коммунистической партии Великобритании, но вскоре отошел от нее. Представление о марксизме имелось тогда у него весьма туманное, и вступление в партию диктовалось отнюдь не твердыми политическими убеждениями (хотя взгляды его были достаточно левыми), а тайной надеждой бесплатно посетить Москву и Ленинград. Уже в то время проявлялось «ненасытное любопытство» Грина. Попасть в 20-е годы в Советский Союз кратковременное пребывание в компартии ему не помогло, но вот поездки в Америку впоследствии сильно затрудняло. Дело в том, что спустя много лет, уже будучи знаменитостью, он рассказал об этой истории корреспонденту журнала «Тайм» — и сразу попал в США в «черный список», ФБР завело на него досье. Отныне для въезда в страну ему требовалось специальное разрешение, а в визу вносилось особое обозначение, выдававшее «неблагонадежность» ее владельца. И так продолжалось довольно долго, вплоть до времен Кеннеди...

После окончания университета более полугодом Грин не мог найти себе постоянной работы. Он попытался поступить в «Азиатскую нефтяную компанию», но неожиданно плохую службу ему сослужила репутация поэта. Так, на удивление, случилось, что директору оказался известен тоненький сборник стихов оксфордского выпускника, изданный тиражом всего в триста экземпляров, а он твердо придерживался мнения, что у чиновников компании не должно быть никаких побочных интересов. Поэзия же и нефтяной бизнес казались ему вещами несовместимыми. Как ни пытался Грин свалить все на «грехи молодости» и заверить, что ныне абсолютно равнодушен к литературе, директор остался непреклонен. Он, видимо, прекрасно знал, что человек, одержимый демоном сочинительства, неизлечим.

Всего пару недель продержался Грин и в «Британско — американской табачной компании», намеревавшейся отправить его в Китай. Наконец он нашел себе место в робингудовском Ноттингеме, где получил возможность приобрести в городском еженедельнике журналистские навыки. Все бы было замечательно, если бы не одна маленькая подробность — денег там не платили. Но пришлось согласиться на это нелегкое условие (родители продолжали оказывать поддержку), так как ни одна столичная редакция не приняла бы в штат новичка.

В Ноттингеме состоялось не только журналистское крещение Грэма Грина, но и произошло событие, наложившее существенный отпечаток на всю его жизнь: в начале 1926 года он принял католичество. Поводом для такого поступка послужило то обстоятельство, что его невеста Вивиен была католичкой; но имелись и более веские причины: приходскому священнику удалось убедить начинающего писателя в том, что католическая религия ближе к истине, чем протестантская. Согласно традиции, при вступлении в лоно католической церкви полагалось принять новое имя, и — в этом весь Грин! — он избрал для себя имя Томас (Фома), подчеркнув при этом: не в честь святого Фомы Аквинского, а в честь апостола Фомы, прозванного неверным за то, что усомнился в Воскресении распятого Христа.

Скептик по натуре, Грин и к вере относился рассудочно, а не эмоционально. Хотя в целом ряде его романов, начиная с «Брайтонского леденца», присутствует «католическая» проблематика, он всегда исследует ее, испытывая на прочность религиозные устои своих персонажей, подвергает сомнению, а не иллюстрирует церковные догмы. И никогда не соглашался, когда его называли католическим писателем, предпочитая определение «писатель — католик», к тому же «католик — агностик». В самом деле, как много еретических для правоверного католика мыслей содержится в гриновских произведениях! Недаром, скажем, «Сила и слава» два с лишним десятка лет значилась в ватиканском списке запрещенных книг.

Оценивая этот роман, Франсуа Мориак, сам католик, обратил внимание на то, что даже преследователи «плохого священника», даже его главный враг, лейтенант полиции, отмечены печатью милосердия: «...они ищут правду; они верят, как наши коммунисты, в то, что нашли ее, и они служат ей — своей правде, которая требует жертв...» И для Грина действительно важна не только правда священника, но и правда лейтенанта, сколь далеко бы они ни отстояли одна от другой, так же как в сорок лет спустя написанном романе — правда отца Кихота и правда коммуниста Санчо. Отсюда и поддержка им «теологии освобождения», получившей столь широкое распространение в Латинской Америке; отсюда и идея необходимости расширения диалога, сотрудничества между католиками и коммунистами, со всей определенностью выраженная писателем на Московском форуме в феврале 1987 года.

«Я человек веры, — говорил он о себе, — но при этом еще и человек сомнений. Сомнение плодотворно. Это главное из хороших человеческих качеств. Я думаю, что и коммунист должен иметь свои сомнения, как мы, христиане, имеем свои. И я считаю, что мы можем известным образом сблизиться благодаря нашим сомнениям».

Через несколько недель после принятия католичества Грэм Грин покинул Ноттингем и переехал в Лондон: ему удалось добиться зачисления помощником редактора в «Таймс». Работа в этой солидной газете была неплохой школой для молодого литератора. В его обязанности входило править и сокращать, насколько возможно, репортерские тексты, искоренять штампы, придумывать броские заголовки. Как нельзя больше устраивал и график — появляться в редакции надо было к четырем пополудни, а драгоценные утренние и дневные часы оставались, таким образом, для труда над собственными рукописями.

«Как редко романист обращается к материалу, который находится у него под рукой!» — восклицает Грин в эссе о Форде Мэдоксе Форде, соавторе и биографе Джозефа Конрада, и слова эти вполне могут быть отнесены к нему самому. Из Ноттингема он привез почти

законченный второй роман, который назывался «Эпизод» и который тоже так и не попал в руки типографского наборщика. Действие его происходило в эпоху Карлистских войн в Испании. И об Испании, и о династических войнах XIX века, развязанных сторонниками дона Карлоса Старшего и дона Карлоса Младшего, обуреваемый жадой творить автор располагал, по собственным словам, весьма ограниченными познаниями. Зато образцом для подражания он избрал себе уже не Марджори Боуэн, а куда более привораживающего и мощного прозаика — Джозефа Конрада. От гипнотического воздействия его стиля Грин будет избавляться мучительно и долго. В своем конголезском дневнике, вошедшем в книгу «В поисках героя», он расскажет, как лишь спустя почти тридцать лет рискнул погрузиться в том Конрада, а до тех пор запрещал себе читать его, опасаясь остаться слишком покорным учеником.

Прорваться в литературу Грин смог только с третьей попытки — ею стал роман «Человек внутри», выпущенный в 1929 году издательством «Хайнеманн». Название это, отражающее двойственность личности, навеяно строкой Томаса Брауна: «Другой человек внутри меня, и он недоволен мной». Каков «человек внутри» и каким последствиям приводит конфликт с собственной совестью, Грин пытается разобраться в своем романе на примере молодого контрабандиста, выдавшего властям сотоварищей и кончающего в итоге самоубийством. В этой книге отчетливо проступили уже некоторые черты, типичные для всего дальнейшего творчества писателя, в том числе возникает мотив преследования, который, повторяясь, позволит писателю создать в различных модификациях критические ситуации, помогающие раскрыть сложность человеческих характеров.

Для произведения никому еще не известного автора «Человек внутри» разошелся превосходным тиражом — свыше восьми тысяч экземпляров. Такой внушительный старт открыл и автора, и издателей. Поэтому, когда Грин задумал целиком посвятить себя писательству и уйти из редакции, директор — распорядитель «Хайнеманна» предложил ему контракт (от имени своей фирмы и американского издательства «Даблдэй», с которым они сотрудничали). Условия контракта были таковы: скромное, но пристойное содержание в шестьсот фунтов ежегодно в течение трех лет в обмен на три романа. Веря в свои силы, Грин не раздумывал ни минуты и в канун 1930 года покинул «Таймс».

В целях экономии он снял коттедж в деревне, переехал туда с женой и с упоением принялся за работу, которая казалась ему наслаждением, сулила богатство и славу. Однако, как заметит в финале «Части жизни» умудренный опытом писатель, «успех — это всего лишь отсроченный провал». Два следующих романа успеха не имели. Чрезмерная удаленность их содержания от знакомых ему сфер бытия не позволила Грину подключить аккумулятор собственных наблюдений, эмоциональных впечатлений к мотору воображения, и обе книги получились безжизненными — автор не поместил их впоследствии в своем собрании сочинений.

Как жалел он, что нет в живых Стивенсона — вот кто мог бы породственному преподавать необходимые уроки литературного мастерства, в тайны которого приходилось теперь проникать самостоятельно! Но упорство в конце концов вознаграждается, и последний представленный Грином по контракту роман, писавшийся им с энергией отчаяния, — «Поезд идет в Стамбул» — спас его от полной финансовой катастрофы, хотя ему предстояло еще вплоть до войны жить в долгу у издателя.

С 1933 года, как признает сам писатель, политика все настойчивее вторгается в его книги: «Для меня период с 1933 по 1937 год навсегда останется годами зрелости моего поколения, омраченными Депрессией, чья тень упала на эту книгу, и приходом к власти Гитлера. В те дни невозможно было оставаться в стороне от политики, и трудно припомнить детали частной жизни одного человека, когда земля вокруг превращалась в огромное поле боя».

Роман «Это поле боя» вышел в 1934 году. Сюжет его был подсказан сном. У Байрона есть

стихотворение «Сон»:

Жизнь наша двойственна; есть область Сна,

Грань между тем, что ложно называют

Смертью и жизнью; есть у Сна свой мир,

Обширный мир действительности странной.

И сны в своем развитии дышат жизнью,

Приносят слезы, муки и блаженство.

Они отягощают мысли наши,

Снимают тягости дневных забот,

Они в существованье наше входят,

Как жизни нашей часть и нас самих...

Перевод М. Зенкевича

Сны были важной частью жизни и творчества Грэма Грина. Он стал записывать их с юношеского возраста, и нередко они навевали ему идею романа или рассказа. Эти «поэзии ребяческие сны», отобранные и систематизированные, стали материалом для книги Грина, подготовленной им самим, но опубликованной уже после его смерти. Называется она «Мой собственный мир. Дневник снов Грэма Грина». Писатель полагал, что человек, в том числе художник, испытывает сильное воздействие внешнего мира и лишь во сне остается самим собой. Подсознанию художника Грин придавал немалое значение, будучи уверен, что оно помогает в творчестве, а иногда и управляет им. Только из глубин подсознания — связанного многими нитями с действительностью — могут выйти, по его убеждению, главные герои произведения. А реальные личности годятся лишь в прототипы для второстепенных персонажей, которым можно, например, придать черты чьей-то эксцентричности. В «Путешествии без карты» говорится о либерийце Уордсворте: он «словно сам напрашивался в ту странную коллекцию «типов», которую подбираешь на протяжении жизни, — колоритных, забавных людей, прямодушных настолько, что они всегда повернуты к тебе одной и той же стороной, обреченных своей непосредственностью стать пищей для романиста (правда, в к — яшу — пм» ппнпрд ич — ццпши — ческих персонажей), быть без конца осмеянными и населить целый вымышленный мир».

В области стиля Грэм Грин проделал заметную эволюцию от метафорической перенасыщенности, усложненности ранней прозы к строгой простоте зрелых книг. Он упорно и беспощадно боролся с выпренностью и затасканными оборотами. «У моих персонажей не должно белеть лицо, и они не должны дрожать, как листья, — не потому, что это штампы, а потому, что это неправда. Тут затрагивается не только художественное, но также общественное сознание. Мы уже видим результаты воздействия массовой литературы на массовое мышление. Каждый раз, когда подобные фразы проникают в голову человека, не способного к критическому восприятию, они загрязняют поток сознания», — заявил писатель еще в 1948 году.

В том же году появилась статья о его творчестве в связи с выходом «Сути дела», написанная Ивлином Во (одним из наиболее высоко ценимых Грином прозаиком — современником, с которым он дружил, что не мешало им часто расходиться во мнениях). В этой статье

констатировалось, что каждый новый роман Грэма Грина становится литературным событием. Вместе с тем делался упрек автору «Сути дела» в чрезмерном аскетизме слога: «Это вовсе не особый литературный стиль. Слова имеют чисто функциональное значение, они лишены чувственной привлекательности, родословной и независимой жизни... Полиглот, прочитав книгу Грина и отложив ее в сторону, может прочно удерживать в памяти все, что там сказано, но может, я полагаю, начисто забыть, на каком именно языке она написана. Потому что слова ему служат просто для математического обозначения мыслей».

Упрек сей, думается, несправедлив, и мы имеем тут дело с ситуацией парадоксальной — в духе самого Грина, — когда достоинство воспринимается как недостаток. Прозрачность воды создает иллюзию, будто дно очень близко. Точно так же прозрачность гриновского языка делает его как бы незаметным, приковывая сразу внимание к идеям и образам произведения — тому «дну», которое на поверку оказывается глубоко.

Но в чем Ивлин Во абсолютно прав, так это в том, что он пронизательно подметил влияние кино на прозу Грэма Грина: «Это глаз камеры переходит с гостиничного балкона на улицу внизу, выхватывает полицейского, провожает на службу, осматривает его кабинет от наручников на стене до разорванных четок в ящике стола, фиксируя существенные детали... Теперь кино научило новой манере повествования». Со свойственной ему язвительностью рецензент добавил: «Возможно, это единственный вклад, который кино предназначено сделать в искусство».

Грин рано осознал перспективность применения некоторых кинематографических приемов в литературе и стал сознательно использовать их. Ко времени создания «Сути дела» он был уже хорошо знаком с кино и его достижениями. Знакомство это началось еще в студенческие годы, с немых фильмов. «Через кино, — вспоминал писатель, — ко мне пришли первые сведения о Советской России; имена Пудовкина, Эйзенштейна, Довженко открыли мне новый мир — молодой, дерзкий, взявший на себя смелость указать цивилизации выход из депрессии, рассеять мрак и совладать с ужасами бытия». В 1935–1939 годах Грин состоял постоянным кинокритиком в «Спектейторе». Тогда же, в 30-е годы, начал писать и сценарии. Обычно, прежде чем приступить собственно к сценарию, он набрасывал киноповесть на задуманный сюжет. Несколько таких повестей в отредактированном виде были потом изданы: «Третий человек», «Падший идол», «Десятый». Почти все гриновские романы экранизированы, но мало какие фильмы, поставленные по его книгам, удовлетворяли автора из-за упрощений или отсебятины, вносившихся режиссерами. Несомненной удачей он считал «Монсеньора Кихота» с Алеком Гиннессом: там бережно сохранены диалоги романа.

Однажды Грин раскрыл, в чем заложен секрет успеха: «Если вам удастся сначала возбудить интерес публики, то вы можете заставить ее пережить какие угодно ужасы, страдания, осознать правду. Это в полной мере относится не только к фильму, но и к роману». Вот почему писатель часто прибегает к захватывающей интриге, использует «арсенал» детектива и мелодрамы, не изменяя, однако, хорошему вкусу и не отступая от строгих критериев подлинного искусства.

Оглядываясь на прожитую жизнь, Грэм Грин обнаружил, что провел с вымышленными персонажами почти столько же времени, сколько с реальными мужчинами и женщинами. «В поисках героя» — книга его путевых заметок о поездке в Бельгийское Конго, предпринятой в 1959 году в процессе работы над романом «Ценой потери». То был один из нечастых случаев, когда Грин специально ездил в какую-либо заранее намеченную страну для сбора материала (так же он поступил только в период написания романа «Меня создала Англия», где ему понадобились шведские реалии). Обычно получалось иначе: жизнь приводила писателя в какие-нибудь «горячие точки» планеты, а потом уже в его воображении «прорастал» роман.

Как это происходит, Грин поведал в книге «Знакомство с генералом». Путешествуя по Панаме

в машине вдвоем с Чучу (профессором математики и поэтом, который стал телохранителем и доверенным лицом Омара Торрихоса), он почувствовал, что полученные впечатления трансформируются постепенно в сцены романа: «Начать так: молодая журналистка из левого французского еженедельника берет интервью у генерала. Она бежит от горечи и боли неудачного замужества, покидает Париж в надежде избавиться себя от страданий. В конце концов она возвращается, выбирая свою боль, а не счастье». Чучу должен был стать прототипом одного из главных героев, а часто повторявшиеся им слова: «На обратном пути» — названием романа. Грустная ироничность названия заключалась в том, что, согласно замыслу, этому персонажу не суждена была дорога назад: он погибал от взрыва подложенной в машину бомбы за несколько минут до того, как надеялся обрести счастье в объятиях придуманной автором француженки. «По дороге, — продолжает Грин, — я рассказал Чучу о задуманном романе, и очень может быть, что поэтому он и не пошел у меня дальше первой главы. Рассказать — это почти то же самое, что написать, своего рода суррогат письменного сочинения... Книга так и не написана, и погиб не Чучу, а генерал». Портреты их обоих — Торрихоса и Чучу — висели у Грина дома в Антибе. Замысел романа «На обратном пути» остался нереализованным. Но костяки других сюжетов, возникшие подобным образом в фантазии писателя, обросли плотью.

Так произошло, к примеру, когда в 1938 году ему заказали документальную книгу о религиозных преследованиях в Мексике. Грин отправился туда, в штат Табаско, и появилась книга — «Дороги беззакония» (в США издана под названием «Другая Мексика»), Она заслужила даже одобрительный отзыв в «Санди тайме» Джона Бойнтон Пристли, того самого Пристли, который пригрозил в свое время подать иск за клевету, усмотрев черты сходства с собой в одном из персонажей романа «Поезд идет в Стамбул». Но в результате этого «несентиментального путешествия» возник и роман. «Дороги беззакония» привели к «Силе и славе». Или, как выразился один английский критик, «Дороги беззакония» послужили тем карьером, где добывался строительный материал для «Силы и славы».

Мексика была не первым дальним странствием Грина. Несколькими годами раньше он совершил паломничество в Африку, описав его в «Путешествии без карты». Прошел тогда пешком сотни миль по территории Сьерра — Леоне и Либерии. В столицу Сьерра — Леоне Фритаун судьба вновь забросила Грина во время Второй мировой войны, на сей раз в качестве сотрудника британской секретной службы МИ-6, которая присвоила ему кодовый номер 59200 (этот номер появится потом на страницах «Нашего человека в Гаване»).

В декабре 1941 года он отплыл, как и в прошлый раз, из Ливерпуля. Готовил на корабле, чтобы скоротать время, небольшой очерк об английской драматургии и вел дневник (под названием «Конвой в Западную Африку»), вошедший потом в книгу «В поисках героя». Грин убедился в том, что «мир Гитлера, мир Дахау, концентрационных лагерей и нацистского чванства не так уж далек от этого уголка Африки». И, находясь во Фритауне, написал обличающий фашизм детектив «Ведомство страха» — он всегда восставал, когда где бы то ни было пытались подчинить людей подобному ведомству. Пребывание в Сьерра — Леоне, преломившись в художественном сознании Грина, оставило позже еще один заметный след в его творчестве — роман «Суть дела».

«Черный континент в форме человеческого сердца», о котором Грин мечтал ребенком, читая Хаггарда, стал ему по — настоящему близок. Еще после первого свидания с этим континентом он засвидетельствовал: «Что поразило меня в Африке, так это то, что она ни секунды не казалась мне чужой». Не воспринимались им как чужие, Мексика и Вьетнам, Куба и Гаити, Панама и Никарагуа. «О человеке следует судить по его врагам не меньше, чем по его друзьям», — напомнил писатель в предисловии к тому своим эссе. Враги Грина — Папа Док, Стресснер, Пиночет... А книга «Знакомство с генералом» — сплав мемуаров и острой политической публицистики, где выразительно обрисован его друг Торрихос на фоне мощного национально — освободительного движения, ширящегося в Латинской Америке, — имеет знаменательный подзаголовок: «Как я оказался ко всему этому причастным».

На протяжении своей долгой жизни Грэм Грин оказался причастен ко многим важнейшим событиям, происходившим в разных частях планеты, что запечатлено в его романах и публицистике. Мексика, Куба, Вьетнам, Гаити, Испания и многие — многие точки нашей планеты, где оказывался писатель, становились местом действия его романов, частью его «Гринландии», страны, в обитателях которой, в событиях, происходящих там, он стремился честно разобраться, докопаться до «сути дела». «Меня всегда тянуло в те страны, где сама политическая ситуация как бы разыгрывала карту между жизнью и смертью человека. Привлекали переломы. Я находил их в Азии и Африке, в Южной и Центральной Америке. Литература ведь помогает бороться с диктаторскими режимами. И я вносил посильный вклад в эту борьбу... Терроризм в наше время не что иное, как наследие гитлеризма, именно этой зараженной кровью Европа поделилась с остальным миром», — говорил Грэм Грин в интервью «Литературной газете» в 1984 году. И сегодня эти слова звучат весьма актуально.

Нынешний сборник ставит себе задачу дать представление о Грине — мемуаристе, Грине — публицисте и критике, а тем самым дополнить новыми штрихами портрет Грина — художника, еще при жизни признанного классиком XX века.

Святослав Бэлза

Потерянное детство

Наверное, только в детстве книги производят на нас неизгладимое впечатление. Потом мы приходим в восторг, развлекаемся, можем изменить взгляды, которых придерживались, но чаще находим в книгах всего лишь подтверждение тому, что уже знаем. В них, как в любви, нам льстит наше отражение в чужих чертах.

В детстве же все книги — откровения, и, подобно гадалке, читающей в картах дальнюю дорогу или смерть от воды, они предсказывают наше будущее. Потому, вероятно, они нас так и волнуют. Разве в сегодняшних книгах кипят страсти или угадываются истины книг первых четырнадцати лет нашей жизни? Меня, конечно, не оставит равнодушным известие о том, что скоро напечатают новый роман Э. М. Форстера, но это спокойное предвкушение цивилизованного удовольствия не идет ни в какое сравнение с осекшимся дыханием и испуганной радостью, которую я испытывал, снимая с библиотечной полки новый, еще не читанный мною роман Райдера Хаггарда, Перси Вестермена, Капитана Бреретона или Стенли Веймана. И когда я вспоминаю решающий миг, который определил весь мой последующий путь к смерти, то переношусь в те далекие годы.

Я отчетливо помню, словно ключ внезапно повернулся в замке, как я понял, что умею читать — не слова из букваря, разбитые на слоги, как железнодорожный состав на вагоны, а настоящую книгу. С бумажного переплета на меня смотрел связанный, с кляпом во рту юноша. Он висел на веревке в колодце, и вода доходила ему до пояса. Это был сыщик Диксон Бретт. Я хранил свое открытие в тайне все лето, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о нем. Наверное, уже тогда я догадывался, что это опасный момент. Пока я не умел читать, мне ничто не угрожало: колеса еще не пришли в движение. А теперь будущее обступило меня со всех сторон книгами на полках, ожидая момента, когда я его выберу. Мне предстояло вытянуть жизнь бухгалтера или колониального чиновника, плантатора в Китае или банковского клерка, счастье, горе и, наконец, уготованную мне смерть, ибо ее, как и работу, мы выбираем сами. Она складывается из наших поступков и маленьких хитростей, из страха и мгновений мужества. Вероятно, моя мать догадывалась о моем открытии, потому что, когда мы сели в поезд, которым возвращались домой после летнего отдыха, она положила мне на колени «Коралловый остров» Баллантайна, где была всего одна картинка,

правда, цветная, на фронтисписе. Я не выдал себя. Всю дорогу я смотрел на картинку и ни разу не открыл книгу.

Однако дома на полках (их было очень много, потому что семья наша была большой) меня ждали книги, особенно одна, но, прежде чем я достану ее вон оттуда, снизу, позвольте мне наугад вытащить несколько других. Каждая из них была магическим кристаллом, в котором очарованный ребенок видел движение жизни. Вот здесь, под раскрашенной в яркие цвета обложкой, летает «Пиратский аэроплан» капитана Гилсона. Я читал эту книгу раз шесть, не меньше. Это была история о затерянной цивилизации в Сахаре и о злобном янки — пирате, у которого был аэроплан, не отличавшийся от воздушного змея, и бомбы величиной с теннисный мяч. Янки потребовал огромный выкуп, но золотой город был спасен героем, молодым офицером, который пробрался в лагерь противника и сломал аэроплан. Героя поймали, и он смотрел, как враги копают ему могилу. Его должны были расстрелять на рассвете, и, чтобы скоротать время и отвлечь героя от тяжелых мыслей, добродушный янки — пират сел играть с ним в карты. Воспоминание об этой ночной игре на краю могилы преследовало меня долгие годы, пока я не избавился от него, вставив в один из своих романов сцену игры в покер в отдаленно похожей ситуации.

А вот «Софья Кравонская» Энтони Хоупа — история судомойки, ставшей королевой. Один из первых увиденных мною фильмов (кажется, в 1911 году) был сделан по этой книге, и я до сих пор слышу громохание пушек, вкатываемых на Кравонский перевал, обозначенное гулками фортепьянными аккордами. За «Софьей» последовала «История Фрэнсиса Кладда» Стенли Веймана и только потом — «Копи царя Соломона», главная книга тех лет.

Возможно, миг, когда я снял ее с полки, и не был решающим, но он, вне всякого сомнения, повлиял на мое будущее. Если бы не романтическое повествование об Алане Квотермейне, сэре Генри Куртисе, капитане Гуде и, наконец, старой ведьме Гагуле, разве обратился бы я, девятнадцатилетний, в министерство колоний с просьбой взять меня на службу в нигерийский флот? Да и позже, когда я уже все понимал, выдуманная Африка поманила меня снова, и в 1935 году я очнулся от приступа лихорадки на походной кровати в либерийской деревне. Передо мной в бутылке из-под виски догорала свеча, в темноте возилась крыса. Если бы не этот неизлечимый восторг перед Гагулой с ее лысым, желтым черепом, на котором кожа сжималась и растягивалась, как капюшон у кобры, я не проторчал бы весь 1942 год в крошечном душном офисе во Фритауне, Сьерра — Леоне. Не так уж много общего между Страной кукуанов, лежащей позади пустыни и Гор царицы Савской, и крытым жестью домиком, сидящим посреди топкой лужи, где гуляли, словно индюки во дворе, ястребы и собаки, будившие меня по ночам своим воем, и которую белые женщины, пожелтевшие от атебрина, объезжали по дороге в клуб. Но все-таки оба эти места располагались на одном континенте и даже, хотя и отдаленно, в одном отрезке воображения там, где вслепую идешь по чужой земле. Однажды ночью в Зигите, на границе Либерии с Французской Гвинеей, я подошел к Гагуле и ее преследователям немного ближе: мои слуги убежали в дом и отвернулись от окон, заслонив глаза ладонями, где-то стучал барабан, и весь город сидел взаперти, пока по нему расхаживал злой дух, взглянув на которого человек слеп.

Но эта книга не могла помочь по — настоящему. В ней не было нужного ответа. Ключ плохо входил в замок. Гагулу я представлял ясно, ведь она каждую ночь поджидала меня во сне — между комодом и дверью в детскую. Она и теперь ждет, пока я устану или заболею, только сегодня на ней теологические одежды Отчаяния и изъясняется она словами Спенсера:

Я дольше жил и ведал больший грех,

За больший грех достоин злейшей кары[1].

Да, Гагула по — прежнему живет в моем воображении, а вот Квотермейн и Куртис... Даже в десять лет эти герои казались мне чересчур хорошими. Они были настолько цельными и неуязвимыми, что и ошибки-то делали лишь затем, чтобы показать, как их можно преодолеть. Не уверенный в себе ребенок не мог прислониться к их монументальным плечам. В конце концов, ребенок знает почти все, у него только нет своей позиции. Ему ведомы и трусость, и стыд, и обман, и разочарование. Сэр Генри Куртис, который, истекая кровью, отбивает с остатками Серых атаки бесчисленных войск Твалы, был слишком храбрым героем. Такие люди напоминают мне идеи Платона: они не годятся для той жизни, которой мы живем.

Но когда я — не знаю, на счастье или на беду, — снял в четырнадцать лет с библиотечной полки «Миланскую гадюку» мисс Марджори Боуэн, участь моя была решена. С этого момента я начал писать, а будущий чиновник, преподаватель или клерк отправились искать себе другую оболочку. Подражая автору этого великолепного романа, я сочинил множество историй, невероятно жестоких и безудержно романтических, действие которых происходило в Италии шестнадцатого века или в Англии двенадцатого. Мои тетради разбухли от них. Может показаться, что меня раз и навсегда снабдили замыслом для работы.

Почему? На первый взгляд, «Миланская гадюка» — это история вражды миланского герцога Джана Галеаццо Висконти и Мастино делла Скалы, герцога Веронского, изложенная энергично, живо и на удивление осязаемо. Почему же она, прокравшись в ужасный школьный мир каменных ступенек и никогда не затихавшей спальни, расцвела и объяснила его? В этом реальном мире не хотелось воображать себя сэром Генри Куртисом, ребенку легче было спрятаться за маской делла Скалы, отбросившего бесполезное благородство, изменившего дружбе и умершего обесчещенным, неудачником даже в предательстве. А Висконти, прекрасного и терпеливого гения зла, я видел каждый день. Он ходил мимо меня, и от его черного костюма пахло нафталином. Звали его Картер. Он излучал ужас, как туча с градом, плывущая на молодые побеги. Добро только однажды нашло идеальное воплощение в человеческом теле, это больше не повторится, а зло всегда находит себе в нем пристанище. Человеческая природа не чернобелая, а черно — серая. Я прочел это в «Миланской гадюке», посмотрел вокруг и увидел, что так оно и есть.

Там же я нашел еще одну тему. В конце «Миланской гадюки» (вы ее наверняка помните, если хоть раз прочли книгу) есть грандиозная сцена. Полный успех, делла Скала мертв, Феррара, Верона, Новара, Мантуя пали, каждую минуту прибывают гонцы с вестями о новых победах, мир рушится, а Висконти сидит себе и посмеивается, освещенный багровым светом. Я не был силен в классической литературе, и поэтому сознание обреченности успеха, чувство, что маятник вот — вот качнется в обратную сторону, пришло ко мне, когда я читал мисс Боуэн, а не древнегреческих авторов. Это тоже было очевидно. Я посмотрел вокруг и везде увидел обреченных: чемпиона по бегу, который однажды оседет на землю у самой финишной ленты, директора школы, который расплачивается за свое место сорока годами унылой, однообразной жизни, ученого... И если на горизонте, пусть смутно, брезжил успех, то следовало молиться, чтобы неудача не заставила ждать себя слишком долго.

Четырнадцать лет я жил в джунглях без карты, и когда увидел дорогу, то, естественно, пошел по ней. И все-таки мне кажется, что желание писать возникло у меня в конечном итоге под влиянием той чудесной живости, которой пронизана книга мисс Боуэн. Читая ее, вы не сомневаетесь, что писать — значит радоваться, а о том, что ошиблись, узнаете слишком поздно — первая книга действительно радует. В общем, свою формулу я вычитал у мисс Боуэн (позднее религия объяснила мне ее иначе, но формулу-то я уже знал): идеальное зло ходит по земле, на которую никогда больше не ступит идеальное добро, и только маятник дает надежду, что когда-нибудь, в конце, справедливость восторжествует. Человек всегда недоволен, и я часто жалею, что моя рука не успокоилась на «Копях царя Соломона» и что я не снял с полки в детской будущее колониального чиновника в Сьерра — Леоне —

двенадцать малярных сроков службы с черной лихорадкой под занавес, чтобы не было страшно выходить на пенсию. Но что толку в мечтах? Книги всегда рядом, решающий миг не за горами, и теперь уже наши дети снимают с полок свое будущее и листают его страницы. А. Е. сказал в «Жерминале»:

Как много из сумрачных далей

Во взрослую жизнь ты принес:

Там зрели картины геройства,

Трагедий и слез.

В потерянном детстве

Иуды Был предан Христос[2].

Часть жизни

Только грабители и цыгане говорят, что никогда не следует возвращаться на место, где однажды уже был. Кьеркегор

Автобиография — лишь часть жизни. В ней может быть меньше фактических ошибок, чем в биографии, но обстоятельства вынуждают ее быть еще строже при отборе событий: она начинается поздно и заканчивается преждевременно. Если автор не в состоянии завершить мемуары, лежа на смертном одре, то неизвестно, какой конец им припишут, а посему я предпочел закончить этот очерк годами неудач, последовавших за выходом в свет моей первой «удачной» книги. Неудача ведь схожа со смертью: проданная мебель, пустые полки, и у крыльца ждет, как катафалк, грузовик транспортного агентства, чтобы отвезти вас куда-то, где жизнь дешевле. К тому же книга, которую я сейчас пишу, всего лишь часть жизни еще и потому, что за шестьдесят шесть лет я провел почти столько же времени с вымышленными персонажами, сколько и с реально существующими людьми. Я не помню ни одной скандальной или знаменитой истории из жизни своих друзей, которых у меня, по счастью, много. Все истории, которые я помню (довольно слабо), написал я сам.

Что же побудило меня собрать воедино эти обрывки прошлого? Вероятно, то же, что в свое время сделало меня писателем: желание придать жизненному хаосу подобие порядка и неумное любопытство. Теологи полагают, что мы не можем любить других, если хотя бы немного не любим себя, да и любопытство тоже начинается с себя.

Сегодня о событиях прошлого принято говорить с иронией. Это узаконенный метод самозащиты. «Смотрите, каким я был глупым в молодости» предвосхищает жестокость критики, но искажает историю. Мы не были «знаменитыми георгианцами». Чувства, которые мы испытывали, были подлинными. Почему их следует стыдиться больше, чем старческого безразличия? Удачно ли, неудачно, но я попытался еще раз пережить безумства, сентиментальность и преувеличения давнего времени, ощущая их так же, как тогда, — без иронии.

Глава 1

1

Откуда я мог знать, что вдоль улиц Берхемстэда пролегло мое будущее? Хай — стрит была попросторнее иной рыночной площади, но после Первой мировой войны ее широкое достоинство было нарушено появлением кинематографа под зеленым куполом в мавританском стиле, маленького, но олицетворявшего для нас тогда претенциозную роскошь и сомнительный вкус. Однажды мой отец, ставший к тому времени директором берхемстэдской школы, повел старшеклассников на специально для них устроенный показ самого первого «Тарзана», решив почему-то, что это учебный фильм с антропологическим уклоном, и с тех пор относился к кинематографу с подозрением и горечью. В «нашем конце» Хай — стрит стояли огромная норманнская церковь из мелкозернистого песчаника и наполовину деревянный тюдоровский дом, в котором размещалось фотоателье (с его витрин на улицу смотрели горожане, объединенные в свадебные группы, навьюченные цветами, как призовые быки, и немного ошалевшие). На одной из колонн церкви обыденно, как котелок в прихожей, висел шлем какого-то давно умершего герцога Корнуэльского. Внизу виднелся заросший водяным крессом Большой соединительный канал, по которому медленно плыли крашенные баржи. Неподалеку от берега, где играли загадочные цыганята, громоздился на холмах старый замок. Его окружал высохший ров, покрытый бутенем (по преданию, замок был построен Чосером и во времена Генриха III его успешно штурмовали французы). Едва уловимо и приятно пахло угольной пылью, и у всех вокруг были типично берхемстэдские лица с острыми, как у карточных валетов, подбородками и хитроватыми глазами неудачников (я и сегодня узнал бы их где угодно).

А теперь я неохотно наношу на свою личную карту школу — сочетание розового «тюдора» с мерзким современным кирпичом цвета окорока, — где начались мои мучения, и бывшее кладбище, на которое выходили окна нашего дома. Кладбище отделяла от наших клумб одна только невидимая линия, и каждый год, поправляя цветочный бордюр, садовник извлекал из земли кусочки человеческих костей. Севернее, на зеленом пространстве карты, пустой, как Африка, раскинулся до ашриджского сада папоротнико — можжевеловый луг, а южнее — маленький брикхиллский луг и ашлинский сад, где однажды я наблюдал за неуклюжей пляской Зеленого Джека, убранного молодыми листьями, и его слуг, похожих на дьяволов, которых позднее встречал в Либерии.

Там было все, чему предстояло сбыться. Будущее можно было предсказать по очертаниям домов, как по линиям на ладони. Обманы и ухищрения уже ждали своего часа, скрытые в хитроватых лицах горожан и во всех потайных местах сада, луга, зарослей кустарника. Здесь, в Берхемстэде, я получил заготовку, с которой отливал потом бесчисленные слепки. Двадцать лет он был свидетелем моего счастья, мук, первой любви, попыток писать, и я не удивлюсь, если множество совпадений, неосознанных поступков, причуд или раздумий приведут меня сюда в конце жизни, чтобы я умер там, где все родилось.

На другом конце длинной Хай — стрит была деревня Нортчерч и старая гостиница «Темное место». Стоит ли удивляться, что это название, которое она наверняка получила после какого-то события, всегда казалось мне зловещим. Завуалированные разговоры взрослых еще больше тревожили мое воображение (я был уверен, что постояльцев там убивают), и это придавало всей деревне что-то жуткое, она была зоной опасности, где страшный сон мог легко обернуться явью. Нас никогда не водили туда гулять, хотя этому, наверное, можно найти и простое объяснение. Зачем, в самом деле, няне нужно было тащиться туда долгие две мили мимо ратуши и новой Кингс — роуд, которую дважды в день заполняли местные

жители, спешившие с портфелями в руках на станцию, мимо магазина игрушек миссис Фигг, где дети непременно бы задержались, мимо зловещих витражей зубного врача, мимо огорода — и все время дышать вредной пылью, летящей с угольных складов и барок?

Был еще один маршрут, по которому нас не водила ни наша старая няня, ни ее помощница, — по тропке бечевника вдоль канала. Если «Темное место» казалось мне зловещим, то канал был просто опасен. Там обитали непонятные, грубые рабочие с почерневшими, как у шахтеров, лицами, их жены, не отличавшиеся от цыганок, и оборванные дети. При виде нас, аккуратно одетых, гуляющих со взрослыми отпрысков приличной семьи, они могли разразиться бранью. Это было страшно. Кроме того, страшно было утонуть. «Берхемстэд газетт» и «Хемел Хемпстэд обзервер» то и дело сообщали, что из канала выловлено тело и ведется расследование. Судя по всему, дети рабочих гибли там действительно часто. Нам говорили, что упавшего в шлюз вытащить невозможно, и спасательные круги, висевшие на всех шлюзовых строениях, порождали в нашем воображении мрачные картины. Я до сих пор боюсь шлюзов, их отвесной, мокрой глубины, и в детстве часто видел во сне, что тону или что меня как магнитом тянет к водяной пропасти. (Когда я вырос, сны эти не прекратились, напротив, они стали преследовать меня и наяву, ноги сами несли меня к берегу пруда или реки, я напоминал пешехода, которого гипнотизирует несущаяся по пустой дороге машина.) 2

Я сижу в коляске на вершине холма, а в ногах у меня лежит мертвая собака. Это мое первое воспоминание. Холм располагался неподалеку от поля, которое позднее стараниями моего богатого дяди Эдварда (звавшегося неизвестно почему Эппи) превратилось в спортивную площадку берхемстэдской школы, — местная география, как и многое другое, напрямую зависела от двух больших семей Гринов (семнадцать Гринов в одном маленьком городке — непропорционально большая часть его населения даже по сегодняшним меркам, а по праздникам Гринов набиралось с четверть сотни). Собака, как мне теперь известно, была мопсом, принадлежавшим моей старшей сестре. Ее переехал... экипаж? — и няня решила, что труп удобнее всего будет доставить домой таким образом. Полагаю, что воспоминание это подлинное: мать рассказывала мне, как спустя много месяцев после той прогулки я упомянул вдруг о «бедной собаке» — это были едва ли не первые сказанные мною слова.

Не берусь утверждать, что я действительно помню из первых лет своей жизни, а что нет. Например, мне кажется, что я помню игрушечный автомобиль, который сейчас стоил бы неплохих денег у Сотби (старинная игрушка, 1908 год!), но, поскольку он есть на фотографии, запечатлевшей меня и моего брата Раймонда, я могу и ошибаться. Мне было тогда около четырех лет. Я в фартучке, со светлыми кудрями, спадающими на шею, непонятно, какого пола, а мой старший брат, мужчина семи лет с солидной стрижкой, смотрит в объектив бесстрашно, как и подобает будущему покорителю Эвереста.

Мы, дети, обычно спускались после чая в гостиную и примерно час — от половины шестого до половины седьмого — играли там с матерью. Помню, какой ужас охватывал меня при мысли, что она будет читать нам рассказ о детях, которых дядя — злодей приказал убить. Убийца пожалел их и бросил в лесу, где они умерли от холода, а потом птицы накрыли их тела листьями. Я ненавидел этот рассказ, потому что боялся расплакаться. Мгновенная смерть от руки убийцы устраивала меня куда больше, чем долгий, мучительно сентиментальный конец. Тогда, да и многие годы потом, мои глаза извергали влагу с необыкновенной легкостью. Стыдно сказать, но я и сегодня порой выхожу из зрительного зала, растроганный очередным хеппи — эндом до глубины души. (В жизни все по — другому. О такой храбрости и такой верности мы можем только мечтать, но, вконец отчаявшись, я хочу в них верить.)

Чем ближе к школе, тем гуще воспоминания. Вот одно из них, очень яркое. Мы с няней (мне пять лет) идем мимо богоделен, которые стоят, прилепившись друг к другу, вдоль Большого канала. Возле одной из них — толпа. Из нее вырывается человек и вбегает в дом. Нам говорят, что он сейчас перережет себе горло, но никто не бежит вслед за ним, все, включая

нас с няней, стоят снаружи. Я так и не узнал, чем все кончилось. «Берхемстэд газетг» наверняка писала об этом случае, но я еще не умел читать[3].

Такие вот разрозненные воспоминания сохранились у меня о первых шести годах, и я не ручаюсь за их последовательность. Они дороги мне, потому что живы — случайные обломки сновидений, после того как весь сон опустился в глубину подсознания, и они молят о помощи, как жертвы кораблекрушения.

Помню пресное печенье из тонко просеянной, бледной пшеничной муки (наподобие облатки), которое имела право есть только моя мать. Оно хранилось в специальной коробке у нее в спальне, и иногда в знак своего расположения она давала мне одно печенье, предварительно окунув его в молоко. Мать связана в моей памяти с сознанием того, что она редко бывает рядом (от чего я вовсе не страдал), и с запахом одеколона. Мне казалось, что если от нее откусить кусочек, то у него будет вкус пшеничного печенья. Время от времени она наносила официальные визиты в детскую, размещавшуюся в здании школы: просторную, безалаберную комнату, окна которой выходили на церковь и старое кладбище. Там стояли шкафы, где хранились наши игрушки, большая деревянная лошадь — качалка со злыми глазами и у каминной решетки — уютное плетеное кресло для няни. По стенам висели книжные полки. Я очень гордился матерью: в ее ведении находился комод, за которым пряталась страшная ведьма, но об этом после. Пшеничное печенье осталось для меня символом ее холодноватой, пуританской красоты. С ее появлением в детской воцарялся абсолютный порядок, и мне казалось, что она знает разницу между хорошим и плохим и одна умеет выбрать хорошее (хотя впоследствии во всех членах своей семьи она стала видеть только хорошее). Если бы кто-то из нас совершил убийство, я уверен, что она обвинила бы в нем жертву. Когда перед смертью мать без боли и страданий впала в кому, а я сидел рядом у ее постели, то ее узкое, белое, царственное лицо напомнило мне лик крестоносца на надгробном памятнике. И я подумал, что таким и должен быть конец той стоящей в лодке высокой, спокойной красавицы в длинной юбке и большой соломенной шляпе, с тонкой, перетянутой поясом талией, которую я видел в семейном альбоме.

К неприятным воспоминаниям той поры принадлежит ночной горшок, полный крови: меня ужасно тошнило, потому что мне только что удалили миндалины и аденоиды. Операция производилась дома. В течение последующих тридцати лет я не выносил вида крови и иногда терял сознание, даже когда при мне просто описывали несчастный случай. Когда начались бомбежки, я с ужасом принялся ожидать появления первых раненых, однако скоро узнал, что страх и необходимость действовать побеждают отвращение.

До того как мне исполнилось шесть лет, наша семья жила в доме, называвшемся Сент — Джон, одном из пансионатов берхемстэдской школы. Мой отец был там учителем. Когда в 1910 году он стал директором, мы переехали в здание школы, но в тринадцать лет я вернулся в Сент — Джон пансионером, и большинство моих воспоминаний о нем (а все они ужасные) относятся к тому времени. До этого перевернувшего мою жизнь события Сент — Джон был для нас всего лишь другой частью сада, расположенной через дорогу, куда мы по особым дням летом отправлялись как за границу, трепета от восторга. Там был летний дом (немыслимая на нашей повседневной стороне вещь), а сад располагался высоко над дорогой, так что нашего дома не было видно из кустов, и мы могли вообразить, что очутились за сотни миль от него. Позднее я сравнил два сада с Англией и Францией, а дорогу, разделявшую их, с Ла — Маншем (хотя никогда не был во Франции): Англия — каждый день, Франция — по праздникам.

На противоположном конце Берхемстэда в большой усадьбе Холл жила семья двоюродных Гринов. Многие ее дети родились в Бразилии, в fazenda[4], неподалеку от Сантоса (кофе, который мы пили, носил то же название), а мать их была немкой — это придавало семье экзотический и слегка зловещий ореол. Детей, как и у нас, было шестеро. Хронологически они располагались между нами, а поскольку наша семья появилась раньше, то казалось, что мой

дядя, который был моложе моего отца, упорно пытается догнать его, как спортсмен на дистанции. Моим самым близким другом из двоюродных Гринов был Тутер, но в, мягко выражаясь, безрассудную поездку по Либерии, описанную мной в «Путешествии без карты», я отправился много лет спустя с его младшей сестрой Барбарой.

Дядины дети были богатыми Гринами, а мы считались умными Гринами. На Рождество мы ходили к ним на елку, и взрослые оставались обедать. Мне делалось неловко, когда наши кузены, водят хоровод вокруг елки, запевали немецкие рождественские песни: я боялся, что меня тоже заставят петь. Все эти затеи были чужими и тевтонскими, потому что для нас сочельник не был праздником. Настоящее Рождество начиналось на следующее утро с хрустящей тяжести чулка, придавившего пальцы на ноге, и легкого, вызванного волнением подташнивания, которое в семье у нас называли «нарциссовой болезнью». Елок нам не ставили, а омела воспринималась как неудачная шутка взрослых. Поцелуи меня не интересовали, и если в комнате, где на стене висела ветка омелы, кроме меня находился еще кто-нибудь, я старался держаться от нее подальше.

В Холле же дети получали подарки в сочельник. Они лежали отдельно, на разных столиках, снабженные карточками с именами. Помню, как горько я был удручен, когда однажды выяснилось, что кожаный бювар, взрослый подарок, оказался на моем столе по ошибке: он предназначался дяде, с которым мы были тезки и который был постоянным секретарем Адмиралтейства и кавалером ордена Бани — мне этот титул казался очень внушительным и несколько не смешным.

Загадочной фигурой был мой дядя Грэм, а его замкнутость, холодная вежливость и очки, свисавшие с широкой черной ленты на жилет, только усиливали это впечатление. Даже сегодня мне трудно вообразить его маленьким мальчиком, которого на ослике возили в кембриджскую школу. Речь его состояла сплошь из «м — м-м» и «э — э-э». Наверное, он чувствовал себя свободно только с государственными чиновниками. Он умер в 1950 году в своем доме в Харстоне девятилетним холостяком. За ним ухаживали его старые сестры Элен и Полли, которым было за восемьдесят. В возрасте восьмидесяти девяти лет он стал хуже видеть и попал под поезд метро, когда ехал на заседание подкомиссии Комитета обороны Британской империи, где должен был обсуждаться вопрос о завозе в Северную Шотландию северных оленей. Он тихо и достойно лежал рядом с контактным рельсом, пока поезд отъезжал назад, и затем выяснилось, что он всего лишь сломал ребро. С трудом его уговорили вернуться в Харстон. Там в возрасте девяти лет он упал с дерева (у которого подрезал ветви) и некоторое время вынужден был пролежать в постели, однако фатальным оказалось падение более заурядное: он зацепился ногой за стул на лужайке, но и после этого прожил долго, хотя уже и не покидая постели. Каждое утро ему читали передовые статьи из «Таймс», и мои старые тетки поняли, что конец близок, только когда они, раздевая его, сняли вместе с носком палец. Он был удивительным человеком, но мы мало его знали. После Ютландского сражения он был изгнан из Адмиралтейства Ллойд Джорджем и прессой Нортклиффа и поступил на службу в министерство вооружения к своему другу Уинстону Черчиллю. Совсем недавно из Национального биографического словаря я узнал о его принадлежности к миру Джеймса Бонда — он был одним из основателей морской разведки. Вот что пишет по этому поводу Карсон: «Встретив в кабинете премьер — министра Черчилля, я сказал ему, что восхищен его знанием людей. “Что вы имеете в виду?” — спросил Ллойд Джордж. “То, что Уинстон поступил очень мудро, доверив человеку, которого вы уволили из Адмиралтейства, более ответственное дело”».

Дядя жил в большой усадьбе в Харстоне (Кембриджшир), и детьми мы проводили там летние каникулы, хотя позднее старшие братья и сестры, увлекавшиеся альпинизмом, стали ездить в Озерный край, а я оставался с матерью и маленьким Хью. (Их восхождения кончились тем, что моя сестра Молли упала с горы и вышла замуж за человека, который это падение сфотографировал. Должно быть, он поразил ее своим хладнокровием.)

Харстон — хаус был красивым зданием, выдержанным — по крайней мере, частично — в стиле эпохи Вильгельма и Марии. Он стоял в парке, где так хорошо было играть в прятки. Тут же были фруктовый сад, ручей и большой пруд с островом посередине. На передней лужайке бил источник. Мы подвешивали к трости чашку и черпали из него очень холодную на вкус, очень чистую воду. Источник имел около двух футов в глубину и ярд в поперечнике. Мой старший брат Раймонд упал туда в возрасте трех лет и на вопрос, как ему удалось выбраться, браво ответил: «Я устремился к берегу». Запах яблок и самшитовой изгороди проникал, казалось, во все уголки сада, а в жаркие дни воздух наполняло жужжание пчел. Помню, как мы хоронили мертвую птицу. Гробом ей служила коробка из-под ночника. Старшие, Герберт, Молли и Раймонд, зарыли ее на так называемой Темной поляне. Моя роль в церемонии была скромной, поскольку я был младше всех и не дорос еще ни до священника, ни до могильщика, ни до певчего.

Когда мы жили в Харстоне, дяди там не бывало. Он перебирался в Лондон, в холостяцкую квартиру на Ганновер — сквер, подальше от нашей шумной семьи. Я так привык считать большой, запущенный сад своим, что пришел в ярость, когда в какое-то лето мать пригласила ко мне погостить другого маленького мальчика, которого звали Харкер, сына школьного доктора. Я относился к нему как к парии. Я не играл с ним и почти не разговаривал. Я не показывал ему, как набирают воду из источника, и прятался от него там, где он не мог меня найти, поэтому он принужден был бесцельно слоняться по саду, скучая до слез. Это был мучительный, нескончаемый август. Больше ко мне никого не приглашали.

Именно в Харстоне я обнаружил, что могу читать: книга называлась «Диксон Бретт, сыщик». Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о моем открытии, и читал украдкой, на чердаке.

Я боялся, должно быть, что если взрослые откроют мой секрет, то они отдадут меня в школу (чей мрачный порог я переступил за несколько недель до того, как мне исполнилось восемь лет), а может быть, меня раздражала скрытая снисходительность, с которой взрослые хвалили меня за то, что другие делали без всякого труда. Во всяком случае, совсем недавно, на церемонии в Эдинбургском университете, доктор Довер Уилсон, шекспировед, подтвердил эти предположения, рассказав, что мои родители часто жаловались ему, что никак не могут приохотить меня к чтению. Я ненавидел книгу, по которой со мной занимались, у нее было дурацкое название, которое теперь кажется мне прелестным: «Чтение без слез». Почему меня должна была интересовать кошка, которая села на окошко? Я не хотел отождествлять себя с кошкой. То ли дело Диксон Бретт, да еще с мальчишкой — помощником, которого, как мне казалось, я вполне мог бы заменить.

Особенно неприятно было мне внимание отца. Неужели взрослому человеку не все равно, что ребенок видел во время прогулки, спрашивал я себя. Похвала была пыткой — я немедленно залезал под ближайший стол. Мне кажется, что в детстве я любил отца только в те минуты, когда он ладонями изображал, как квакает лягушка, или играл в «Улетай, Джек, улетай, Джилл» с кусочком липкого пластыря на пальце, или когда он разрешал мне открыть крышку своих часов. Только когда у меня самого появились дети, я понял, что его интерес ко мне был искренним, и лишь тогда ощутил где-то очень глубоко внутри любовь и сострадание к нему, которые сегодня время от времени напоминают о себе в снах.

Мне кажется, что мои родители очень любили друг друга, хотя, насколько счастливы люди в браке, не знает никто из сторонних наблюдателей. Счастье могут разрушить дети, денежные неурядицы и множество других, никому не ведомых причин. Любовь тоже можно разрушить, но мне кажется, что их любовь выдержала испытание шестью детьми и тяжкими невзгодами. В 1943 году во время моего бесцельного пребывания в Сьерра — Леоне, где я один представлял британскую разведку, отец умер. Я узнал об этом из двух телеграмм, которые мне принесли в обратном порядке: в первой было известие о его смерти, во второй говорилось, что он серьезно болен. И вот над секретными донесениями, которые нужно было расшифровать или зашифровать, меня вдруг охватила тоска и сожаление, я вспомнил, как в

молодости намеренно шокировал его (он был стойким либералом в политике и мягким консерватором в вопросах морали). Я попросил отца Маки, ирландского священника во Фритауне, отслужить по нему мессу. Мне казалось, что если бы мой отец узнал об этой просьбе, он отнесся бы к ней со свойственной ему терпимостью и веселым добродушием, — когда я решил принять католичество, то не услышал от него ни единого возражения. Поэтому я был уверен, что такой способ отплатить за добро отцу бы понравился. Священник попросил у меня мешок риса для нищих прихожан — африканцев, поскольку риса было мало и его выдача была строго ограничена, и я, воспользовавшись своей дружбой с комиссаром полиции, купил его на «черном» рынке.

Наши родители знали кош-то, с кем никогда не встречались мы, дети. Отец знал высокую девушку с тонкой талией, в соломенной шляпе, а мать — молодого, щеголеватого мужчину с ухоженными усами, в смокинге и синем жилете, чья цветная фотография оксфордских времен висела у них в ванной, на стене. Спустя десять лет после его смерти, когда мать сломала бедро, она написала мне, что видела во сне, будто отец не навещает ее в больнице и даже не пишет, и она не понимает почему и грустит, и что теперь его молчание угнетает ее даже наяву. Как ни странно, незадолго до этого я тоже видел его во сне. Мы с матерью ехали на машине и на повороте увидели отца. Он замахал нам, и мы остановились, чтобы он мог нас догнать. Сев на заднее сиденье, он, счастливо улыбаясь, посмотрел на нас, потому что его в то утро выписали из больницы. Я написал матери, что, возможно, в идее чистилища есть смысл, и это был момент высвобождения.

Для меня этот сон был последним из тех, которые много лет не давали мне покоя после его смерти. В них отец всегда был в больнице, вдалеке от жены и детей, хотя иногда ненадолго приезжал домой — молчаливый, настороженный человек, которого так и не вылечили, и ему нужно было опять возвращаться в ссылку. Я так хорошо помню эти сны сегодня, что даже забываю порой, что не было никакой больницы, не было разлуки и что он жил с матерью до самой смерти. В последние годы он страдал диабетом, и возле его тарелки на столе всегда стояли весы, чтобы он не ел больше, чем нужно, и мать сама ежедневно колола ему инсулин. Он не был одинок или несчастлив, но, возможно, сны означают, что я любил его больше, чем знал сам.

Разлучен он был только со своими детьми. Будучи директором школы, он казался нам существом еще более далеким, чем наша гордая мать. На Пасху мы с матерью и няней отправлялись к морю в Литтлхемптон в заранее заказанном купе третьего класса, взяв с собой корзинку с обедом. Отец же благоразумно ехал через несколько дней, один и в купе второго класса. Иногда он проводил зимние каникулы в Египте, Франции или Италии со своим другом мистером Джорджем, священником и, как и он, директором школы. Их отношения были очень формальными, они всю жизнь называли друг друга по фамилии, хотя, конечно, Джордж звучит гораздо проще, чем Грин. Поездки их были скорее познавательными, чем развлекательными, потому что я помню, как отец, упомянув о французском городке, где они когда-то останавливались, сказал своему другу: «Помните, Джордж, мы там еще распили бутылку вина». Однажды в Неаполе с ними произошел интересный случай. Они пили кофе, и какой-то человек, услышав, что они говорят по — английски, спросил, нельзя ли ему присоединиться к ним. Лицо его показалось им знакомым и в то же время каким-то неприятным, но он буквально очаровал их своим остроумием. Через час он ушел, так и не назвавшись и предоставив им расплачиваться — стоит ли говорить, что он пил не кофе, — и еще очень нескоро они поняли, что это был Оскар Уайльд, незадолго до того вышедший из тюрьмы. «Ты только подумай, как ему было одиноко, — всегда говорил отец в заключение, — если он потратил столько времени на двух каких-то учителей». Ему не приходило в голову, что Уайльд платил им за угощение тем единственным, что у него осталось[5].

Отстраненность матери, восхитительное отсутствие у нее собственнического инстинкта по отношению к детям были, по крайней мере отчасти, обусловлены присутствием няни, пожилой особы, появившейся в нашей семье лет за тринадцать до того, как я стал себя

помнить (она вырастила мою сестру), и ее бесчисленных помощниц, которые никогда не задерживались у нас долго: вероятно, няня видела в них угрозу своему будущему. Я помню, как она наклоняется над моей ванной: седые волосы собраны в пучок на затылке, в руках губка. Характер у нее заметно ухудшился перед тем, как она вышла на пенсию, но я ее не боялся, хотя седой пучок производил на меня сильное впечатление.

Когда я был слишком мал еще для поездок в Литтлхемптон и знал о море понаслышке, от старших, то был убежден, что гряда песка на лесном складе у канала и есть морское побережье. Я не находил в нем ничего особенного и оставался равнодушным к восторгам сестер и братьев. Я вообще в то время не любил ездить (чему очень завидую сейчас). Когда мне было шесть лет, родители предложили мне выбирать между тем, чтобы поехать с ними и тремя старшими детьми в Лондон на коронацию Георга V (дядя Грэм достал нам приглашения) или остаться в Берхемстэде с моей незамужней теткой Мод, которая обещала показать мне праздничную процессию там. Более экономный вариант дополнялся правом выбора любой игрушки в игрушечном магазине, и, к радости родителей, я решил остаться дома[6].

Я выбрал настольный крокет и помню, как раздражали меня проволочные ворота, не желавшие ровно стоять на скатерти. В берхемстэдской процессии кто-то, представляя, наверное, герцога Корнуэльского, ехал верхом, в латах, как рыцарь из толстого детского журнала, который лежал у нас в столовой. (Позднее я полюбил «Айвенго» и «Лесных любовников» Мориса Хьюлетта, и первые сочиненные мной истории были из средневековой жизни.) Хозяйкой игрушечного магазина, расположенного на Хай — стрит, была старушка по фамилии Фигг. Спустившись по ступенькам вниз, вы попадали в тесную кабинку, где на полках, помешавшихся одна над другой, лежали длинные, узкие коробки с очень дешевыми тогда солдатиками в британской форме. Им не было числа, и я играл с ними во все войны минувшего столетия: с сипаями и зулусами, с бурами, русскими и французами. От первых шести лет жизни у меня осталось ощущение покоя и радости, мир интересовал меня необычайно, хотя я и расстроил мать, когда, придя впервые в зоопарк, сел на землю и сказал: «Я устал. Отведите меня домой».

Конечно, я знал, что такое ужас, но от возраста это не зависело. Существует разница между ужасом и страхом. От ужаса бежишь, не разбирая дороги, а страх содержит в себе непонятное очарование, между ним и желанием есть тайная связь; ужас — это болезнь, как ненависть.

Я панически боюсь птиц и летучих мышей (тот же ужас перед ними испытывала и моя мать). Даже сегодня меня передергивает от прикосновения перьев, и я помню, как однажды в Хартфорде ко мне в спальню слетела с высокого дерева, росшего на лужайке, летучая мышь. Я видел, как она сначала просунула за занавеску свой поросший мохнатой шерстью нос, чтобы я рассмотрел ее как следует. На следующую ночь мне разрешили оставить окно закрытым, но летучая мышь — я уверен, что та же самая, — спустилась в спальню по дымоходу. Я закрылся с головой одеялом и кричал до тех пор, пока не прибежал мой брат Раймонд и не поймал ее сачком[7].

Еще я страшно боялся, что ночью в доме вспыхнет пожар, и этот страх был связан с рассказами о подвигах героических пожарных, которые глядели на меня с липких цветных оттисков «Газеты для мальчиков». В те дни пожары случались часто, но я так и не увидел ни одного до самой зимы 1940/41 года, когда их было уже слишком много. А когда мне минуло семь лет и угроза школы, или, говоря иначе, другой жизни, придвинулась вплотную, я стал бояться ведьмы, которая подглядывала за мной ночью из-за комода. Много раз я просыпался от кошмаров, в которых она вскакивала мне на спину и вонзала в мои плечи длинные, как у китайского мандарина, ногти, но однажды я во сне вступил с ней в бой, и с тех пор кошмары прекратились.

Я всегда относился к снам, «лучшему из развлечений, которое нам ничего не стоит», очень серьезно. Из них родились два романа и несколько рассказов, а иногда во мне проявлялись способности к тому, что носит длинное название: экстрасенсорное восприятие. В апрельскую ночь, когда затонул «Титаник», я, пятилетний, был в Литтлхемптоне и видел во сне кораблекрушение. Один образ из этого сна я помню вот уже более шестидесяти лет: мужчина в дождевике возле трапа, согнувшийся пополам под ударом гигантской волны. А в 1921 году я писал своему психоаналитику: «Несколько дней назад я видел во сне кораблекрушение. Его потерпел корабль, на котором я плыл по Ирландскому морю. Я не придумал этому значения. Газеты сюда приходят нерегулярно, и о гибели “Рауэна” в Ирландском море я узнал только вчера. Открыв дневник, где я записываю сны, я обнаружил, что видел тот сон в ночь с субботы на воскресенье, а несчастье произошло тогда же, сразу после полуночи». В 1944 году я видел во сне ракету «V-1» за несколько недель до того, как их начали применять. Она летела по небу параллельно земле, из хвоста ее вырывалось пламя, и она имела ту самую форму, которую ей придали создатели. 3

Память похожа на долгую, беспокойную ночь. Когда я пишу, то как бы все время просыпаюсь, помня только обрывки сна, за которые цепляюсь в надежде вытянуть вслед весь сон целиком, но у меня ничего не выходит, и разрозненные куски не соединяются в ясную, законченную картину.

Мне, наверное, не было и шести лет, когда мы провели весь летний день, от ленча до обеда, в саду Сент — Джона (на «английской территории») в надежде увидеть Блерио, совершавшего полет из Лондона в Манчестер, но он так и не появился у нас над головами, и нам было жаль загубленного дня, который мы могли бы провести с большей пользой по ту сторону Ла — Манша, на каникулярной французской земле.

Я ненавижу идею детских праздников. Они грозили тем, что в один прекрасный день мне придется продемонстрировать, чему я научился на уроках танцев, от которых у меня в памяти остались только черные блестящие туфли с туго щелкающими резинками да Кингс — роуд с особняками из красного кирпича, по которой я иду зимним вечером, держась за чью-то руку, чтобы не поскользнуться. Единственный детский праздник, который я более или менее помню, был в Берхемстэде, в каком-то большом доме, куда меня больше никогда не водили. Горничная — китаянка спросила меня, не хочу ли я облегчиться, и я не понял ее, а потом долгое время считал, что это китайское выражение. Много лет спустя я написал рассказ о детском празднике и еще один, об уроках танцев. Возможно, за ними тоже стоят давние воспоминания.

Кажется, я получал от отца шлепки, когда был маленьким, но помню только одно наказание, и в более позднем возрасте — вероятно, потому, что оно побудило во мне сексуальный интерес. Я тогда назвал свою незамужнюю тетку Мод педрилой, и она пожаловалась отцу, который вытащил меня из-под стола и потребовал, чтобы я извинился. Я отбивался, не понимая, чем оскорбил тетку, тем более что вообще никогда ее не обижал, она была мне ближе, чем любая другая из моих многочисленных теток, официально именованных девицами: Элен, обучавшая шведской гимнастике и водившая бурную дружбу с многочисленными подругами; милая, бестолковая Полли, которая жила в Харстоне, рисовала плохие картины, была первой наставницей Гвен Рейврет и писала «серьезные» пьесы (весь конфликт между христианством и язычеством в Нортумбрии уместился у нее в одноактную пьесу с пятьюдесятью действующими лицами); красивая, таинственно — веселая Нора (или попросту Ноно); прогрессистка Алиса, директор школы в Южной Африке, дружившая с генералом Сметсом и Оливией Шрайнер; Мадж, жена моего дяди, хорошенькая дочка ирландского поэта Тодхантера, — она пела «Ах, вслед за цыганами» и носила платья в стиле прерафаэлитов из «Либертиз». И наконец, почти забытая всеми нами сейчас, видимая смутно, как фигура в глубине залитого солнцем сада — нужно прищуриться, чтобы разглядеть ее, — Флоренс, жившая в собственном доме в Харстоне. Грины колонизировали Харстон не менее успешно, чем Берхемстэд или, как я узнал позже, Сент — Китс. Подобно племени

банту, они захватывали все новые и новые земли. Элен, Полли, Алиса и Флоренс были сестрами моего отца, и только Флоренс вышла замуж, но, поскольку у нее не было своих детей, она вернулась в родное племя. Возможно, она была красивой когда-то, но я помню ее худой, чахлой, пожилой дамой с лицом, спрятанным под вуалью, которую она завязывала под подбородком, как королева Александра. Флоренс не была веселой, мечтательной и глупой, как Полли, или решительной и мужеподобной, как Элен или Алиса. И голос у нее был не такой, как у сестер. Казалось, что потеря невинности поставила ее вне семьи; для нас она была миссис Филипс, вдова школьного учителя. А ведь до замужества она была самой романтической из девиц Грин. В восемнадцать лет она влюбилась в молодого моряка, который хотел выйти в отставку и уехать с ней в Австралию, но мудрые родственники воспротивились этому плану, не то Грины колонизировали бы еще и Австралию. Четыре года спустя к ней сватался богатый пивовар, подаривший ей «Жизнь Чарлза Кингсли», но он не выдержал сравнения с молодым моряком, и у него ничего не вышло. Был еще некий Раст, но никто так и не понял, за кем из сестер он ухаживает, и в конце концов Флоренс остановилась на мистере Филипсе, учителе. У него была обезьянка, которая ела апельсины, аккуратно деля их на дольки, драла обои и нежно обнимала Филипса за шею передними лапками. Не знаю, каковы были бы шансы мистера Филипса без обезьянки. И как это ни странно, пожилая тетя Флоренс всегда казалась нам гостьей, чей дом находится где-то очень далеко, дальше, чем Алисин, возможно, в Австралии.

Мод, сестра моей матери, была «бедной родственницей», жившей в маленьком доме возле школы. За ней посылали, если для бриджа не хватало четвертого игрока, а когда я болел, она ездила со мной в Брайтон. Мать раздражал ее нервный тик — каждые несколько секунд Мод зевала или вздыхала, — который наверняка обескураживал и ее потенциальных поклонников. Ничто из происходящего в Берхемстэде не могло укрыться от ее взгляда. Она была ходячей газетой, и это тоже раздражало мать; наверное, она боялась, что как жена директора школы фигурирует в передовицах. Позднее я полюбил Мод именно за это свойство и специально ездил к ней из Лондона попить чаю и узнать свежие берхемстэдские сплетни. Поскольку никто из новых директоров школы не носил фамилию Грин, охота на них была разрешена, и особенно досталось от Мод одному отцовскому преемнику, замешанному в громком альковном скандале, повествуя о котором она едва считала нужным делать вид, что шокирована. Ухо ее постоянно было прижато к земле. Однажды мы с Хью приехали в Берхемстэд без предупреждения и прямо со станции направились к ее дому, до которого ходу было пять минут. Открыв нам дверь, Мод сказала: «Как только я узнала, что вы здесь, то сразу же поставила на огонь чайник».

После того как мне минуло шесть лет, мы переехали в здание школы, но прежде чем меня туда отдали, я стал регулярно воровать смородину и изюм, хранившиеся в больших жестяных коробках из-под печенья, которые стояли в кладовой. Набив левый карман смородиной, а правый изюмом, я прятался в саду и устраивал там пир. Под конец меня всегда немного подташнивало, но из соображений безопасности я вынужден был съесть все подчистую, даже хвостики, к которым прилипала пыль из карманных швов. В еде на скорую руку есть прелесть, не свойственная обычным завтракам, обедам и ужинам, к тому же я гордился тем, что пикники, которые я солнечными летними днями устраивал на крыше Холла, большой дядиной усадьбы, были для всех тайной и я ни разу не попался. От этого дома не осталось и камня, строительная компания поглотила все: лужайки, деревья, конюшни, луга, которые были свидетелями моей первой юношеской влюбленности. Когда я смотрю сегодня «Вишневый сад», мне кажется, что топоры стучат в Холле. Сидя на крыше, мы с моим двоюродным братом Тутером поглощали конфеты, купленные на выдаваемые нам еженедельно карманные деньги (кажется, два пенса), и обсуждали, кем стать: гардемаринами или исследователями Антарктики (дальше разговоров дело не двинулось), взирая со своей божественной и недоступной высоты на ничего не подозревающих людей во дворе и конюшнях. Лучшее всего я помню белые трубчатые конфеты с темной шоколадной начинкой. Они были тоньше самых тонких сигарет, и мне сейчас кажется, что у них был вкус надежды.

Запах, памятный мне с тех пор, — это запах завтрака, который я не любил. Тот же запах издавали мешки с зерном, лежавшие во дворе хлеботорговца, и, как ни странно, таким же был запах пота моих носильщиков — либерийцев в 1935 году. Они спали рядом со мной, и в душной темноте чужой ночи я вдыхал этот запах с удовольствием, он стал запахом Африки.

Глава 2

Школа начиналась сразу же за кабинетом отца, стоило только отдернуть зеленую суконную портьеру. Один коридор вел в старый зал, где мы играли по выходным дням, другой — в комнату старшей горничной и на террасу. Одна из горничных, мисс Вилс, повергла меня в страшное смущение в день, когда мне исполнилось семь лет. Я отнес ей кусок праздничного торта, и она меня поцеловала, так что я вернулся к родным злой и сконфуженный. Тетя Ноно написала по этому поводу стихи в «Школьную газету»: «Я раскис, когда мисс Вилс...», и я испугался, что теперь о поцелуе не забудут никогда — его обессмертило искусство.

Кроме того, в школу, а вернее, в коридор, ведущий в спальни, можно было попасть, миновав темную комнату и бельевого шкаф на лестничной площадке возле детской, но поскольку этим коридором мне разрешалось пользоваться только во время каникул, я помню его пустым — каменным, гулким, безобразным.

Я пошел в школу незадолго до того, как мне исполнилось восемь лет (мой день рождения в октябре, а занятия начинались раньше). Фамилия моего классного наставника была Фрост. Позднее, когда школу реорганизовали, под его начало были отданы все младшие классы, которые разместились в здании, где когда-то жила тетя Мод и где я, замирая от страха, впервые прочел «Дракулу». Память об этом долгом летнем дне имеет солоноватый привкус крови, потому что во время чтения я прикусил губу и из нее пошла кровь. Я никак не мог остановить ее и приготовился к смерти, которая до меня постигла уже стольких жертв графа Дракулы.

У Фроста была репутация учителя, который легко находит общий язык с малышами, но я его побаивался. Он театральным жестом запахивал мантию и с веселым людоедским хохотом ввинчивал мне в щеку кулак, пока не становилось больно.

О первом школьном дне я не помню ничего, кроме того, что меня попросили прочесть отрывок из «Путешествий капитана Кука» — книги, которую читали первоклассники. Сухая проза восемнадцатого века показалась мне очень скучной, и я до сих пор держусь того же мнения. Моим любимым предметом была история, и когда мне было лет двенадцать, наш глуповатый учитель, которого мы все презирали, вместо обычного «удовлетворительно», «старается», «слабо» или чего-нибудь еще в этом лаконичном духе, написал вдруг в моем табеле, что у меня «здатки историка». Я был польщен, хотя и догадывался, что он хочет угодить моему отцу.

Во что и как мы играли, я сейчас сказать не могу, но помню, что однажды я так задразнил своего двоюродного брата Тутера, что он в слезах убежал с игровой площадки, и мне сделалось невыносимо стыдно, потому что в глубине души я уже знал, что я жертва, а не мучитель. Получалось, что я предал те солнечные летние дни, которые мы с Тутером провели на крыше.

Единственным уроком, который я по — настоящему ненавидел, была физкультура. Я инстинктивно избегал ее, как позднее всего другого, к чему у меня нет способностей. Теннис, гольф, танцы, плавание — я не преуспел ни в чем и пишу, наверное, из одного только отчаяния, подобно человеку, который цепляется за неудавшийся брак, чтобы не остаться

совсем одному. Особенно я не любил прыжки и лазанье по канату. В те дни у меня, совсем как у моего персонажа Джонса из «Комедиантов», было плоскостопие, я носил обувь с супинаторами, и преподавательница физкультуры делала мне массаж. Я ежился от щекотки, и стопы ног иногда побаливали, но в общем массаж мне нравился, потому, наверное, что его делала женщина. Мне тогда было лет десять — двенадцать (женщины сменили в школе преподавателей — мужчин, ушедших в армию, когда началась война 1914 года).

Воспоминания об августе 1914 года связаны у меня с дядиным домом в Харстоне. Лужайка перед ним была обнесена высокой стеной, и чтобы выглянуть наружу, приходилось взбираться по мощным корням на деревья, увитые плющом и усыпанные пауками. В те дни мимо усадьбы непрерывно шли войска. Они отдыхали на лугу, и однажды меня послали к ним с корзиной яблок. Помню, как приехал на велосипеде из Кембриджа Герберт и привез нам газету, в которой сообщалось о падении Намюра. Скорость, с какой он был взят, привела нас с братьями в восторг — перед этим мы с неудовольствием следили за длительной осадой Льежа. Затяжная война означала, что когда-нибудь могут призвать и нас. Даже у нас в Берхемстэде случались в те дни драматические события. Отцу сообщили, что учитель немецкого языка шпион, потому что его видели под железнодорожным мостом без шляпы. На Хай — стрит забросали камнями таксу, а дядю Эппи вызвали как-то ночью в полицейский участок и попросили у него автомобиль, чтобы помочь заблокировать Большое северное шоссе, по которому якобы двигалась на Лондон немецкая бронемашина. Вместе с полицейскими в участке находился полковник из корпуса военной подготовки при судебных Иннах. «Пятьсот винтовок, — жаловался он, — и ни одного боевого патрона!» Дядя отнесся к переполоху скептически, но машину дал.

Война действительно окончилась раньше, чем ей понадобились мы, но Герберта она слегка задела: он дослужился до младшего капрала. Так и не добравшись до Франции, он вернулся домой без единой нашивки, и прошло много времени, прежде чем мы узнали, что причиной тому было его доброе сердце. Оказалось, что он сторожил шпиона, ожидавшегося казни в Тауэре (автограф шпиона пополнил его коллекцию), и во время воздушного налета выпустил преступника из камеры, чтобы тот мог понаблюдать за интересным зрелищем. Всерьез же война коснулась нас только дважды: когда погиб мой рыжий двоюродный брат Сент — Джордж и когда наша новая няня получила известие, что ее жених пропал без вести. Няня, Оливия Додж, была пухленькой доброй девушкой с приятным лицом, напоминавшим пенсовую булочку, с двумя черными смородинами вместо глаз (лучшее, на что можно было рассчитывать во время войны), и нам было жаль ее, потому что мы знали от родителей, что надежды почти нет. Однако она продолжала надеяться, и чудо произошло: няня разыскала своего жениха в лондонском госпитале, контуженного и погруженного в глубокую депрессию. Поначалу он не узнавал ее, но она не отчаивалась и в один прекрасный день с гордостью представила обитателям детской очень высокого, темноволосого мужчину с маленькими усиками, который почти все время молчал. Они поженились, переехали в Актон и стали, как я надеюсь, жить — поживать и добра наживать.

Глава 3

1

Мне исполнилось тринадцать лет, и дела шли много хуже, чем я предполагал. Я лежал в постели в спальне Сент — Джона, прислушиваясь к топоту ребят, спешивших на завтрак, и когда наконец стало тихо, попытался разрезать себе ногу перочинным ножом. Но нож был тупым, а нервы у меня слишком слабыми для такой работы.

Я вернулся в дом моего детства, где все стало иным. Сад через дорогу, каникулярная Франция, был закрыт для меня: я не мог больше войти в гостиную, где, сидя в обтянутом

ситцем кресле, мать читала нам вслух и где я плакал над рассказом о детях, которых хоронили птицы. Я и не подозревал, когда был маленьким, что в доме, где мы живем, могут быть такие мрачные комнаты. Теперь я входил туда через боковой вход, как слуга, хотя никакие слуги не потерпели бы той грязи, в которой жили мы[8]. Перед моими глазами встает класс с облупившимися, забрызганными чернилами партами, который почти не грела чугунная печь, раздевалка, где пахло потом и грязной одеждой, каменные ступени, стертые сотнями ног, которые вели в спальню, разделенную тонкими деревянными перегородками — они не давали уединения, и по ночам не было секунды, чтобы кто-нибудь не кашлянул, не скрипнул кроватью, не пукнул, не захрапел. Много лет спустя, когда я прочел проповедь об аде в «Портрете художника» Джойса, я узнал землю, в которой обитал прежде. Цивилизация осталась позади, я попал в страну варварских обычаев и необъяснимой жестокости, страну, где я был чужаком и двурушником, где меня травили. Разве не был мой отец директором? Я был сыном Квислинга в оккупированной стране. Мой брат Раймонд был школьным префектом и старшим по дому, иными словами, одним из коллаборационистов Квислинга. Меня окружали силы сопротивления, но я не мог перейти на их сторону, не предав отца и брата. Мой двоюродный брат Бен, младший префект, из богатых Гринов, не мучился угрызениями совести и тайно работал против Раймонда, снискав себе таким образом большую популярность, и мне не было жаль его, когда во время второй войны с немцами его на основании Постановления 186 посадили в тюрьму, не предъявив никакого обвинения.

Несправедливость породила несправедливость.

Хотя дети могут быть чудовищно жестоки, физическим пыткам меня не подвергали. Если бы я был хорошим спортсменом, то, наверное, стал бы у членов сопротивления своим с молчаливого согласия большинства, но я ненавидел регби едва ли меньше, чем сейчас ненавижу крикет (в шесть лет он был моей любимой игрой). Бег нравился мне потому, что он давал возможность остаться одному на пустынном лугу или в перелеске, а я в то время любил лес. Он был моим естественным убежищем. На широком берхемстедском лугу, прошитом брошенными траншеями корпуса военной подготовки, среди вереска и утесника и дальше, в березовой роще, я мог, драматизируя свое одиночество, представлять себя одним из героев Джона Бьюкена, пробирающимся тайными путями через шотландские болота навстречу врагам.

Я научился хитрить и часто прогуливал уроки. Чтобы не ходить на военную подготовку, я выдумал дополнительные занятия по математике и даже называл фамилию учителя, который якобы со мной занимался. Странно, что никому не пришло в голову это проверить. Пока другие переодевались, я незаметно выскользнул из Сент — Джона с книгой в кармане и поднимался на холм, куда вела узенькая тропинка. Это была очень укромная тропинка, даже парочки не гуляли по ней, потому, наверное, что двоим по ней было не пройти. По одну сторону от нее простиралось возделанное поле, а по другую был овраг, заросший боярышником, с углублением посередине, где я прятался и читал принесенную с собой книгу. Какую? Не помню точно. Тело уже диктовало моему разуму новые желания. «Поэма о Гадесе» сэра Льюиса Морриса казалась мне исполненной удивительной красоты и страсти, и возможно, что я читал вот этот монолог Елены Прекрасной:

Любовь ли привлекла меня к Парису?

Одно могу сказать: он был прекрасен,

Прекрасен, точно солнечное утро,

Какой-то хрупкой, женской красотой,

А руки были сильными, мужскими.

Но сердце я ему не отдала —

Не он пленил меня, а жажда странствий.

В недоуменных мыслях я давно

Рвалась на волю из темницы тесной.

Мой сын, от нелюбимого рожденный,

Не полюбил меня, и я бежала к Парису —

Прочь от нежеланных, ненужных ласк.

Мы в плаванье пустились,

Нырjali в бездну легкие галеры,

И даль звала.

Два дня попутный ветер

Нам полнил парус, а на третье утро

В груди забилося сердце — над волнами

Увидела я башни Илиона[9].

Сегодня эти строчки кажутся претенциозными, но они по-прежнему пахнут убежищем и тайной.

К литературе приходишь окольными путями, и я часто брал с собой в овраг «Паоло и Франческу» Стивена Филлипса, как теперь какой-нибудь мальчик, сбежав с уроков, берет стихотворные пьесы Кристофера Фрая, и представьте, в этой банальной драме тоже были строчки, приближавшиеся к поэзии: «последний, предзакатный стон раненых королей», «бесплодный гулкий стон пустого моря», — а я в боярышнике не привередничал.

Сознание, что меня в любую минуту могут обнаружить, заставляло мое сердце так колотиться, что порой я даже испытывал что-то похожее на счастье. Запах будит во мне воспоминание намного острее, чем звук или даже вид, например, я бессознательно привыкаю к запаху мастики или моющего средства, без которого дом перестает быть домом, если я, отворив входную дверь, вдруг не чувствую его. Поэтому теперь, когда мне за шестьдесят, я помню запах листьев и травы, росшей в том овраге, намного лучше, чем грозные звуки шагов или башмаки какого-нибудь прохожего, ступающие на уровне моих глаз. В 1944 году я, стыдясь себя, заночевал в безопасном Берхемстэде в гостинице «У лебедя», вдалеке от самолетов и дежурств на крыше с Хью. Мне приснился книжный магазин Смита на Хай — стрит, из которого я много лет назад украл «Железнодорожный журнал». Там по — особому пахло, не так, как в других магазинах Смита, и я вновь ощутил этот запах. Во сне я нашел на одной из полок книгу, которую давно искал, и утром, не позавтракав, поспешил в магазин, чтобы проверить, сбудется ли сон. К моему разочарованию, книги там не оказалось, и к тому же я с порога почувствовал, что знакомый запах исчез, а без него магазин был уже не тем. Я справился о владельце, которого хорошо помнил, и мне сказали, что он умер в прошлом году. Наверное, новый хозяин убрал источник запаха, так долго жившего в моем воображении.

В воскресенье нас отпускали гулять — по трое, и мы должны были записывать свои имена,

как в танцевальную программку, на листе бумаги, который вывешивался у двери в раздевалку. Такое деление наверняка имело моральную подоплеку, хотя мне непонятно какую, особенно сейчас, когда я вспоминаю, как ловко изображали «Корону императора» одновременно три девицы в гаванском борделе времен Батисты. Трое — компания не менее подозрительная, чем двое. Впрочем, может быть, наши учителя цинично полагали, что один из троих всегда доносчик?

Когда я учился в первом классе, моим воспитателем в пансионе был мистер Герберт, старый седовласый холостяк. У него была внушительных размеров сестра, которая заботилась о нем намного лучше, чем об учениках. В добавление к мучительной неразберихе моих внутришкольных отношений он приходился мне крестным отцом и совместно с огромным подагрическим полковником Уилсоном, из дома № 11, хранившим ночной горшок в серванте, был связан со мной таинственными узами с момента моего рождения. Мистер Герберт к числу циников не принадлежал. Это был наивный, маленький, белый кролик, которым правила его сестра, смуглая Констанция. Наверное, он очень любил птиц, потому что стал позднее личным секретарем лорда Грея, когда бывший министр доживал свой век в полной слепоте. Мое единственное воспоминание о нем связано с первым днем занятий, когда, исполняя обязанности цензора, мистер Герберт в классе Сент — Джона проверял, какие книги мы привезли с собой из дома. Опасность заключалась в источнике, то есть в доме, где жили ненадежные, нарушившие безбрачие родители. Все, что было в школьной библиотеке, читать позволялось, даже зажигательные белые стихи сэра Льюиса Морриса, из которых я чуть позже узнал о плотской любви Елены Прекрасной и Клеопатры.

Пути цензуры неисповедимы. В пятидесятые годы меня вызвали в Вестминстерское аббатство к кардиналу Гриффину, и я узнал, что Святейшая канцелярия наложила запрет на мой роман «Сила и слава», опубликованный десятью годами раньше, и что кардинал Пиццардо требует, чтобы я его переделал. Разумеется, я, как мне казалось, вежливо отказался, и кардинал Гриффин заметил, что, по его мнению, запрет следует наложить на «Конец романа». «Понятно, что нам с вами, — сказал он, — эротические сцены вреда не принесут, но молодым...» Я ответил, и это было правдой, потому что я забыл о дурном влиянии сэра Льюиса Морриса, что едва ли не первое эротическое волнение я испытал при чтении «Дэвида Копперфилда». На этом наш разговор кончился, но напоследок он вручил мне экземпляр епископского послания, осуждавшего мою книгу, которое читалось во всех церквях его епархии. (К сожалению, мне не пришло тогда в голову попросить его поставить на нем свой автограф.) Позже, когда папа Павел сказал мне, что в числе прочих моих книг он читал «Силу и славу», я ответил, что роман, который он читал, был проклят Святейшей канцелярией. Папа не был так категоричен, как кардинал Пиццардо. «Отдельные сцены в ваших романах всегда будут оскорблять чувства некоторых католиков, — сказал он. — Пусть вас это не волнует». И я без труда следую его совету.

Школьные законы изменить так же трудно, как и законы римской курии, независимо от того, долго ли правит их учредитель. Досмотр домашних книг, производившийся, только когда мы пересекали границу (посылки из дома не вскрывались), прекратился после выхода мистера Герберта на пенсию, но остались другие следы его правления: уборные без замков (каждый, кто торопился совершить утренний обряд, должен был, забежав туда, спрашивать: «Где не занято?» — чтобы узнать, какая кабинка свободна) и воскресные прогулки тройками, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах не оставался в крамольном одиночестве.

Но я не участвовал в сопротивлении, поскольку был сыном Квислинга, и вынужден был напрашиваться в компанию презиравших меня повстанцев, пока после чистилища первых двух семестров отец не позволил мне наконец проводить воскресные дни дома. За это счастье я дорого заплатил своими нервами, испытывая нечто вроде *coitus interruptus*[10] с цивилизованной домашней жизнью всякий раз, когда наступал вечер и мне приходилось идти с другими учениками в школьную церковь, потом взбираться на холм в Сент-Джон и вечером по каменным ступеням в спальню, где однажды я так и не смог, к своему стыду, разрезать

себе колено.

Детское горе невозможно измерить, оно растет день ото дня, потому что ребенок не видит выхода из темного тоннеля. Тринадцать недель семестра вполне могут быть приравнены к тринадцати годам. Неожиданное никогда не происходит. Горе срастается с буднями. Думаю, что человек, отбывающий долгий срок в тюрьме, чувствует то же самое. Не могу вспомнить, что именно в монотонных буднях школьных дней толкнуло меня на этот первый отчаянный шаг: одиночество или сложность отношений со всеми, кто меня окружал, вечная грязь, уборные без замков или тяжелый воздух в спальне (Сент — Джон, кстати, был очень спокойным в сексуальном отношении пансионом, там не было и намека на гомосексуализм. Другое дело — анальный юмор, я ненавижу его с тех самых пор). А может быть, уже тогда я страдал от того, что казалось мне величайшим предательством? Тем не менее эту историю ждал неплохой, хотя и весьма отдаленный конец. 4

Скорее всего окончательно сломила меня беспросветная монотонность существования. Семестр всегда продолжался тринадцать недель с короткими перерывами на каникулы: летом трижды, а в остальные месяцы дважды. Каждые семь дней с ужасающей регулярностью приходило, как Лазарь с его каплей воды, воскресенье. Дни святых не вносили разнообразия в нашу жизнь, и раз в неделю мы участвовали в параде корпуса военной подготовки, который я ненавидел.

После неудачи с ногой я стал искать другие пути спасения. Однажды, накануне начала семестра, я забрался дома в темную кладовую возле шкафа с бельем и, освещенный красным, мефистофельским светом лампочки, выпил фиксаж, полагая, что он ядовит. В другой раз я выпил из голубой бутылочки всю микстуру от сенной лихорадки, и, поскольку в ней было немного кокаина, она, кажется, притупила мое отчаяние. Пучок белладонны, собранной и съеденной на лугу, лишь немного одурманил меня, а еще как-то раз я в конце каникул проглотил двадцать таблеток аспирина и забрался в воду в пустой школьной купальне. (До сих пор помню странное ощущение, будто плыву через вату.)

Я продержался восемь семестров — сто четыре недели однообразия, унижений и душевной боли. Ребенок может быть поразиельно вынослив, но меня, конечно, спасли те передышки, которые я себе устраивал, благословенные часы, проведенные в овраге. И наконец настал день, когда я принял окончательное решение. Я потребовал свободы накануне начала осенних занятий, утром, после завтрака, в столовой нашего дома. В письме, которое я положил на черный дубовый буфет под графин для виски, я сообщил, что вместо Сент — Джона отправляюсь в лес и буду прятаться там до тех пор, пока родители не скажут, что я никогда больше не вернусь в свою тюрьму. Ежевики в ту погожую осень уродилось много, и голодная смерть мне не грозила, к тому же я не зря гордился тем, что знал в лесу каждую тропинку. На сей раз в maquis[11] пошел Квислинг. Но, помнится, я не догадался написать, каким образом родители могли бы сообщить мне о капитуляции.

Идя по длинной, обсаженной каштанами дороге, которая вела от разрушенного замка к холму, где начинался лес, я испытывал восхитительное чувство свободы от прежнего напряжения и нерешительности. Счет шел на минуты, потому что на дороге укрыться было негде и меня могли поймать, но это было частью радости, охватившей меня в этот золотой осенний день с туманом, лежавшим вдоль канала, зарослей водяного кресса у железнодорожного виадука и поросшего травой пруда около замка. Я без приключений дошел до леса и очутился на поле назначенной мной битвы, среди папоротника и можжевельника.

Прошло около двух часов, и сейчас мне интересно было бы знать, что происходило тогда дома, какие велись дебаты, какие предлагались тактические ходы, какое было принято решение. Но рассказать мне об этом некому. Все герои той давней истории, исключая меня, умерли: отец, мать, старшая сестра, даже наша экономка, которая наверняка знала все. Представляю себе, как, несмотря на все предосторожности, слухи ползут вверх, в детскую, и

мысленно вижу, как шушукаются горничные и судомойки или как садовник подходит к окну кухни, чтобы выслушать очередное сообщение. И все это время я был занят только тем, что слонялся по полю битвы от куста к кусту. Решение мое было твердо. Я боролся за свободу. Выходить из создавшегося положения предстояло другим, я был счастлив и в будущем больше ни разу, даже когда в том же лесу играл в русскую рулетку, не испытывал того беспросветного отчаяния детских лет, от которого я бежал сейчас.

Пора было взглянуть на слабый фланг — пологую глинистую тропинку, вдоль которой росли березы и буки. Беспечно выбравшись из-за кустов, я начал спускаться и вдруг на повороте лицом к лицу столкнулся со своей старшей сестрой Молли. Разумеется, я мог бы убежать, но это не вязалось с бесстрашием моего протеста, и я, соблюдая достоинство, вернулся с ней домой. Потерпев тактическое поражение, я одержал стратегическую победу. Я сумел изменить свою жизнь. Впереди лежало новое будущее.

Наверное, я был ближе к нервному срыву, чем мне представляется теперь, потому что все случившееся после окутано густым туманом. О чем со мной говорила по дороге сестра? Кажется, я весь путь хранил гордое молчание. Как меня встретили? Не было никаких упреков, помню только хорошо согретую постель в комнате рядом с родительской спальней, куда детей помещали, если они болели всерьез, а не просто чихали и кашляли. По — моему, отец сидел рядом со мной, на кровати, нежно и серьезно расспрашивая меня обо всем.

Мой браг Раймонд учился тогда в Оксфорде на медицинском факультете, и его спешно вызвали домой на консультацию. Раймонд, гордый тем, что на него возлагают надежды в таком ответственном деле (он был старше меня всего на три года и в Оксфорд поступил недавно), предложил попробовать психоанализ, и отец принял невероятное для 1920 года решение — он согласился.

Глава 5

1

Жизнь переменилась. Мне не нужно было больше ночевать в ненавистной кирпичной казарме, которая колдовским способом подменила дом моего счастливого детства, и я перестал бояться монотонности и однообразия уроков. Я перестал ненавидеть их, как только стал достаточно взрослым, чтобы отстоять свое право не ходить на физкультуру, и вернулся в школу гордым путешественником, плававшим в дальних морях. Я успел повидать загадочные обряды аборигенов, а в познании человеческой природы опередил своих товарищей на много лет — так мне, во всяком случае, казалось. Я уехал в Лондон застенчивым, необщительным подростком, *faouche*[12], а вернулся, как теперь понимаю, тщеславным всезнайкой. Кто из моих одноклассников слышал в 1921 году о Фрейде или Юнге? В то лето я пригласил Уолтера де ла Мара на чай с клубникой в саду у моих родителей. Он читал в Берхемстэде лекции, и я с гордостью изображал из себя друга поэта. Мне было обидно, что отец был невысокого мнения о его поэзии. «В ней нет страсти», — повторял он, и, чтобы переубедить его, я показал ему стихотворение «Покрывало».

Упали руки от бессилья —

Не развести

Надломленные эти крылья.

О, не грусти!

Прислушайся, как сердце славит

Тебя одну!

Устам, чье пламя душу плавит.

Верну весну![13]

Отец вспомнил Браунинга и печально покачал головой. «Это нежность, а не страсть», — сказал он.

Я обнаружил, что с легкостью могу заводить друзей. В реке школьной жизни по — прежнему сталкивались разные течения, но теперь я плыл в основном потоке. Вместо мелких гангстеров Сент — Джона рядом были Эрик Гест (в будущем известный лондонский судья), Клод Кокберн, Питер Квеннел. Мы с Квеннелом добились освобождения от ненавистной военной подготовки с условием, что будем заниматься верховой ездой с дружелюбным, краснолицым преподавателем физкультуры, звавшимся сержант Лаббок, который служил когда-то в кавалерии. Я был и остался пугливым наездником, и позже, когда кончил школу, садился на лошадь только для того, чтобы поугаить себя ее прыжками и избавиться от начавшей одолевать меня тяжелой скуки. Я думал тогда, что это последствие психоанализа, и не подозревал, что она будет преследовать меня всю жизнь. Квеннел всегда ездил на более своенравной лошади, чем я, скакал быстрее, прыгал выше. Иногда, неспешно возвращаясь жарким летним днем домой по длинной дороге, ведущей в лес, пути моего недавнего бегства, мы обгоняли колонну потных, усталых одноклассников, которые шли с военной подготовки, горланя унылую походную песню «Мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь» (как будто ее написала Гертруда Стайн), и я испытывал к ним то презрительное сострадание, с которым, наверное, в прежние времена кавалерия относилась к старушке — пехоте. Я давно уже не езжу верхом, но запах конской сбруи неизменно будит во мне ощущение гордости и опасности.

Когда я перешел в VI класс, занятия тоже изменились. Получив аттестат об общем образовании, я отказался от математики, латинского и греческого, а вместо них основными предметами выбрал французский, историю и английский. Французский, на котором я так и не выучился как следует говорить, превратился в чудесный литературный язык. Его преподавал красивый, смуглый мужчина по фамилии Роус, который, как говорили, был родом из Португалии, из семьи виноторговцев. В петлице он носил зеленую ленточку какого-то португальского ордена, потому что служил в португальских войсках, которые, как свиней, пригнали на массовую бойню Западного фронта. Барственная внешность и безапелляционность суждений, выдававшая в нем военного, отпугивали многих учеников, и Роуса недолюбливали, но мне он нравился, и я усердно посещал французский, где мы, безуспешно жонглируя словами, могли потратить час на перевод двухтрех строчек Мольера или конец сонета Эредиа, и именно во время этих уроков я понял, как важно уметь точно выразиться на родном языке.

От Роуса же я впервые услышал о «Вехах французской словесности» Литтона Стрейчи и, начитавшись его, полюбил недолгой, а возможно и мнимой, любовью Расина. Как хитро Стрейчи вел атаку: «Обычный английский читатель наверняка думает — если он, конечно, думает, что Расин — это скучный, холодный, устаревший автор». Много понимающие о себе юнцы принимали этот вызов без колебаний, и, отправляясь в лес (чтобы погулять, а не улизнуть от крикета, как прежде, потому что по требованию Кеннета Ричмонда меня освободили от всех игр), я вместо «Поэмы о Гадесе» клал в карман «Беренику».

Тогда же я полюбил берхемстэдский пейзаж, и эта любовь не покидала меня никогда. Посредственная политическая баллада Честертона «О первом дожде» трогает меня как

истинная поэзия, потому что в ней есть строчки: «Высоты Чилтерн накрывает буря». Ивинго и Олдбери всегда значили для меня больше, чем Дартмур или йоркширские холмы, а укромные поляны чилтернских высот были мне тем более дороги, что они вплотную подступали к предместьям Метрополии, то есть были почти что заграницей. Их кусты наполовину скрывали сухое русло Ручья Слез, который назывался так потому, что вода появлялась в нем только накануне войны. Он ожил перед войной с бурами и в июле 1914 года. Я видел его в дни мюнхенского кризиса, и он был сухим, но я не смог приехать и поглядеть на него в сентябре 1939 года. Расстояния в этой местности были скорее вертикальными, чем горизонтальными. Зеленый Джек, увитый листьями, плясал всего в нескольких футах от школьной спортивной площадки, а разговорившись однажды в станционном буфете с носильщиком, я узнал, что за пятнадцать лет, которые прошли после смерти его жены, он ни разу не был на Хай — стрит (до нее было футов пятьсот, не больше). Берхемстед ассоциируется у меня со стихотворением Рильке, где за «узкогрудыми» провинциальными домами виднеется «последний в сумерках фонарь, под ним — пастух».

Странно, что в то самое время, когда я читал во время прогулок Расина и «Сезам и Лилии» Рескина, я начал сочинять сентиментальные истории, которые излагал потом плохой ритмической прозой. Одно такое безобразие, называвшееся «Тиканье часов» (о смерти одинокой женщины), напечатал школьный журнал. Я вырезал из него «свои» страницы и отослал их в «Стар», популярную тогда вечернюю газету. Невозможно понять, почему мой рассказ был опубликован, а я получил чек на три гиней. С письмом редактора, дружески поздравившего меня, и с авторским экземпляром газеты я удалился в луга и, усевшись на брошенные мишени для стрельбы, несколько часов кряду читал свой опус можжевельно — папоротниковому океану. Теперь, говорил я себе, я и в самом деле профессиональный писатель, и никогда после эта мысль не внушала мне такого восторга, гордости и уверенности в себе. Потом, даже когда был напечатан мой первый роман, меня все время преследовало ощущение неудачи, сознание, что я написал не то, что задумал. Я в тот летний день я не находил в «Тиканье часов» ни одного изъяна и упивался славой в первый и последний раз в жизни.

Затем я попробовал свои силы в театре, сперва скромно, в очень трагичных и очень brutальных одноактных пьесах, действие которых происходило в Средние века. Там моя невзрачная поэтическая проза расцвела пышным цветом. Я находился под сильным влиянием «Лесных любовников» Хьюлетта, и в моих пьесах можно найти немало копий с Isoult La Desirous^[14]. «Стройная девушка, ростом немного ниже среднего, с водопадом черных волос, грустная, задумчивая девушка, которая говорит мало, вскользь и без затей, с серыми глазами, горящими на бледном лице». Так описывает ее настоятель монастыря Тернового Венца, и этот же образ привлекал меня, когда я читал и перечитывал «Пеллеаса и Мелисанду» Метерлинка.

На смену Хьюлетту пришло новое увлечение. Я посмотрел пьесу лорда Дансейни «Если», где главную роль играл Генри Эйнли (я сам в школьном спектакле играл Поэта в «Потерянном цилиндре» Дансейни и чувствовал себя его собратом), и сразу же начал писать пьесу фантастического содержания, названия которой не помню. В ней, как мне хотелось думать, воспевалась поэтичность, присущая церемонии пятичасового чая. В 1920 году отношение к чаю было все еще серьезное и пили его очень красиво. Серебряный чайник, блюдо для торта на подставке, увенчанное тиарой наподобие китайского замка, два вида хлеба с маслом: черный и белый, тончайшие бутерброды с огурцами и помидорами, пшеничные и ячменные лепешки, булочки и, наконец, кексы: сливовый, с мадерой, с тмином... чай был роскошен, как викторианский обед. В моей пьесе действие (вероятно, из подражания Дансейни, который придерживался похожего маршрута) зачем-то перемещалось из Лондона в Самарканд.

Я послал ее в одну из многих существовавших в 1920 году драматических студий, хотя о Театральном обществе не смел и мечтать, и, к своему восторгу, получил письмо, подписанное женским именем, в котором сообщалось, что моя пьеса принята к постановке.

Через несколько дней я отправился в Лондон, чтобы познакомиться с моим первым постановщиком. Сент — джонский лес, вблизи которого жила моя корреспондентка, в те дни еще был пропитан пряным духом адюльтера: любовники снимали там квартиры для свиданий. Я позвонил. После долгой заминки дверь открыла пышно — розовая дама, державшая обеими руками на груди незапахнутый халат. Из комнаты, которой кончался коридор за спиной дамы, за ней наблюдал голый мужчина, лежащий в двуспальной кровати. Пока я объяснял ей, что приехал обсудить пьесу, она ошарашенно глядела на мою синюю школьную фуражку. Затем она угостила меня жидким чаем, ничем не напоминавшим воспетый мной, и, продолжая меня разглядывать, уклончиво и туманно заговорила о сроках постановки и распределении ролей. Это была наша первая и последняя встреча. Не сомневаюсь, что эта студия вскоре прекратила существование. Возможно, моя пьеса была той соломинкой, за которую цеплялась утопающая дама, и вместе с ней затонули ее мечты о простодушном богаче, готовом оплатить все счета, в том числе и сопут — ствующие (например, от домовладельца и молочника), или расходы, связанные с двуспальной кроватью из комнаты в конце коридора.

Тем не менее пьесу мою хотели ставить. Разочарование пришло медленно и безболезненно: я ждал письма с лондонским штемпелем, а его так и не принесли. Кажется, тогда мне начал сниться сон, не дававший мне потом покоя лет двадцать. Во сне я, хотя и учился в школе, был уже признанным, хорошо зарабатывающим писателем. Почему я должен бояться экзаменов, если в любую минуту вообще могу бросить учиться? Зачем мне университет? Почему меня должно беспокоить будущее и это навязшее в ушах, расплывчатое слово «работа»? Но, проснувшись, я снова шел на занятия, а впереди грозно маячил университетский конкурс, и мне непременно нужно было получить стипендию.

Глава 6

1

Летом 1923 года я с большой неохотой присоединился к своей семье, отдохавшей на норфолкском побережье в Шерингеме. Отец, у которого расходов было более чем достаточно, назначил мне содержание в 250 фунтов (значительную по тем временам сумму), а вскоре после поступления в Оксфорд я смог уменьшить его, поскольку с отличием выдержал конкурс по истории и получил стипендию в пятьдесят фунтов. Стипендия дважды уходила от меня, пока я учился в школе, и я сомневаюсь, что к университетскому конкурсу был готов лучше, чем к школьному, но мы по —прежнему жили в мире влиятельных друзей. Мой тьютор, Кеннет Белл, был старым учеником моего отца, его последователем и заведовал моей школой. Позже я узнал от него, что «историческую» стипендию мне в основном дали за сочинение по английскому. «Ты там цитировал стихотворение, — признался он, — и я сказал, что ты сочинил его сам». Он, конечно, знал, что я пробую писать стихи, но процитированное мной стихотворение принадлежало Эзре Паунду, я знал его наизусть: «За белым оленем, Славой, охотимся мы...» Мало кто из университетских преподавателей читал в 1923 году Паунда, и когда я сказал Кеннету Беллу, что он ошибся, он испугался не на шутку. Тем не менее стипендию должны были кому-нибудь дать, и хорошо, что ее дали мне, а не кому-то еще.

Если бы я в тот год подкопил денег, то поехал бы летом в Париж, а не в Шерингем. Париж привлекал меня тогда больше, чем Афины или Рим. В Париже только что напечатали «Улисса». Побывавшие там рассказывали, что в «Сфинксе» посетителей обслуживают голые официантки, да и в Фоли — Бержер или на концерты Майоля еще не ходили всей семьей, как после. Но я к концу учебного года был по уши в долгах: слишком много было выпито пива, слишком много куплено книг ими были завалены все полки в моей комнате, и они не имели никакого отношения к занятиям. Кредит, предоставляемый книжным магазином «Блэкуэллз»,

казался новичкам вечным (хотя время от времени и им приходилось понемногу платить), а вот спиртное заказывалось через буфет колледжа, и его ставили в счет, о кредите здесь речи не было. Кроме того, я прожил первые два семестра на окраинной Бичкрофт — роуд и часто возвращался туда ночью на такси. Короче, у меня образовался дефицит за будущий семестр, и я мрачно сказал себе: «Придется ехать в Шерингем», — там можно было жить с семьей, не тратя ни пенса.

Младшие дети, Элизабет и Хью, стали слишком большими для няни, и у них появилась гувернантка — молодая женщина лет двадцати девяти — тридцати, то есть на десять лет старше меня. Поначалу я не замечал ее, так как мечтами по — прежнему стремился к кухне и официантке из Оксфорда. Но я заметил, что брат и сестра привязались к ней и она охотно играла с ними в крикет на прибрежном песке. Миг, когда я взглянул на нее осмысленно, был одновременно и *coup de foudre*[15]. Она лежала на песке, и юбка у нее высоко поднялась, оголив бедро. В ту же секунду я влюбился в нее душой и телом. В этой любви не было ничего романтического или надуманного, я не вздыхал по ней, как по официантке из оксфордского паба.

Странно, до чего отчетливо я вижу сейчас пляж, мать, читающую неподалеку, угол, под которым я рассматривал тело моей возлюбленной, и в то же время не помню, как впервые поцеловал ее, не помню сомнений и робости, которые, конечно же, предшествовали поцелую. Для нее, прежде чем она почувствовала опасность, это был всего лишь флирт, который помогал ей скоротать время, скучно тянувшееся в большой берхемстэдской детской, где рядом не было никого, кроме двоих детей. Я же был влюблен отчаянно и жил только ради мгновений, которые проводил с ней. Вскоре моя страсть начала пугать ее. Приехав домой на зимние каникулы, я каждый вечер поднимался в детскую, где она сидела одна, и за каминной решеткой медленно догорал огонь. Родители наверняка слышали мои шаги, так же как я, сидя с ненужной книгой внизу, слышал над головой каждое ее движение. Чтобы избавиться от меня днем, она звала на помощь сестру. Стремясь угодить ей, я брал уроки танцев, и субботними вечерами мы вдвоем отправлялись «на круг» в «Кингз армз». Во время школьных вечеров я из приличия танцевал с какой-нибудь скучной учительской женой, мучаясь тем, что и она танцует с другим. Когда в школе не было занятий, мы под предлогом того, что учим младших вальсу и фокстроту, танцевали в темном классе, где дети не могли видеть наших беглых поцелуев.

Но страх ее усиливался. Она рассказала мне, что помолвлена с человеком, работающим в филиале телеграфной компании на Азорских островах. Они не виделись больше года, и она отвыкла от него, но вскоре он должен был вернуться, чтобы жениться на ней. Говоря о предстоящей свадьбе, она немного поплакала. Я был слишком неопытен и дальше поцелуев не шел. Брак казался мне чем-то очень далеким, к тому же нас разделяла большая разница в возрасте. Конечно, я умолял ее отказаться от данного жениху слова, но ничего не мог предложить взамен. Мы писали друг другу каждую неделю, когда я вернулся в Оксфорд, и ее почерк так отпечатался в моей памяти, что, когда я тридцать с лишним лет спустя получил от нее письмо с просьбой прислать ей билеты на спектакль по моей первой пьесе «Гостиная» и узнал ее почерк на конверте, сердце мое забилося быстрее, и я не сразу понял, что если мне уже за пятьдесят, то ей, как это ни страшно, более шестидесяти.

Теперь я вижу, что в дали Оксфорда моя любовь приняла комичный и эгоистический характер. Так, например, я организовал чтение стихов оксфордских поэтов на тогдашней станции Би — би- си, в котором кроме меня участвовали Гарольд Актон, Джозеф Гордон Маклеод, Т. О. Бичкрофт и А. JT. Раус. (Последний один из всех получил письмо от почитателя. Им оказалась пожилая, прикованная к инвалидному креслу женщина, нашедшая в его стихах «успокоение».) Я читал отрывок из поэмы, для которой втайне предназначал Ньюдигейтскую премию. Темой того года был лорд Байрон, но мои сентиментальные белые стихи не имели никакого отношения к Байрону и посвящались бедной гувернантке, которая честно слушала передачу в Берхемстеде. Я, разумеется, не подумал, каково ей будет

внимать этим виршам в обществе моих родителей, другие стихи я либо обрушивал на нее в письмах, либо продавал в «Уикли Вестминстер», редактируемый приятельницей Кеннета Ричмонда мисс Наоми Ройд — Смит, либо помещал бесплатно в «Оксфорд аутлук», который очень кстати редактировал сам, либо посылал в «Оксфорд кроникл», плативший мне пять шиллингов за штуку, а также в «Декакорд», не плативший ничего. Дома ни у кого не было сомнений относительно предмета моих стихов. Даже звуки шагов над головой в детской были зафиксированы в их строчках, не говоря уже о ревности к тому, за кого она должна была выйти замуж. В сонете, написанном зимой 1924 года, я мрачно описывал свое будущее. Он начинался словами: «Жуя отбивную в тридцатом...» Могли я представить тогда, что к 1930 году буду уже два года счастливо женат? Да, страсть коротка, но не нужно сомневаться из-за этого в ее искренности. Шторм в неглубоком Средиземном море может кончиться через несколько часов, но пока он бушует, в нем гибнут люди. Такой шторм бушевал и в моей душе. Страсть отодвинула на время скуку, надежда была моим щитом, даже если я всего — навсего ждал субботы с танцами «на кругу» в «Кингз армз». Но бывали дни — даже у гувернанток есть выходные, — когда я понимал, что мой старый враг спокойно ждет своего часа. Маниакально — депрессивный психоз, как у деда, — такой диагноз поставили бы мне сегодня, и никакой психоанализ не мог меня вылечить. 2

Я живо помню тот день, когда обнаружил в угловом шкафу нашей с братом общей спальни револьвер. Это было в начале осени 1923 года. Револьвер был маленьким, дамским, с шестью гнездами на барабане, похожими на крошечные рюмочки для яиц. Рядом лежала коробка с пулями. Я не сказал брату о своей находке, потому что, как только увидел револьвер, понял, для чего он мне нужен. (До сих пор не знаю, зачем он понадобился брату, который всего на три года был старше меня и разрешения на хранение оружия, разумеется, не имел. Большая семья все равно что министерство, в котором правый отдел не ведаёт, что творит левый.)

Брат куда-то уехал — скорее всего лазил по горам в Озерном краю, — и до его возвращения револьвер принадлежал мне. Я знал, что с ним делать, потому что — кажется, у Оссендовского — вычитал, как забавлялись офицеры белой армии, томившиеся от безделья в конце Гражданской войны на юге России. Один из них вставлял в барабан револьвера пулю, крутил его не глядя, приставлял дуло к виску и спускал курок. Шанс остаться в живых был немалый — пять к одному.

Чувства забываются быстро. Если бы я манипулировал выдуманным персонажем, то для убедительности заставил бы его, наверное, заколебаться, положить револьвер обратно в шкаф и вновь, со страхом и робостью, достать его оттуда, только когда тоска и скука сделались бы невыносимыми. Но в жизни все обстояло иначе: я не колебался. Сунув револьвер в карман, я зашагал в лес, к ашриджским букам. Какие чувства я испытал между тем, как увидел револьвер, и тем, как очутился на дороге, я не помню. Возможно, скука, владевшая мной, стала невыносимой до того, как я открыл шкаф. Скука была такой же сильной, как любовь, она пережила любовь и, не скрою, слишком часто дает о себе знать даже сегодня. После психоанализа я несколько лет не воспринимал красоты внешнего мира. Глядя на пейзаж, который, по мнению других, был прекрасен, я не испытывал ровным счетом ничего. Я был негативом, который забыли проявить. Рильке писал: «По — моему, психоанализ — слишком мощное, слишком универсальное лекарство. Оно исцеляет от всего разом, но приходит день, когда начинает казаться, что хаос лучше этого опустошительного исцеления».

Увидев револьвер, я подумал, что наконец-то нашел идеальный способ избавиться от скуки — уйти от нее в том или ином смысле. А поскольку идея ухода как спасения была в моем сознании нерасторжимо связана с лесом, я направился именно туда.

За лесом лежала широкая просека, называвшаяся почему-то Холодной бухтой, куда все, в том числе и я, ездили верхом, а за ней начинался ашриджский сад. В нем росли буки, чья

гладкая, оливковая кора была тусклой, как старые пенни, как зыбь прошлогодних листьев на земле. Я выбрал это место не случайно: моему теперешнему замыслу предшествовало множество не слишком решительных попыток там же покончить с собой. Взрослые назвали бы меня неврастеником, но я убежден, что в тех обстоятельствах поступал разумно. Сводить счеты с жизнью в ашриджском саду мне было не внове, я без особого страха вложил пулю в револьвер и, держа его за спиной, повернул барабан.

Думал ли я о своей возлюбленной? Если да, то эти мысли всего лишь помогли мне проглотить лекарство. Несчастливая любовь действительно доводит кое — кого в молодости до самоубийства, но в моем случае это не было самоубийством, независимо от того, что решил бы следователь, — это была игра с вероятностью пять к одному избежать дознания. Рано или поздно я должен был убедиться в том, что угроза полной потери зримого мира может вновь сделать его прекрасным.

Я вложил дуло в правое ухо и спустил курок. Что-то щелкнуло, и, взглянув на барабан, я увидел, что пуля заняла боевое положение. Мои шансы были один к одному. Никогда не забуду охватившего меня ликования, как будто на темной, захлавленной улице вспыхнули вдруг карнавальные огни. Сердце неистово колотилось в грудной клетке, и жизнь была полна бесчисленных возможностей. Это было похоже на первую радостную близость с женщиной, словно под ашриджскими буками я из мальчика превратился в мужчину. Дома я положил револьвер обратно в шкаф.

Этот опыт я повторял несколько раз. Когда прошло довольно много времени, я почувствовал, что вновь нуждаюсь в адреналиновой встряске, и, возвращаясь в Оксфорд, захватил револьвер с собой. Там я всякий раз шел пешком из Хедингтона в Элсфилд — не по теперешней дороге, гладкой и блестящей, как стены общественной уборной, а по тогдашней, пустынной и грязной, закладывал за спину револьвер, крутил барабан, по — воровски быстро совал ствол в ухо и нажимал на курок.

Постепенно лекарство перестало действовать — вместо ликования я теперь испытывал только грубое возбуждение. Это было как разница между любовью и похотью. И чем безвкуснее становились ощущения, тем сильнее мучила меня совесть. Я написал плохое нерифмованное стихотворение (без рифм легче было изъясняться прямо, без литературной двусмысленности), в котором говорилось, как я из желания пощекотать себе нервы мнимой опасностью «спускаю курок заведомо пустого пистолета». Это стихотворение я всегда оставлял на письменном столе, когда отправлялся в Элсфилд.

В случае проигрыша оно свидетельствовало бы в пользу несчастного случая. Мне казалось, что родителям легче будет перенести фатальное позерство, чем самоубийство или весьма эксцентричную правду. (Лишь перестав играть с пистолетом, я написал стихотворение, в котором говорил правду.)

А навсегда я распрощался с этим лекарством во время рождественских каникул 1923 года. Заряжая револьвер в пятый раз, который, как мне казалось, уравнивает мои шансы со смертью, я понял, что не испытываю даже простого волнения. Я положил палец на спусковой крючок так спокойно, будто поднес ко рту таблетку аспирина. И я решил дать шестизарядному револьверу последний, шестой шанс. Я крутанул барабан во второй раз и снова вложил дуло в ухо. Раздался знакомый пустой щелчок. С лекарством было покончено, и когда я шел обратно лесом, а затем по новой дороге мимо развалин замка, мимо личного входа лорда Браунлоу на маленькую, запачканную углем железнодорожную станцию, то обдумывал уже новый замысел. Одна кампания была завершена, но война со скукой продолжалась. Я положил револьвер в угловой шкаф и, спустившись к родителям, мягко и убедительно солгал им, что друг, уехавший в Париж, зовет меня к себе.

С меня было довольно, я не мог больше сидеть вечерами в комнате, слушать знакомые звуки

шагов наверху и знать, что вынужден буду довольствоваться субботними танцами «на кругу» или минутными объятиями в темном классе. Скоро с Азорских островов возвращался мой соперник. Гувернантка должна была выйти за него замуж и уехать из Берхемстеда до начала долгих летних каникул. Наш роман уложился в какие-то полгода, но даже сегодня мне кажется, что он длился всю мою юность. Что до револьвера, то я никогда больше не испытывал желания сыграть в старую игру, но револьвер вошел в мои сны: в них я и сегодня поднимаю его, чтобы защититься от врага, однако пули, вылетающие из ствола, легки и безопасны, как пузыри. Русская рулетка предопределила многие мои поступки. Чем, если не ею, можно объяснить нелепое и опасное путешествие по Либерии, в которое я пустился, не имея ни малейшего представления об Африке? Боязнь скуки, и только она, привела меня в Табаско во время религиозных преследований, в конголезский лепрозорий, в отряды кикуйю во времена восстания мау — мау, в Малайю времен партизанской войны и во Вьетнам, когда там воевали французы. В последних трех местах, где велись «необъявленные войны», страх попасть в засаду делал свое дело несколько не хуже, чем револьвер из углового шкафа, он отгонял скуку, которая идет за мной по пятам всю жизнь.

Глава 9

1

Я согласился бесплатно работать в «Ноттингем джорнал», потому что лондонские газеты не брали новичков. Узкий, каменный, готический вход в редакцию, на котором лежал налет сажи, напоминал портал пьюджиновского собора, и над ним, как горгульи, торчали головы великих английских либералов. Когда я входил дождливым днем в вестибюль, мне на голову капало с носа Гладстона. Внутри был очень древний лифт, где едва помещались двое. Скрипучая веревка поднимала его наверх.

Помощники редактора были славными людьми, но я не помню, чтобы они меня чему-то учили. В середине вечера мы заключали пари на результаты футбольных матчей (ставка — три пенса), выигравший покупал на всех хрустящий картофель и забирал себе сдачу. Мне удивительно везло, и часто около восьми часов я спускался на улицу купить с лотка картофеля и подышать свежим воздухом. Лоточник заворачивал картофель только в «Джорнал». «Ноттингем гардиан» для этой цели не использовался, «Гардиан» была солидной газетой.

То, что я был автором опубликованного сборника стихов, не понравилось в «Азиатик петролеум компани», но придавало мне определенный авторитет в «Джорнал». Составитель еженедельного книжного обозрения, священник — методист, был добрым стариком и просил меня иногда написать рецензию на какую-нибудь книгу. «Джорнал» гордился своими литературными традициями: в газете при всей ее заурядности было что-то богемное. Когда-то в ней работал сэр Джеймс Барри и печатался романист Сесиль Робертс, продолжавший жить и здравствовать в Ноттингеме, в собственном доме. Из-под пера Сесилия Робертса вышел бестселлер «Ножницы», и хотя я не читал его книг, но готов был уважать любого, кто успел напечататься, да еще в «Хайнеманне». Получив высочайшее приглашение на чай, переданное мне через старшего помощника редактора, я радостно поспешил к Робертсу, захватив сборник своих стихов.

Робертсу было тогда немногим больше тридцати, но мне, в двадцать один год, он казался пожилым человеком, наверное потому, что у него были большие залысины, блестящие в свете лампы. Он был элегантно одет и напомнил мне мистера Микобера — у него был монокль на ленте, как у Микобера с иллюстрации Крукшенка. В нем, как и во всем Ноттингеме, чувствовалось что-то глубоко диккенсовское. По одним слухам, он был сыном местного торговца, по другим (которые не отрицал) — незаконным отпрыском герцогского

рода. В отличие от мистера Микобера он отнюдь не испытывал денежных затруднений и сам говорил, что за семь лет, прошедших после того, как он оставил журналистику, заработал столько, что обеспечил себе доход в четыреста фунтов (сейчас это приблизительно равнялось бы двум тысячам). Должно быть, я смотрел на него слишком завистливо — имея четыреста фунтов в год, я мог бы жениться, — ибо он поспешил прибавить, что его ожидает ужасное будущее (мистер Микобер наоборот). «Жить ему осталось недолго, — писал я домой, — прошлым летом в Сицилии он отравился, и доктора до сих пор ломают себе головы — чем. У него начинается паралич, и он нравится мне все больше и больше его — эгоизм уменьшается пропорционально болезни». Сегодня, сорок с лишним лет спустя, он по — прежнему жив, здоров и пишет третий том своей автобиографии.

В первую же неделю я подыскал себе и моей собаке Пэдди дешевую квартиру на мрачной, серой улице с мрачным, серым названием «Улица Всех Святых». Хозяйкой моей была худая, плаксивая вдова. Когда моя будущая жена Вивиан приехала ко мне на праздники, тринадцатилетняя дочь хозяйки спустила сверху катушку, привязанную к нитке, и стала колотить ею по окну моей комнаты, расположенной на первом этаже, чтобы помешать нашему уединению. Обычно мы с Пэдди завтракали консервированным лососем, и Пэдди потом тошнило. По утрам, прежде чем сесть за свой безнадежный роман, я выводил его в парк, под морозящий дождь, и трогал листья, оставлявшие на руках сажу. Однажды я пригласил поужинать работницу с фабрики, но любви в обмен на угощение не дождался. Мне казалось, что после Оксфорда прошло не полгода, а гораздо больше. До Лондона было далеко. Я как бы выпал из жизни и из времени, но не страдал от этого.

Глава 10

6

Я женился и был счастлив. По вечерам я работал в «Таймс», а по утрам — над третьей по счету книгой. Сейчас, когда я пишу, на бумаге остается только скелет романа, а чтобы он оброс мясом, я что-нибудь добавляю или меняю, но в те дни переделывать означало сокращать, сокращать и сокращать. Из-за любви к поэтам — метафизикам я сильно увлекался преувеличенными сравнениями, и моя жена научилась мастерски их вылавливать. Одно, где кто-то или что-то в тихом сассекском пейзаже было уподоблено припавшему к ветке леопарду, дало название всем остальным, и мы с женой ежедневно отстреливали у меня в рукописи по несколько леопардов. Прошло много лет, прежде чем я усмирил этих хищников, но до сих пор слышу иногда их рычание.

Зимним утром 1928 года я лежал в постели с гриппом и слушал, как жена моет на кухне посуду после завтрака. Десятью днями раньше я отправил рукописи романа в «Хайнеманн» и «Бодаи хэд» и приготовился ждать. (В прошлый раз я ждал отказа девять месяцев.) Должен сказать, что неопределенность скрашивает жизнь куда лучше, чем сознание провала. В гостиную зазвонил телефон, и вошедшая ко мне жена сказала: «Тебя просит какой-то Эванс».

«Не знаю я никакого Эванса, — ответная, — скажи, что я болен и не встаю». И тут до меня дошло, что Эванс — это директор «Хайнеманна». Я едва успел выхватить трубку из рук жены.

«Я прочитал ваш роман, — сказал он. — Мы хотим его напечатать. Не могли бы вы заехать ко мне часов в одиннадцать?» В ту же секунду мой грипп прошел.

Ничто в жизни писателя не может сравниться с моментом, когда он впервые слышит, что его книгу собираются издавать. Это миг триумфа, не омраченный никакими сомнениями. Поднимаясь по ступеням элегантного особняка восемнадцатого века на Грейт — Рассел —

стрит, я не подозревал, что впереди у меня десять лет неудач и разочарований.

Чарлз Эванс был замечательным издателем. Лысый, сухощавый, он напоминал семейного адвоката, исхудавшего от забот, но адвоката, принявшего чрезмерную дозу какого-то витамина бодрости. Все, начиная от тыканья пальцем в кнопку звонка и кончая рукопожатиями, он совершал рывками. Наверное, у меня началось осложнение после гриппа, потому что мне казалось, что вслед за мной в кабинет сейчас же должны войти легендарные хайнеманновские авторы: мистер Голсуорси, мистер Джон Мэйсфилд, мистер Моэм, мистер Джордж Мур, мистер Джозеф Хергесхаймер. Я сидел на кончике стула, готовый вскочить при их появлении. Бородатый дух Конрада разгуливал с дождем по крыше.

Я приготовился выслушать обязательное, с моей точки зрения, вступление («Вы понимаете, что первая книга — это риск, мы не можем обещать вам большого гонорара»), но Эванс говорил с начинающими авторами иначе. Как осторожному письму он предпочел прямой телефонный звонок, так и теперь он отбросил обычные в таких случаях оговорки.

«Никакой издатель, — сказал он, — не может гарантировать успеха, и все же мы надеемся...» Он предложил мне для начала двенадцать с половиной процентов потиражных, дал пятьдесят фунтов аванса и посоветовал нанять агента, который ведал бы моими переизданиями... Я вышел на Грейт — Рассел — стрит как в тумане. До сих пор мои мечты не шли дальше письма, в котором роман пообещали бы напечатать, а теперь мой издатель (как гордо звучит — мой издатель!) говорил мне, что верит в успех.

И он оказался прав. Роман разошелся общим тиражом восемь тысяч экземпляров, что менее всего подготовило меня к неудачам, которые последовали потом. Опьяненный успехом, я не поверил бы, что успех — дело медленное, а не скорое и что через десять лет, когда я напишу свой десятый роман, «Сила и слава», издатель рискнет напечатать только три с половиной тысячи экземпляров — всего на тысячу больше начального тиража моего первого романа.

«Человек внутри» — книга очень молодая и очень сентиментальная. Сегодня я не нахожу в ней смысла и не понимаю, почему на ее долю выпал успех. Эта книга — из разряда тех, которые мне никогда особенно не нравились, — написана совершенно чужим мне человеком, и когда мой дядя Эппи (тот самый богач из Бразилии) сказал: «Написать такую книгу мог только Грин», он сильно меня озадачил. Я представил себе своих родителей, бесчисленных теток, дядьев, двоюродных сестер и братьев, которые съезжались на Рождество, и двух неизвестных мне пра — Гринов: священника, измученного сознанием собственной вины, и грустного владельца плантаций, умершего от тропической лихорадки в Сент — Киттсе, — а потом вспомнил свой роман, где речь шла о преследуемом человеке, контрабанде, убийстве и самоубийстве, и задумался. Что же имел в виду дядя Эппи? Я думаю об этом до сих пор. 7

Уйти из «Таймс» было еще труднее, чем туда устроиться. Через несколько месяцев после публикации «Человека внутри», когда я сражался с новым романом — «Имя действия» (хорошим в нем было только название, подсказанное мне Клеменсом Дейном), я стал на путь прямого вымогательства и написал Чарлзу Эвансу письмо. Я говорил, что должен сделать выбор между «Таймс» и работой над романом: совмещать одно с другим я больше не мог. В ответ он написал, что согласен, если я уйду с работы, платить мне пополам с американским издателем шестьсот фунтов в год в течение трех лет при условии, что я напишу три романа. Я с радостью согласился, однако проблема «Таймс» оставалась. Ко мне там прекрасно относились, и я не мог просто написать заявление об уходе и уйти. Я посоветовался с Джоном Андерсоном, и он долго уговаривал меня не делать глупостей. По его словам, у меня было блестящее будущее. Если бы я набрался терпения, то через несколько лет — кто знает? — мог бы возглавить отдел писем. Уже сейчас, когда редактор этого отдела уезжал в отпуск, я имел честь замещать его и общался непосредственно с Джеффри Доусоном — самим главным редактором. Каждый день в четыре часа я приносил ему письма, казавшиеся мне интересными, и мы решали, какое из них сделать ключевым. Эти маленькие совещания

придавали мне вес в собственных глазах, особенно если удавалось отстоять свое мнение.

Когда Андерсон понял, что я твердо намерен уйти, он согласился отпустить меня, но потребовал, чтобы я сначала переговорил с главным редактором, и тут главный редактор сделался неуловим. Я даже заподозрил, что Андерсон предупредил его о моем намерении. Если я просил его принять меня, он неизменно бывал занят, если я заходил к нему в кабинет, тот был пуст или там сидел кто-то важный. Через несколько недель я все-таки поймал его, отчетливо сознавая, что нарушаю правила хорошего тона (как если бы к смокингу надел яркий галстук), потому что к тому времени мне уже стало казаться, что после недоброй памяти времен лорда Нортклиффа младшие редакторы никогда не уходили из «Таймс» добровольно и их никогда не увольняли. Доусон был человек светский. Когда я наконец загнал его в угол, он, опередив меня, сказал, что прекрасно все понимает. Я написал роман — миссис Доусон брала его из библиотеки! — он поздравляет меня с успехом, но почему бы мне не писать в свободное от работы время? «Таймс» не имеет ничего против, заверил меня он. Мистер Чарлз Мариот, искусствовед, жил так многие годы, и даже театральный критик, мистер Чарлз Морган, сумел опубликовать несколько книг. Под занавес Доусон намекнул, что не прочь поручать мне готовить иногда передовицы! И если решение мое непреклонно, я совершаю серьезную, непоправимую ошибку.

Прежде чем я в последний раз переступил порог «Таймс» 31 декабря 1929 года, меня еще вызывал к себе заместитель главного редактора Мюррей Брумвел. Из-за того, вероятно, что у него была внешность пожилого школьного учителя, я всегда превращался в его обществе в косноязычного школьника. Он сказал, что сейчас, конечно, со мной поздно спорить, но он просит меня беречь здоровье и не перенапрягаться. Про себя я усмехнулся, вспомнив, как работал по одиннадцать часов в день, выполняя две работы, и только много позже, осознав, что перенапряжение — это не количество часов, я понял, что он знал, о чем говорил.

И вот я ушел от каминной решетки и от лиц, затененных зелеными козырьками, и, хотя я давно забыл имена тех, кому они принадлежали, я вижу их сегодня так же ясно, как лица старых друзей или женщин, которых любил. Я не раз горько сожалел потом о своем решении. Когда я уходил из «Таймс», то был автором первой, удачной книги. Я думал, что сделался писателем и что мир у моих ног. Но жизнь все поставила на свои места. Это был всего лишь фальстарт.

Глава 11

1

Разница между первой и второй книгой огромна. Первая — это авантюра, вторая — обязанность. Первая — это спринт, когда ты, бездыханный и торжествующий, падаешь, пробежав дистанцию, возле дорожки. Вторую книгу пишет стайер, который не видит финишной ленточки — она натянута в конце жизни. Он должен беречь силы и строить планы. Терпеливость изнуряет сильнее блица, и она не так эффективна.

Да, «Человек внутри» — мой третий роман, но предыдущие два были неуклюжими пробами пера. Я только учился писать и к тому же всерьез размышлял, не попроситься ли мне на службу в «Англо — американский табак» или в Ланкаширское страховое общество. При всех своих длиннотах и сентиментальности, «Человек внутри» — книга, написанная профессионально. После нее я стал стайером.

Иногда я жалею, что в то время, когда начал писать «Имя действия», у меня не было хорошего наставника. Если бы Роберт Льюис Стивенсон был жив^[16] ему было бы всего на десять лет больше, чем сейчас мне, и, наверное, я решился бы послать ему свою первую книгу и попросить совета. Ведь он был чуть ли не членом нашей семьи. Мое детство прошло

на окраинах его мира: к нам приезжал его родственник и биограф Грэм Балфор, моя красивая тетка часто гостила у своих друзей Сиднея Колвина и его жены, бывшей миссис Ситвел, в которую Стивенсон был влюблен в молодости и с которой он познакомился в доме моей двоюродной бабки Мод. Имена в его «Переписке» — это лица в нашем семейном альбоме. В детской у нас стоял принадлежавший когда-то ему бильярд. Уж конечно, «родственник с Самоа» отнесся бы ко мне более сурово, чем мой издатель Чарлз Эванс, полный решимости не замечать вопиющих недостатков в книге своего нового протеже. Прочитав рукопись, он даже послал мне радостную телеграмму. Откуда же мне было знать, что она ужасна? Думаю, что Эванс все понимал, но не хотел разочаровывать других раньше времени. У него была репутация открывателя талантов, и он не мог признать поражение слишком быстро.

Не думаю, чтобы я заблуждался насчет своего романа, и даже телеграмма не помогла. Слишком часто я впадал в уныние, когда во время последнего отпуска перед уходом из «Таймс» бродил со своим надуманным героем по улицам Трира. Почти во всех моих романах есть куски, а порой и целые главы, написав которые я испытывал удовлетворение («хоть это получилось»). Возможно, я ошибался, когда думал так о сцене суда из «Человека внутри», а позднее о путешествии Керри из «Ценой потери», о сцене с любовным треугольником из «Тихого американца», об игре в шахматы из «Нашего человека в Гаване», о диалоге в тюрьме из «Силы и славы», о вторжении мисс Патерсон в булонские главы «Путешествий с моей теткой». По — моему, все книги давали мне (пусть недолгую) иллюзию маленького успеха — кроме «Имени действия». Когда я думаю об этом романе сейчас, то вспоминаю только поверхностные описания улиц Трира, в котором был во время поездки по Германии с Клодом Кокберном (эхо неопубликованного карлистского романа «Эпизод» о юноше — идеалисте, разочаровавшемся в революции), и поразившее меня открытие, что я не могу изложить на бумаге, как полиция преследует героя по ночным трирским улицам, не могу описать азарт. Мне не давалось то, что так естественно выходило у Бьюкена, Хаггарда, Стенли Веймана. Простудировав книгу Перси Лаббока «Искусство повествования», я усвоил, что важно выбрать «точку зрения», но там не говорилось, как передать на письме азарт.

Теперь я вижу, в чем был не прав. Азарт прост: азарт — это ситуация, одно — единственное действие. Его не нужно заворачивать в мысли, сравнения, метафоры. Сравнение — это форма размышления, а азарт возникает в момент, когда размышлять некогда. Чтобы описать действие, нужно подлежащее, глагол и дополнение, может быть, ритм — вот, пожалуй, и все. Прилагательное уже гасит темп и расслабляет восприятие. Мне следовало бы поучиться у Стивенсона: «Все произошло неожиданно: раздался топот ног, рев, крик Алана, звуки ударов, потом кто-то завизжал от боли. Я оглянулся и увидел, как в дверях мистер Шуан скрестил клинки с Аланом». Здесь нет сравнений или метафор, нет даже прилагательного. Но я был слишком озабочен «точкой зрения», чтобы думать о низком, и не понимал, что роман, который я хочу написать, в отличие от стихотворения состоит не из слов, а из темпа, действий, характеров. Конечно, писатель должен выбирать «свои» слова, но он не должен их любить, это разновидность самовлюбленности, роковой болезни, влекущей молодого автора к излишествам Чарлза Моргана и Лоренса Даррелла. Оглядываясь теперь на ту пору моей жизни, я вижу, что мне грозила опасность пойти по их дороге. Спасла меня неудача.

«Человек внутри» разошелся тиражом восемь тысяч экземпляров, а тираж «Имени действия» едва превысил его четверть. Литературная полемика и рецензирование в начале тридцатых годов были неизмеримо ниже теперешних. Воскресные обзоры делал плохой поэт Джералд Гоулд и плохой прозаик Эрик Штраус. Они не создавали писателям репутации, их похвала не вдохновляла, а критика не повергала в прах, и следующий роман, который я начал писать очень скоро, был еще более надуманным и лживым, чем «Имя действия». 2

Уходя из «Таймс», я располагал суммой, которой должно было хватить на три года. Но мы хотели растянуть ее, а кроме того, нам нужен был дом, где я мог бы спокойно работать, и поэтому мы переехали в деревню. Я снял крытый тростником коттедж (георгианскую мечту индустриальных двадцатых) с маленьким садом и огородом на грязноватой окраине Чиппинг

— Кемпдена. Хозяева запросили фунт в неделю (больше мы платить не могли), и мы перевезли туда наше нехитрое имущество, включая только что купленного пекинеса, питавшего неодолимую страсть к помойкам. В коттедже не было электричества, и лампы Аладдина начинали чадить, если мы оставляли их без присмотра хотя бы на минуту. В первый вечер нам было очень страшно: ухала сова, не было привычного городского шума. Когда стемнело, кто-то постучал в заднюю дверь, и, отворив ее, я увидел незнакомую деревенскую женщину, которая стояла на пороге, держа в руках мертвую крысу.

— Что вам нужно? — спросил я.

— Да вот, хотела показать, — ответила она, качнув крысой.

Крыс было множество. Они бегали, пищали и шуршали в тростнике на крыше, пока мы не уговорили человека, у которого был хорек, помочь нам. В своих тесных бриджах, с острым лицом, он и сам был похож на хорька. В деревне поговаривали, что он уморил жену голодом.

Через несколько недель мы перестали бояться, и деревенская жизнь открылась нам во всей своей красе. Мы были счастливы — до тех пор, пока впереди не замаячило будущее. Новая жизнь была полна неизведанных радостей: местных вин, изготовлявшихся из всего, что росло, которые мы покупали в «Волонтёре» у дюжего мистера Ратбоуна (голова от них оставалась ясной, а ноги заплетались), домашнего пива, подававшегося в пивной отчима нашего юного друга Найджела Денниса, и разнообразнейших прогулок на север, юг, запад и восток... (У пекинеса, измученного пятнадцатимильными маршами, начались истерики, и его пришлось усыпить.) Мы ели яблоки из собственного сада и салат из собственного огорода. Раз в неделю помочь мне приходил садовник — цыган по имени Буклэнд. Улиток из огорода он забирал себе на ужин.

Жизнь в деревне ярка и откровенна. Там чувствуешь себя частью общины. Люди разговаривают. В городе на соседней улице может произойти самоубийство, и вы никогда об этом не услышите. Трудно представить, как меня могли занимать бескровные создания из моего нового романа «Ропот в сумерках» — еще одной истории карлистского восстания, на сей раз происходившего в Испании, где я не был. Я по — прежнему не в состоянии был перерезать пуповину, соединявшую меня с той мертворожденной книгой, «Эпизод». Неужели я никогда в минуты просветления не соотносил сентиментальные, картонные фигурки, придуманные мной, с людьми, которых я каждый день встречал на грязной дороге, ведущей от моего дома к гостинице «Живи и радуйся»? Не помню. А возможно, мне следовало — что еще более важно — соотносить их с собой, с воспоминаниями о горе, бунте и бегстве, случившихся в те первые шестнадцать лет, когда формируется писатель?

Если верить моему дяде, то в «Человеке внутри» было что-то гриновское, пусть только безрассудное желание спастись от самого себя, которое заставило одного моего деда сложить с себя сан, а другого отправило умирать в Сент — Киттс. Самопознание, трезвое и лишенное романтики, — вот источник энергии, который питает писателя всю жизнь. Один вольт этой энергии, правильно направленный, вызывает к жизни героя. «Имя действия» и «Ропот в сумерках» абсолютно безжизненны, потому что в них нет ничего от меня. Я дал зарок не писать типичных автобиографических романов, с которых начинают многие, но меня занесло слишком далеко в противоположном направлении. Я полностью отделил себя от романа. Единственное, что просматривается за тяжеловесными пассажами «Ропота», — это искаженная тень Конрада. Только однажды, в самом начале, в книге затеплилось подобие жизни, когда полковник притворяется священником и выслушивает исповедь своего солдата, умирающего от ран. Это был черновик сцены, которая через десять лет удалась мне в «Силе и славе». 4

Три года гарантированной беззаботности были растрочены впустую. Благодаря Питеру Флемингу я теперь каждые две недели рецензировал книги в «Спектейторе», но мой долг

издателям был огромен. Однажды мне не хватило двадцати пяти фунтов на уплату подоходного налога, и я был вынужден взять в долг даже эти деньги. От долгов меня спасла только война, начавшаяся десять лет спустя. Если в «Человеке внутри» и были какие-то задатки, то они оказались задатками несработавшей шутихи, пущенной в ночь Гая Фокса. И неважно, что рецензия, открывшая мне глаза на собственную глупость, принадлежала Фрэнку Суиннертону, которого я мало уважал. Я увидел, что он прав. Мне ничего не оставалось делать, кроме как разобрать громоздкие леса, возведенные по кальке гениального предшественника, списать их на молодость и начать все сначала. Я поклялся, что больше никогда в жизни не притронусь к книгам Конрада, и держался данного слова четверть века, пока на колесном пароходе, идущем вверх по притоку Конго из одного лепрозория в другой, мне в руки не попало «Сердце тьмы». Голый, я вернулся к исходной точке и, вероятно, поэтому решил написать детектив, считая, что его написать легко, — ошибка тем более глупая, что еще на примере «Имени действия» я убедился в том, как трудно физическое действие превратить в простое и захватывающее чтение.

Я писал новую книгу под звуки «Пасифик 231» Онеггера, несущиеся с граммофона, и чувствовал, что дело плохо. Мне всегда нелегко перечитывать старые книги, но заставить себя открыть «Поезд идет в Стамбул» я просто не могу. Его страницы насквозь пропитаны страхами того времени и ощущением неудачи. Неудачными были не только два предыдущих романа: я потратил много времени и сил на биографию лорда Рочестера, которую «Хайнеманн» без колебаний отклонил, а я был слишком неуверен в себе, чтобы послать ее куда — тоеще. К тому времени, как закончил «Поезд идет в Стамбул», беззаботные дни прошли безвозвратно. Даже в снах все было отвратительно. Однажды мне приснилось, что меня посадили на пять лет в тюрьму, и я проснулся с тоскливой мыслью, что к тому времени, когда мы снова будем вместе, моей жене перевалит за тридцать. Сон стал основой моего следующего романа — П на — «Это поле боя», о чем я тогда не знал, потому что, еще не кончив «Поезда», принялся сочинять новую историю — о спиритизме и кровосмесительной любви, героями которой были мошенник-спирит и его сестра. Сестра двигалась по кругам развращающего ее социального ада, не замечая, что ее возлюбленный брат — жулик. Судя по всему, идея кровосмешения осела в моем подсознании: через четыре года она всплыла в романе «Меня создала Англия».

Действие должно было разворачиваться в Ноттингеме и Лондоне. Эти два города были для меня символами реального мира: я покончил с испанскими замками и, вероятно, принял это решение не на уровне сознания, а глубже, потому что увидел сон, который немного меня приободрил. Мне приснилось, что я получаю от «Хайнеманна» сигнальный экземпляр новой книги. Она напечатана на плохой бумаге, плохо переплетена, у нее плохое название. На обложке указана смехотворная цена — девять пенсов. Издатели явно не верят в нее, но, прочитав первое предложение, я сразу же понимаю, что передо мной звучная, крепкая проза, и с грустью думаю, что такую невзрачную книгу никто не станет покупать и тем более рецензировать.

Четвертого августа я записал в дневнике: «Отослал рукопись в “Хайнеманн”. Положение ужасное. Хотя остаток подоходного налога можно не платить до пятнадцатого сентября, тридцать фунтов все равно взять негде, и неизвестно, будут ли у меня деньги и работа в следующем месяце». В конце августа истек срок моего контракта с «Хайнеманном» и «Даблдей». Две недели от «Хайнеманна» не было ответа, и я писал: «Ожидание становится невыносимым».] Когда же наконец долгожданное письмо пришло, я вскрыл его трясущимися руками прямо на лестнице. Невозможно передать, как на меня подействовали несколько ободряющих слов. Мое финансовое положение не менялось: убытки от прежних книг должны были поглотить небольшой гипотетический доход от «Поезда», но у меня вновь появилась надежда, и в тот же день я записал в дневник план нового романа, потеснившего спиритический: «Большая, подробная картина города. Связующее звено — приговор человеку, убитому полицейского. Сделать его казнь политическим событием? Сышки

прочесывают город и слушают...»

Зловещим утром я поехал в Лондон, чтобы обсудить будущее с Чарлзом Эвансом и представительницей «Даблдей», моего американского издательства. Ею оказалась Мэри Притчет, с которой мы позднее очень подружились, и она стала моим агентом в Америке, но в тот день она готова была разорвать меня на куски. Впрочем, и я не питал к ее фирме нежных чувств. Нельсон Даблдей, высокий мужчина с хриплым голосом, служивший когда-то в «Смелых наездниках Рузвельта» и разбиравшийся в лошадях лучше, чем в книгах, имел обыкновение, приезжая раз в год в Лондон, рассылать своим авторам телеграммы с требованием явиться в назначенный час в «Хайнеманн». Первый раз я получил такую телеграмму годом раньше. Поездка в Лондон пробивала брешь в моем бюджете, но я решил ехать, потому что как-никак жил на его деньги. «Садитесь, — сказал он, глядя на меня с мрачной неприязнью, как будто я был хилым жеребцом, которого ему навязал ловкий барышник. Достав платок величиной с себя, он несколько раз высморкался и пояснил: — Простудился в дороге». Больше я от него ничего не услышал и следующим поездом вернулся в Чиппинг — Кемпден.

Беседа с Эвансом и Мэри Притчет шла своим мучительным чередом. Перед ними лежали счета, удостоверяющие убытки от последних двух книг, и рядом рукопись «Поезда», третьей книги, написанной по трехгодичному контракту, срок которого сейчас истекал. За следующий роман аванса мне не полагалось. Эванс и Мэри Притчет спорили между собой, а я беспомощно переводил взгляд с одного на другую. По счастью, все кончилось довольно быстро. Эванс сказал, что «Хайнеманн» согласен платить мне свои триста фунтов еще год, а «Даблдей» — не больше двух месяцев, в течение которых они прочтут новую рукопись. Но и за эти деньги они ставили мне условия: я должен был написать еще два романа, причем издательства не собирались платить мне потиражные, пока не будут возмещены все предыдущие убытки. Только на обратном пути, в поезде, я сообразил, что через год мне, возможно, придется написать бесплатно два романа.

События приняли иронический оборот, убедив меня в том, что всякий успех недолог. «Поезд идет в Стамбул» попал в списки Книжного общества (в те дни это гарантировало тираж десять тысяч экземпляров), и «Даблдей» согласился платить мне еще год. Казалось, с моими бедами было покончено, как вдруг: «Господи! Не знаю, смеяться или плакать. Получил телеграмму от Чарлза Эванса с просьбой позвонить немедленно. Звоню из телефонной будки на площади. Дж. Б. Пристли грозит подать на “Хайнеманна” в суд за клевету, если напечатают “Поезд”. (Позднее я узнал, что он прочитал экземпляр, посланный на рецензию в “Ивнинг стэндард”.) Он считает, что Сэвори я списал с него». Сэвори, один из персонажей «Поезда», — известный писатель. По пути в Стамбул он дает интервью ехидной журналистке, которая хочет выставить его дураком. Я имел в виду политического деятеля Дж. Г. Томаса, когда придал Сэвори простонародный выговор, и Болдуина, когда вложил ему в руку трубку: в конце концов, всякий популярный писатель — немного политик. Я никогда не видел мистера Пристли и не читал «Добрых друзей», принесших ему за три года до описываемых событий огромную популярность.

Мое предложение судиться было отмечено, и Эванс недвусмысленно дал мне понять, что если «Хайнеманн» вынужден будет расстаться с автором, то он предпочтет расстаться со мной. Тринадцать тысяч экземпляров книги были сверстаны и переплетены. Необходимо было заново верстать некоторые страницы — частично за мой счет. Изменения я должен был внести немедленно, варианты исключались.

Затем Эванс прямо по телефону перечислил, что надо сделать: убрать слова «современный Диккенс» и вообще все упоминания о Диккенсе, поскольку они-то и ранили мистера Пристли. Велел позвонить снова в полчетвертого. Если бы все мои надежды не были связаны с этой книгой, я бы посмеялся.

Позвонил в полчетвертого. Вычеркнули Диккенса, трубку, «тупые пальцы». Спор по поводу фразы «тираж — сто тысяч и двести действующих лиц». Вместо нее, не выходя из будки, вставил новую. Изменили кусок диалога, который начинается словами: «Вы верите в Диккенса, Чосера, Чарлза Рида и прочих?» Вместо Диккенса идет Шекспир, вместо «Диккенс будет жить» — «они будут жить». Казалось, что мистер Пристли обиделся не за себя, а за Диккенса.

Жена ждала ребенка, на моем счету в банке было двадцать фунтов, и я вновь, как в то лето, когда окончил Оксфорд, стал подумывать о Востоке. Я написал письмо старому оксфордскому другу и спросил, не найдется ли для меня работа на английском отделении Бангкокского университета. Утвердительный ответ пришел чуть позже того, когда меня еще можно было спасти от писательской карьеры. Недолгий успех, который принес мне «Поезд», вернул меня в загон, как прирученную овцу. (Насколько он был недолгим, можно судить по тому, что, как я уже упоминал, начальный тираж моего первого романа в 1929 году был две с половиной тысячи экземпляров, а десятого романа, «Сила и слава», в 1940 году — три с половиной тысячи.)

Через двадцать лет я съездил к своему другу в Сиам, как он тогда назывался. Друг по — прежнему преподавал в университете, и мы выкурили несколько трубок опиума в маленькой комнате, которую он с помощью двух матрацев, статуи Будды и лакированного подноса превратил в fumerie[17]. В Оксфорде он сочинял замечательные стихи, но потом бросил писать. В отличие от меня он принял идею неудачи, познал тихое счастье избавления от тщеславия и с иронией следил за теми своими современниками, которые достигли так называемого успеха.

Я доказывал ему, что писательский успех недолог, что успех — это грядущая неудача. К тому же он не бывает окончательным. Писатель не может, как бизнесмен, довольствоваться большими заработками, хотя иной раз он и хвастает ими, как нувориш. «Премьера “Новой Магдалины” прошла с невероятным успехом. Мне пришлось выходить на сцену дважды: в середине и в конце. Актеры играли изумительно, и на втором представлении публика так же неистовствовала, как и на первом. Это триумф. Феррари переводит ее на итальянский, в Париже ее хотят ставить сразу два театра, предлагают контракт с Венной». Где теперь «Новая Магдалина» и кто помнит ее автора?

У писателя то же оправдание, что и у хвастуна. Он знает, насколько призрачен его успех, и криком пытается задушить страх.

В его книгах есть недостатки, видимые ему одному. Злые критики пропускают их, они бьют по тому очевидному, что можно исправить. Но писатель, как опытный строитель, знает, в какой балке завелась гниль. И как редко у него хватает храбрости разобрать построенный дом и начать все заново!

Запах опиума слаще запаха успеха. В тот долгий вечер мы, передавая друг другу трубку, были счастливы. Вспыхивали язычки пламени, по толстому, самодовольному лицу Будды двигались тени, и, весело вспоминая прошлое, мы искали причины наших несхожих неудач, не испытывая ни сожаления, ни стыда. Разве сам Будда не был неудачником? Голодные, больные, увечные собаки лежали вокруг его храма, а мимо них гордо шествовали бритоголовые, в желтых одеждах жрецы.

— Еще трубку? Помнишь то ужасное стихотворение, которое ты написал в Оксфорде — об отбивной?

Конечно, помню, я тогда был влюблен.

— За это многое можно простить, — сказал он, — в том возрасте.

Глава 1 Граница

Через реку

Граница — это больше, чем таможня, чиновник, проверяющий ваш паспорт, солдат с ружьем. Там, по другую сторону границы, вас ожидает новый мир, и с жизнью сразу что-то происходит, как только вам проштемпелюют паспорт и вы, ошеломленный и безгласный, оказываетесь среди менял. Тот, кто отправился на поиски красот природы, воображает себе дивные леса и сказочные горы; романтик думает, что женщины в чужом краю красивей и сговорчивей, чем дома; несчастный верит в новый ад, а тот, кто путешествует в надежде встретить смерть, ждет, что она его настигнет на чужбине. Здесь, на границе, все как будто начинается сначала, она сродни чистосердечной исповеди — счастливый, краткий миг душевного покоя между двумя грехопадениями. О смерти тех, кто умер на границе, обычно говорят «счастливая кончина».

Лавки менял составляют в Ларедо целую улицу, сбегаящую вдоль холма к мосту, принадлежащему двум странам; по другую его сторону, в Мексике, они карабкаются вверх на холм точно такой же улицей, только немного более грязной. Что побуждает путешественника остановиться перед тем или иным менялой? Одни и те же цены были выведены мелом на всех лавчонках, спускавшихся к небыстрым бурым водам реки: «1 доллар — 3 песо 50 сентаво». Турист, должно быть, выбирает по лицу, но тут и лица были одинаковы — лица метисов.

Я думал, что подсяду здесь в попутную машину, что в Мексику течет поток автомобилей с американскими туристами, но их тут не было совсем. Казалось, жизнь давала себя знать лишь в виде громоздившейся у волнореза кучи пустых жестянок и истоптанных ботинок, из-за чего вы сами ощущали себя чем-то вроде наносной породы. В Сан — Антонио меня уверили, что в Ларедо легко найти машину и перебраться на другую сторону; таможенный чиновник, чья будка находилась рядом с въездом на мост, сказал, что это правда, он знает совершенно точно, что из Сан — Антонио поедет мексиканец «на роскошной немецкой машине», и он, конечно, подвезет меня до Мехико за два — три доллара. И потому я ждал и ждал, а мексиканец все не появлялся, не думаю, что он вообще существовал на свете, хотя не знаю, кому я здесь был нужен, — ведь это мое прозябание не приносило денег никому из местных.

Каждые полчаса я спускался к реке и глядел на Мексику. Казалось, там все было так же, как и здесь: лавки менял, взбегавшие на холм под жарким солнцем, кучка людей, собравшихся у въезда на мост, намытые водой наносы у другого волнолома. Наверное, эти люди говорили: «Из Монтеррея в Нью — Йорк едет американец в роскошной немецкой машине, он и подбросит вас за два — три доллара», а кто-то наподобие меня стоял в Рио — Гранде,

смотрел на лавки с нашей стороны и думал: «Там, за мостом, лежат Соединенные Штаты» — и поджидал несуществующего путешественника. С таким же чувством человек смотрит на собственное отражение в зеркале.

Я говорил себе, что за мостом находятся великие надгробия истории: Чичен — Итца, Митла, Паленке — все то, чем Мексика притягивает археологов; яркие пледы, шляпы — сомбреро, серебро из Таско, манящие туристов; реликвии Кортеса и конкистадоров, которые так интересны для историков; фрески Ороско и Риверы ждут искусствоведов, а бизнесменов привлекают нефтяные скважины Тампико, серебряные рудники Пачука, кофейные плантации Чьяпас, банановые заросли Табаско. Все говорят, что в Мексике за доллар можно купить много всякой всячины.

Я вернулся на площадь и купил газету, но в этот день мне не везло ни в чем: весь номер отдан был на откуп старшекласникам, которых пригласили быть редакторами и корреспондентами, они заполнили колонки городскими пересудами и толками, подслушанными в школьных коридорах. Вы полагаете, что это были нетерпеливые, настроенные радикально юноши и девушки? О нет, нимало. Банальные суждения старших — нередко плод открытий младших. Женева... демократия... народный фронт... угроза фашизма. Все это можно было узнать и в Альберт — Холле, а новостей о Мексике здесь было несравненно меньше, чем в нью — йоркских изданиях. Там говорилось о сражении на границе возле Браунсвилла, какой-то человек, которого все называли генерал Родригес, собрал вокруг себя испытывавших недовольство фермеров, чьи земли отошли к индейцам вследствие аграрной реформы, и организовал фашистский отряд «золоторубашечников». Нью — йоркские газеты отправили туда своих корреспондентов, один из них в такси проехал от Браунсвилла до Матамороса и обратно и сообщил, что не видал сражений, но наблюдал волнения. Он написал, что как-то раз заметил за стеклом суровое и жесткое лицо — дело было в пустыне, — за беспорядками следил какой-то незнакомец. В Нью — Йорке мне сказали, что у Родригеса стоит на границе с Техасом сорок тысяч хорошо обученных повстанцев и, если я не увижу Родригеса, я не увижу ничего.

Вы быстро привыкаете к тому, что в Мексике вас всюду ждут разочарования. Так, в городе, который показался вам прекрасным в сумерки, при свете дня видна разруха, дорога неожиданно кончается, погонщик мулов так и не приходит, великий человек ведет себя непостижимо молчаливо при знакомстве, и вас так утомляет долгая дорога, что, наконец добравшись до прославленных руин, вы не способны ими любоваться. Так было и с Родригесом — до встречи дело не дошло.

Преыдущую ночь я провел в Сан — Антонио. Это Техас, но Техас, который отчасти Мексика, отчасти — Уилл Роджерс. Когда я ехал в поезде из Нового Орлеана, мой попутчик — техасец все время говорил голосом Уилла Роджерса: тягучий говорок коммивояжера и благодушная расчетливость провинциала. Всю ночь он сыпал поговорками, исполненными ложной доброты и плоской мудрости — той пошлой философии, которую охотно поставляет «Метро — голдуин». Ему вторил метис в яркой рубашке в крапинку с непроницаемым лицом, не обращавший ни малейшего внимания на собеседника и отвечавший ему невпопад, почти не отрываясь от карманной фляги.

Коричневые, выпуклые пустоши тянулись по обеим сторонам вагона, на горизонте вспыхивала нефть, словно огонь на жертвеннике пирамиды, а рядом Старый Свет и Новый Свет вели беседу. Общение — то единственное, что неизменно предлагает вам дорога. В пути так много утомительного, что людям нужно выговориться, они и выговариваются в поезде, у пламени костра, на пароходе, дождливым днем под пальмами гостиничного дворика. Необходимо как-то убить время, а это можно сделать только с помощью себе подобных. Словно герои Чехова, они теряют всяческую сдержанность — порой вы можете услышать самые интимные признания. И возникает впечатление, что в мире обитают только чудаки и представители диковинных профессий, чья удивительная глупость сочетается с

немыслимым терпением, как видно, для того, чтоб соблюдалось равновесие.

Биография

Пока техасец разглагольствовал на весь вагон, сосед мой по скамье глядел не отрываясь на дорогу. Его болезненное, тонкое лицо хранило выражение непреходящей грусти. В нем было что-то от познавшего религиозные сомнения викторианца, что-то от Клафа, но без бакенбард, и руки у него были натруженные, а не холеные, праздные руки писателя или богослова. Он рассказал мне, что проехал восемь тысяч миль, сделал огромный круг по всем Соединенным Штатам, теперь ему остался маленький кружок, чтобы доехать до дому, который расположен милях в ста от Сан — Франциско. Это его первый отпуск за три года, но он без сожаления вернется на работу.

Он говорил мягко, с трудом подыскивая нужные слова, печально глядя на техасскую равнину. Должно быть, он почти ни с кем не говорил последние три года. Он жил один, работал тоже один и возвращается теперь, чтобы пробыть еще три года в одиночестве. Я полюбопытствовал, что это за работа, из-за которой он живет отшельником вблизи от Сан — Франциско. «Да понимаете, — ответил он, — я не могу уйти ни днем, ни ночью, а батраку нельзя довериться. Птицы невероятно чуткие, если поблизости чужой, они так нервничают, что заболевают».

Оказалось, что он разводит индюшек, живет один на птицеферме среди одиннадцати сотен птиц. Они пасутся на лугу, а он живет в автоприцепе и спит, когда позволяют птицы: приходится гоняться целый день, пока они уgomонятся на закате. А под подушку он кладет ружье; собаки предупреждают его лаем, если подкрадывается вор или одичавший пес. Порой он подымается раза четыре за ночь, не зная, какая встреча предстоит ему во тьме, кто его ждет: вооруженный хобо или собака, притаившаяся под кустом. На первом, даже на втором году жизни на ферме он спал довольно плохо, но ничего, быть может, за три года он накопит денег и откроет собственное дело, которое позволит ему жить в свое удовольствие, видеться с людьми, обзавестись семьей — какая девушка захочет жить в прицепе, среди тысячи индюшек?

— Что же это за дело?

Он оторвал свой грустный, отрешенный взор от сумрачной равнины и горящей нефти:

— Буду разводить кур, это надежней.

Сан — Антонио

В дневное время Сан — Антонио гораздо больше мексиканский, чем американский город, но все же это Мексика не настоящая (тут слишком чисто), а с глянцевиной видовой открытки. В местном соборе под непрерывный стрекот вентиляторов, висевших над фигурами святых, чей нежный цвет и гипсовые жесты должны были запечатлеть возвышенность и хрупкость чувств, священник по — испански читал проповедь. Собравшаяся паства походила на картинки, которые встречаются в альбомах раннего викторианства: черное кружево мантилий, живые, узкие, заостренные лица словно на иллюстрациях из «Книги красоты» леди Блессингтон. Река Сан — Антонио, украшенная маленькими водопадами и зарослями папоротников, хитро

петляла через город, точно виньетка на открытке, пришедшей в Валентинов день, был ли ее изгиб похож на контур сердца? Ни дать, ни взять страничка из домашнего альбома:

Но я в камелии ценю не сладкий аромат,

А непорочный белый цвет, что радует мой взгляд.

От вида Сан — Антонио при свете солнца являлось ощущение, что внешний мир сюда чудесным образом не вхож. Под чарами изысканности первородный грех утрачивал свой грозный смысл. Где, думал я, остановившись на мосту, повисшем через маленькую, дрессированную речку, здесь хоть малейший след «чудовищных страданий населения», которые повсюду видел Ньюмен? Вы попадали в башню из слоновой кости — так это выглядело днем. Сюда не доходили красота и ужас человеческого бытия. Но это чувство было преходящим, ибо у башни из слоновой кости имелась собственная бездна — ужасный эгоизм оторванности от всего на свете.

«Католическое действие»

Вам стоило раскрыть газету, и чувство изоляции немедля исчезало; с этой же целью можно было прокатиться на автобусе к жалким лачугам мексиканского Вест — Сайда, где селятся рабочие, вручную очищающие скорлупу с орехов пеканов за несколько центов в день. Даже в Мексике я не встречал нигде такую жуткую нужду. Там всю — ду, за исключением крупных городов, уровень жизни страшно низкий, но здесь он, этот низкий уровень, соседствует с американской роскошью, и хижины Вест — Сайда глядят карикатурой по сравнению с отелем «Плаза», чья реюшая желтая громада уходит крышей в небеса. В Сан — Антонио размещается сто сорок семь пекановых артелей, стыдливо вынесенных на задворки города, и в урожайный год там очищают до двадцати одного миллиона фунтов орехов — это уже целая индустрия. Не так давно расценки были снижены на один цент с фунта, а это означает, что лудилыщик может заработать от тридцати центов до — самое большее — одного доллара пятидесяти центов в день. Под руководством мексиканского священника отца Лопеса рабочие организовали забастовку, правда, позднее отец Лопес устранился, и руководство взяли на себя коммунисты.

То было первым встретившимся мне случаем работы «Католического действия», реальной попыткой старого, полуслеплого, пылкого архиепископа претворить в жизнь папские энциклики, бичующие капитализм с не меньшей силой, чем и коммунизм. Но уже много лет епископы и паства отстают от Ватикана и папа ощущает нечто вроде пассивного сопротивления со стороны церкви. Он как-то сам упомянул католиков — предпринимателей, не допустивших чтения в храмах энциклики «*Quadragesimo anno*». Испания, должно быть, пробудила общественное сознание, но трудно ожидать, что тотчас же появится отлаженная техника борьбы. В мероприятии, которое проводило «Католическое действие» в Сан — Антонио, было что-то жалкое. Отца Лопеса обвели вокруг пальца, и в настоящую минуту церковь пыталась привести к согласию рабочих и хозяев на тех сомнительных условиях, что представители рабочих будут допущены к учетным книгам, и, если не найдут там оснований для снижения расценок, оно будет отменено. Для этой цели в Мексиканском парке — унылом, вытоптанном пустыре с открытыми эстрадными площадками — ракушками, скамейками и двумя качелями — была проведена означенная встреча. Оркестр девушек — католичек исполнил несколько спокойных, радостных мелодий, потом с собравшимися говорил

архиепископ, а после него — отец Лопес. Их слушателями были двести рабочих — мексиканцев и еще несколько американок, в которых ощущалась озабоченность завзятых посетительниц трупп. Микрофон хрипел, так что нельзя было понять ни слова, жара стояла страшная, и девушки — американки казались бледными, сконфуженными, слабыми подле уверенных, чувственных, темнолицых метисов, инстинктом постигавших всю красоту и ужас плоти.

Все делалось, конечно, с лучшими намерениями, но выглядело удручающе. Невольно приходило в голову сравнение с ораторами из Гайд — парка, выступавшими на осененных красными знаменами трибунах перед толпой, которая им отвечала пением «Интернационала». Было понятно, что для католицизма настало время вновь освоить технику революционных действий, неведомую здешним бледным музыкантам. И сбившиеся в кучки, озабоченные состоятельные дамы, которых отделяло от рабочих не только узкое, грязное пространство пола, но и неодолимая духовная пропасть, были, нимало в том не сомневаюсь, вполне славными женщинами, но слишком уж радевшими о том, чтобы архиепископу оказан был почтительный прием и чтобы он не утомился; любопытно, что бы они сказали в ответ на слова апостола Иакова, которые приводит Пий XI в одной из своих последних энциклик: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся (на вас). Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь...» Это голос революции, а не туманные слова о том, что можно разрешить рабочим заглянуть в бухгалтерские книги (как может доверять гроссбухам мексиканец, который существует на тридцать пять центов в день?).

Паноптикум

Вечером я пошел в паноптикум, помещавшийся в маленьком балаганчике неподалеку от Вест — Сайда. Америка, уверенно расположившаяся возле «Плазы», переходя в миниатюрные подобию Бродвея и становясь огнями небоскреба, тускло мерцающими на фоне ровного южного неба, здесь тихо выдыхается и приближается к «передовым отрядам» города: дощатым хибарам, примитивным зрелищам, борделям улицы Матаморос, где по ночам случаются налеты, описываемые отделами хроники в воскресных выпусках местных газет; в подобный город, как подсказывает мне воображение, в бы — лые времена спешили крепкие мужчины с мешками золота, чтоб насладиться быстрыми и грубыми забавами.

Но для того чтоб насладиться зрелищем уродств, вам не понадобится золото, вы можете их лицезреть в немыслимом количестве за десять центов в крошечном и душном балаганчике. Я оказался там в единственном числе, сюда, по — моему, давным — давно никто не заходил — уродцы, разумеется, не могут конкурировать с улицей Матаморос, пыль запустения лежала на усохших экспонатах. Там были сросшиеся овцы — сиамские близнецы, их восемь ног торчали, словно щупальца у осьминога; телята о так называемых человеческих головах, очень напоминавших лица слабоумных, собаки — перевертыши, закатывавшие стекляшки глаз назад, как будто для того, чтобы увидеть ноги, которые росли у них откуда-то из позвоночника; «младенец — лягушонок, родившийся от сельской жительницы штата Оклахома».

Но украшением коллекции были тела двух мертвых гангстеров: Хвата — Каплана и его оруженосца Джима из Оклахомы, чьи мумии были помещены в открытых гробах. Джим был в черном, порыжелом костюме, пуговица его ширинки болталась на ниточке, между лапами незастегнутого пиджака видна была коричневая впадина реберной дуги; а бывший главарь лежал нагишом, только в паху чернела узкая повязка. Хозяин ее сдвинул, открыв сухие,

пыльные, заросшие чресла, и показал два шрама на животе — разрезы, через которые таксидермист извлек все то, что подлежало тлению, затем вложил туда два пальца (чудовищно спародировав апостола Фому) и заставил меня поступить так же: «прикосновение к телу преступника приносит счастье». Он сунул палец в отверстие от пули, разорвавшей мозг, потрогал пыльные, сухие волосы. Я спросил, откуда у него тела. «Из Лиги по предотвращению преступлений», — сказал он, не скрывая раздражения, и, чтобы поскорей уйти от этой темы, подвел меня к висевшей в углу занавеске. Если я уплачу еще десять центов, то смогу полюбоваться образчиками аборт. «Очень поучительно», — прибавил он, а со стены ко мне взывал плакат: «Не сдрейфишь?» Но я не стал испытывать себя и дальше, с меня довольно было и младенца — лягушонка.

Напрасно было говорить себе, что все это, должно быть, лишь искусные подделки (хвостатого мужчину, например, доставили от Барнума), это ничуть не утешало: ведь как ни рассуждай, их создал человек, чтобы удовлетворить свою ужасную потребность в безобразном.

Я вышел на воздух; залитые огнями улицы Америки иссякли где-то в темноте; за пустырем, меж тускло освещенными тавернами, пощипывая струны гитары и осторожно пробираясь по ухабистой земле предместья, шли мексиканские рабочие. Я зашел в варьете, танцующие походили на гарцевавших на равнине партизанских лошадей, одна из выступавших так сильно топала во время пения, что распятие из накладного золота взлетало вокруг шеи. Всюду висели киноафиши: «На следующей неделе будет демонстрироваться фильм “Quien es la etema martir?”»[18]:

Чей лик печальный зрит с креста лишь это

Всю тысячу им выстраданных лет[19].

Ларедо

На следующий день я подсел в машину, направлявшуюся в Ларедо. За рулем сидел Док Уильямс, сжимавший в углу рта незажженную сигару; мы мчались по равнине, словно океанский вал, катящий в сторону границы среди цветущей юкки, росшей вдоль дороги. Сзади покашливал потрепанного вида человек, он ехал из Детройта налегке, у него умирала сестра в Ларедо. Он все кашлял, кашлял и гадал, застанет ли он ее в живых. «Тут вы бессильны», — отозвался Док, жуя кончик сигары.

Я спросил у него, слышал ли он что-нибудь о Родригесе. Нет, он такого имени не знает, но почему мне не спросить кого-нибудь в Ларедо. Кого, к примеру? Да кого угодно. И вот я прибыл на границу и стал расхаживать туда — сюда и поджидать попутную машину: подыматься на площадь, спускаться к реке, посматривать на Мексику и снова возвращаться к таможенному чиновнику. После третьей такой ходки я вдруг понял, что машины, которую я жду, не существует. Я вошел в таможню с вопросом:

— Ну что, она еще не проходила?

И тот же человек, который прежде успокаивал меня, спросил в ответ:

— А вы о чем?

— Да о машине, — сказал я.

— Какой такой машине? — удивился он.

Мне показалось, что тут вообще не проезжают никогда машины. Метис, который перебрался шутками с таможенником, поинтересовался:

— Это вы ищете Родригеса?

Док Уильямс сказал кому-то, этот кто-то еще кому-то и так далее.

Таможенник пояснил:

— Это друг Родригеса.

Но то был друг совсем иного свойства, чем решили бы мы с вами. Он сказал, что мне нет смысла видаться с Родригесом, он для меня неподходящий человек, «inorant»[20], да и вообще его сейчас нет в Ларедо, он в Эль — Пасо. Я ответил, что с самого начала собирался пересечь границу в Эль — Пасо, может, мне там удастся сесть в попутную машину.

— А вы его там не найдете, он перебрался в Браунсвилл.

— Ну тогда я в Браунсвилле...

— Да нет, он уже, наверное, в Лос — Анджелесе.

— А что слышно о сражениях под Матаморосом? — спросил я.

— Да не было там никаких сражений. Просто на фабрике случился взрыв, — стал он мне растолковывать, а люди и решили, что началось восстание.

Впрочем, если я хочу, можно познакомиться с братом Родригеса, у него свой дом в городе, но я не должен признаваться, кто меня к нему послал, потому что он, мой собеседник, не хочет вмешиваться в политику. Кто-нибудь еще подумает, что он шпион, тогда не оберешься неприятностей. За братом Родригеса следят полиция и наблюдатели из мексиканцев.

Он окликнул через улицу самого безобразного из всех менял и спросил, в городе ли брат Родригеса.

— Да, — ответил тот, бросая хмурый взгляд, — в городе. Приехал вчера ночью.

— Но он, возможно, не захочет меня видеть, — возразил я.

— О нет, захочет, — заверил меня первый собеседник, — если вы посулите, что напишете в газету. Его брат так делает деньги, втирает очки газетчикам, чтобы они печатали о нем статьи в Нью — Йорке. Потом он рассылает их землевладельцам из Южной Мексики — в Юкатан, в Чьяпас, чтоб те думали, что Родригес действует в их интересах, и посылали ему деньги.

К нам подошли послушать, что тут говорится, и другие. Я чувствовал, что вскоре каждый житель Ларедо будет знать, что тут есть англичанин, который хочет повидать брата Родригеса. И я решил, что мне, пожалуй, лучше изменить маршрут — поеду-ка я лучше погляжу на Мексику. Ведь если этот снежный ком будет расти и дальше, я, может статься, никогда не попаду за мост. И я им заявил, что передумал, больше не хочу встречаться ни с Родригесом, ни с его братом, и отправился на очередную прогулку.

Я пошел в кино, где смог полюбоваться Уильямом Пауэллом и Аннабеллой в «Баронессе и дворцеком», но то было не лучшее из зрелищ. Потом я посетил бар Пита и заказал коктейль из бренди с кока-колой. Пит был греком, прожившим в Америке тридцать семь лет, но,

слушая, как он говорил по — английски, вы этого никогда бы не заподозрили. «Германия — хорошая страна, — объяснял он мне. — Америка — совсем плохая, Греция — вполне приличная». Его оценки ставили меня в тупик, пока я не смекнул, что о стране он судит по запретам на спиртное; пожалуй, если занимаешься торговлей, это соображение не хуже всякого другого. Когда мы, пишущие, судим о стране по положению печати, а политические деятели — на основании того, не нарушается ли там свобода слова, мы, право, рассуждаем точно так же.

Затем я вновь прошествовал к реке и вновь взглянул на Мексику — на другом берегу Рио — Гранде загорались огни, и вдруг мне стало ясно, как глупо ждать неведомо чего на этой стороне, где жизнь — это музей уродств; газета, выпускаемая старшеклассниками; цветное сатирическое приложение, наполненное комиксами; мистер Гэмп с торчащим носом и омерзительным, безвольным подбородком, он ежедневно год за годом ссорится со своей благоверной; Мун Маллинс и Китти Хиггинс; неувыдаемый, всепобеждающий и доблестный Тарзан и Дик Трейси, агент ФБР, который всегда идет по следу.

Я вернулся к заставе и нанял такси — таможенник не стал меня удерживать и говорить, будто отличная немецкая машина спешит сюда из Сан — Антонио. Мы медленно катили между лавками менял к въезду на мост, я выложил в таможене пятьсот песо, и мы поехали к другому берегу вверх по насыпи между подобными же лавками. Это уже была Мексика, Соединенные Штаты остались позади, но разница была лишь в том, что здесь грязнее и темнее: огней тут было несравненно меньше. Место это называлось Нуэво — Ларедо в отличие от города в Техасе, который я покинул несколько минут назад, но, как бывает очень часто, сын выглядел дряхлее, чем отец, и коротко знаком был с тяготами жизни. Темные, неровные улицы, маленькая площадь с застоявшимся в густой зелени влажным воздухом — вся жизнь была сосредоточена в тавернах и бильярдных, куда вели распахивающиеся на обе стороны двери. На полу моего номера валялся огромный дохлый таракан, из туалета несло кислятиной. Доносились раскаты грома из Техаса, дождь рыл канавы, покрывая пенистыми реками немощные дороги. Чтобы заснуть, я стал читать «Барчестерские башни» («Приход Св. Юлда приносил не больше трехсот — четырехсот фунтов в год и обычно давался священнику, состоявшему при соборном хоре...»), но почему-то никак не мог сосредоточиться. Конечно, мир повсюду одинаков, и всюду он охвачен тайною борьбой, как небольшая и нейтральная страна, все соглашения с которой постоянно нарушаются; он раздираем двумя вечностями: вечностью боли и... — но одному лишь Богу ведомо, что есть другая вечность. Это как Бельгия, поверженная и друзьями, и врагами. Я говорил себе: среди людей на свете мира нет, но есть горячие и тихие участки фронта. В России, Мексике, Испании люди не обнимаются на Рождество. И страх, исконный признак человеческого бытия, должно быть, всюду одинаков, он настигает вас на Стрэнде так же, как и в тропиках, но там, где собираются орлы, возможно встретить Сына Человеческого. В нашей стране давным — давно идет война меж верой и анархией, к которой мы постыдно равнодушны, а где-то здесь неподалеку покоятся останки Про, в Табаско нет ни единой уцелевшей церкви, в Чьяпасе месса находилась под запретом. Вдоль современного шоссе, идущего до линии фронта, стоят щиты с рекламой шипучих вод и патентованных лекарств, снуют туда — сюда туристские машины, груженные цветными пледами и шляпами — сомбреро, и сами их владельцы увозят в душах груз не менее веселый — легенду о красивой, живописной Мексике.

«Он остался в лоне высокой церкви, — читал я, лежа на жесткой железной кровати под голым шаром лампочки, — но решил, что будет следовать собственным принципам и пойдет иным путем, чем его собратья. Он готов был сражаться за свою партию, если ему позволят думать и поступать по — своему»[21]. Тонкая ирония Троллопа, завтраки в архидьяконских покоях, застольные молитвы, а где-то высоко над башнями Барчестера струившееся в воздухе сомнение во всем и вся. Внизу пел по — испански пьяный голос, дождь лил на скучную равнину штата Нуэво — Леон, а я думал о падре Про — воображал, как он в чужой одежде, в

скверно сшитом костюме, полосатом галстуке и коричневых башмаках пробирается сюда и тайно служит мессу, принимает исповеди в подворотнях, скрывается от настигающей его погони и совершает дерзкие побег. Стоит сезон дождей, потом приходит сушь, и снова начинаются дожди; когда погода проясняется, его берут под стражу, и вот он во дворе тюрьмы, небритый, кричит перед расстрелом: «Слава Христу — Царю!» Убийцы Кэмпииона говорили, что казнили его за измену, а не за веру, и то же говорили в 1927 году убийцы падре Про. За несколько столетий борьба не может изменить свою природу, она, как эволюция, меняется на протяжении тысячелетий: чтоб изменился один мускул, должно пройти не меньше десяти веков, и психология у падре Про была, как у св. Фомы Беккета, который был влюблен в благую смерть: «Жертв очень много, число мучеников растет с каждым днем. О, если бы я вытянул счастливый жребий!»

За рекой, в Соединенных Штатах, пошел дождь и погасли огни, а мистер Эйрбин, прогуливаясь по аллеям сада, предпринял свою первую попытку завоевать женское сердце.

Глава 2 Мятежный штат

Славный старик

Все утро делать было совершенно нечего, разве что дожидаться человека из Сан — Антонио, который, как я знал, не собирался появляться. Все прилегающие улицы по щиколотку утопали в жидкой грязи, и не с кем было словом перемолвиться. Это был маленький городок — в какую сторону ни направляйся, за исключением одной — единственной, повсюду попадаешь в месиво. Единственным сухим местом был мост — теперь я находился в Зазеркалье и из него глядел назад, на Соединенные Штаты. Над Ларедо четко вырисовывался высокий силуэт отеля «Хэмилтон»; я сел к чистильщику обуви и, пока он занимался моими башмаками, стал разглядывать площадь. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от вчерашнего, только происходило в отраженном мире: сначала прогулка к реке, потом возвращение на площадь, затем покупка газеты. В одной из стычек начальник полиции застрелил нескольких человек — сообщения об убийствах были фирменным блюдом мексиканских газет, не проходило дня, чтобы кого-нибудь не уничтожили в каком-то месте. Последняя страница издавалась на английском, для туристов. Там ни единым словом не упоминалось об убийствах, и, сколько мне известно, туристы не заглядывали в предыдущие страницы. Они существовали в другом мире, на нескольких дюймах американской территории среди журналов «Лайф», «Тайм», кофе марки «Сэнборн», они были как бы «мексикооттал кивающи ми».

Ленч был ужасен. Слово еда во сне, он был безвкусен в полном смысле слова, когда даже само отсутствие вкуса вызывает отвращение. Такова вся мексиканская кухня: если она не обжигает нёбо острыми приправами, она напоминает вату, это всего лишь множество тарелок, одновременно выставляемых на стол, так что, пока вы поглощаете одно из блюд, пять остальных уже остыли. Обычно подается мясо какого-то неведомого сорта, тарелка бобов, морская рыба, утратившая в долгой обработке всякий намек на что-либо морское, рис вперемешку с чем-то, смахивающим на личинки (боюсь, это они и есть), салат (опасный для желудка, как вас всегда предупреждают, и совершенно справедливо, как вы вскоре узнаете), жалкая кучка косточек и кожи, которая зовется тут цыпленком, целая выставка остывших кушаний располагается до самого конца стола. Довольно скоро ваше нёбо теряет всякую чувствительность, голод берет свое, вы даже ощущаете какое-то неясное томление в

предчувствии обеда. Если вы проживете в Мексике довольно долго, вы станете писать, в конце концов, как мисс Фрэнсис Тур: «Мексиканская кухня привлекательна не только своим вкусом, но и видом». (Обычно все это чудовищного красного, желтого, зеленого, коричневого цвета, такого же, как нитки на панно или на вышитых подушках, к которым ощущают слабость дряхлеющие в чайных фирмы «Котсуолд» дамы.) «Художественный инстинкт присущ здесь даже самой скромной из стряпух».

Днем я успел сесть в поезд, идущий в Монтеррей, — я больше был не в силах ждать машину. Унылое плато куском свинца лежало под дождевыми облаками, мулы паслись на пустоши среди колючего кустарника, глинобитные хижины, несколько фабрик, опять пустыня, и, наконец, нас снова обступили серые тюлени гор, на чьих покатых склонах маленькие скалистые выступы напоминали крошечные парусники, плывущие на фоне неба.

В моем вагоне был еще один турист — пожилой джентльмен из Висконсина, служивший комиссаром полиции в каком-то малоизвестном городке. Для путешествия он вооружился палкой и множеством рекомендаций: письмом от сенатора его штата, письмом от мексиканского консула и бог весть от кого еще. По — испански он не говорил, но был невероятно любопытен ко всяким несущественным подробностям и поминутно заносил их бисерными буквами в кукольную записную книжечку: по возвращении он собирался выступить с рассказом об увиденном. Нимало не стесняясь, он приставал с расспросами ко всем подряд, в конце концов не сделав исключения и для меня. Офицер — мексиканец ехал с молодой женой, он заговорил и эту женщину, не позволяя ей подняться с места, она немного изъяснялась по — английски; в этот нескончаемый полдень он внес смятение в души нескольких мексиканок, ехавших без мужского сопровождения. И все же невозможно было на него сердиться: он весь был такой розовый и старый, с целым ворохом рекомендательных писем и значком полицейского на лацкане пиджака. Не дожидаясь приглашения, он сел против меня и начал говорить: он вдовец, впервые за границей, едет до Мехико, заранее купил билет в оба конца, но с правом совершать короткие поездки по стране. На удивление смекалистый в том, что касалось денег, он был на редкость простодушен в остальном. Он твердо знал, что ему нужно и чего не нужно видеть в Мексике; хозяева во всех отелях, где он забронировал себе места, были американцы. («Я прочел в газете, что в N. начальник полиции застрелил несколько человек», — сообщил я ему, и лицо его мгновенно стало непроницаемым, как сцена с опущенным противопожарным занавесом.) Он считал, что лучше всего ему питаться в заведениях фирмы «Сэнборн», хотя, должно быть, кое — где придется есть и непривычную еду.

— Вы правы, — говорил он, — если отказались от рыбы, мяса и овощей.

— А что же остается? — удивился я.

— Каши, — последовал ответ.

За окнами спускалась ночь, во тьме видна была дорога к похожей на улитку далекой белой усыпальнице, накрапывал дождик. Он был хороший человек — докучный, как ребенок. С палкой в руках расхаживал он по купе, перебивая мужа и жену, встречая в воркование влюбленных: «А это что? А это что такое?» — и тыкал палкой в сторону чего-то самого простого, вроде сухой, щетинистой земли — колючки кактусов казались чем-то не совсем опрятным. Густела над пустыней ночь, дороги, убегавшие неведомо куда, блестели, выделяясь в темноте.

И вдруг (не помню точно, как это случилось) за этим старым, славным, розовым лицом открылась пустота — разверзлась бездна. Я полагал, что человек его возраста, житель Висконсина, заслуженный полицейский со значком на лацкане, на свой особый лад, но все же верит в Бога, пусть не вполне осознанно, с позиции деиста. Я ожидал, что он мне скажет что-нибудь такое: у себя дома можно любить Бога не хуже, чем в церкви. Так я истолковал

его характер и глубоко ошибся. Он был вообще неверующий — так может удивить ребенок, в котором открываешь ясный, беспощадный ум. Неверующий порою вызывает больше уважения, нежели деист: принявший Бога разум поведет вас дальше, но чтобы ничего не принимать, нужно упорство, даже мужество. Три года назад он едва не умер, доктора уже махнули на него рукой, у смертного одра главы рода собрались дети. Он совершенно ясно помнил, как все это было, и понимал тогда значение происходящего, но ощущал спокойствие, умиротворенность и не испугался — просто уходил в никуда. Но смерть не наступила, и вот он тут, недавно пересек границу Мексики, впервые в жизни выехал за пределы Соединенных Штатов. В кармане у него есть вырезка из самой влиятельной городской газеты: «Наш уважаемый земляк путешествует по Мексике». Пока он говорил, вы постепенно начинали различать стоявшее за этой розовостью щек и чистотой сердца вечное ничто.

Монтеррей

От Монтеррея возникало ощущение, что вас отбросило назад, в Техас, через границу, словно в кошмарном сне, когда вы едете и едете и все никак не можете попасть, куда вам нужно; времени у меня было в обрез, а до находившихся на крайнем юге Чьяпаса и Табаско было еще далеко. Гостиница была американская, вся обстановка в ней была американская, и кушанья, и речь были американские — тут было меньше заграничного, чем в Сан — Антонио. Этот роскошный город был привалом для направлявшихся в столицу Мексики американцев. Трудно сказать, откуда у старика — попутчика возникло ощущение чуждости, но за обедом в чистом, светлом ресторане, где подавали лишь американскую еду, он вдруг заметил: «Какое все чужое, надеюсь, я потом привыкну».

Я уговорил его отведать текилы — ее готовят из агавы, это что-то вроде водки, но похуже. Он еще больше предался воспоминаниям, стал пересказывать свои чуть — чуть рискованные шутки: «Я как-то раз смутил молоденькую продавщицу, спросил, где у них тут

ба — а-бы, по — нашему, по — южному растягивая слово, но ничего, она довольно быстро догадалась, что мне нужны бобы, и вежливо ответила». В его устах и незначительная непристойность шокировала так же сильно, как и недавнее признание в неверии. Ибо все время вас не покидало чувство, что это славный человек, хороший, как ребенок; он излучал что-то необычайно доброе и чистое, такое, что после вызывает слезы на глазах: запомнившийся запах зимней пашни, вид длинной изгороди, теряющейся в зарослях крапивы.

Осторожно, словно ощупывая что-то своей палочкой, он вышел из гостиницы и замер на ступеньках. Текила, будто ярость, горячила его кровь. Я предложил: «А что, если нам посмотреть, нет ли тут где-нибудь поблизости кабаре?»

Он долго колебался, а потом сказал: «Я лучше подожду до Мехико» — и стал заботливо отговаривать меня от прогулки по городу. «Будьте осторожны, не заблудитесь», — говорил он, глядя с тревогой на мокрые, залитые светом улицы Монтеррея, как на лежавшую в крошечной тьме пустыню, через которую сюда примчал нас поезд.

Я шел по улице, напоминавшей Тоттнем — Корт — роуд, мимо таверн, мимо витрин с какою-то ненастоящей, безобразной современной мебелью, мимо причудливого и внушительного изваяния — индеец Хуарес бросает вызов Европе, так мрачно восторжествовавшей на соседней улице; но вот передо мной очаровательный собор, стоящий в глубине засыпанной листвою площади, укрытый белой колоннадой, увенчанный железными рядами колокольни, теряющейся где-то в темной выси, а рядом только тишина и шорох падающих листьев.

На следующее утро я проснулся от каких-то криков ликования, мне снился несуразный сон, в котором было ощущение счастья и триумфа. Я был участником религиозного восстания. «Вы отворили церкви. Теперь вам не остановить нас», — кричали люди. «С этой минуты они обречены», — промолвил Сталин, наблюдавший за восставшими. Я помню, что мы шли колонной через маленькую комнату, в центре которой стоял диктатор, неподдававшийся, бессильный, стриженный под бобрик, и пели: «О Боже, Наша Помочь в Днях Минувших», и я запнулся на второй строфе. Когда мы повернули к выходу, я вдруг заметил маленького, ухмылявшегося человечка, — дитя вечерней школы и гложащего чувства неприкаянности, он был студентом — первокурсником, отличником физического факультета; все так же маршируя, мы стали весело над ним смеяться. Тут я проснулся от каких-то звуков, из-за которых мне и снилось пение. Часы показывали половину шестого, но крик толпы не утихал. Возможно, это было на вокзале, возможно, через город проезжает президент, или политик, или какой-нибудь герой. Я встал и посмотрел в окно. Стояла ночь, небо было усыпано звездами, в домах под плоскими кровлями светились огоньки, над низким берегом реки дымком повис рассвет. Приветствия звенели в воздухе и уносились в сторону далеких гор, неясно возвышавшихся на горизонте. Но это оказались не приветствия кричали петухи по всей округе, то была странная рассветная библейская кантата.

К восьми часам утра я пошел в собор. На мессе были одни женщины, мужчины несколько часов назад ушли работать. Пространство храма, белое и золотое, было украшено изящными, пастельными фигурами святых, но все же не испанской работы; три девочки совершали поклонение Крестному пути, хихикая и щебеча между страстями Господа. Мне вспомнились слова Карденаса из его речи в Оахаке: «Мне надоело закрывать церкви, которые, как мне докладывают, снова заполняются людьми. Теперь я буду действовать иначе: открою церкви и буду просвещать народ, и через десять лет там никого не будет». Все так же хихикая, девочки совершали путь к Голгофе, и я подумал, что, может быть, Карденас прав в своем пророчестве. Очень старый священник преклонил колена, встал и вознес Чашу над головой. А впрочем, так ли это важно — ведь Бог не исчезал лишь от того, что люди перестали в Него верить; всегда существовали катакомбы, где втайне совершалось поклонение, пока не проходили времена гонений. Когда Кальес преследовал религию, Святые Дары прятали в коробки радиоприемников и в книжные шкафы, их проносили в тюрьмы, положив в карман ребенка, их причащались и в гостиных, и в гаражах. У Бога есть преимущество Вечности.

За завтраком старик — попутчик говорил о том, как хорошо работает его желудок. «Когда я вас заставил ждать, я думал, что иду по малой надобности, а оказалось, что не только. И все это благодаря кашам, они, как щетка, прочищают внутренности». Он с упоением продолжал и дальше в том же роде. Наверное, так могла бы говорить собака, имей она дар речи. Но вдруг он поднял взгляд от мисочки своих сухих пшеничных хлопьев — славный, по — детски чистый, простодушный старик — и сказал: «Я так боялся, что вы заблудились вчера вечером. Все ждал, что вы мне постучите, когда будете идти мимо».

С приходом дня мое уныние рассеялось. Как бы то ни было, Америка кончалась у дверей гостиницы; на авенида Гидальго в большой, выдавшей виды голой церкви стоял негромкий, ровный гул — люди совершали стояния Крестного пути. В их набожности не было невежества, и даже старые крестьянки держали в руках молитвенники и знали, как почитать страдания Христовы. Вы понимали, что перед вами истинная вера — она текла неиссякаемым потоком благочестия. Люди входили, двигались вдоль стен и выходили, уступая место следующим. Они напоминали тех труждающихся, что провожали Его к месту казни на Голгофу.

За городом на возвышении стоял разрушенный епископский дворец, стены которого приобрели от времени зеленовато — бурю окраску. Горные гряды Сьерра — Мадре, поросшие травой, выгоравшей на каменистых, зазубренных склонах, окружали его амфитеатром. Этот дворец, сложенный, словно мечеть, из тяжелого дикого камня, был

возведен в конце восемнадцатого столетия, когда европейская церковная архитектура пришла в упадок и всюду возводились аскетично — величавые баптистские молельни с пустым престолом, притвором без креста и купелью для полного погружения. Эти лежавшие в руинах дворец и часовня были прекрасны, словно пришли к нам из Средневековья. Не думаю, что дело было в выбоинах, оставшихся в стенах от пулеметов Панчи Вильи. И справедливо ли суждение о церкви Мексики, подумал я, коль скоро она была способна создавать такие архитектурные шедевры в столь поздние века? Я не поддерживаю тех, кто нарекает на роскошь и достаток церкви в бедных странах. Из-за одного — двух лишних песо в неделю не стоит лишать бедняков того мира и отдохновения, которые им может дать большой собор. Я никогда не слышал, чтобы люди выражали недовольство по поводу того, что слишком много денег потрачено на гигантский кинотеатр, и, дескать, лучше было бы истратить их на бедных; но кинотеатры не демократические учреждения: кто больше платит, больше получает, тогда как церковь — место полной демократии, и бедным, и богатым нужно бок о бок преклонять колени, чтоб причаститься, и постоять в одной и той же очереди, чтоб подойти к исповедалюне.

Я не помнил, что это была Пепельная Среда, пока снова не возвратился вечером в собор и не увидел, что вдоль всего прохода двумя длинными, тесно стоящими рядами выстроились верующие, ожидавшие, пока к ним подойдет священник с пеплом. «Помни, человек, из праха ты вышел, в прах и возвратишься». Сейчас тут было много мальчиков и молодежи, не меньше, чем пожилых людей, рабочий день уже окончился. В проходе стояло человек двести пятьдесят, никак не меньше, прошло минут пятнадцать, пока священник подошел ко мне, за это время очередь успела обновиться, но приток кающихся не прекращался. В тот вечер тысячи людей вышли из церкви со знаком пепла. Покинув храм, они, словно свидетели благовествования, рекой текли по освещенному закатным светом городу с тяжелыми, серыми крестами, начертанными на лбу. Несколько лет назад они за это заплатились бы свободой, и я подумал, что Карденас ошибался. Быстрые туристские наезды тем и опасны, что при виде трех хихикающих в церкви девочек вы слишком спешите с выводами и оговариваете чувства тысяч верующих.

За обедом старик — попутчик никак не мог успокоиться: его смешило то, что я весь день ходил по городу, тогда как он за час объехал его на трамвае из конца в конец, истратив пять американских центов. Напрасно я твердил ему, что обожаю пешеходные прогулки. «Дома я непременно расскажу, как мой знакомый англичанин, — говорил он, давась от смеха, — целый день пробыл на ногах, чтоб сэкономить пять американских центов».

Вечером на маленькой площадке, пахнувшей цветами и листьями, я обнаружил безмолвствовавший фонтан и множество влюбленных парочек, скромно устроившихся на скамейках. Мне вспомнились охваченные безобразной страстью сплетенные тела на зелени Гайд — парка и кое-что похуже, совершавшееся под прикрытием пальто. У этих молодых людей, казалось, не было потребности в разврате, у них и нервы не были так взвинчены, и брачная постель казалась им приемлемым концом романа. Их не подстегивало чувство, что нужно поскорее перейти к делам, творимым в темноте, чтоб доказать, какой ты взрослый. Для страхов не оставалось места, каждый знал, что думает другой. Он не терзался мыслью: «Чего она ждет от меня?», она не колебалась: «Как далеко мне разрешить ему зайти?» Им было хорошо сидеть вдвоем в вечерней тьме и ощущать, что они связаны одной игрой и подчиняются одним и тем же правилам, которые известны им обоим; они не знали страха или перевозбуждения, а то, что оставалось им на долю, было любовным чувством и самым скромным проявлением желания: ладонь лежала на ладони, рука сжимала талию, то был легчайший из физических контактов. И снова, сам того не ведая, я рассуждал, как свойственно туристу, который, увидав в приятную минуту богатый город на большом шоссе, готов немедля заключить, что Мексика — спокойная, миролюбивая, благочестивая страна.

Кактусы стояли группками, как люди с воткнутыми в прическу перьями; казалось, что, склонясь друг к другу, они шептали на ухо что-то очень важное, ни дать ни взять отшельники, пришедшие в унылую скалистую пустыню по неотложному делу и даже не поднявшие глаза на проходивший мимо поезд. Дороги расстилались, как на карте, и видно было, что вдали они змеились тоненькими ниточками, теряясь где-то между кактусами и утесами. В кактусах не было ничего красивого — какая-то нехитрая стенографическая закорючка для слов «бесплодие» и «засуха»; вы понимали, что они не столько следствие, сколько причина этой суши: вобрав в себя всю влагу, бывшую в земле, они ее хранили, как верблюды, в своих зеленых, древних, переборчатых желудках. Порою с краю у растений вспыхивал цветок, напоминавший тлеющий конец сигары, но и тогда они не становились краше, ибо его ненатуральный, едкий красный цвет похож был на глазурь дешевого пирожного, из тех, что оставляешь на тарелке недоеденным. Только закатный свет сообщал этой окаменевшей кактусовой пустоши какую-то очеловеченную, ласковую прелесть, какой-то бледнозолотистый ореол и ощущение трогательности, словно вы на короткое мгновение могли увидеть мир всепроникающим, как у анатома, и милующим взглядом творца.

Не как судья он судит — как светило,

Дарующее свет бессильному росту[22].

Штат Нуэво — Леон устало завершался где-то между кактусами и камнями, и дальше начинался Сан — Луис — Потоси. Сейчас, когда я пишу эти строки, в горах ведется партизанская война, позавчера мятежники взорвали поезд, и их главу, генерала Сатурнино Седильо, преследуют по пятам, гоняя меж орлиных гнезд с одной горной площадки на другую. По приказанию цензуры газеты хранят молчание об этом (кто знает, какова судьба наших друзей?). С тех пор как я там был несколько месяцев назад, все полностью преобразилось, и то, что я тогда увидел, стало уже достоянием истории.

В начале марта 1938 года, когда я путешествовал по тем местам, Сан — Луис — Потоси представлял собой небольшой капиталистический островок на территории социалистической Мексики, которым управлял не столько губернатор штата, сколько генерал — индеец Седильо, живший на своем горном ранчо в Лас — Паломасе. На протяжении года шли разговоры о том, что в Мексике назревает восстание, которое возглавит генерал Седильо, он был из старых кадров Каррансы, тот самый человек, который одиннадцать лет назад подавил восстание в Халиско. Крещенный во младенчестве, он не был практикующим католиком, говорили, что у него очень набожная сестра, но главную причину, по которой в Сан — Луис — Потоси не проводились антиклерикальные законы, он привел в беседе с американским журналистом: «Сам я, может, и не признаю всю эту религию, но бедные ее любят, и я намерен позаботиться, чтобы им дали то, чего они желают». По какой-то причине, скорее всего из-за того, что в Сан — Луисе нет порядочных гостиниц, туристы здесь не останавливаются, а если останавливаются, то не более чем на ночь — довольно и одной ночи в грязном номере с неизбежным дохлым насекомым в качестве символа запустения и с запахом мочи из туалета. Как и мой друг — попутчик, они садятся в первый же утренний поезд и едут в Мехико. Прозвучавший на заре по гостиничному телефону старческий голос неожиданно пробудил во мне острое сожаление — ведь простодушие и доброта не так уж часто попадают на этом свете. Его владелец выражал тревогу и озабоченность — он уезжал, а я тут оставался. Я успокаивал его как мог. «В Мехико вам наверняка попадетс

кто-нибудь из Висконсина» — с этими словами я мрачно опустил на рычаг трубку.

В Сан — Луисе у меня оказалось много времени, даже больше, чем хотелось бы; правда, здесь было очень красиво — узкие, украшенные балконами улицы и ярко — розовые храмы на фоне горной синевы. Это город индустриальный, промышленность которого укрыта на окраинах, и город многострадальный, что постигается не сразу. Готовясь вечером ко сну, вы просто замечаете, что в кране нет воды; потом вам говорят, что в городе неважно с водоснабжением; на самом деле город мучается жаждой из-за того, что вся вода уходит на поля генерала Седильо, волю которого творят продажные городские заправилы. Здесь ничего не изменилось за прошедшие века: как встарь, приносятся даже кровавые ацтекские жертвоприношения — над духом Мексики довлеет ее возраст.

Вы отправляетесь в собор к мессе. Крестьяне в синих бумажных штанах, коленопреклоненные, стоят минута за минутой, раскинув руки в стороны, как на распятии. Старуха с трудом передвигается на коленях в сторону алтаря, другая распростерлась на полу, прижавшись лбом к камням. Долгий рабочий день окончился, но не окончились страдания. Здесь ощущался дух стигматов, и вы внезапно сознавали, что перед вами народ Божий и в этих немолодых, умученных работой людях с невежественными лицами заключено то лучшее, что есть в душе у человека. Натруженные в поле руки старика и через пять минут еще простерты в стороны, молоденькая девушка с ребенком на руках, терзаясь болью, идет по нефу на коленях, за нею в той же позе следует ее сестра, это печальное, медленное, маленькое шествие направляется к подножию креста. Казалось бы, сама их жизнь — сплошная мука, но, как святые, они взыскуют лишь одно блаженство, которое им доставляет еще больше боли.

Неподалеку от собора находился рынок — угрюмое местечко в час заката, такой скудости я не встречал даже в западноафриканском буше: чуть — чуть картофеля, чуть — чуть бобов, безвкусные по форме и по цвету плетеные корзины и гончарные изделия (туристов не было заметно — они могли приобрести точно такие же шедевры на Челси в магазинах фирмы «Котсуолд»), ужасные игрушки, украшения; подержанные пистолеты прикорнули между горок овощей — смерть можно было сторговать за несколько десятицентовиков. От пыли першило в горле. В тавернах было очень грязно и очень людно, какой-то пьяный качался, опершись на кий. В центре на небольшом, свободном от людей пространстве выступал молодой клоун с размалеванным лицом и смоляными волосами индейца, в серой потрепанной ночной сорочке, по виду ему было лет пятнадцать. Он важно расхаживал перед своим диковинным, сюрреалистическим реквизитом: двумя мегафонами, бутылкой текилы, утыканной гвоздями доской, утюгом и маленькой жаровней, задубелым подошвам его ног не страшны были ни стальные острия, ни огонь — он продавал страдания за деньги, стяжал стигматы ярмарочного балагана. Представлению помогал маленький оркестр, улыбчивым мальчикам — музыкантам было лет по четырнадцати от роду.

Я прошел немного дальше и очутился перед построенным в семнадцатом веке Темпло — дель — Кармен, коричневый фасад которого был щедро изукрашен скульптурными изображениями и цветами работы резчиков — индейцев. Если вы пристально вглядывались в каменные изваяния, они казались издавна знакомыми бородатыми европейскими пророками с самодовольными лицами и с прижатой к сердцу Библией, но стоило вам отойти немного в сторону, и это уже были не христиане, а индейцы, то было торжество неистовой материи над духом, и каменная плоть, бурля, вздымалась к небесам.

На балконах административных зданий целыми днями стояли отцы города. Со времени моего мексиканского путешествия балконы для меня неотделимы от официальных лиц — пузатых мужчин с сизо — небритыми щеками, в широкополых шляпах и с оружием на боку. Во всех городах Мексики они с утра до вечера торчали на своих балконах и вглядывались в даль, где, судя по их лицам, им открывалось что-то высшее.

В воскресенье я был в гостях у шотландки, которая в течение многих лет, с тех пор как потеряла ферму в одной из революций, владеет магазином — над ним мы и сидели. Независимая, откровенная женщина, протестантка по вероисповеданию, она была оплотом здравомыслия в этой стихии дикого, изменчивого фанатизма. Она всему дала свою оценку, досталось по заслугам и Седильо; она была резка, мужественна, грубовата и пряма, словно шотландский переулочек. С лестницы доносился запах хорошего кофе, который продавался в магазине; после занятий теннисом в Американском клубе вернулась ее дочь. Но за столом все так же пустовало место — тот, для кого оно предназначалось, пришел под самый конец трапезы.

С., поздний гость, был выходцем из Англии, появившимся на свет в Мексике, и по — английски говорил с испано — американским акцентом. Худой, темноволосый, какой-то весь лоснящийся, он был учтив чрезмерною учтивостью провинциала и принадлежал к тем людям, которых избегаешь на приемах. Он стал нам объяснять, что его вынудило задержаться: пришлось кружным путем ехать из Мехико, его предупредили, что под Керетаро неспокойно из-за революционеров (этим эвфемизмом заменяют в Мексике слово «бандит»), только вчера его приятеля обчистили до нитки, отняли деньги и одежду. Его речь отличалась педантичной правильностью слога. То была светская беседа по — мексикански.

Позже, когда мы пили кофе, в его речах уже проскальзывала горечь. Он был сыном богатого человека, владевшего огромными земельными наделами в Морелосе. Отец послал его учиться в Англию, но землю отобрали, отец вызвал его домой и умер. Теперь он работал в горнодобывающей промышленности и о свержении Диаса говорил как о кровоточащей ране (такие люди есть повсюду в Мексике, это хозяева гостиниц, старые дамы, интеллигенция, все они помнят Диаса, чьим единственным недостатком было, наверное, то, что он не думал о бедных, которые теперь не думают о нем). Он ненавидел Мексику изысканно — бессильной ненавистью пресмыкающегося, но был прикован к ней, как каторжник, — его знание горного дела больше нигде не требовалось.

И вдруг за этим чувством обделенности, за тщательным обдумыванием слов что-то послышалось иное, как будто распахнулась дверь в какие-то лишь Богу ведомые тайники отваги и привязанности к жизни, открылось то, что он на свой ужинно — горький лад назвал «умением переносить несчастья». В 1927 году его и еще одного молодого американца, работавшего с ним на руднике, похитили мятежники, чтобы назначить выкуп. Сам он ожидал чего-либо подобного, 1 но молодой американец не верил в существование бандитов, считал, что похищения бывают лишь в кино или в романах, уж слишком это «надуманно». С. все пугал этого юношу, обманывал, будто пришли бандиты. Тот в первый раз поверил розыгрышу, но больше уже никогда не поддавался. А потом они и в самом деле пришли. У С. оставалось несколько минут на то, чтобы предупредить приятеля, когда бандиты въехали в подворье, и он все силился поднять его с постели. 1 «Отстань, — отмахивался тот, — я все равно не испугаюсь». Но похитители уже ворвались в комнату и стали искать деньги, а денег не было. Тогда они швырнули узников к стене. «Я думал, что они нас сразу расстреляют. Но вы бы поглядели на лицо американца! Я хохотал как бешеный. А что мне оставалось делать?»

Я ему поверил. Он слишком много потерял, чтоб сокрушаться: не раз встречал я в Мексике таких людей, как он, испанцев, иностранцев, лишившихся всего, кроме отчаяния, а у отчаяния есть собственное чувство юмора и собственное мужество. Должно быть, смех тогда и спас их — наверное, невозможно выстрелить в смеющегося человека, убийце нужно ощущать всю

важность своей роли. И петушинные бои идут поэтому в сопровождении оркестра, и зрители туда приходят, приодевшись: в широкополых шляпах, в узких брюках. Бандиты отвезли их в горы и запросили выкуп в двадцать тысяч американских долларов. Четыре дня им не давали пить и есть, привязывали к лошадиному хвосту и волокли из одного укрытия в другое, избивали... В конце концов компания их выкупила за четырнадцать тысяч долларов, после чего их выбросили на какой-то поросшей кустарником пустоши в двадцати пяти милях от дома.

— Кто вас похитил?

— Кристеро.

Значит, то были католики, восставшие против Кальеса. Типичное явление для Мексики, да и, пожалуй, для всего людского рода: во имя идеалов применяется насилие, потом идеалы испаряются, а насилие остается.

Петушиный бой

В воскресный полдень на арене для корриды давали представление родео, но для хорошей труппы в казне у штата не сыскалось средств. Щедро украшенные места для почетных гостей были пусты. Казалось, в Сан — Луисе все делалось вполсилы, и город жил, косясь все время на дорогу в Лас — Паломас (но и при косоглазии нетрудно было многое приметить: проехала машина губернатора Техаса, которого почтили праздничным обедом, промчался в горы распаленный, покрытый пылью и набитый деньгами американец, и даже главный шпион ничтожного, гонимого Родригеса тащился в ту же сторону), все совершалось здесь под знаком близившегося мятежа.

Для боя были отобраны два петуха. Мужчины в вышитых огромных шляпах — величиною с колесо телеги — и в узких полотняных брюках, с пухлыми лицами и мягким взглядом теноров, похожие на персонажей голливудской оперетки с участием Джона Боула, смотрели из-за загородки. Словно прицениваясь на базаре, они ощупывали петухов и запускали пальцы глубоко под перья; затем прогарцевал кортеж наездников, сопровождавший скрипачей в пестро — клетчатых пледах. Став тесной группкой, как будто для того, чтоб побеседовать друг с другом, и вроде бы не замечая окружающих, они запели что-то протяжное и грустное об увядающих цветочках под тихое повизгивание скрипок. Двое мужчин достали из пунцовых кожаных ларцов необычайной красоты по паре маленьких блестящих шпор и стали алыми бечевками привязывать их к лапам петухов очень неспешно и сосредоточенно. Но это пение и шествие людей и лошадей были всего лишь прелюдией к кровавой суете, готовившейся на песке арены, к боли, увиденной в далекой перспективе, к смерти, разыгранной в миниатюре.

Смерть требует определенных ритуалов. В надежде приручить ее люди придумывают собственные правила, которые необходимо соблюдать: не разрешается бомбить не защищающийся город, и тот, кто получает вызов на дуэль, имеет право выбрать род оружия... В песке были прочерчены три линии — в смерть тут играли, словно в теннис. Кричали петухи, и духовой оркестр гремел на каменных сиденьях; ветер срывал песок и нес через арену, — здесь, среди гор, en sombre[23] было довольно зябко. И вдруг мне стала отвратительна вся эта пантомима, вся эта ложная торжественность по поводу того, что было так естественно, как отправление нужды: мы умираем точно так, как оправляемся, к чему же эти шляпы шириною с колесо, узкие брюки и духовая музыка? Пожалуй, в этот день я начал ненавидеть мексиканцев. Сначала петухов придвинули друг к другу, чтобы они соприкоснулись клювами, потом их развели по внешним линиям, прочерченным в песке, и музыка замолкла. Но птицам не хотелось драться — смерть не желала выступать, и,

повернувшись спинами друг к другу, они заковыляли в разные стороны, переставляя лапы, словно на ходулях, из-за привязанных к ним шпор, но вскоре замерли, поглядывая равнодушно на улюлюкавших, свистевших зрителей, высмеивавших их, как робких или невезучих матадоров.

Их отливавшие металлом клювы вновь свели, как будто для того, чтоб высечь электрическую искру из обнаженных проводов. На сей раз это помогло; их отпустили, и, немедленно порхнув в свободное пространство, они сошлись, чтоб за минуту все окончилось. Заранее было ясно, кто выйдет победителем из этого сражения, — крупный зеленый петух, взмывавший над противником и прижимавший его к песку, точно пушинку, топорщился, словно гигантский ерш. Щуплый свалился оземь и притих, последовал зловещий удар в глаз, в другой, еще, еще, и все было окончено. Мертвую птицу подняли за лапы и подержали так, пока не показалась кровь из клюва, полившаяся узкой, черной струйкой, как из отверстия воронки. Вскочив на каменные скамьи, дети, ликуя, наблюдали за происходившим. День был холодный, начал накрапывать дождь, родео было хуже некуда, актеры всякий раз промазывали, метя в лошадей, и, так как смерть все досмотрели до конца, делать здесь больше было нечего: грянула музыка, и оркестранты кое-как исполнили финал. Неподалеку, у казармы, маршировали взад — вперед солдаты, поодаль возвышалась церковь Гуадалупской Божьей Матери, и дальше в этом же ряду была тюрьма; гремел трамвай, спешивший в город, и раздавался барабанный бой.

Когда спустилась темнота, я пошел в Темпло — дель- Кармен, чтоб получить благословение. Для чужестранца вроде меня это было как возвращение домой, там говорили на родном мне языке: «Ora pro nobis»[24]. Над алтарем на поразительно серебряном, похожем на капусту облаке сидела Божья Матерь с Младенцем на руках; в стеклянных гробницах, выстроившихся вдоль стен, стояли ужасающие статуи в заплесневелых мантиях. Но все же это был мой дом, тут все было понятно. С трудом переставляли ноги, утомленные работой, босые старики в хлопчатобумажных брюках, и я опять подумал: как можно им отказывать в аляповатой роскоши сусальной позолоты, в запахе ладана или в такой парящей в облаках, прекрасно — отдаленной, чистенькой фигуре? Горели свечи, но неожиданно зажегся венчик лампочек, изображавших нимб над головой Мадонны. Даже если бы это была выдумка и Бога бы не существовало, их жизнь была счастливее с этим далеким, неземным обетованием, оно им приносило больше радости, чем жалкие социальные реформы, крошечные пенсии и мебель, сработанная на заводах. Возле собора на обочине сидели группками индейцы и подкреплялись, свое нехитрое хозяйство они носили при себе, словно палатки, которые раскинуть можно всюду, где придется.

В катакомбах

Я хотел увидеть генерала Сатурнино Седильо, которому город был обязан столь многими благами и бедами. Нельзя было напиться вдоволь, но можно было рассказать детям о Воскресении Христовом. «Католическое действие» располагало большими силами в Сан — Луисе, но следовать ему открыто нельзя было и здесь, за этим надзирал приставленный правительством чиновник, даже священника, организовавшего школы, полгода в них не допускали. Я сидел в Сан — Луисе, добиваясь встречи с Седильо, часами томился в муниципалитете и ожидал звонка из Лас — Паломаса, отвечал на бесконечные вопросы чиновников, твердил, что не намерен просить денег и никому в Мексике не расскажу о состоявшемся свидании, пока в конце концов не получил нехотя данное согласие на встречу с генералом по прошествии пяти дней; тем временем священник познакомил меня с некоторыми плодами своей деятельности. То была революция, совершаемая в духе Нагорной проповеди, измена — творимая под видом обучения семейному бюджету. Мы шли

по розовому, узкому и длинному проулку, где были птичьи клетки и лежали дыни, пока не очутились перед дверью, за которой был огромный двор: гораздо больший, чем могло вам показаться с улицы. В маленьких классных комнатах, замыкавших его со всех сторон, девочки занимались шитьем и обучались кулинарному искусству, в одном из классов старшеклассниц приобщали к апологетике. Центральная дверь вела в большую залу, величиной с церковное пространство, свод опирался на четыре древние, массивные колонны. Здесь шел еженедельный урок Закона Божьего для девочек из бедных семей и служанок. Священник обращался с ними ласково, много шутил — тут были катакомбы, где им преподавали самые опасные предметы: учили их любви и скромности. Священник был интеллигентом, доктором философии, получившим степень в Европе, но война облегчила взаимопонимание людей разных умственных горизонтов: все вместе это очень походило на обход окопов командиром, которому солдаты преданы душой и телом. А где-то в городе за ними наблюдал чиновник — они ведь нарушали конституцию, и это здание могли конфисковать. Священник говорил очень спокойно, ни разу не повысив голос, — он излучал великую уверенность, великую любовь. И тотчас вспоминались политические лидеры с сине — небритыми щеками и пистолетами на бедрах, руководители страны, не покидавшие балконов и думавшие только о наживе, напрочь лишенные какого бы то ни было чувства ответственности. Сидевшие здесь девочки должны были сегодня же вернуться на свою постылую работу, но у них был заслуживавший доверия наставник, они были не одни. Мы прошли дальше — в школу для рабочих, это была одна большая комната, поделенная на классы, предназначавшиеся для всех возрастов: и для детей, и для взрослых. Отцы сидели бок о бок с сыновьями, учились грамоте, счету и начаткам социологии по энцикликам, изобличавшим капитализм и коммунизм. Учительницами были женщины, имевшие правительственное разрешение на преподавание, их католическая вера была тайной.

А в мире за стенами школы царил безответственность, волнами расходившаяся по округе, где убегали вдаль дороги беззакония с повернутым не в ту сторону дорожным указателем и где пустыня наступала на луга и пашни. И дело было не в засевшем в Лас — Паломасе генерале Седильо, который орошал свои поля, не думая о целом штате, и защищал религию лишь потому, что его люди были верующими, хотя он сам не верил ни во что и волновался лишь об урожае и о женщинах, не в человеке, о котором ходили в Сан — Луисе десятки темных слухов, поборнике католицизма, которого ни в грош не ставил ни один католик, капиталисте, которому не верил ни один капиталист. То был не просто генерал — индеец из одного глухого штата отсталой страны, а целый мир. Я не забыл игру, называвшуюся «Монополия», в которую играли дома, в Англии, с игровой костью и жетонами, не забыл пятнадцатилетнюю девочку, которая легла под поезд, — таков был мир, где политические заправилы стояли на балконах, где землю продавали под строительство, чтоб на ее израненной поверхности плодились маленькие виллы с подобными гробницам гаражами.

Философ

Вдвоем со священником мы поднялись по лестнице обшарпанного дома, стоявшего возле рынка, где собирались разыскать старика- немца, преподававшего иностранные языки, он вызвался сопровождать меня в Лас — Паломас на случай, если мне потребуется переводчик. Несколько лет тому назад он жил у генерала, пытаясь научить того немецкому и английскому языкам, но туда приезжало так много просителей — в редкий день их бывало меньше шестидесяти, — что невозможно было улучшить тихую минуту и сосредоточиться на неправильных глаголах. Мы долго колотили в дверь, пока в конце концов нам не открыл ее с великими предосторожностями какой-то одноглазый юноша с рябым лицом в броском, несвежем халате. В комнате стоял запах затхлости, на всем лежала пыль, несколько книг валялось на полу, кошмарные картинки из тех, что неизменно украшают все меблированные

комнаты, косо висели на стенах, была там также классная доска и несколько щербатых чашек. Казалось, что квартирой временно завладели цыгане. У старика — учителя были редкие седые волосы, длинные седые усы и худые, бескровные руки. Должно быть, в юности ему привили вкус к меланхолическому размышлению, он был очень опрятный, очень дряхлый и смахивал на затерявшуюся среди хлама старомодную фарфоровую вазу, угодившую на распродажу.

— Движение — это жизнь, — говорил он, — и жизнь — это движение.

А где-то рядом за портьерой возился, как Полоний, конопатый мальчик.

— В еде я неприхотлив, — объяснял нам старик, — генерал знает, что мне по вкусу. Немного овощей, стакан воды.

У него были бледно — желтые белки глаз. Он походил на немца до провозглашения империи, легко было вообразить, что он маэстро в каком-нибудь миниатюрном княжестве, где всюду плюш, и позолота, и учтивые манеры. Какие выверты судьбы заставили его причалить в Мексике, чтобы учительствовать среди рудокопов?

Ночью была гроза, и освещение исчезло во всем городе. Дорогу к гостинице я медленно искал при свете молний. Хлестал дождь, на улицах не было ни души. Куда я только что свернул — налево или направо? Казалось, что тебя забыли в лабиринте и билетер ушел домой. Я размышлял о славном старике — американце, у которого была такая гладкая, розовая кожа и совсем ничего за душой, о возвратившемся на птицеферму, разводившем индюков рабочем, которому там не с кем было словом перемолвиться и на ночь под подушку нужно было класть ружье, — каждый живет один в своем собственном маленьком лабиринте, и билетер тебя забыл.

День у генерала

Дорога в Лас — Паломас шла между каменистых, рыжих гор, езды туда было часа четыре. Теснившиеся вдоль дороги кактусы, клонившиеся к нам и отвернувшиеся в сторону, сколько хватал глаз, стояли ровными рядами, словно воинство, — казалось, что они кого-то поджидают. Вихляя, нас обогнала машина, полная одутловатых, вооруженных пистолетами мужчин и оставлявшая спирали пыли на немощеной дороге, но вскоре что-то там испортилось, и мы их обогнали. Они тоже направлялись в Лас — Паломас, дорога, видимо, вела только туда, кончаясь у подворья генерала.

Старик — учитель сидел сзади, зажав между колен свой зонтик, и говорил без умолку. Он рано осиротел, уехал из Германии, обосновался в Мексике. Почему в Мексике?

— А почему не в Мексике? Для настоящего философа не составляет разницы, где поселиться, — ответил он с укором.

В течение нескольких десятилетий он жил в Сан — Луисе, при нем арестовали Мадеро, при нем Карранса и Вилья сражались с Уэртой. Его ученики становились генералами, чтобы вскоре превратиться в трупы. Бывали времена, когда по несколько дней кряду нельзя было и носа высунуть на улицу (а через месяц с небольшим — тогда мы не могли себе это представить — там снова началась пальба). Несколько лет назад он стал слепнуть, и это было очень неудобно, так как он жил один.

— Всего лишь неудобно? — не сдержался я. — Это, наверное, было страшно!

— О нет, нет! — возразил он. — Не страшно для философа.

Нас основательно потряхивало на заднем сиденье, машина, набирая высоту, въезжала в свежий горный воздух.

Врачи от него отказались. Ну, он поразмыслил над всем этим — ведь в докторов он все равно не верил — и начал делать упражнения для глаз и через каждый час прикладывать горячие и холодные примочки, меняя смоченные полотенца. Глаза стали проясняться, сначала он стал различать предметы на расстоянии нескольких ярдов, потом стал видеть, что происходит на другой стороне улицы, а теперь зрение его полностью восстановилось, и он по — ястребиному сверкнул на меня своими желтоватыми белками, чтобы я мог удостовериться в его правдивости. Хлоп — плюх — бух — мы подымались к облакам.

— Ничего, ничего, — подбадривал он меня, — все это вам на пользу. Мы движемся, а это главное! Движение — это жизнь, и жизнь — это движение, таково мое кредо.

Внезапно перед нами вырос заслон, рядом с дорогой стояла хижина, в машину заглядывали мужские лица. Шофер произнес два слова: «Лас — Паломас», и мексиканский бизнесмен, сидевший рядом со мной и выступавший в роли устроителя моей поездки, добавил: «Генерал Седильо». Нам тотчас же махнули: «Проезжайте». То было нечто вроде частного кордона, поставленного генералом в полутора часах езды от ранчо. Дорога перестала наконец забирать вверх и, пробежав вдоль горного карниза (она была такая узкая и ухабистая в этом месте, что, как казалось, кучка воинов могла бы задержать здесь целый полк), стала спускаться вниз к огромной плоской чаше с полосками возделанных полей, напоминавшими следы царапин на плато внизу, с игрушечными деревцами и несколькими домиками. Мне говорили, что Лас — Паломас нелегко найти в горах, и это была правда: пока вы не въезжали на равнину и не кончался поворот дороги, описывавшей петлю вокруг скалистого уступа, вы не догадывались, что поселок находится на расстоянии нескольких сот ярдов. Но лишь поддавшись романтическому заблуждению, можно было вообразить, что ферму очень просто отстоять, не этим руководствовались те, что выбирали это место и укрывали ее здесь, — через какие-нибудь несколько часов после того, как было поднято восстание, она была захвачена солдатами. Ее заботливо построили с другой целью: отсюда можно было быстро перебраться в горы — знакомые, уступчатые, труднопроходимые.

Подпрыгивая на ухабах, мы медленно ползли мимо немногочисленных плантаций к белым строениям, рассыпанным по пыльному двору. Вооруженный сторож распахнул ворота, и молодой темнолицый индеец в бриджах для верховой езды и в шлеме цвета хаки с красивым, исполосованным шрамами лицом сошел с веранды нам навстречу. На веранде толпились дожидавшиеся генерала политические деятели с затейливо украшенными кобурами и патронташами — тут прихорашивали смерть (по закону государственным служащим, конечно, запрещается носить оружие, но в Сан — Луисе, как и на юге, никто не подчиняется запрету). Мы уселись в плетеные кресла, и старый философ принялся разглагольствовать. Он начал в полдень и говорил так несколько часов. Молодой индеец, исполнявший обязанности управляющего, а заодно и депутата местного законодательного органа, предложил нам пойти прилечь, но мы остались на своих местах. Вблизи на склоне виднелось новое бунгало генерала — точно такой же дом, как тот, в котором мы сидели, но более свежий и нарядный. На подворье несильный, знавший свое место ветер кружил воронку пыли, было невыносимо жарко, и на веранде терпеливо переминались с ноги на ногу просители, надеявшиеся получить кто деньги, кто должность, кто посулы. Один человек добирался сюда из Юкатана. Слепорожденный мальчик по имени Томас со щелочками глаз и крошечными, неподвижными зрачками, поднявшись по ступенькам, стал весело нащупывать дорогу, касаясь лиц стоявших и вышучивая собственную слепоту: «Кто-то сказал мне: “Свет погас”, а я ответил: “Мне какая разница?”». Он служил телефонистом.

И вдруг все вытянулись в струнку, словно при звуках государственного гимна, и, пересекши

пыльный двор, на веранду ступил сам генерал Седильо, единственный, кто не носил оружия; если отвлечься от черт лица, по виду это был обыкновенный фермер, в добротном поношенном костюме, в грубой полотняной рубашке без галстука, в сдвинутой на затылок мягкой старой шляпе, открывавшей потный бычий лоб, поблескивавшая во рту золотая коронка казалась единственной щербинкой в этом монолите. Он обошел присутствовавших и церемонно обнял каждого, дольше других он прижимал к груди учителя. Я загодя составил нечто вроде интервью, которое могло сойти за оправдание моего визита, где предлагал дурацкие вопросы того сорта, которых ждут всегда от журналистов: что он думает о фашизме, о коммунизме, о внешней торговле, о предстоящих через два года президентских выборах. Мы двинулись за ним толпой в другое помещение, где и прочли ему вопросы, он был растерян, озадачен и немного обозлен, сказал, что даст ответы письменно, но позже, после обеда, — обед нас уже ждет в его бунгало.

Вместе с управляющим мы прошли в новое генеральское бунгало, где в ожидании обеда пили виски в жуткой зале, пока хорошенькие, пышнотелые и нагловатые служанки накрывали на стол. Зала была обставлена мебелью в стиле модерн, возможно купленной на Тоттнем — Корт — роуд, на стенах красовались крокодиловые шкуры, приобретенные в Табаско за десяток — другой песо, все это дополнялось статуэтками и сервировочными столиками, цветная гравюра в раме с изображением Наполеона лежала на полу. То был безликий дом холостяка, не обладавшего природным вкусом, но силившегося соблюсти приличия, придать всему определенный лоск. Тут ощущалась жалкость человека, отбившегося от своих и не приставшего к чужим, невежды, опасавшегося осрамиться перед образованными. На стене висела цветная фотография Седильо в молодости, на которой всадник в широкополой шляпе, с невинным лицом индейца крепко сжимал в руке винтовку, как и положено солдату революции. В нем ни одна черта не выдавала будущего генерала и уж тем менее — министра. Однако в безобразном кресле раздавался скрип — скрипела кобура индейца — управляющего, и, отделенная от нас передвижными столиками, смотрела с вызовом красивой самки молоденькая подавальщица. Считалось, что Седильо страшен в ревности, но среди этих статуэток и ревность его выглядела чем-то жалким. Мужчина никогда не появлялся здесь с женою или дочерью, и все же очень многие были по — своему к нему привязаны — такую же любовь внушает хищник, к чьей клетке приближаешься с опаской. Год или два тому назад, когда он сильно заболел, местные деятели перестали к нему ездить на поклон, готовясь одарить своею верноподданностью какого-либо нового кумира, лишь несколько дельцов и инженеров проведали его из жалости. Когда они вернулись, по городу пошли кружить легенды о его наложницах — трудно сказать, насколько справедливые. В Сан- Луисе знакомая дама отвела меня в сторону: «Нужно быть очень осторожным у Седильо — вы понимаете, что я хочу сказать? Нельзя смотреть на женщин в его доме и отпускать о них какие-либо замечания. Он очень ревнив». Все то время, что мы здесь сидели, пятьсот человек ждали приказа к выступлению в Лас — Трибас, пока этот опасный человек пылил своими плоскими широкими ступнями по землям своей фермы.

Управляющий не обедал с нами, а только наблюдал за тем, как мы едим, и придвигал тарелки с кушаньями все с тем же выражением учтивости на грозном, темном, покрытом шрамами лице. Старик — учитель предался еде как человек, давно не видевший такого изобилия. Я полагал, что, отобедав, мы сможем получить ответы и уедем, но не тут-то было. Мы возвратились в прежнее бунгало, но генерала там и след простыл, а вся толпа просителей по — прежнему стояла на веранде. Управляющий отвел нашу троицу в маленькую душную спальню и ушел; делать там было совершенно нечего, не видно было ни единой книжки, кроме памфлета против коммунизма, изданного в Мехико и свидетельствовавшего о том, что генерал по мере сил старается не оставлять своим вниманием политику.

Когда стрелка часов приблизилась к пяти, генерал вышел из сарая, где размещалась электростанция, но на вопросы он не собирался отвечать, нет, еще не сейчас, всему свое

время, мне вскоре вручат письменный текст, а теперь поедem поглядим ферму. И, омываемые золотым вечерним светом, мы двинулись, подпрыгивая на ухабах, мимо канав, прорытых в неогороженных полях, а сзади за нами неотступно следовала машина с управляющим, вооруженным пистолетом. Солнце скользнуло за горы, выпалив напоследок снопом бледнеющих лучей, похожих на прожектор, и нежные, чуть зеленеющие всходы стали видны на пересохшей пашне. Генерал сидел на переднем сиденье рядом с водителем, его широкая спина с поникшими плечами напомнила мне Томми- Барсука из сказки Беатрис Поттер, который «по ночам, при лунном свете ходил и все копал, копал». Мы то и дело выходили из машины, чтобы полюбоваться полем, урожаем, оросительным каналом.

Внезапно опустилась ночь, и, переваливаясь через невидимые в темноте канавы, мы развернулись в сторону усадьбы. Неподалеку тархтел движок, исправно засветились немногочисленные лампочки, звон из литейной расходился меж чернеющих холмов. Крестьяне потянулись к кухне, нас миновали подавальщицы с жестяными подносами, дым заструился вверх, и улеглась дневная пыль. К ранчо подкатывали все новые и новые машины, оттуда выходили новые и новые мужчины с пистолетами и присоединялись к сборищу, громко переговарившемуся на веранде. Тут же бродил слепорожденный мальчик и, заходясь от хохота, кричал, ощупывая чью-то кобуру или щетинистые щеки: «Хуан! Это Хуан!» Если у генерала в этот день не находилось времени заняться посетителями, их оставляли на ночь и кормили (за пять последних дней для них забили двух быков), а утром он к ним приходил и всех выслушивал. Во всем этом была довольно трогательная простота и, несмотря на ружья, даже идилличность. Крестьяне сидели молча, привалившись спинами к стене кухни, у ртов их пролегли глубокие морщины. Они не получали плату за работу, но генерал давал им пропитание, одежду и пристанище, а заодно и половину всей продукции, которую производило ранчо, и даже деньги, если им случалось попросить о них в ту пору, когда они у него были. Им даже предоставили полсотни стульев в маленьком личном кинозале генерала. За это они воздавали ему трудом и преданностью. Прогрессом здесь не пахло, он относился к ним, как феодал к своим вассалам, и можно было возразить, что они были неимущими, а у него было все: мебель в стиле модерн, мраморные статуэтки, крокодиловые шкуры, цветная гравюра Наполеона, но их удел был лучше, чем у их собратьев в других штатах, которые существовали на какие-нибудь тридцать пять центов в день — никак не больше, — и никого не волновало, живут они еще на белом свете или умерли, и вся ответственность за жизнь лежала на их собственных плечах.

Генерал заявил, что у него сегодня не найдется времени ответить на мои вопросы и лучше мне заночевать на ферме, а завтра днем он мной займется и к вечеру я доберусь до Сан — Луиса. Но я не мог на это согласиться — меня ждало такси. «Тогда я буду вынужден проститься, — ответил я, — мне непременно нужно завтра же приехать в Мехико». Генерал раздулся от гнева, его шея и щеки растянулись, как резиновые. По выражению лиц моих сопровождающих я понял, что допустил ужасную бестактность. Вдруг он сменил гнев на милость и прошел в комнату, находившуюся по другую сторону веранды, на которой его дожидались посетители.

За нами захлопнулась дверь, и мы окунулись в темноту — должно быть, отключилось электричество. Жаркая тьма пульсировала гневом генерала. Он что-то одышливо ворчал у моего плеча, и бизнесмен подобострастно шелестел в ответ: «No, señor. Si, señor»[25]. Какой-то металлический предмет — им оказался зонтик старого философа — со звоном покотился по полу. Наконец кто-то догадался щелкнуть выключателем, из голой лампочки послушно брызнул свет на треснувшее зеркало, на стулья с жесткими сиденьями и маленький бильярдный стол с изорванным сукном. Учитель принялся читать мои вопросы, а генерал стал диктовать ответы своему секретарю. Ему все это явно было не по нраву, я понимал, что он не мог взглянуть на дело с европейской точки зрения.

Да, он верит в религиозную терпимость, говорил он («Soy respetuoso de todas las creencias» [26]), и в Сан — Луисе его народ познал ее плоды. Да, он одобряет новые, социалистические

школы, которые Карденас строит по всей Мексике, но лишь в той мере, в какой детей там обучают тому, что в самом деле нужно в жизни, ибо среди учителей немало и таких, что вносят в школы дух сектантства, используя их для своей «нечистой политической игры». Он отвечал очень уклончиво и, полагаю, ни на миг не забывал, что федеральные войска, стоящие в Лас — Трибасе, находятся в состоянии боевой готовности и что вокруг наверняка есть и глаза и уши. Что же касается хозяйственного курса президента: дробления больших наделов, предоставления земли индейцам, — с этим, пожалуй, даже можно было бы согласиться (среди своих покрытых тьмою акров он делал неуклюжие попытки быть дипломатичным), но...

Когда он доходил до своего очередного «но», по лбу его струился пот, он начинал вращать глазами, как человек, который чувствует, что почва ускользает из-под ног. Никто не задает подобные вопросы в Сан — Луисе: как он относится к конфедерации профсоюзов — КРОМу, собирается ли выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах (подобострастный бизнесмен слушал, стараясь не проронить ни слова). Он надувался, как лягушка, потел от раздражения. Правда, я был католиком (иначе я никогда не получил бы разрешения на въезд в его владения, куда не допускали иностранных журналистов), но он прекрасно знал, как ненадежна благодарность, которую католики ему выказывают. Никто из них на самом деле не променял бы пусть и жестокую политику Карденаса на продажное правление Седильо, и «но» все время продолжали раздаваться.

В принципе он одобрял аграрные реформы, но проводились они скверно и потому служили иногда «нечистой политической игре» иных из реформаторов. Что же касается коммунизма и фашизма, он не верил ни в то, ни в другое и был сторонником «парламентаризма», если, конечно, «позволяют обстоятельства». (Он даже сослался на «демократию», но было ясно, что это лишь затверженный урок — то слово, которое необходимо вставить в разговор о политике.)

Здесь, в этой жалкой комнате, с голой — без абажура — лампочкой и бильярдным столом, я не способен был по — прежнему серьезно относиться к слухам, будто в его распоряжении имеется двадцать тысяч хорошо обученных солдат. Нельзя, конечно, доверять тому, что утверждают генералы и политики, но было что-то неподдельное и в охватившей его бычьей ярости, и в той беспомощной растерянности, которая изобразилась на его лице в ответ на мой вопрос о том, правда ли, что у него на службе состоят немецкие офицеры. Он сбивчиво и жарко стал это опровергать, с немой и вопрошающим отчаянием глядя на старика — учителя: что еще выдумают его враги? Он словно потерял дорогу в многолюдье, где у друзей и у врагов были неотлично одинаковые лица. Когда-то он был молодым солдатом — индейцем с круглым, простодушным лицом, но годы политической борьбы согнали простодушие с его лица, в чертах к середине жизни прорезалась жестокость. Люди, называвшие себя его друзьями, грабили его, в ответ он грабил штат, потом настала засуха, водопроводная система пришла в негодность, и у губернатора не оказалось денег, чтоб привести ее в порядок, тогда профсоюзные деятели обратились с жалобой к президенту, тому самому президенту, который не сидел бы сейчас в Чапультепеке, если бы солдаты Седильо не помогли ему свергнуть Кальеса. Для друзей, для фермы он выжимал средства из штата, из капиталистов. А капиталисты желали получить взамен что-либо существенное, скажем, избавиться от профсоюзных агитаторов. Так в его жизнь вошла политика. Наверное, ему был ненавистен человек, который вторгся к нему в дом, чтобы терроризировать вопросами о коммунизме и фашизме. Он надувался, покрывался потом и говорил мне «демократия». На закате, когда мы тряслись в его старой машине по каменистым кочкам ранчо и он показывал свои посевы, свой канал, он выглядел гораздо более счастливым человеком.

Меньше двух месяцев он еще оставался таковым, должно быть, уже в то время, когда мы были у него в гостях, он ощущал неотвратимость мятежа. Мексика закипала, как котел. За неделю перед тем Верховный суд страны узаконил постановление министерства труда об

экспроприации иностранных нефтяных компаний. В течение десяти дней президент Карденас должен был подписать соответствующий декрет. Уже запущенная пропагандистская машина должна была поднять волну патриотизма и предоставить президенту случай поквитаться с Седильо. Будь генерал предоставлен сам себе, я думаю, он еще долго пребывал бы в состоянии нерешительности. Возможно, ему нравилось быть в центре затеваемой интриги, а главное, немолодому человеку нелегко было пожертвовать своим ранчо и податься в горы. Но тучи сгущались, и той же ночью из Сан — Луиса к нему явились офицеры с вестью, что его друг, военный комендант города, отстранен от должности и в штат привозят новые военные соединения, не испытанные тлетворного влияния местной пропаганды. Через две недели он должен был принять на себя обязанности коменданта Мичоакана, родного штата Карденаса, где был бы отрезан окончательно от всех своих друзей и между ним и Сан — Луисом пролегал бы целый штат Гуанохуато. Седильо отговорился болезнью и продолжал сидеть в Лас — Паломасе, но события на этот раз разворачивались быстро: Карденас совершил отчаянный и непредвиденный поступок — внезапно объявился без охраны в Сан — Луисе и обратился к жителям прямо в твердыне своего врага. Обвинив Седильо в подготовке мятежа, он потребовал разоружения его пеонов. Война вспыхнула в удобную для правительства минуту, то здесь, то там взрывались бомбы, в горах начались схватки, территория Лас — Паломаса была оккупирована, а генерал, спасаясь от погони, перебежал от одного высокогорного укрытия к другому. Его сторонники на юге до самого Лас — Касаса были брошены за решетку, а самого его убили под Пуэбло. С восстанием было покончено, но бандитизм не прекращался: взрывались поезда, совершались акты бессмысленной жестокости.

Даже после того, что генерал ответил на мой последний вопрос о немецких офицерах, уехать оказалось невозможно. Ответы нужно было перепечатать, чтобы потом вручить машинописный текст. Все так же медленно тянулось время, и мы томились на веранде рядом с мужчинами при пистолетах, среди которых были администратор-американец — нездорового вида человек с заросшим подбородком и выступающим животиком, молодой надушенный мексиканский журналист, получивший предупреждение, чтобы он лучше сюда не ездил (в тот день было объявлено восстание), и слепой Томас, ощупывавший все вокруг. В десять часов нас снова отвели в новое генеральское бунгало и накормили ужином. У небольших костров, горевших во дворе, сидели женщины, помешивая угли и наблюдая за котлами; как маленькие змейки, подрагивали огненные языки — царила ночь. Вдали с тяжелым грохотом ползла гроза (неделю назад в горах убило молнией двух возвращавшихся домой пеонов) — казалось, будто на товарной станции швыряют грузы из вагонов. В зале сидели две размалеванные длинноногие девицы в кричащих платьях, дожидавшиеся генерала и постели. И снова управляющий смотрел, как мы едим, и вновь, поскрипывая кобурой, пододвигал салаты, и вновь ходила мимо нас развязная, смазливая служанка с наглой полуулыбкой на подрагивающих губах. Все вместе это напоминало пьесу, объединявшую немислимые крайности: предпринимателя, бандита, старого философа (накинувшегося на еду так, словно его ждал длинный переход через безводную пустыню без запасов провианта), мир плоти, притаившийся вблизи, и небо, раскалывавшееся снаружи.

Мы выбрались из Лас — Паломаса около одиннадцати часов вечера; у старого учителя тоже была просьба к генералу, и это задержало нас еще на полчаса. Преобразившись в семьянина, он хлопотал о своем младшем, безработном сыне, старшего он несколько недель назад похоронил в Веракрусе, где тот работал врачом и чем-то заразился. Генерал продиктовал коротенькую записочку, на основании которой юноше должны были предоставить работу в каком-нибудь из ведомств в Сан — Луисе, должно быть, так оно и было, пока не началось восстание, принесшее с собой насильственную смерть для жертв, веселье и хмель убийства солдафонам и опрокинувшее тихие и неприметные мирки, в которых жили люди вроде учительского сына.

Наконец мы сели в машину и двинулись навстречу буре. Раскрылись белые ворота, свет фар упал на часового, сделавшего энергичный взмах винтовкой, и машина поползла в горы.

Словно угроза, нависшая над будущим, буря ждала нас где-то впереди, за паспортным контролем, до которого мы добрались в два часа ночи. Водитель и сидевший рядом с ним предприниматель дружно пели, старый философ беспечно спал, сжимая в руках зонтик, его прекрасная породистая голова, очерченная светом молний, подпрыгивала на изорванной обивке. В зеленоватом полыхании зарниц выныривали, словно часовые, стоявшие на склонах кактусы, по обе стороны от перевала дрожали молнии, вонзаясь в землю. Когда это живое освещение гасло, мы погружались в непроглядный мрак и ехали вслепую, сползая то налево, то направо, почти цепляясь крыльями за кактусы, навстречу пламеневшим в небе остриям. Они напоминали заградительный огонь — разряды, как ракеты, пикировали с неба в миле впереди. И вдруг мы повернули, уклонились, обманули молнии. Бледневшая гроза шумно роптала где-то в стороне, и впереди в горах мигнул какой-то огонек. Старик — учитель спал, предприниматель клевал носом, какой-то не ко времени проснувшийся петух попробовал свой голос и заснул, мелькнул в лучах фар мертвый город, словно картинка в волшебном фонаре.

Гроза оставила в душе не страх, а ощущение подъема. Для человека молнии всегда неотделимы от богов, это величественное, грозное, слепящее и нарочитое бесстрашие воспринималось как насмешка над насилием, творимым человеком, — над инкрустированными кобурами и глупым самомнением убийц. Невольно вспоминались Хват — Каплан и Джим из Оклахомы с их высушенной кожей и открытыми всем взорам ребрами, они-то числили себя среди хозяев жизни, но очутились в балагане и были выставлены на потеху публике. При грозном свете бури все эти люди, даже генерал, вдруг стали смехотворными, как персонажи фарса.

В Мехико

Только большие, выразительные, словно на плакатах, питы[27] вносили оживление в однообразную картину гор и выжженной равнины. Пожалуй, это было даже по — своему красиво, но я смотрел сейчас на мир глазами Коббета, от «Сельских прогулок» которого как раз поднял глаза, чтоб поглядеть в окно. Коббет судил природу с точки зрения пользы, а не красоты, как было свойственно романтикам. Романтикам понравилась бы мексиканская природа, они бы говорили, что она «возвышенная» и «внушает трепет». В самых бесплодных пустошах они угадывали близость Бога, словно он был поэтом, спасавшимся уединением, и нужно было, проявляя деликатность, подглядывать за ним в подзорную трубу, пока он предавался размышлениям у водопада или на вершине горы Хелльвеллин, — как будто Бог, разочарованный в венце творения, решил вернуться вспять, к созданиям более ранним. Романтики предпочитали дикую природу, которая отторгла человека.

Признаюсь, что меня приводит в ужас вид невозделанной природы или такой, которую нельзя обжить, и я лишь на словах способен восхищаться бушем и берегами Корнуэлла. «На березах распустились листья. Пшеница превосходна, она сейчас красивей, нежели в иное время. Я не заметил ни улиток, ни червей на сухом грунте. Корни растений выглядят здоровыми. Всходы овса совсем еще невелики, однако я не вижу оснований для тревоги». Такое описание мне понятно, в нем и на гран нет субъективности, и отношение к природе здесь такое же, как к караваю хлеба, а если нам угодно, отдельные предметы: овес, пшеницу и березы — мы можем расцветить сентиментальной дымкой, живущей в нашей памяти. Что написал бы мексиканский Коббет, подумал я, об этой странной, живописной, выжженной земле? «Губительная местность, грунт состоит из камня и песка... как я заметил по дороге, пита[28] — единственное растение, способное плодоносить в этих условиях».

А проезжая через Гуичепен, какой филиппикой он разразился бы против «презренных

подхалимов власти», скрывающих под вывеской свободы цепи рабства! Я ехал по туристскому маршруту в Мехико из Ларедо, и ни в одном из лучезарно — жизнерадостных американских путеводителей не встретил ни единого упоминания о том, какое зрелище нужды являет собой вокзал в Гуичепене.

Нищие заполнили весь перрон, не видно было дружелюбных индианок, которые на каждой станции обычно носят вдоль вагонов маисовые лепешки, засахаренные фрукты, подсушенные солнцем с пылью пополам, цыплячи ножки, мясо неопознанных животных. Тут были не смирившиеся с жизнью попрошайки, тихо доживающие свой век на паперти в безмолвном ожидании подачи, а нищие, мечтавшие быстро нажиться, как бы покрикивавшие на дающего: «Гони монету, поживее». Скулившие, рычавшие от нетерпения дети, старики и женщины протискивались к поезду, отпихивая друг друга, высовывая над толпой кто что: культю, костыль, безносое лицо, дети тянули вверх костлявые, изглоданные голодом ручонки. Немолодой паралитик с бородатым, разбойничьим лицом и крошечными, как у младенца, нежно — розовыми вывихнутыми ножками передвигался по платформе на руках, фута на три лишь возвышаясь над землей, кто-то швырнул ему монету, и тотчас сзади на него набросился ребенок лет шести — семи и в омерзительной, бесстыдной потасовке ее отнял. Без слова жалобы тот продолжал свой путь — люди тут жили по законам джунглей, всегда готовые вцепиться в глотку ближнему. Они теснились у железнодорожной колеи вроде чесоточных животных в жалком зоосаде. Я помню, как-то раз, прогуливаясь в парке в пригородах Лондона, я миновал поросшую травой площадку с прекрасными деревьями и зданием дворца, где в многолюдном зале шел концерт органной музыки, и оказался перед маленьким зверинцем («Плата за вход шесть пенсов» — гласила надпись), который приютился в нескольких заброшенных сараях; кроме меня там был только слугитель с ведром и граблями. Смотреть там было почти нечего: в темном углу возилась обезьяна, в клетке, которая была фута на два длиннее его тела, ходил туда-обратно тигр; было невероятно душно, и в полутьме глухо звучала музыка органа. Неиссякаемы запасы человеческой жестокости, хранимые в подобных тайниках! Как от налетов вражеских бомбардировщиков стараются укрыть бензин, так убирают их подальше с глаз на небольшие улицы за Тоттнем — Корт — роуд, в какой-нибудь из парков лондонской окраины, в Гуичепен, и в случае нужды используют.

Вот наконец столица. На вокзале идет посадка — солдат отправляют в Сан — Луис — Потоси. Все они маленькие, хмурые, построены по взводам и движутся почти бесшумно. Город мне показался темным, хотя было довольно рано — около десяти часов вечера. Как и в Париже, на привокзальных улицах стояли неказистые домишки, зато гостиница блистала новизной, даже чрезмерно. Стены моего номера сверкали красно — черной полировкой, еще не выветрился запах краски, на новеньком ночном горшке висел ярлык: «Цена 1 песо 25 сентаво».

Я вышел прогуляться. С зеркальной от дождя Синко-де — Майо я перешел на авенида Хуарес, где пахло чем-то сладким, и мимо светлого высотного здания страховой компании, мимо белого, горделивого, увенчанного куполом Дворца изящных искусств двинулся к ухоженным деревьям Аламеды — громадного парка, заложенного, как считают, Монтесумой, к роскошным ювелирным магазинам, антикварным лавкам и библиотекам... Не верилось, что Гуичепен лежит совсем недалеко отсюда и что за половину суток можно доехать до веранды, где люди с пистолетами томятся в ожидании Седильо и рядом молнии пронзают горы. Ничто не связывало эту европейскую столицу с маленькой, захудалой фермой и жившими в горах индейцами. Они принадлежали разным континентам — могли ли они чем-нибудь помочь друг другу в будущем? Тут царствовала роскошь и все напоминало Люксембург. Такси скользили по широкой, величавой и нарядной авеню Пасео-де — ла — Реформа; огромная зеленая неоновая буква «Р» переливалась над висячим садом, разбитым на крыше самого богатого отеля, и над его балконами и вытянутыми вестибюлями, сиявшими через стекло оранжевым светом люминесцентных ламп; золотые крылья статуи Независимости и памятник

последнему ацтекскому властителю блестяли от дождя, как мокрый лавр. На улицах народу было мало, прогуливались в основном американские туристы, мексиканцев совсем не было видно, кроме закутавшихся в одеяла и напевавших грустные мелодии бездомных мальчиков — индейцев, которые сидели скорчившись у входа в ма — газины на авенида Хуарес — они скрывались там от ветра. Впрочем, такое есть в любой столице: парижские неприкасаемые прячутся за городскими укреплениями, на Риджент — стрит в ночное время старухи изнывают в подворотнях.

Глава 3 Заметки о Мехико

Воскресенье

Сегодня я ходил на службу в огромный собор — мощные позолоченные витые колонны и потемневшие от времени изображения любви и страданий. У входа продавали маленькие фотографии отца Про: вот он в Бельгии, с настоятелем монастыря; угрюмый, вид отсутствующий, упрямый рот и очень серьезные глаза. А эта фотография сделана в полиции: джемпер, дешевый полосатый галстук, не брит; на этот раз рот чувственный, но такой же упрямый, вид сдержанный. Встал на колени и молится перед казнью в маленьком жутком дворике за Главным полицейским управлением. Стоит, раскинув руки и закрыв глаза, между двумя старыми чучелами, из тех, что используются в качестве мишеней в учебной стрельбе. Лежит скорчившись, руки сложены на груди, сейчас пристрелят, чтобы не мучился. В морге: веки не смежены, тяжелый рот приоткрыт, застывший оскал и лицо словно маска; можно, кажется, взять ее в руки и надеть. Под фотографиями слова молитвы, той, что, по их словам, доходит чаще всего. Народ хранит эти реликвии (у матери зубного врача есть носовой платок, смоченный кровью Про); его, я слышал, уже причислили к лику святых.

В воскресенье Аламеда похожа на сцену из фильма Рэне Клера: состоятельные семьи под раскидистыми деревьями, фотографы; преобладают голубые и розовые цвета; виллы, озера, лебеди, розы — словно находишься не в Мексике, а в эдвардианской Англии; над головой стрекочут какие-то допотопные летательные аппараты. Повсюду, над стенами и деревьями, задирают свои побитые древние головы церкви. В Либера — Релихиоса стоит статуя Младенца Христа, приподнятые руки полны лотерейных билетов. Под куполом Сан — Фернандо святые старцы окутаны, словно тончайшим покрывалом, небесно — голубым светом, могучий поток воздуха уносит их ввысь, облака разбросаны по расписному потолку, будто теннисные мячи, отчего создается ощущение полной свободы и праздничности (ни одной мрачной краски), а венчает все это грандиозное зрелище сияющий на самом верху, под сводами церкви, лик Сына Человеческого.

Все, кто не пошел на бой быков, идут в Чапультепек, и городские улицы пустеют. Говорят, парк Чапультепек, как и Аламеда, восходит к временам Монтесумы: громадные, покрытые бороатым испанским мхом старинные деревья (одно из них двести футов в высоту и сорок пять в обхвате); усыпанные маленькими лодками озера, искусственные пещеры, холодные сумрачные гроты, а на отвесной скале — пустой замок, охраняемый нерадивыми солдатиками, которые то гоняются по кустам за девушками, то сидят на парапете возле караульной и читают дешевый роман. У Дворца Максимилиана стеклянный, как у лондонского Хрустального павильона, фасад и массивные стены двухсотлетней кладки, а перед дворцом, внизу, стоит памятник несчастным кадетам, которые бессмысленно погибли при обороне замка во времена американского вторжения. Последний оставшийся в живых кадет бросился

со скалы, привязав к поясу мексиканский флаг — тот самый, с орлом и змеей, что носят на рубашках и рисуют на тыквах для туристов. В Мексике все памятники имеют кровавую предысторию.

В газетах появилось сообщение об убийстве двух сенаторов. Одного застрелили в Хуаресе, на американской границе, а другого — вчера вечером в баре, в трех минутах ходьбы от моего отеля, на другом конце Синко-де — Майо. Убийца выпустил в сенатора целую обойму, после чего вышел из бара, сел в машину и уехал из города. По существу, это убийство ничем не отличается от всех остальных — разве что высоким положением жертвы. Только и читаешь — «изрешечен пулями».

То ли из-за царящей здесь атмосферы насилия, то ли из-за высоты над уровнем моря (около семи тысяч футов), но уже через несколько дней на большинство приезжих Мехико начинает действовать угнетающе.

Со стороны Чапультепекского замка с горы спустилась группа пеонов в широкополых шляпах; в них они несли хлеб. Что ж, есть здесь кое-что и забавное — петушинные бои, например.

Мексиканский Епископ

Вместе с доктором С. я отправился к чьяпасскому епископу. Мне говорили, что в правительстве его считают одним из самых опасных и злонамеренных представителей мексиканского духовенства. Месяц или два назад он попытался вернуться к себе в епархию, но его посадили в машину и вывезли за пределы штата. Не знаю, кого я ожидал увидеть — какого-нибудь дородного священнослужителя с выбритым до синевы подбородком, острым взглядом и поджатыми губами, но, уж во всяком случае, не простоватого добродушного старика, жившего крайне неприятно в обстановке чудовищного упадка веры.

На вид епископ ничем не отличался от скромного деревенского священника, и когда я опустился перед ним на колени, ему стало ужасно неловко. По стенам маленькой темной комнатки с занавешенными окнами висели изображения святых и какие-то большие непонятные картины религиозного содержания. Он рассказал мне, что священники до сих пор не имеют права вернуться в Чьяпас, хотя некоторые церкви уже открылись. Туда вообще трудно добираться, разве что с юга, где неподалеку от тихоокеанского побережья ходят поезда в Гватемалу и есть несколько дорог. На севере же сплошные горы, леса и индейцы, которые не знают ни слова по — испански и даже не понимают языка соседней деревни. Епископ очень сомневался, что от Паленке до Лас-Касаса можно найти проводника.

О Сан — Кристобаль-де — лас — Касас он говорил с какой-то затаенной грустью. Когда-то, до того как губернатор переехал на равнину, в Тустлу, Сан — Кристобаль, находившийся высоко в горах, был древней столицей штата. По словам епископа, это был «очень католический город» с большим числом церквей, причем одна из них, Санто — Доминго, считалась чуть ли не самой красивой в Мексике. Однако большинство чьяпасских церквей не похожи на другие мексиканские, ведь Чьяпас всегда был бедным, диким штатом, и церкви там строили очень простые. Обо всем этом епископ говорил как о какой-то чужеземной стране, куда он никогда уже не сможет вернуться. Его рассказ показался мне таким трогательным, что далекий Лас — Касас, куда ведет только одна, да и то разбитая, горная дорога, стал теперь главной целью моего путешествия по Мексике и началом пути домой.

Крошечное здание музея затесалось между двумя магазинами, неподалеку от Национальной школы. Я шел узким темным извилистым коридором и заглядывал в ярко освещенные комнатки по обеим сторонам: монах в рясе избивает обнаженную женщину или допрашивает ее с факелом в одной руке и с хлыстом в другой. Женские тела вылеплены с трогательной чувственностью: розовые бедра, округлые груди. Передо мной по коридору шел низкорослый индеец с женщиной. На восковые фигуры они смотрели с нескрываемым любопытством, но вряд ли понимали смысл того, что видели: избитая женщина была для них просто избитой женщиной, не больше. И то сказать, они ведь как дети: что им пытки, выставленные на обозрение в этом тесном коридоре? Что им пропаганда?

Наверху был Троцкий. (Он жил под Мехико на вилле у Риверы, на его письменном столе лежал револьвер, корреспондентов при входе обыскивали, ночью вилла освещалась прожекторами и охранялась регулярными войсками — в газетах писали, что Сталин подослал к нему убийц.) Троцкий стоял в брюках гольф, в коротком розовом галстуке и в свободной куртке с нагрудными карманами — вылитый Шоу. Рядом под стеклянным колпаком были выставлены для сравнения два восковых слепка — натруженная рука рабочего и холеная рука священника. А какая же рука у Троцкого — как у рабочего или как у священника? Над стеклянным гробом, где лежал в алом, шитым золотом одеянии восковой священник, склонился восковой индеец, и мне вспомнился старый худой чьяпасский епископ в изношенной черной сутане и власянице святого Фомы Бек-кета. Тут же изображалась сценка из индейской жизни: хижина, индеец у постели умирающей жены, а на полу, рядом с пустой миской, ребенок. Их благословляет священник, а внизу надпись: «Весь их капитал — 50 центов, а месса стоит полтора песо».

Антикатолицизм часто сочетается с любопытным по своей наивности религиозным предрассудком. Люди ведь не могут жить совсем без веры, независимо от того, верят ли они в неизбежность победы пролетарской революции или в то, что черная кошка, если перебежит дорогу, принесет им несчастье. Вот и здесь, в этом маленьком антирелигиозном музее восковых фигур, я увидел какую-то знаменитую цыганку с младенцем в колыбели; младенец должен был, по ее предсказанию, в 1997 году править Мексикой из Лондона — столицы мира.

Гудцалупе

Гуадалупе — национальная святыня, центр поклонения всей Мексики, находится всего в пятнадцати минутах езды трамваем от собора, в пригороде, который, как и некоторые лондонские, сохранил черты и атмосферу деревни. В стране нет ни одного города, где не было бы храма Гуадалупской Божьей Матери.

Строгая, неказистая на вид церковь восемнадцатого столетия стоит на маленькой рыночной площади. Торгуют здесь каждый день и чем угодно: мороженым, фруктами, маисовыми лепешками, которые поджаривают прямо при вас и заворачивают, как печенье, в цветную бумагу; синим гуадалупским стеклом цвета аптечных склянок, небольшими аляповатыми игрушками. При выходе из часовни, построенной на источнике, который, по преданию, забил под ногами Богоматери, находится склад пустых бутылок из-под виски; в них развозят довольно противную на вкус целительную воду. В церкви над алтарем висит чудотворный мексиканский плащ с изображением темнокожей индейской Богоматери, которая склоняет голову с таким благородством и добротой, каких в безбожной Мексике нигде больше не встретишь.

Первый раз Святая Дева появилась в Амекамеке, в пятидесяти милях от Гуадалупе, но внимания на нее никто не обратил. Затем, 9 декабря 1531 года, когда крестьянин Хуан Диего подымался на гору Тепаяк, у подножия которой теперь стоит церковь, перед ним предстала Богоматерь (вдруг раздалась музыка, и все кругом осветилось), назвала его «сын мой» и велела передать епископу Сумарраге, чтобы тот на этом месте построил церковь, откуда она могла бы с любовью взирать на индейцев. (Сумаррага был тем самым епископом, который, к великому сожалению археологов, сжег индейские рукописи на рыночной площади Тлалтелолко — города, куда собирался Диего за разъяснениями.)

Примечательно, что это видение сыграло, по всей видимости, большую патриотическую роль, ведь Мехико был захвачен Кортесом всего десять лет назад, страна еще не была окончательно покорена, и вряд ли простой испанский солдат пришел бы в восторг, если бы индеец сообщил ему, что Дева Мария назвала его «сын мой». Мексиканские политики утверждают, что эта легенда придумана церковью для умиротворения местного населения. Однако если легенда и в самом деле придумана церковью, то с другой целью. Ведь Богоматерь потребовала возвести храм, откуда бы она могла любить своих индейцев и хранить их от испанских завоевателей. Легенда дала индейцам чувство собственного достоинства, заставила поверить в свои силы; это была не охранительная, а освободительная легенда.

Епископ, конечно же, не поверил Диего. Священники и епископы ведь тоже люди, и им не меньше нашего свойственны предрассудки своего народа и своего времени. Такое выражение, как «сын мой», могло застрять в глотке даже у епископа, как бы на словах он ни ратовал за родство с индейцами. (Точно так же энциклика папы «*Reverum Novarum*»[29] в свое время застряла у епископа в Сан-Луис — Потоси, причем не в глотке, а в чулане, где ее случайно обнаружил священник после революции Каррансы.) В воскресенье Юдекабря (у этой легенды исключительно точная датировка) Богоматерь опять явилась Диего на горе Тепаяк, и он стал слезно умолять ее отправить к епископу более представительного посыльного (быть может, какого-нибудь испанца), которому бы епископ поверил. При желании она могла бы явиться самому Кортесу, власть которого была неограниченной.

Но человеческая мудрость — ничто по сравнению с мудростью Божией, и можно только гадать, что было бы с видением Пресвятой Девы, явись она поработителю вместо поработимого. Наверняка была бы построена богатая церковь — но ходили бы в нее индейцы, вот вопрос? Можно не сомневаться, что такую церковь в конце концов закрыли бы, как и все остальные в Мексике, да и забыл бы захватчик о видении из-за неотложных государственных, политических и военных дел. А между тем церковь Девы Марии в Гуадалупе оставалась открытой, даже когда гонения на духовенство были в самом разгаре, — никакое правительство не осмелилось бы лишиться индейцев их Богоматери, а единственный человек, который угрожал ей, в конечном счете поплатился за это карьерой. Когда Гарридо Канабаль, диктатор Табаско, прибыл в столицу в сопровождении «краснорубашечников», чтобы занять пост министра сельского хозяйства в правительстве Карденаса, он отдал своим людям тайный приказ разрушить храм Гуадалупской Божьей Матери точно так же, как уже были разрушены все церкви в Табаско. Церковь охраняли круглые сутки, и кончилось тем, что Гарридо выдворили из Мексики в Коста — Рику. Гуадалупская Божья Матерь, как Жанна д'Арк во Франции, явилась олицетворением не только веры, но и национального чувства. Она была патриотическим символом даже для неверующих...

Итак, Богоматерь снова отправила крестьянина к епископу Сумарраге, и тот — из вполне естественной предосторожности — потребовал доказательств. Явившись Диего в третий раз, Дева Мария обещала ему на следующий же день представить доказательства, однако на завтра в назначенное место Диего не пришел: тяжело занемог его дядя, и он совсем забыл про встречу, а может быть, его отвлек факт приближающейся смерти, более значительный и реальный, чем видение, в истинности которого он, вполне вероятно, успел и сам усомниться

после разговора с епископом, отличавшимся мудростью, взвешенностью и здоровым скепсисом отца церкви. Во вторник, двенадцатого числа, Диего пришлось опять отправиться в Тлалтелолко, на этот раз за священником к умирающему дяде, но, убоявшись той каменистой тропинки, где ему являлась Богоматерь, он пошел другой дорогой, как будто, изменив маршрут, можно избежать встречи с Богом. По сути, он проявил такой же рационализм, как и скептически настроенные современные католики, которые с недоверием относятся к видению на том основании, что у Гуадалупской Богоматери смуглая кожа, полагая, по — видимому, что происхождение — такой же признак духа, как и плоти.

Однако избежать встречи с Пресвятой Девой не удалось. Она выросла перед ним, не сказав, впрочем, и слова упрека. Ведь Богоматерь вообще не совместима с идеей наказания. Она сообщила индейцу, что его дядя уже здоров, велела ему подняться на вершину горы, собрать среди скал букет роз и передать их епископу. Диего завернул розы в плащ, а когда раскрыл его, чтобы вручить цветы епископу, то обнаружил, что лик Богородицы запечатлелся на плаще, который теперь и висит над алтарем.

Церковь в Гуадалупе мне показывала старая испанка, сеньора Б. И, надо сказать, не без иронии. Она провела меня в маленькую комнатку за ризницей, где были развешаны «чудеса» — картинки, созданные в благодарность Богоматери за чудесное избавление. Своей примитивной манерой они напоминали рисунки одаренных детей, подписанные короткими полуграмотными фразами: жена из постели следит за пьяным мужем; маленькие человечки с неловко задранными пистолетами стреляют друг в друга («Тяжелая рана сеньора...»). После этого мы пошли по крутой лестнице, которая подымается по горе Тепаяк от церкви до часовни, построенной на том самом месте, где было явление Святой Девы. На каждом шагу стояли фотографии с допотопными складными камерами на треноге и старинными цветными снимками: первые пароходы, поезд, воздушный шар, какие-то невероятные аэропланы из Жюль Верна и, естественно, лебеди и озера, голубой Дунай и розы — ностальгические кадры. Горел огонь под маленькими жаровнями, пахло маисовыми лепешками. Наверху было кладбище: вокруг крестьянской часовни пугливо жались друг к другу заросшие лишайником массивные дорогие надгробья с испанскими гербами. На горе Тепаяк земли нет, ее надо подымать снизу, и, чтобы вырыть могилу, приходится долбить камень.

В поисках своих предков старая испанка ходила по дорожкам мимо склепов, среди которых, как в только что выстроенном богатом жилом районе, не было одинаковых. Она обеднела, жила одна в маленькой однокомнатной квартирке, куда раз в неделю, по средам, к ней приходили внуки. В эти дни на плитке у ее изголовья кипел чайник. Мужества, воли и жизненных сил ей было не занимать. Ее предок был генералом, который сражался за Итурбиде и независимость, а потом, когда Итурбиде захватил власть, попал в ссылку. Но генерал Б. не мог жить без родины; он тайно вернулся в Мексику, переезжал с места на место, повсюду оставляя похожих на себя детей. Перед смертью он распорядился захоронить свое сердце в Гуадалахаре, где познакомился с женой, правую руку — в Лерме, где одержал победу, а тело — в Гуадалупе. Сеньора Б. сохранила его плюмаж и фамильную гордость, но ее аристократизм, притупившись от бездействия, стал каким-то ожесточенным, вымученным, бессмысленным. Она была врагом Карденаса, однако не признавала и Седильо, отец которого в свое время работал крестьянином на ее семейных угодьях в Сан — Луис- Потоси. Чрезмерная гордость не позволяла ей выбрать между двух зол — ее судьба типична для многих мексиканцев испанского происхождения, которые скрывались от жизни в однокомнатных квартирках и маленьких отелях.

Она тоже была католичкой, но с налетом аристократической иронии. В видение Диего и его чудотворный плащ она верить не желала — для нее это были народные фантазии. Она и тут, как в политике, замкнулась в себе. Ей достаточно было и того, что в Испании рассказывали подобные истории. Сеньора Б. относилась к тем людям, которые готовы поверить в видение, явись Богоматерь конкистадору, а не крестьянину, уму зрелому, а не детскому.

На следующий день я должен был уехать в Орисаву и Веракрус, а оттуда — в Табаско и Чьяпас. Поскольку у мексиканских католиков перед отъездом принято благодарить Гуадалупскую Богоматерь за заботу, я решил сделать то же самое и вновь встал на колени у подножия горы перед чудотворным плащом Хуана Диего. Старая испанка опустилась рядом и принялась читать молитву Святой Деве, в которую не верила, — ведь у католиков даже скептики умеют соблюсти приличие.

Глава 4 К побережью

Орисава

На первый взгляд Орисава кажется городком, погруженным в сладкую дрему. В патио отеля ворковали голуби и шумел фонтан. Автоматический орган издавал легкий стон, тихо щебетали птицы в подвешенных к окнам второго этажа клетках, а какой-то американец, в задумчивости бродивший по двору, подпевал им. Лучшего места для бегства от действительности, казалось, не придумаешь: кругом все тихо, безмятежно, ждать опасности неоткуда. Через быстрые, шумные реки перекинута мостик; в небе, среди падающих облаков, громоздятся горы; укромные скверы, фонтаны, купидон со сломанным луком, буйная трава, утопающие в цветах дома, безлюдно, чувство запустения, как в стихах Уолтера де ла Мара: «Есть тут хоть кто-нибудь? — Путник спросил...»[30]

Я попал на праздник святого Иосифа, но даже церкви были пусты — кроме двух, откуда едва слышно доносился хор слабых детских голосов. Рынок погрузился в сон, гудели мухи, пахло цветами и навозом. По прилавку рассыпались длинные, спутанные седые волосы усталой женщины; откинувшись на стуле, привалившись головой к деревянной перегородке, спал молодой человек: волосы черные, лицо чахоточное. В соборе, словно от непереносимой физической боли, истошно кричала женщина; смолкла, подобрала юбки и встала — раскаяние состоялось. Напротив в пурпурном одеянии одинокий, избитый, окровавленный Христос с лицом мексиканского батрака. В Орисаве есть целая улица зубокабинетов (стоматологи — самые обеспеченные люди в Мексике: здесь у всех золотые зубы) с уютными чистенькими приемными и выглядывающими из окон головками бормашин. На балконе солидного здания, городского отделения КРОМ, без дела сидели отцы города. Неужели здесь всегда такая тишина? Или лук купидона еще больше зарастет мхом, пока будут опадать цветы, катиться вниз облака, а теплый, пряный, неподвижный воздух разрываться от чьих-то надсадных, никого не волнующих стенаний в заброшенной церкви?

Нет, город спал не всегда. Шесть месяцев назад он неожиданно проснулся. До этого все до одной церкви штата Веракрус были закрыты, богослужения, как и в Чьяпасе, проводились дома, за закрытой дверью. Но вот однажды, в воскресенье, полицейские погнались за маленькой девочкой, которая шла от священника, и застрелили ее — один из тех необъяснимых всплесков жестокости, с которыми так часто сталкиваешься в Мексике. Вообще-то мексиканцы любят детей, но, бывает, дикая ацтекская кровь дает себя знать — и тогда они стреляют в кого попало. Убийство ребенка всколыхнуло весь штат: даже в Веракрусе крестьяне проникали в церкви, запирали изнутри двери и били в колокола; полиция была бессильна, и губернатору пришлось уступить. Возмущение, как утоленная плоть, тут же улеглось — и Орисава вновь погрузилась в спячку.

Я хотел пойти к причастию (где еще до возвращения в Мехико мне представится такая

возможность?), но найти священника, владевшего английским, оказалось не так-то просто, а по-испански я мог, и то с трудом, говорить на политические, но уж никак не на исповедальные темы. Смеркалось, дети вышли из церквей, и они вновь опустели. Отцы города по — прежнему сидели развалившись на балконе и что-то лениво жевали — это был их день, день национализации, от которой выиграют все — только не рабочие. По радио уже передавали слова президента о том, что надо будет затянуть пояса. Хотя зарплат, скорее всего не понизится, но отпуска и социальное обеспечение (ровно то, ради чего агитировали сражаться рабочих) будут урезаны, да еще придется подписываться на государственный заем, чтобы выплатить компенсацию частным компаниям. Могли после этого рабочий рассчитывать, что уровень жизни достигнет прежнего, капиталистического, еще при его жизни? Как же все-таки утомительно сражаться ради счастья грядущих поколений! Я же в поисках духовника ходил из церкви в церковь — и не ради души, еще не явившейся на свет божий, а ради своей собственной.

Наконец я попал в церковь Святого Иосифа. Звон церковных колоколов перемешивался со сладкой музыкой, лившейся из динамиков над радиомагазинами. Вдоль сточной канавы выстроился ряд лавчонок, где продавались четки, свечи и маисовые лепешки; на тонких бумажных хлопучках, бьющихся на холодном ветру, играли ацетиленовые язычки пламени. В церкви, на полу, засыпанном живыми цветами, молилось несколько женщин. Празднование получилось скромным: денег не хватало, да и жуткий упадок сил лишал веры. Здесь они пережили великие минуты: смерть маленькой девочки, у которой оставался еще слабый вкус просфоры во рту. Впрочем, в Орисаве горе длилось не дольше, чем между Распятием и Воскресением в Галилее. Энтузиазма хватило ненадолго.

Празднество

И тут вдруг наступила одна из тех счастливых ночей, когда в течение нескольких часов все идет хорошо и на душе становится спокойно.

Мориак в «Vie de Jesus»[31] пишет об одном католике, который имел обыкновение часто менять духовника, так как заметил, что чужой священник приносит ему неожиданное облегчение. Вот и в Орисаве от худого, небритого, опустившегося человека, знавшего по — английски всего несколько слов, на меня снизошли мир, терпение и доброта, а значит, если верить римлянам, отвага и скромность. Он столько всего перенес; какое же право имеет англичанин — католик относиться к природе человека с ужасом или презрением, если мексиканский священник далек от подобных чувств? Он спросил меня, куда я еду.

— В Табаско, — ответил я.

— Грешная земля, — отозвался он, как будто попрекнул своего прихожанина какой-то вполне естественной человеческой слабостью.

В ту ночь перед церковью собралась толпа. Воздух был теплый и свежий; вдоль мостовой стояли маленькие жаровни, откуда из-за раскачивающегося на башне тяжелого колокола то и дело вылетал сноп искр. На дороге огненным колесом вращался фейерверк, а ракеты, шипя, взлетали в небо и рассыпались веселыми звездочками. Дверь в церковь была открыта; над толпой возвышался подсвеченный бородатый лик Иосифа; внутри было тихо, пахло цветами, сюда не доносились ни шипение ракет, ни звон колокола, ни крики людей. Вот так, подумалось мне, и надо отмечать день святого: радостно, с фейерверком и лепешками по — домашнему.

На пути в Веракрус

Если ехать из Орисавы на юг, железная дорога опять устремляется вниз, а настроение ненадолго подымается; человек не создан для жизни в горах, когда же веками живешь на высоте более семи тысяч футов над уровнем моря, неудивительно, что постепенно начинаешь сходить с ума. Сначала ацтеки, а потом испанцы полной грудью вдыхали разреженный горный воздух. Человеческая доброта увядала, как цветок под стеклянным колпаком. Мы спускались с гор на раскаленную тропическую равнину, а настоящая жизнь была где-то посередине.

Рядом с железной дорогой на поляне шел футбольный матч. Половина игроков стояла без дела, с маленьких лотков продавали конфеты и фруктовый сок, а в воротах, между штангами, застыл, наблюдая за игрой, всадник... В Форрине вдоль поезда с криками «Гардении! Гардении!» побежали продавщицы цветов. Всего за двадцать сентаво (примерно два пенса) можно было купить пустой длинный тростник с вставленными букетиками. В купе сразу же запахло, как в оранжерее, с багажных полок свисали букеты на длинных тростниковых стержнях. В этот момент как-то сразу стало легко на душе: я представил себе красивые барочные церкви, молящихся, фонтаны, цветы... Казалось, спустится поезд в призрачную жаркую долину — и все зло останется позади.

Этот момент, увы, прошел так же быстро, как сон, который, говорят, длится всего несколько секунд. В Кордове в поезд сели политики. Их появление, словно резкий звонок, прогремевший на каменной школьной лестнице, знаменовал собой начало следующего дня. Высунувшись из окна, дергая за веревку и что-то крича, они привязали к вагону флаг, а поезд тем временем, нырнув в глубокое ущелье, несся на юг. Они явно были навеселе; вместе с ними — как видно, за шута — ехал какой-то пьяный юнец — лицо впалое, взгляд дикий, — который всю дорогу хлопал в ладоши и залиристо кричал петухом. Горлом он издавал какие-то страшные, оргастические звуки, махал руками, показывал себе на язык, наливался теплым пивом и то и дело раздражался визгливым хохотом, тыча в крышу пальцем и урча, точно аэроплан. пышная растительность осталась позади. За окном простиралась теперь черная, мертвая земля; с наступлением сумерек где-то далеко, на другом конце равнины, замигал маяк.

В Веракрусе толстый носильщик педерастического вида игриво потянулся к моему чемодану. Я сидел в маленьком сквере перед отелем «Дилихенсиас», а поодаль под густо — синим небом в душном воздухе проплывали, обмахиваясь веерами, девицы. Чесучовые костюмы развалившихся на скамейках коммерсантов белели в сгустившихся сумерках таинственной южной ночи. Маленькие, ярко освещенные открытые трамвайчики подъезжали и отъезжали, словно машинки на «русских горах», издали доносилась музыка, а какой-то американец из Пенсильвании с воспаленными от бессонницы глазами, угрюмо уставившись вдаль, отговаривал меня ехать в Гавану.

— Жуть, что они там вытворяют, — возмущался он. — Я был в Париже, всякое видал, но кубинцы... Совсем стыд потеряли.

В этот момент мне показалось, что мир наконец-то открывают для себя даже самые невинные его обитатели.

Глава 5 Путешествие во мраке

День в красивом городе[32]

Ночью испортились часы, и поэтому единственное рекомендательное письмо, которое у меня

с собой было, я вручил вместо половины одиннадцатого в половине восьмого утра. Хозяин дома улетел на самолете в свое имение, зато его жена встретила меня с таким радушием, как будто иностранцы каждый день являлись к ней в это время дня. Она была католичкой, и, расположившись вместе с ее матерью в прохладной темной комнате, мы заговорили о положении церкви в Табаско. Там, рассказала она, не осталось ни одного священника, ни одного храма, кроме того, что находится в трех милях от города и отдан под школу. В Чьяпасе, правда, до недавнего времени еще был один священник, но народ уговорил его уйти: прятать его они больше не могли.

— А как же вы умираете? — спросил я.

— Как собаки, — последовал ответ.

Религиозные обряды на кладбище строго запрещались. Старикам, разумеется, приходилось особенно тяжело. Она рассказала, что несколько недель назад к ее умирающей бабушке тайно доставили на самолете епископа из Кампече. У них-то деньги еще оставались... А что было делать беднякам?

Я вернулся в гостиницу. Жара и мухи, мухи и жара. Зубной врач был у себя в номере, но один, без семьи.

— Супруга у родственников, — пояснил он. — Надо же мужчине хоть иногда одному побыть. — Он побрился и выглядел лучше. — Может, завтра пойдем прогуляться, зайдем на рыночную площадь.

От реки исходил какой-то кислый запах, как от гнилых фруктов, и все время хотелось пить; каждый раз, идя через рыночную площадь, я наливался теплой приторной шипучкой. Задень я выпивал две бутылки пива, бутылок пять минеральной воды и бутылку так называемого сидра, а также не меньше трех больших чашек кофе. Что же касается еды, то она была жуткой; в Мексике мне еще никогда не приходилось (и, надеюсь, не придется) питаться хуже, чем здесь. В отеле поесть было негде, а в городе имелся всего один ресторан: мухи, грязные скатерти, припахивающее от чудовищной влажности и жары мясо и владелец заведения, похожий в своей кепке с длинным козырьком на яхтсмена. Да и стоил обед недешево — по крайней мере, по мексиканским понятиям: целых восемнадцать пенсов.

Побывал я у шефа городской полиции — здоровенного, жизнерадостного детины со светлыми вьющимися волосами. Белый чесучовый костюм плотно облегал тучное тело, а под пиджаком, на толстом заду топорщилась кобура. Посмотрев мой паспорт, он с наигранной, чисто мексиканской фамильярностью обнял меня за плечи и громко захохотал.

— Вот и отлично, — сказал он. — Отлично. Считайте, что вы дома. В Вилья — Эрмосе кого ни возьми, все — либо Грины, либо Грэмы.

— Значит, здесь есть англичане?

— Нет, нет. Грины — мексиканцы.

— Я бы хотел встретиться с кем-нибудь из них.

— А вы приходите сегодня часика в четыре, я вас познакомлю.

Возвращаясь с рыночной площади, я опять встретил зубного врача; с трудом выбравшись из толпы, он стоял на углу и сплевывал себе под ноги.

— Ноги сами сюда несут, — сказал он. — Да, теперь здесь Южная банановая компания. А вот раньше... А часы, вон те часы, висят здесь уже десять... двадцать лет.

— Вы были у доктора?

— Успею еще. Я сам знаю, в чем дело. Тридцать лет назад в Новом Орлеане я выпил холодного молока, и было то же самое. Сегодня утром черт меня дернул слабительное принять. Вот меня и прихватило. Супругу не видели?

— Нет.

— Они меня ищут. Только что были в отеле. Не говорите им, что я здесь.

Жара и мухи, жара и мухи. Мне стало как-то не по себе при мысли о том, какое предстоит путешествие и сколько еще всего надо купить: гамак, плед, чайник, средство от укуса змей. Впрочем, лекарство от змей у меня было; одна десертная ложка сразу после укуса, а затем каждые полчаса еще по ложке, пока не кончится вся бутылка. Говорят, помогает, но как быть, если змея укусит во второй раз? А никак — значит, не повезло.

Я отправился в авиакомпанию: о путешествии по воде в Монтекресто страшно было даже подумать.

Из всех мексиканцев мне по — настоящему нравятся только священники и летчики. Летчики подкупают непривычным патриотизмом, энергией, скромностью; тем, что не пьют и не курят, дружно живут все вместе в единственном в Вилья — Эрмосе красивом, чистом доме, а еще тем, что умеют не только прекрасно водить самолеты, но и чинить их. Не успел я войти, как мне прочли лекцию про Кортеса. Я сказал, что мне нужен проводник от Паленке до Лас — Касаса, бывшей столицы штата, откуда губернатор переехал на равнину, в Тустлу. «Путешествие предстоит увлекательное, — заверил меня служащий авиакомпании, — сами увидите, что пришлось пережить Кортесу, который в тяжелых доспехах шел той же дорогой на Гватемалу». Когда появился директор компании (в прошлом американский летчик, когда-то летавший с Гарридо, а теперь по мексиканским законам не имевший права управлять пассажирским самолетом), он тоже заговорил о Кортесе, о том, где тот высадился в Табаско, как плыл по Грихальве, — бывший летчик не раз пролетал над этой рекой, размышляя об экспедиции испанского конкистадора. И опять мне пришлось изменить свои планы. Вместо того чтобы долго плыть по двум рекам, я мог добраться до Монтекресто самолетом, но меня предупредили, что ни в Монтекресто, ни в Паленке нанять опытного проводника не удастся. Самое разумное — полететь в Сальто-де — Агва, где у работников авиакомпании есть зна — комый лавочник, который даст мне проводника до Паленке, а оттуда до горной деревушки Яхалон. В Яхалоне у них тоже есть свой человек, он найдет мне проводника в Лас — Касас, а главное, там живет норвежка, которая говорит по — английски. А дальше все просто: из Лас — Касаса есть дорога на Тустлу, а из Тустлы — регулярное авиасообщение с Оахакой или Мехико. Вот только на самолет в Сальто я опоздал; теперь почти неделю придется ждать следующего.

Целое столетие отделяет этих людей — проходивших подготовку в Штатах, умевших посмотреть на Мексику со стороны, отличающихся внутренней дисциплиной — от других жителей Вилья — Эрмосы, от шефа городской полиции, с которым я попытался встретиться во второй половине дня. В полицейское отделение я явился в четыре, как мы договаривались, и целый час просидел во дворе на скамейке. Грязные, в подтеках, белые стены здания, засаленные гамаки и звериные лица людей — законностью и порядком здесь и не пахло. В полицию идут худшие из худших; честные лица следует искать не среди полицейских, а среди тех, кого они штрафуют и поносят. Их жестокость и нерадивость особенно чувствуется в те минуты, когда, разобрав винтовки, они несутся на дежурство или же душным днем шатаются без дела по двору в расстегнутых брюках. Это они спустя всего несколько недель откроют огонь по толпе безоружных крестьян, которые придут помолиться на руинах разрушенной церкви. В конце концов ждать мне надоело, и одного из полицейских отправили со мной на поиски шефа. Мы обегали по жаре весь город, заглянули во все

бильярдные — но комиссара полиции так и не нашли.

Обедал я вместе с зубным врачом. Он чувствовал себя лучше, но вид у него был какой-то загнанный: его опять разыскивала «супруга». К нашему столику подошел продавец лотерейных билетов, и тут я неожиданно вспомнил про билет, который купил в Веракруссе; теперь кажется, будто это было уже месяц назад. Вот он в длинном перечне мелких выигрышей; с первого же раза я выиграл двадцать песо. С тех пор я вошел во вкус, не было города, где бы я не купил хотя бы одного лотерейного билета, но больше не выиграл ни разу. Мы с зубным врачом пошли на рыночную площадь и сели там передохнуть. Можно было бы добавить — подышать свежим воздухом, но никакой свежести не было и в помине. Рядом сидели, раскачиваясь, старухи, было много гуляющих. К нам подошел молодой мексиканец, тоже зубной врач, по имени Грэм; с моим спутником он познакомился, когда тот работал в Вилья — Эрмосе. А вот мимо нас прошеествовали юные мексиканки, сеньориты Грин, надо полагать — черные как смоль волосы, золотые зубы, сонный взгляд мексиканских карих глаз. Просто поразительно, откуда у местных женщин, живущих без водопровода, такой свежий, умытый вид, такое *esprit*[33]... «Мне не хочется есть», — бубнил себе под нос зубной врач. Он обмахивался соломенной шляпой и мурлыкал про чьи-то синие глаза. Потом что-то жевал, сплевывал и бормотал: «У меня в моче нет сахара» (как видно, он все же попал к доктору) и «Желудок — ваше слабое место».

Ночью меня разбудили жуки, шуршавшие по стене. Я убил двух, причем одного — в центре комнаты, на выложенном крупной плиткой полу. Когда же я проснулся, то на месте жука не оказалось. Чушь какая-то. Мне все приснилось? Тогда я стал искать второго жука и обнаружил, что он весь облеплен муравьями, которые лезли через щели между плиткой. По — видимому, первого жука муравьи съели целиком. Ночь была ужасной. Я бился над началом рассказа: лежал в темноте и, словно заигранная пластинка, твердил одну и ту же фразу, а утром встал с распухшим горлом. Было трудно глотать — а все из-за зеленой речушки с кислым запахом, что протекала за окном. Я сел было за свой рассказ, но химический карандаш буквально таял в руке.

Зубной врач

Кладбище — это единственное место в городе, где ощущается присутствие Бога. Находится оно на горе; над входом, классическим портиком белого цвета, большими черными буквами выведено «*Silencio*»[34]. Окружает кладбище глухая стена, у которой Гарридо расстрелял пленных, а за стеной выстроились огромные надгробия и склепы, оранжереи с цветами, портретами, изображениями святых, крестами и рыдающими ангелами. Город мертвых производил впечатление гораздо более красивого и ухоженного места, чем раскинувшийся у подножия холма город живых.

На кладбище я побывал вместе с зубным врачом. Чувствовал он себя гораздо лучше, хотя жене удалось все-таки разыскать его. «Супруга», как он ее называл, объявилась с двумя детьми поздно вечером и ночевала у него в номере. Как они все разместились — не знаю. Когда мы выходили из гостиницы, кто-то попытался продать ему бутылку виски. Оказалось, это был не бутлеггер, а какой-то знакомый или дальний родственник со связями в правительстве. Вообще все правительственные учреждения насквозь прогнили; на каждом шагу портрет Карденаса, а в то же время назначенные им люди могли быть католиками... консерваторами... На рынке мы выпили шоколаду (из крошечной таблетки получается огромная чашка густой пенистой жидкости, самой вкусной в Табаско) и пошли в сторону кладбища. Зубной врач то и дело останавливался и сплевывал: в горле собиралась мокрота. Он ничего не мог запомнить — видимо, от жары. Каждые несколько минут он повторял то, что

запало ему в голову:

— Значит, на самолете летишь?

— Да.

— Куда? До Фронтеры?

— Нет, я же говорил — в Сальто, а оттуда в Паленке.

— В Сальто тебе не надо. Тебе надо в Сапато.

— Я же объяснял, там я не найду проводников в Лас — Касас.

— В Лас — Касас? Что ты забыл в Лас — Касасе?

Он останавливался и подолгу стоял, забывая, наверное, куда идет. Стоял и жевал жвачку — как корова.

— Значит, все-таки решил самолетом?

— Да.

— До Фронтеры?

И все начиналось сначала. Я отвечал из последних сил.

За время нашего общения он кое-что рассказал о себе, и я узнал, как он попал в Табаско. Он стоял на перекрестке, жевал жвачку, поминутно сплевывая, о чем-то думал, теребя ремень.

— Между прочим, десять лет назад в этом доме жил зубной врач.

В молодости он работал в американской стоматологической фирме, но заболел оспой. С лица стала сходить кожа, его начали избегать. Даже на улице прохожие обходили. Как-то его компаньон встал в дверях и не пустил его в кабинет. «Распугаешь мне всех пациентов», — сказал он. «Ну и черт с тобой», — подумал я и пошел домой. Делать-то было нечего.

Затем он поехал в Атланту, Джорджию, но все без толку. Оттуда в Новый Орлеан... Хьюстон... Сан — Антонио. Кожа на лице к тому времени лезть перестала. В Сан — Антонио он познакомился с мексиканцем, который посоветовал ему поехать в Мексику и заняться прибыльным делом — золотыми пломбами. Он поехал в Монтеррей, потом в Тампоко, потом в Мехико и наконец в Табаско. Было это во времена Порфирио Диаса. Потом началась революция, песо упало, и врач так и застрял в Табаско.

— Все равно уеду, — грозился он. — Здесь беды не оберешься.

Накануне вечером по радио передали, что американцы собираются бойкотировать мексиканские товары. На иностранцев стали косо смотреть. Мы погуляли по кладбищу и пошли назад.

— Говоришь, на самолете?

— Да.

— До Фронтеры?

— Нет, нет. До Сальто. А оттуда в Паленке.

— Тебе не в Сальто надо, а в Сапато.

И снова я пускался в объяснения, а он жевал, озирался по сторонам и от жары абсолютно все пропускал мимо ушей.

— В Лас — Касас? Куда тебя несет? Время сейчас тревожное. Я бы на твоём месте так далеко не забирался. Озолоти меня — не поехал бы.

— Кому это? — Чтобы перевести разговор на другую тему, я показал на какой-то памятник.

— Павшему за родину, кому же еще. — Он долго пялился на памятник и жевал, прежде чем ответить.

На какое-то время он стал явно лучше соображать, потому что у входа в ресторан неожиданно заявил:

— А я за революцию. У людей появляется цель в жизни. И деньги.

Временами он демонстрировал свою решительность. Он мог, например, перед обедом выпить целую ложку оливкового масла («Желудок — ваше слабое место»), а однажды, проглотив рыбную кость, он, ни секунды не колеблясь, при всех сунул два пальца в рот. А ведь на такое далеко не каждый способен. Человек, который крадучись подходил к отелю, боясь встречи с семьей; который вдруг погружался в себя и застывал посреди улицы, жуя жвачку и сплевывая; который, сидя на базарной площади, как заклинание, бубнил себе под нос: «Мне не хочется есть, мне не хочется есть»; который от невыносимой жары лишался памяти и рассудка, — представлялся мне своеобразным символом — быть может, символом того, как тяжело живется в этой стране, если утеряны надежда и вера в Бога.

Троллоп в Мексике

Полная безысходность. Я еще ни разу не был в стране, где бы приходилось жить в атмосфере такой ненависти, как здесь. Дружба в Мексике ничего не стоит, ее проявление — своего рода защитная реакция. В приветственных жестах, которыми обмениваются прохожие, в рукопожатиях, похлопываниях по плечу, объятиях сквозит желание лишить идущего навстречу свободы действий, не дать ему в случае чего вытащить пистолет. В Мексике, насколько я понимаю, всегда царила ненависть, теперь же она стала официальным учением, заменила в школьной программе любовь. Цинизм, подозрительность возведены в ранг государственной идеологии. Загляните в окна профсоюзного комитета в Вилья — Эрмосе, и вы увидите развешанные по стенам маленькой аудитории картинки, отдающие ненавистью и цинизмом: распутный монах целует ноги распятой женщине, один священник напивается причастным вином, другому перед алтарем протягивают деньги умирающие от голода муж с женой. Краски яркие, броские — как на афише, и поневоле вспоминаются такие же поучения в картинках монахов — августинцев. Однако у тех, по крайней мере, за уроками — наказаниями следовали уроки любви. А эта ненависть, кажется, не имеет границ. Она отравляет самые источники человеческого существования; с крысиной жадностью мы пьем из этого источника и, как крысы, распухаем идохнем. Признаки ненависти находишь повсюду, даже в маленьком жалком военном оркестре, что маршировал по городу, пока передавали речь губернатора штата, — у оркестрантов были не только трубы и барабаны в руках, но и винтовки за спиной.

Подходил к концу мой последний день в Вилья — Эрмосе, наутро я улетал в Сальто. Мыс хозяином отеля сидели на верхней площадке и, чтобы было не так душно, энергично

раскачивались в креслах — качалках. Хозяин был стариком с острой бородкой и породистым испанским лицом; сорочка с короткими рукавами, старые подтяжки, пояс. Он тоже, как и зубной врач, с грустью вспоминал времена Порфирио Диаса. Тогда губернаторы в Табаско правили по тридцать лет и умирали в бедности. А теперь — всего три — четыре года, и возвращались в Мехико миллионерами. Как раз в это время проходила предвыборная кампания между Бартлеттом и кем-то еще, но выборы никого не занимали; в Сапате расстреляли несколько человек, но жителям Табаско было совершенно безразлично, кто победит.

Ночь была ужасающей. Мостовая перед домом чернела от жуков. Они лежали на всех лестницах, от электростанции до отеля. Словно крупные градины в воду, они тяжело шлепались на пол, срываясь со стен и ламп. Гроза прошла стороной, и в Вилья — Эрмосе не посвежело. Я вернулся к себе в номер и убил семь жуков; убитые передвигались по полу с такой же скоростью, как живые — их тащили на себе муравьи. Я лежал в постели и ностальгически читал Троллопа. Время от времени я вставал и убивал жука (всего — двенадцать). С собой я взял только «Доктора Торна» и первый том «Сельских прогулок» Коббета (остальные книги остались в Мехико). Коббета я уже кончил, а «Доктора Торна» приходилось читать понемногу: не больше двадцати страниц в день, включая послеобеденную сиесту. Но несмотря на то что я как мог растягивал удовольствие, на Вилья — Эрмосу Троллопа все равно не хватило; к тому же я ужасно расстроился, обнаружив, что по вине переплетчиков в книге недостает целых четырех страниц (пятой части моего дневного рациона). И каких страниц! Ведь именно здесь Мэри Торн наконец-то улыбнулось счастье — а каким образом, я так и не узнаю.

Что же брать с собой в дорогу? Вопрос отнюдь не праздный. Как-то отправившись в Западную Африку, я по ошибке взял «Анатомию меланхолии», полагая, что эта книга будет соответствовать моему настроению. Так оно и получилось, но ведь на самом-то деле чтение выбирается по контрасту, а не по совпадению с нашей жизнью, а потому, отчаявшись прочесть «Войну и мир», я решил вместо романа Толстого взять в Мексику что-то сугубо английское. Как выяснилось, именно английская книга была мне совершенно необходима в этой ненавидящей и ненавистной стране. Однако я не поручусь, что сентиментальная фабула «Доктора Торна» (Фрэнк Грэшем, чтобы не потерять родовую усадьбу, вынужден жениться на богатой невесте, а не на своей возлюбленной, девушке низкого происхождения, которая в конце концов, со смертью своего спившегося дядюшки, неожиданно получает большое наследство) пришлась бы мне по вкусу, читай я этот роман дома. Думаю, в Англии все обаяние Троллопа не раскрылось бы в полной мере, но здесь, в этом душном, заброшенном тропическом городке, среди муравьев и жуков, от безыскусных чувств этой книги слезы сами наворачивались мне на глаза. Это любовный роман, а в литературе их не так уж много. Любовь в литературе, по словам Хемингуэя, «всегда висит в ванной за дверью. Она пахнет лизолем»[35]. Кроме того, «Доктор Торн» — еще и образцовый популярный роман, а ведь когда одиноко на душе, хочется духовной близости с простыми, добрыми людьми, которые вместе с нами перелистывают страницы своих дневников. С каким поразительным мастерством Троллоп поддерживает, по сути дела, несуществующее напряжение действия. Ведь мы с первых же страниц заранее знаем, что Фрэнк будет верен Мэри, сэр Роджер Скетчерд умрет и оставит ей наследство, леди Арабелла будет посрамлена, старый доктор Торн помиритесь со сквайром, а Фрэнк и Мэри проживут долгую и счастливую жизнь, — и тем не менее мы помогаем автору поддерживать напряжение, притворяясь, что ни о чем не догадываемся. В этом содействии с нашей стороны и заключается, собственно, особенность популярного романа, ведь простое, чувствительное читательское сердце в любом случае, даже в романе без интриги, станет переживать за судьбу влюбленных. В «Барчестерских башнях» Троллоп подробно пишет о том, что в его романе не будет никаких тайн; вдова, предупреждает он, не выйдет замуж за мистера Слоупа — на этот счет читатель может быть совершенно спокоен. И в этом, еще более «популярном» романе Троллоп не отказывается от своих убеждений, интрига здесь напрочь отсутствует, но он представляет нам возможность

сделать вид, что мы переживаем, и иногда меня и впрямь охватывало беспокойство: прочтешь страниц двадцать, отложишь книгу, лежишь, обливаясь потом, на железной койке и не знаешь, что же будет дальше.

Хуже всего, когда книга кончается и вместо благородной, очаровательной Мэри Торн приходится снова иметь дело с незадачливым зубным врачом и хозяином отеля, который раскачивается в кресле и рассуждает о Диасе. Я-то рассчитывал, что вернусь в Мехико самое позднее недели через три, а поездка уже продолжалась десять дней. Не обращая внимания на жуков, которых становилось все больше, я смаковал последний абзац: «А теперь осталось лишь вкратце рассказать о докторе. “Если вы не придете обедать ко мне, — заметил ему сквайр, когда они остались наедине, — я приду обедать к вам, так и знайте!” Этим правилом они, по всей видимости, и руководствуются. Доктор Торн, к вящему неудовольствию доктора Филлгрейва, продолжает расширять свою практику, а когда Мэри посоветовала ему уйти на покой, он чуть было не надрал ей уши. Однако же дорогу в Бокселл — Хилл он не забывает и готов признать, что чай там заваривают почти так же хорошо, как в Грэшембери».

Итак, Англия исчезла, а Мексика осталась. Мне еще никогда в жизни так не хотелось домой, как теперь, — и все из-за Троллопа. Его Англия, правда, была не той Англией, которую знал я, и все же... Я лежал на спине и мысленно пытался перенестись домой. Об этом в свое время писал Жюль Ромен. Я тщательно восстанавливал в своем воображении домашнюю обстановку: стул за стулом, книгу за книгой; вон там окна, мимо проезжают автобусы, с улицы слышен крик детворы. Но все это было лишь в воображении, а в жизни — голая комната с высокими потолками, снующие по полу муравьи, духота и кислый запах с реки.

Глава 11 Возвращение в столицу

Пуэбла

Пуэбла — единственный город в Мексике, где, как мне показалось, можно жить. Отличается он не только какой-то по — мексикански ущемленной красотой, но и изяществом. В его облике еще со времен Максимилиана сохранилось что-то французское. Здесь продается старое французское стекло, пресс — папье с портретами Карлотты; даже в городских искусствах и ремеслах ощущается викторианская, европейская культура: фарфор, напоминающий бристольский, аппетитная фруктовая нуга на палочках, соломенные игрушки, как на картинах Челищева. Я никогда не думал, что изразцы, которыми выложены церкви, могут быть такими изысканными по цвету; впрочем, бывают они и чудовищными: расписанные лиловой и зеленой краской аляповатые изразцовые сиденья в парках рекламируют сигареты и минеральную воду местного производства. До сих пор стоит у меня перед глазами точеное бледно — желтое здание церкви на фоне синего неба. Воздух в Пуэбле прозрачный и чистый, дышится здесь легче, чем в горном Мехико. Женщины красивые и нарядные. В Пуэбле сохранился, если можно так выразиться, «общественный католицизм», не имеющий ничего общего с католицизмом Сан- Луиса, который граничит с насилием, апатией Орисавы, терпеливым легкомыслием столицы и дикими религиозными предрассудками Чьяпаса. Я хотел побывать в Пуэбле еще раз, когда поправлюсь, но ничего не вышло.

Подпольный монастырь

В Пуэбле меня больше всего интересовал таинственный женский монастырь Санта — Моника, где, по словам одного американского бизнесмена, можно увидеть останки детей, рожденных монашками Место, где находится монастырь, довольно мрачное и необычное на вид; если оно и красиво, то какой-то потусторонней красотой. Монастырь был основан в 1678 году, но во времена Хуареса, когда начались религиозные гонения, про Санта — Моника почему-то забыли, и только в 1935 году туда проникли агенты спецслужб. Монастырь существовал уже на протяжении почти ста лет, послушницы принимали обет, жили и умирали, а власти понятия о нем не имели. Жизнь за монастырской стеной была такой обособленной, что ничего не стоило обрубить все нити, соединяющие монастырь с городом. Все, кроме одной. Этой связующей нитью неожиданно оказалась служанка, ей отказали от места в том самом доме, за которым скрывался монастырь.

Дом этот стоял на окраине, в самом конце улицы, знававшей лучшие времена: высокие серые здания, которые некогда принадлежали городской знати, теперь по большей части сдавались в аренду. Входная дверь, как в гостинице с сомнительной репутацией, всегда была открыта настежь, а за ней лестница с каменными ступенями подымалась на второй этаж в маленькую комнатку, бывшую спальню, где в ожидании посетителей сидели какие-то подозрительные личности. Вид у них был такой же сытый и властный, как у политиков на балконах, но одевались они похуже, да и держались поскромнее — дела шли неважно. Сейчас в бывшем монастыре заправляли масоны, превратившие его в своего рода антирелигиозный музей. Один из экскурсоводов — такой же жалкий и ушлый на вид, как и все остальные, — сразу же согласился, не дожидаясь, пока соберется группа, показать мне монастырь. Позднее, спускаясь вниз на четвереньках через проделанный в полу люк, мы чуть не столкнулись с шедшей впереди группой туристов, и до меня донеслись обрывки фраз их экскурсовода: тот, как положено, отпускал шуточки в адрес церкви. А мой почему-то не шутил, он просто всюду водил меня и рассказывал. Первым делом мы пошли в маленькую столовую. Именно сюда три года назад по доносу уволенной служанки и заявила полиция. Служанке было известно только, что за стеной находится монастырь. Она знала, что туда (куда именно?!) передается провизия, а оттуда (каким образом?!) — вышивка на продажу. Дом был небольшой, в конце длинной улицы; обстановка столовой — самая заурядная: стол, на столе ваза с цветами, несколько стульев, в алькове на месте буфета две полки, на полу у стены еще одна ваза с цветами. Детективы уже потеряли к этой комнате интерес, когда один из них по чистой случайности сдвинул цветы в вазе у стены, и под ними оказалась кнопка звонка. Он нажал на кнопку, стена с полками раздвинулась, и его взгляду предстала лестница, спускавшаяся прямо в кабинет настоятельницы. В монастыре оказалось около сорока монашек, уже немолодых женщин — послушниц последние годы не было.

— Что же с ними сделали?

— Разогнали, — вполне миролюбиво ответил мой гид. — Живут теперь монашками в миру.

Мы спустились в маленький, до ужаса благопристойный кабинетик настоятельницы: два книжных шкафа со стеклами, стол под грязной скатертью, по стенам темные картины с изображением святых, суровый лик испанской Богородицы, распятие. Из кабинета вход в спальню: деревянная доска вместо постели, а над ней искаженное болью лицо Христа. Но кабинета и спальни полиции было недостаточно — они искали часовню. И в конце концов нашли ее: отвалили от стены каменную плиту за единственной в доме ванной и через люк (как мы сейчас) проникли в часовню с рядами стульев вдоль стен. Над каждым сиденьем свисала веревка с терновым венцом, а в глубине высился огромный позолоченный алтарь. В раке под стеклянным колпаком хранилось сморщенное, цвета запекшейся крови сердце основателя монастыря. Другие реликвии находились в старой часовне, где в стене были проделаны отверстия, чтобы монашки во время службы могли видеть алтарь соседней церкви. Из-под стекла вынули сердца и языки, которые либо заспиртовали в банках, либо

просто вывалили на тарелку, словно обыкновенные куски мяса, — все, что осталось от давно умерших людей. Неизвестно даже, кого именно. Еще один люк вел в темный подвал, куда монашки спускались молиться и где хоронили мертвых. Тела сначала замуровывали, а когда трупы высыхали, кости сбрасывали в общую могилу. Теперь эту могилу разорили, а несколько черепов оставили в качестве наглядных пособий для антирелигиозной пропаганды.

Мы снова поднялись наверх, в комнату с гобеленами, на которых с трогательной наивностью изображались страдания Карло Дольчи. Политики этими картинами очень гордились: обшая могила не представляла для них никакой ценности, зато гобелены, по словам гида, стоили миллион песо. Я отпустил по этому поводу какое-то неосторожное замечание, но мой спутник на него не отреагировал. Когда же мы вышли, он рассеянно сказал: «Да, церковь они обобрали до нитки». Я не поверил своим ушам: вот тебе и масон! Я сказал ему, что я — католик, на что он тихим, вкрадчивым голосом, который так не вязался с его ушлым видом, ответил: «В таком случае вы можете посочувствовать этим несчастным женщинам и тому делу, за которое они боролись». Спустившись по широкой, колониального стиля лестнице под навесом из листьев папоротника, мы вышли в засаженное деревьями и розовыми кустами патио, которое было разгорожено на две неравные части: сад поменьше предназначался для послушниц, а тот, что побольше, — для монашек. Светило солнце, пахло цветами, было тихо, безмятежно; у стены в центре стоял крест, увитый кустарником, словно плющом. Гид сорвал розу и протянул мне — «на память о бедных женщинах». Недавно я нашел ее, ту самую высохшую розу, которую тогда вложил наугад между страниц «Барчестерских башен». Теперь от слов мистера Эйрбина исходил аромат сухих розовых лепестков. «Ответьте мне, — сказал мистер Эйрбин, внезапно останавливаясь и поворачиваясь к своей спутнице. — Ответьте мне лишь на один вопрос. Вы не любите мистера Слоупа? Вы не собираетесь за него замуж?»[36] Как же все-таки далеко от Барчестера до Пуэблы, до темного подвала с замурованными трупами, до черепов из общей могилы, до бывшего монастыря, где масоны вместе с посетителями музея пробираются на четвереньках из ванной комнаты в заброшенную часовню. Расстояние, которое отделяет Барчестер от Пуэблы, в несколько тысяч миль не укладывается, оно неизмеримо больше, эти города так далеки друг от друга, как только могут быть далеки души двух разных людей.

Опять Мехико

Из Пуэблы в Мехико автобусом добираться быстрее, чем на поезде, а мне хотелось попасть в столицу как можно раньше. Уже месяц с лишним я не читал писем из Англии, за это время могло многое произойти, а на хорошие вести в наше время рассчитывать не приходится. У входа в автовокзал, скрючившись в три погибели от какой-то жуткой болезни, стояла нищенка. Голова ее была опущена так низко, что казалось, она просит милостыню у обуви. Увидев перед собой чьи-то новые ноги, она подалась вперед, поскользнулась и упала. Пока ее не подняли, она долго лежала, уткнувшись лицом в асфальт, — без всяких признаков жизни.

Я слишком плохо себя чувствовал, чтобы воздать должное великолепному горному ландшафту, открывшемуся из окна автобуса. Мы ехали по Мексиканскому плато, и наконец-то я увидел собственными глазами громадный вулкан Попокатепетль; над лесами и горными хребтами, над полуразрушенными церквями гигантским немеркнущим полумесяцем навис его ледяной пик. Но мне было не до вулкана. Из Пуэблы в Мехико автобусы ходят ежедневно, каждые три часа, однако не проехали мы и половины пути, как у нас кончился бензин. По неопытности и халатности наш водитель некоторое время не мог даже понять, почему у него заглох мотор. Все пассажиры как ни в чем не бывало вылезли из автобуса и, обмениваясь

шутками, сгрудились на обочине в надежде, что какой-нибудь сердобольный шофер поделится с нами бензином. Мне же их смех только действовал на нервы: приближался вечер, и я боялся, что до шести часов не успею забрать почту.

По счастью, мы приехали вовремя, и письма свои я получил. Как я и ожидал, ничего хорошего в них не было: счет от поверенного, многочисленные вырезки из газет о лондонском судебном процессе, о том, что сказали сэр Патрик Гастингс и лорд главный судья. Вся эта история показалась мне вдруг какой-то нелепой, надуманной и довольно глупой. Я принял лекарство и лег. За время моего отсутствия меня перевели с одного этажа мрачного, неуютного отеля на другой, мой багаж по — прежнему находился в кладовой наверху, и я никак не мог найти своей куртки. Гранок романа, высланных мне из Нью — Йорка 7 апреля, до сих пор не было, хотя прошло уже две недели. Не успел я вернуться, как навалились обычные дела и заботы, а я-то долгой дорогой в Паленке мечтал, что приеду в Мехико и заживу как человек: коньячный коктейль буду запивать виски, а виски — кока — колой. Надо было подумывать о возвращении в Англию, но билет на пароход я купить не мог, пока не получу своих денег от иммиграционных властей, а песо — с тех пор как я пересек границу Мексики, — конечно же, резко упало в цене. Денег было в обрез, дел с каждым днем становилось все больше... а я еще жаловался, что в JTас-Касасе мне нечего делать.

Я лежал на кровати рядом с телефоном и перечитывал, что говорилось на моем процессе. Больше читать было нечего, потому что книги тоже были в кладовой наверху. Я вдруг испугался, как бы за нынешним судом не последовал еще один, хотя и не знал, кто предъявит мне обвинение на этот раз. Все это дело было таким странным, что не укладывалось в голове. Телефонный аппарат пялился на меня, точно идиот с разинутым ртом. Когда в чужом городе молчит телефон, становится не по себе. Еще более одиноко. Может, кому-нибудь позвонить? Но кому? В Мехико бывает трудно дозвониться, так как здесь не одна, а две телефонные компании, которые друг друга блокируют.

В конце концов я позвонил секретарю дипломатической миссии и напросился в гости. Мне дали выпить и рассказали последние новости про Седильо — как его назначили военным комендантом Мичоакана, как он сказался больным и отсиживается в Лас- Паломасе. Пока никто не верит, что его вынудят начать военные действия. Обратно я возвращался по Пасео. В темноте ярко светились огни на площади Реформы, мимо проносились автомобили, рабочие — индейцы в широких хлопчатобумажных брюках, не стесняясь, лапали девушек на каменных скамейках; мимо, размахивая знаменами, прошла группа женщин — опять дебаты о нефти; на авенида Хуарес, как всегда, пахло цветами. Коньяк пошел мне на пользу, и я решил что-нибудь съесть.

Пока меня не было, в ресторане появился новый официант: тощий, смуглый, с наглой улыбочкой. Когда я сел за столик, он осведомился, один ли я, и я решил, что его интересует, обедаю я один или жду кого-то. Мне захотелось выпить в номере, и я заказал у официанта бутылку. Официант опять нагло улыбнулся, но вина почему-то не принес. Пришлось несколько раз напоминать ему, прежде чем он наконец принес его, и всякий раз он кивал мне с еще более сладкой, доверительной и понимающей улыбкой, как будто речь шла не о бутылке вина, а о зашифрованном письме. Когда я раздевался, за стеклянной дверью моего номера вдруг вырос темный силуэт, кто-то стал тихонько скрестись в стекло — это был официант. Я поинтересовался, что ему надо, но он только хмыкнул в ответ и спросил, не заказывал ли я в номер «Гарчи кресло». Я запер дверь, но через некоторое время опять услышал мягкие шаги по коридору и слабый стук в дверь. Я крикнул, чтобы он убирался, и выключил свет, но за стеклом еще долго, с терпением змеи, маячила маленькая гнусная фигурка.

Я не сомкнул глаз. Этажом ниже всю ночь билась в истошной истерике женщина, а мужчина пытался ее успокоить. Как он только к ней ни обращался: терпеливо, грубо, с любовью, ненавистью — все напрасно. Один Бог знает, какие отношения так громогласно рвались этой

ночью в номере столичного отеля. На следующий день я внимательно следил за парами в холле и в лифте, вглядывался в карие бесстрастные сентиментальные мексиканские глаза. Не могла же такая бурная ночь пройти бесследно! Но я так ничего и не заметил. Официант как ни в чем не бывало подошел ко мне взять заказ и снисходительно улыбнулся, когда я сказал: «Гарчи креспо». Разумеется, рыдающая женщина и скребущийся в дверь официант могут встретиться где угодно, но здесь, в этом городе, в тот самый вечер, о котором я так мечтал во время поездки по стране, они выросли в моих глазах до символа — символа обманутой и отчаявшейся страны.

Путешествие без карты

Часть первая

Глава первая. Путь в Африку

Праздник урожая

Высокая черная дверь, выходящая в узкий переулок, долго не открывалась. Я звонил, стучал и звонил снова. Звонка не было слышно, но я все звонил и звонил — то ли из упорства, то ли от полного отчаяния, и много времени спустя, сидя на пороге какой-то хижины во Французской Гвинее[37], куда я никак не думал попасть, я вспоминал эту первую неудачу, сновавшие за углом автобусы и бледные лучи осеннего солнца...

На помощь мне пришел мальчишка — рассыльный — он спросил: «Кого вам нужно, может быть, консула?»; я ответил: «Да, да! Именно консула», и мальчик сразу же повел меня к собору Святого Дунстана, вверх по ступенькам и прямо в ризницу. Это было совсем не такое начало, какого я ждал в те дни, когда покупал палатку, которой так ни разу и не воспользовался, шприц, забытый дома, и револьвер, которому суждено было покоиться на дне чемодана под обувью и шкатулкой с серебряными монетами. В соборе готовились к Празднику урожая; ризница была разукрашена пышными желтыми цветами, на полу грудями лежали тыквы; но консула тут не было и в помине. Рассыльный долго вглядывался в полумрак и наконец показал мне маленькую озабоченную женщину, склонившуюся над цветочными горшками.

— Вот она, — сказал он. — Она самая. Она вам все объяснит.

Я чувствовал себя очень неловко, когда, пробравшись между тыквами в соборе Святого Дунстана, наконец спросил:

— Вы случайно не знаете... где тут консул Либерии?

Оказалось, что она знает, и я пошел на другую улицу.

Было три часа, и в консульстве как раз кончали обедать. Три человека — я не мог определить их национальности — находились в маленькой комнате, затерянной в сверкавшем новизною конторском здании. На подоконнике валялись старые телефонные книги и школьные учебники по химии. Один из служащих мыл посуду в тазу, поставленном в корзину для бумаг. В жирной воде плавали какие-то желтые нити, похожие на мочалку. Человек снял с газовой плитки кастрюлю с кипятком и стал поливать тарелку, держа ее над тазом, потом вытер тарелку полотенцем. Стол ломился под тяжестью посылок (казалось, они набиты камнями), а лифтер то и дело заглядывал в дверь и швырял на пол все новые и новые пакеты. Комната смахивала на убогий фургон, застрявший посреди нарядной, ярко освещенной улицы. Пожалуй, если уйти, а потом снова вернуться сюда, в поблескивающее металлом ультрасовременное здание, этой комнаты уже не окажется на месте; да, вернее всего, она переберется куда-то дальше.

Впрочем, все были очень любезны. Меня только попросили уплатить деньги; никто не поинтересовался целью поездки, хотя многие специалисты по Африке уверяли, будто Республика Либерия не любит незваных гостей. Работники консульства перебрасывались шуточками, понятными только им одним.

— До войны, — говорил высокий человек, — вообще не нужны были паспорта. С ними одна морока. Разве что для Аргентины. — Говоривший поглядел на того, кто возился с моими документами. — А вот чтобы поехать в Аргентину, нужно было даже отпечатки пальцев представлять, да еще за месяц вперед, чтобы Скотленд — Ярд успел связаться с Буэнос — Айресом. Всех жуликов на свете почему-то тянуло в Аргентину.

Я разглядывал висевшую на стене знакомую карту, на которой так мало названий... Несколько городов на побережье, несколько деревень вдоль границы.

— Вы бывали в Либерии? — спросил я.

— Нет, что вы, — ответил высокий. — Мы предпочитаем, чтобы они ездили к нам.

Другой украсил мой паспорт круглой красной печатью с государственным гербом — трехмачтовым кораблем, пальмой, летящим над ней голубем и девизом: «Нас привела сюда любовь к свободе!» Мне пришлось расписаться повыше такой же красной печати, скреплявшей «Декларацию иностранца, собирающегося посетить Республику Либерию».

«Ознакомившись с положениями Закона об иммиграции, я свидетельствую, что могу быть допущен на территорию Республики.

Мне известно, что в случае принадлежности к какой-либо категории лиц, которым запрещен въезд в Республику, я подлежу высылке или тюремному заключению.

Клянусь, что настоящее заявление соответствует истине, насколько я в силах об этом судить, и что во время пребывания в Республике я готов всецело подчиняться законам и властям».

Единственное, что я знал о Законе, — это то, что всякому белому въезд в Либерию разрешен только с моря, через определенные порты, за исключением случаев, когда за большие деньги покупается лицензия на геологическую разведку. Что касается меня, я собирался пересечь границу британских владений и выйти на побережье через леса в глубине страны...

В начале девятнадцатого века одно американское филантропическое общество принялось отправлять освобожденных рабов на африканское побережье (говорили, что многие руководители этого общества были рабовладельцами и ухватились за это, чтобы избавиться от своих незаконнорожденных детей). Купили землю у местных царьков и основали

поселение Монровия. «Нас привела сюда любовь к свободе...» Трудно винить этих первых поселенцев, которые вскоре обнаружили, что их любовь к собственной свободе мешает свободе местных племен. История Республики Либерии мало чем отличается от истории соседних колоний, где правят белые, — здесь точно так же нарушали договоры, прибегали к вооруженной силе, постепенно захватывали чужие земли; больше того — первые поселенцы проявляли здесь тот же героизм, что и их белые собратья, своеобразный пуританский героизм, где мученичество сочеталось с глупостью. Были тут, например, черные квакеры из Пенсильвании — пацифисты и трезвенники; когда на них напали испанские работоторговцы, они целиком положились на Бога и были перебиты. Только сто двадцать человек спаслись и поселились в Гран — Басе.

С самого начала эти бывшие американские рабы — полукровки были идеалистами на американский лад. Когда они провозгласили республику, их Декларация независимости дышала тем же парадным холодом мрамора, что и американская. Шел 1847 год, а слова были заимствованы у восемнадцатого века; они родились в Вашингтоне — пышные, как эпитафия на гробнице богача. Хартия торжественно начиналась с перечня неотъемлемых прав на жизнь и свободу, но сразу же переходила на «право приобретать собственность, владеть и пользоваться ею, а также защищать ее». Сегодня «идеалы» все еще американские, но это уже американизм «Таммани — холла»[38]; потомки рабов пустились в политические махинации с увлечением завзятых картежников.

«Если вы желаете процветания своему народу, независимости правительству, почетного места среди флагов других наций нашей Одинокой Звезде, вы снова будете голосовать на выборах за президента Барклея...» — гласит предвыборное воззвание...

Казалось, в том краю есть что-то нездоровое, какая-то порча, которой не найдешь в других местах, болезнь же всегда вызывает жалость, даже болезни цивилизации: рекламы в небе над Лестер — сквер[39], «девицы» на Бонд — стрит, запах вареных овощей возле Тотгенхем — Корт — роуд, продавцы подержанных машин на Грэйт — Портленд — стрит[40].

Но иногда человека охватывает беспокойство, его тянет прочь из города, он согласен терпеть неудобства и лишения ради смутной надежды найти то, чему есть тысяча названий, — копи царя Соломона, «душа черного народа», а может быть, как выражается господин Гейзер в романе об Африке «Паломничество души», свое место во времени, обусловленное знанием не только сегодняшнего дня человечества, но и его прошлого, откуда мы все пришли. Есть, конечно, и такие люди, которые любят заглядывать вперед, — советское агентство «Интурист» снабжает их недорогими билетами в правдоподобное будущее, — но мое путешествие было иным.

Я вспоминаю его, как сон, полный какого-то особого смысла: перед моими глазами проходят и старик, которого избивали дубинкой во дворе жалкого подобия тюрьмы в Тапи — Та, и скорчившиеся на дне ямы нагие вдовы в Тайлахуне, измазанные желтой глиной, и дьявол с деревянными зубами, который кружит в развевающемся плаще из пальмовых листьев между деревенскими хижинами.

Сегодня наш мир как-то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ? Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути.

Через Ливерпуль

И все же меня немножко пугала перспектива вернуться в прошлое через Африку в полном одиночестве, и я очень благодарен своему двоюродному брату, согласившемуся сопровождать меня в этом путешествии, для которого нельзя было купить карт.

Оно началось в вагоне — ресторане поезда, уходящего в 6.05 с вокзала Юстон. Перед нами стояли тарелки с плохо прожаренной рыбой. Газетный заголовок сообщал еще одну версию о трупе, найденном в сундуке: покончил с собой безработный; а за окном, вдоль линии железной дороги, мокли под дождем полустанки, словно шеренга опущенных в воду факелов.

Огромная ливерпульская гостиница построена безвкусно, зато с подлинной страстью к великолепию и с пониманием, что такое удобства. Вероятно, здесь могло бы разместиться не меньше пассажиров, чем на трансатлантическом пароходе; я говорю о пассажирах, потому что никто не ездит в Ливерпуль развлечения ради поглядеть на маленькую тесную площадь, на неоновые рекламы, висящие так низко, что впору хоть рукой достать, на кино и бары, которые все тут закрываются в десять часов, и не позже. Но ливерпульская гостиница не похожа на другие; ее не назовешь ни модной, ни веселой, ни европейской, зато в длинных коридорах, где гложет всякий шум, за высокими, как утесы, стенами жив дух постоянных дворов старой Англии: здесь не постесняешься заказать сдобную булочку или кружку пива, прислушиваясь к пароходным гудкам и разглядывая груды багажа в холле; уверен, что здесь сохранился еще и старомодный коридорный. Во всяком случае, там я понял Генри Джеймса, который, сойдя на берег, удивился, какой английской оказалась Англия, он даже заподозрил, что она приложила к этому немало стараний, желая ему угодить.

Несмотря на блеск никелированной посуды, повсюду проглядывала обычная английская бестолковщина; даже сдобная булочка и та была чудовищных, прямо-таки тошнотворных размеров. Если гостиница выглядела нелепо, то это потому, что великолепие всегда выглядит немножко нелепо. Редко кому удается величественный жест. В тех немногих случаях, когда красота и великолепие совпадают, вы чувствуете себя как в театре или кино: это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Меня всегда мучает противоречие: я убежден, что жизнь должна быть лучше, чем она есть, и в то же время верю, что всякое видимое благополучие непременно скрывает темную изнанку. Впрочем, в этом гигантском зале ливерпульской гостиницы, на широких просторах пушистого темного ковра вы были как дома; зал напоминал увеличенный в пятьдесят раз сельский трактир; где-то в углу спал с открытым ртом проезжий коммерсант; вы бы не чувствовали себя здесь по — домашнему, если бы гостиница была построена по голливудским образцам.

На рейде Ливерпуля ничто не изменилось со дней Генри Джеймса: «Черные пароходы снуют в желтой воде Мерсея, а небо нависло над ними так низко, что они, кажется, вот — вот заденут его своими трубами». Даже краски остались прежними.

«Густая, насыщенная ветром мгла мягко серебрится, то и дело переходя в черноту».

Грузовой пароход стоял у самого устья Мерсея, покачиваясь на волнах Ирландского моря; холодный январский ветер разгуливал по палубе; пассажиры теснились внизу; смущенные и благодушные, они прощались с провожающими и откровенно скучали. А в иллюминаторе исчезала из глаз Англия — каменные ступени, просмоленный борт и бьющая в стекло серая волна.

Глава вторая. Торговое судно

Мадейра

На торговом судне у нас с двоюродным братом было пятеро спутников: двое служащих паровой компании, коммивояжер машиностроительной фирмы, врач, который вез в Африку вакцину против желтой лихорадки, и женщина, ехавшая к мужу в Батерст. Все они, за исключением женщины и коммивояжера, были своими людьми на африканском берегу. У них были общие знакомые и одинаковые привычки, продиктованные одинаковыми условиями существования. Ежедневная порция хинина, москитные сетки на иллюминаторах — все это казалось им столь же естественным, как скатерть на обеденном столе.

В таких условиях легко рождаются легенды. По существу, легенда — достояние первобытного общества, где труд, досуг и образование еще не успели расчленить людей и внести разнорядность в уровень их сознания, любой рассказ быстро передается от одного к другому, не подвергаясь ни малейшему сомнению. Но иногда подобные условия складываются искусственным образом и в наши дни. Общая опасность, общая цель или сходный образ жизни могут свести на нет интеллектуальные различия и сломать имущественные барьеры — тогда-то и являются ангелы и случаются чудеса у раки святого.

— Да, — говорили в курительной комнате, — капитан В. человек с характером, другого такого не найти.

Все его знали, потому что все они жили на Берегу — и капитан, и доктор, и агент парового судна.

— Что бы с ним ни стряслось, он и бровью не поведет, — сказал врач.

— Не раздумывая пойдет на буксирном катере в кругосветное плавание!

— И грузов не боится! Идет на риск, и все тут. Поэтому и фрахт у него такой дешевый.

— А владельцы грузов соглашаются?

— Его слово крепче страхового полиса.

— А что, если груз погибнет?

— Пока у него ничего не погибало.

Весь субботний вечер молодой агент паровой компании просидел в радиорубке, ожидая результатов футбольного матча на первенство Англии. Они болтали с радистом, перебирая морские сплетни, интересные одним посвященным: как имярек поссорился со Стариком и перешел на другую линию. Над головой у них мигали лампочки; глухо жужжал передатчик — маленькая кабина с ее частоколом приборов была механизирована ничуть не меньше, чем машинное отделение внизу; как скала, возвышался большой черный полированный ящик, синяя, желтая, темнокрасная резиновые обмотки пухло соединяли концы проводов и были похожи на ряд цветных грелок; в этом безлюдье из сверкающей меди и стали двигался одинокий негр с пыльной тряпкой в руках.

Наслушавшись сплетен, я покинул мигающие лампочки, сумрак радиорубки и вернулся в курительную.

— ...четыреста шестнадцать человек в одном Дакаре, — говорил капитан врачу.

Та же тема обсуждалась за утренним завтраком: чума в Дакаре, желтая лихорадка в Батерсте — вспышки эпидемий, которые замалчивались на французском Берегу и о которых не сообщали ни единого слова в Либерии. Разговоров об эпидемиях невозможно было избежать: о чем бы ни зашла беседа — о религии, политике или книгах, — она всегда съезжала на малярию, чуму или лихорадку. Пока ты в море, это предмет для шуток — совсем как чужая жена со сварливым характером; но когда сходишь на сушу, такие разговоры приобретают зловещий характер, даже мурашки пробегают по телу, и ты сразу замечаешь тех, кто уклоняется от подобных тем, предпочитая беседовать о чем-нибудь более утешительном.

Например, о «Деревушке в долине» мистера Биверли Никольса, стоявшей на полке судовой библиотеки. Странные книги читаешь в море, книги вроде «Цыганки» леди Элеоноры Смит, романов Уорвика Дипинга или У. Б. Максвелла, — никому бы и в голову не пришло читать их дома. Эту кучу книг, где нет ни правды, ни вдохновения, где одно серое слово цепляется за другое, читают, дожидаясь автобуса, держась за поручень в вагоне метро, урывая минуты, когда хозяин перестает диктовать письма, или за завтраком в дешевом кафе. Целая книжная промышленность зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья.

На Мадейре шел дождь. В убогом городке, стяжавшем дурную славу, сводники расхаживали по улицам с девяти часов утра. У Золотых ворот мы пили сладкое вино, а дождевые капли беспрерывно стекали с причудливых шляп в форме фаллоса, развешанных у дверей лавчонок. Сводники предпочитали соломенные шляпы с цветными лентами; они преследовали нас по всему Фуншалу: их нисколько не смущал ни дождь, ни ранний час. «Люкс, — твердили они, — секс», — и добавляли что-то насчет танцовщиц. Их промысел, как и тот, что кормил господина Биверли Никольса, зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья. Скорей, скорей, ты сошел на берег на каких-нибудь полчаса, да и сил у тебя осталось всего на несколько лет, возьми еще одну женщину, пока не поздно; та, которая у тебя есть, не дала тебе счастья, так попробуй другую. Цветочницы торговали под дождем фиалками, лилиями и розами, дождь стекал с фаллических шляп; сводники никак не могли взять в толк, что тебе не до женщин в такую рань и такую сырость, что можно и по — другому убить время — выпить сладкого вина у Золотых ворот, а то и просто вернуться на борт и приняться за леди Элеонору Смит и мистера Биверли Никольса.

В Фуншале сели на пароход новые пассажиры третьего класса: молодой немец — художник и его жена; их устроили в крошечном лазарете. Художник был полный прыщеватый молодой человек в бархатной куртке. В тесном лазарете он развесил свои полотна — яркие реалистические пейзажи и портреты опаленных солнцем мексиканских индейцев. Темнело. Все пили скверную мадеру прямо из бутылки, художник разглагольствовал об Искусстве, Спорте и Красоте Плоты, а его маленькая жена, пухленькая, хорошенькая и покладистая, потихоньку страдала от морской болезни. Он был горячим поклонником национализма, водного спорта и любви, восторгался живописью Орпена и Ласло, но не признавал работ Мунка — в них нет души, говорил он, Мунк материалист; это не значит, что сам он не верит в Плоть, Красоту Плоты и Плотскую Любовь. Он согласился было отправиться с нами в путешествие по Африке, чтобы иллюстрировать мою книгу: настоящий художник, сказал он, везде чувствует себя как дома, но после обеда отказался от этого намерения. Его милая, покладистая и уже опытная супруга заявила: да, она охотно отправится в глубь Африки, но после обеда, и она отказалась от своего намерения. Он был плохой художник, но отнюдь не шарлатан. Живя почти впроголодь, он не терял веры в себя и в свои туманные тевтонские идеалы.

К обеду все захмелели от плохой мадеры и розового джина, который они называли Береговым. Служащий паровой компании затащил «Старую отчизну», а потом «Танец цветов» и «Пустил стрелу я в небеса». Толстый коммивояжер по фамилии Юнгер все повторял: «Дайте мне еще молока от бешеной коровки» — и проливал кофе на скатерть. Немцы отправились в свою каюту — через нижнюю палубу и вверх по железным ступенькам на корму; ее мутило, от этого она только притихла еще больше. Служащий паровой

компании снова затянул «Старую отчизну»: «Далеко, далеко на род — ному берегу помолитесь, друзья, за душу мою...» — и все почувствовали себя англичанами до мозга костей, осужденными на изгнание, и загрустили, все, кроме Юнгера, который полез по лестнице на палубу, цепляясь за перила и бормоча: «Назад я поеду поездом». Он был больше англичанином, чем все остальные; север вошел ему в плоть и кровь, он был убежденным шовинистом, чуждым всякой сентиментальности, сквернословом, но человеком честным. Пил он потому, что хотел забыться, потому, что впереди, на Берегу, его ждала трудная работа, потому, что любил жену и его одолевала отчаянная тревога. У него было больше оснований пить, чем у остальных. Годы процветания отложились в складках его грузного тела, в трех его подбородках; с первого взгляда трудно было заметить, каким тяжелым камнем лег ему на сердце кризис. Если бы понадобилось нарисовать портрет Юнгера в старинной манере — с миниатюрными пейзажами и тосканскими городами на заднем плане, — его следовало бы изобразить на фоне потухшей домны или недостроенной фермы большого моста, превратившейся в насест для перелетных птиц.

Юнгера не покидал здравый смысл даже в часы беспутства.

— Восемнадцать месяцев на Берегу!.. Скажите, доктор, — допытывался он теперь, — как это люди ухитряются столько вытерпеть?

— Уму непостижимо, — отвечал врач.

— Нет, как они все-таки ухитряются?

— Этот же вопрос задавал мне сам губернатор. Не знаю, что вам ответить.

Юнгер ложился позже всех; перед сном он минут десять бродил взад и вперед по коридору; в нем было нечто плебейское и вместе с тем нечто царственное, внушавшее почтение, никто не обижался на его выходки. «Эй, ты, вобла! — кричал он, подходя к двери капитанской каюты. — Эй!» И капитан послушно появлялся на пороге. С женщинами он вел себя как Фальстаф и был до глупости безгрешен, довольствуясь тем, что кого-нибудь пощекочет или облапит. «Ах ты, живчик ты этакий!» — приговаривал он. И даже скромная и замкнутая молодая женщина, никогда до этого не покидавшая мужа и Ливерпуль, не пившая, не курившая и не любовавшаяся на луну, вернула ему шлепок. В его беспутстве было что-то рыцарское. Его речь была хороша, как детский рисунок: живая, непосредственная, неиспорченная.

Дакар

Я проснулся от скрежета железа о камень и увидел Берег. Это слово уже прочно вошло в нашу жизнь. Люди говорили: «Элдридж? Ну, конечно, он ведь старожил тут, на Берегу». А сам Элдридж, немолодой агент судоходной компании, неизменно повторял, садясь за стол: «Жратва — вот как мы это зовем на Берегу». Или, передавая тарелку с луком, пояснял: «У себя на Берегу мы зовем это фиалками». Розовый джин именовался Береговым. И Берег, конечно, был один — единственный — западноафриканский, другого берега никто и знать не знал.

На пристани разгуливали взад и вперед сенегальцы, их длинные белые и синие одежды мели пыль, которую ветер сдувал с двадцати-пятифутовой груды арахиса. Мужчины расхаживали, держась за руки, лениво посмеиваясь под ослепительными отвесными лучами солнца. Иногда они обнимали друг друга за шею; казалось, им нравится прикасаться к живому телу — словно от сознания, что рядом кто-то есть, становилось веселее на душе. Нам такое чувство

непонятно и недоступно. Двое сенегальцев провели так на наших глазах целый день: они были здесь, когда пароход, плавно скользя по воде, пришвартовался по соседству с грудой арахиса; они оставались здесь и вечером, когда погрузка окончилась и грузчики умыли руки и лицо горячей водой, струя которой била из борта судна. Эти двое и не думали работать — просто ходили взад и вперед, держась за руки и со смехом обмениваясь шутками. Вид их придавал ослепительному дню и нашему первому знакомству с Африкой обаяние душевного тепла и сонной красоты, ощущение безмятежной и беззаботной радости.

La, tout n'est qu'ordre etbeaute, luxe, calme et volupte'[41].

Тут, в Дакаре, трудно было поверить, что Бодлер никогда не был в Африке, — здесь все дышало его «Призывом к странствию» и еще, пожалуй, «Миллионом» Рене Клера.

Да, это был вылитый Рене Клер с его жизнерадостными и поэтичными нелепостями: и два величественных магометанина, заснувшие в городском саду на посыпанной гравием дорожке подле черного железного котелка; и крохотные сирийские детишки, шагавшие в школу в белых тропических шлемах; и усевшиеся в кружок на тротуаре мужчины, занятые шитьем; и рябой извозчик, остановивший лошадей и скрывшийся в кустах, чтобы сотворить молитву; и грузчики с мешками арахиса, шагавшие вверх и вниз по лестнице из мешков и возводившие все выше и выше арахисовую гору на пристани, похожие на жестяные фигурки, которыми торгуют на Рождество в Лондоне; и прекрасные черты женщин на базаре — и молодых, и старых, — прекрасные не столько женской привлекательностью, сколько живописным своеобразием.

В ресторане после нескольких глотков замороженного сотерна нас уже не тревожил тот Дакар, о котором мы столько слышали: Дакар чумной эпидемии и громоздкого бюрократического аппарата, город с самым нездоровым климатом на всем Берегу.

В своей книге «Пляски Африки» Горер рассказывает, как вымирает негритянская молодежь в Дакаре — вымирает не от туберкулеза, чумы или желтой лихорадки, а, по — видимому, от истощения, от безнадежности. Наверно, Горер прожил в Дакаре слишком долго и видел слишком многое. Внезапное ощущение счастья, которое испытываешь при первом знакомстве с Дакаром, очень недолговечно — оно похоже на счастье, от которого набегают слеза, прекрасное и неверное, как исполнение желаний.

Да, без сомнения, был и другой Дакар — Дакар четырехсот шестнадцати умерших от чумы, город отчаяния и несправедливости, — но на какой-то миг сквозь облик его проглянуло нечто иное, нечто упрямо хранимое здесь испокон века. Так, смотря первые фильмы Рене Клера, вы готовы были поверить, что это и есть та жизнь, для которой мы рождены, пробивающаяся сквозь ту жизнь, которая нам навязана, пробивающаяся сквозь заботы, неприятности, кризис и неутоленные желания; все становилось несущественным, мимолетным, и вы больше не думали о завтрашнем куске хлеба или о завтрашней женщине, а просто брали кого-то за руку и чувствовали себя на седьмом небе, и вам было наплевать на все.

Конечно, очень скоро обнаруживалось, что такое ощущение никак не вязалось с действительностью. Тяжелые взмахи ястребиных крыльев над Батерстом[42]; на заднем плане, вдоль песчаной отмели, — длинная, низкая полоса домишек и деревьев; теснота в негритянском квартале, где люди кишат, как мухи на падали; запрещение сходить на берег — карантинная мера против желтой лихорадки, свирепствовавшей в городе; чувство одиночества, охватившее нашу спутницу, когда она высадилась здесь, чтобы встретиться с ожидавшим ее мужем, — все это больше походило на подлинный Берег. И еще: оборванец — поляк в майке и грязных белых брюках, появившийся на пароходе в Конакри[43], — он не говорил ни по — английски, ни по — французски, но упорно допытывался, как называются комбинации в бридже. Капитан достал ружье и застрелил ястреба, усевшегося на мачте; чайки бросились врассыпную, взвившись в раскаленном воздухе, а пыльный труп хищника

свалился на палубу как предвестник мрака.

Глава третья. Дома, хоть и вдали от дома

Фритаун

Жара и сырость — вот первое впечатление от Фритауна, столицы Сьерра — Леоне; в нижней части города туман растекался по улицам и ложился на крыши, как дым. Условная пышность природы, поросшие лесом холмы над морем, скучная, тусклая зелень бессильны были скрасить убожество города. Из утренней мглы поднимался англиканский собор — красноватый песчаник и жель, четырехугольная башня — церковь в норманнском стиле, выстроенная в девятнадцатом веке. И сразу родилась уверенность: мы снова дома. Среди роя окруживших паровоз туземных лодок бросалась в глаза «Принцесса Марина» — краска, которой написали ее название, была совсем свежая.

— «Принцесса Марина», — выкрикивал полуголый лодочник, — прелестнейшая лодка на всем Берегу!

Железные крыши, обрывки афиш, разбитые окна в публичной библиотеке, деревянные лавочки — Фритаун был овеян духом рассказов Брет — Гарта, но без буйной жизни, без кабаков, револьверных выстрелов и скачущих коней. Конь во всем городе был только один — мне показал его владелец «Гранд — отеля»: тощий пегий мерин, смахивавший на мула, тащился вниз по главной улице. Время от времени сюда привозили и других лошадей, но все они передохли. Повсюду видны были обитые желью бараки и огромные складские здания, облепленные сверху донизу афишами (на них значилась дата: пятнадцатое января) прошлогоднего благотворительного концерта. Засунув под крыло отвратительные крохотные лысые головы, торчали на крышах грифы; они нагло селились в садах, словно индюки; я насчитал семь из окна моей комнаты. Перебираясь с одного насеста на другой, они поражали глаз своей непригодностью к полету, казалось, они скачут через улицу, едва отрываясь от земли тяжелыми взмахами пыльных крыльев.

Это была одна из английских столиц; Англия разбросала здесь этот город с его жельными лачугами и благотворительными афишами, а сама удрала вверх по склонам холмов за ограды нарядных вилл с широкими окнами, электрическими вентиляторами и толпою слуг. Любой визит к белому человеку стоил десять шиллингов: приходилось брать такси — железная дорога до Горной станции не работала. Насадив свою жалкую цивилизацию, белые люди сбежали от нее подальше. Все, что было уродливого во Фритауне, принадлежало Европе лавки, церкви, правительственные здания, обе гостиницы. Все, что здесь было красивого, принадлежало Африке — лотки торговцев фруктами, стоявших по вечерам на перекрестках со своим товаром, освещенным горящими свечками; черные женщины, шествовавшие в воскресное утро из церкви, покачивая красивыми бедрами, поводя широкими плечами, во всей своей красе дешевый ситец, малиновые или зеленые оборки, соломенная шляпа с широкими полями, гордо сидевшая на голове. Разряженные, словно на летний бал, они приносили в маленькие дворики, где сидели грифы, хоть дешевое, но яркое великолепие; природа же при всем своем великолепии не могла скрасить безобразия Фритауна.

В мужчинах вы не замечали этой спокойной уверенности в себе; они получили образование и

могли понять, что их надули, что им досталось на долю худшее из наследия обоих миров. Кое-кто из них носил мундир, занимал официальную должность, посещал приемы в губернаторском дворце, пользовался правом голоса; все же они ежеминутно сознавали, что за ними с усмешкой и превосходством следят бессердечные глаза белого человека (ах, этот презрительный хохот у тебя за спиной!).

Фритаун развлекается чисто по — английски, как Дакар чисто по- французски. Бывают даже приемы в генерал — губернаторском саду, где белые и черные, держась на почтительном расстоянии друг от друга по разные стороны грядки, под звуки военного оркестра разглядывают огород: «Смотри-ка, ему и в самом деле удалось вывести здесь помидоры». — «Милочка, пойдем поглядим на капусту». — «Скажите, это настоящий салат?»...

В баре

Мне захотелось пошататься по кабакам. В Фритауне это не так-то просто. Выпив в «Гранд — отеле», вам остается только отправиться в «Столичную». Там всегда болеелюдно и шумно: можно поиграть на билльярде, и народ живее — опрокинут рюмку — другую и рассказывают непристойные анекдоты, правда, если поблизости нет дам.

Почти у каждого белого жена на Горной станции; выпив в субботний вечер, муж покупает шоколад и показывает собеседникам фотографии своих отпрысков («Простите, я не очень люблю детей». — «Ах, что вы, мои бы вам понравились!»). Но есть и такие, у кого жена осталась в Англии; проглотив не больше двух рюмок — ведь он обещал жене не пить, — соломенный вдовец сражается в карты по маленькой. Все они играют в гольф и ездят купаться на пляж Ламли. Здесь нет ни одного кино, куда можно было бы пойти белому, а книги, разумеется, гниют в этой сырости, в них заводятся черви. Впрочем, черви заводятся и в желудке, стоит только пожить здесь подольше, но никто не обращает на них внимания — ведь это неизбежно. Фритаун, уверяют вас, самое здоровое место на всем Берегу. В день моего отъезда молодой человек, служивший в ведомстве просвещения, умер от желтой лихорадки.

Глистов и малярии (даже и без желтой лихорадки) вполне достаточно, чтобы отравить существование в «самом здоровом месте на Берегу». Посетители бара «Столичной» — золотоискатели, агенты пароходных компаний, торговцы, инженеры — постарались перенести сюда английские обычаи, не то как бы они сохраняли душевное равновесие? Не они были здесь хозяевами; они приехали только для того, чтобы нажить деньги, их отношение к «проклятым черномазым», по крайней мере, было лишено лицемерия. Подлинные хозяева приезжали сюда ненадолго; каждые полтора года отправлялись они в длительный отпуск, устраивали приемы; считалось, что они находятся здесь для блага тех, кем они правят. Именно на них лежала ответственность за многое: на их совести были, например, заработки рабочих на строительстве узкоколейки до Пендембу (на стыке французской и либерийской границ). Рабочим платили всего шесть пенсов в день; тем не менее в годы кризиса у них ежемесячно вычитали однодневный заработок. Эта мера была, вероятно, самой подлой среди многих подлых мер экономии, которые помогли Сьерра — Леоне перебиться в годы кризиса, вызванного падением цен на пальмовое масло и пальмовое семя, когда концерн «Леверс»[44] стал оказывать предпочтение китовому жиру. Экономия почти всегда наводилась за счет цветных; штаты правительственных учреждений не пострадали, разве что кое — где сократили секретаря или курьера. До визита лорда Плимута, заместителя министра, приехавшего во Фритаун в тот же день, что и я, на всю колонию вместе с протекторатом был только один санитарный инспектор. Его изводило начальство во Фритауне, беспрерывно перебрасывая из района в район; тщетно просил он

дать ему людей. Принудительный труд запрещен в британских колониях законом, но санитарному инспектору без штата приходилось выбирать — то ли нарушить закон, то ли оставить деревни погибать в грязи.

Посетители бара были в этом не повинны; все эти подлости совершались без их участия, они были повинны только в жалком обличье Фритауна с его железными крышами и обрывками афиш.

В ответ на все упреки они говорили: если вы англичанин, вы должны чувствовать себя здесь как дома; если вам тут не нравится, значит, вы не англичанин. Но если уж кого-нибудь осуждать, чего же нападать на передовые посты, надо винить штаб, главный штаб империи — страну, которая не дала им ничего, кроме жажды благопристойности и чувства чести, очень быстро увядающего в этой жаре.

«Ни перед чем не останавливаясь...»

На пристани меня встретил пожилой негр с зонтиком. Он сказал с укоризной:

— Я жду вас уже несколько часов.

В руках у него была телеграмма из Лондона: его просили связаться с Грином, собирающимся посетить Либерию.

— Меня зовут мистер Д., — сказал неф.

Он хорошо знал Либерию и мог быть мне полезен. Непрошеную помощь предложили мне и более высокие инстанции. Еще на борту судна мне вручили письмо английского поверенного в делах в столице Либерии; он сообщал, что предупредил о моем прибытии министра внутренних дел, а министр написал окружным комиссарам Западной провинции: «Мы будем крайне признательны за всякое содействие, оказанное этим лицам комиссарами и вождями, к которым они обратятся; вам надлежит, ни перед чем не останавливаясь, всячески облегчать их путешествие». Фраза «ни перед чем не останавливаясь» звучала чуть — чуть зловеще, магическая помощь свыше вообще не входила в мои расчеты. Если в Либерии и было что скрывать, то мне тем более хотелось нагряться врасплох. К счастью, министр внутренних дел предложил мне определенный маршрут, от которого я без труда мог уклониться, да и всю Западную провинцию я мог оставить в стороне за какие-нибудь несколько дней.

Все обстояло бы проще, если бы удалось раздобыть карту. Но Республика Либерия почти вся покрыта лесами и никогда еще толком не картографировалась — хотя бы с той весьма приблизительной точностью, с какой проводились топографические съемки в прилегающих к ней с обеих сторон французских колониях. Я нашел в продаже только две карты большого масштаба. Одна из них, выпущенная британским генеральным штабом, вполне откровенно оповещала о своем невежестве: большая часть республики представлена на ней в виде огромного белого пятна с бахромой названий вдоль границы и несколькими пунктирными линиями, обозначающими (неправильно, как я в этом неоднократно убеждался) предполагаемые русла рек. Странные эти названия: подавляющего их большинства никто в Либерии не слышал; вероятно, это были имена глухих, ныне опустевших деревушек. Другую карту выпустило военное министерство Соединенных Штатов. В ней есть даже какая-то лихость, она свидетельствует о могучей фантазии ее составителей. Если английская карта довольствуется белым пятном, американская заполняет его набранной крупным шрифтом надписью: «Людоеды». Эта карта не допускает пунктирных линий и не признается в невежестве; зато она так неточна, что пользоваться ею было бы бесполезно, пожалуй, даже

опасно. В ее фантазиях есть нечто от елизаветинских времен: «непроходимые леса», «людоеды», реки, которых нет и в помине — во всяком случае, там, где они обозначены, или где-нибудь поблизости; вас бы не удивило, если посреди леса Гола здесь красовались бы миниатюрные картинки с изображением Эльдорадо, людей о двух головах и сказочных зверей.

Но тут мне на помощь пришел пожилой негр, мистер Д.; он-то знал Либерию.

Мистер Д. жил в негритянском квартале. Это один из немногих районов Фритауна, где еще осталась какая-то прелесть. Негры племени кру славятся на всем побережье как искусные мореплаватели, гордятся тем, что никогда не были рабами и не занимались работорговлей; они избежали влияния англичан. По дороге к пляжу Ламли все еще стоят среди пальм хижины аборигенов; на пороге сидят женщины с неприкрытой грудью. Дом мистера Д. находился на единственной европейской улице этого квартала. Деревянная лестница без перил вела в комнату с дощатыми стенами, на которых висели картины религиозного содержания. В комнате стояли четыре ветхих стула и купленный по случаю стол, а на нем горшок с цветами. Грубо намалеванные мадонны, пронзенные семью мечами, равнодушно переносили свои муки, а у Христа прямо над головой было выставлено кровоточащее сердце цвета сырой печенки. Насекомые прыгали по деревянному полу, а мистер Д. любезно объяснял мне, как добраться до границы.

В Болахуне, сразу по ту сторону границы, находилась американская миссия ордена Святого креста; было бы разумно задержаться там на несколько дней и попробовать нанять носильщиков до Монровии. Мистер Д. ознакомился с маршрутом, намеченным министерством внутренних дел; начиная от Зигиты мне от этого маршрута лучше было держаться как можно дальше. На белом пятне английской карты мистер Д. нанес карандашом свои пометки; он не был уверен, где надо проставить тот или иной населенный пункт — десятью милями левее? десятью милями правее? Английская карта сбивала его с толку своей неточностью. Наконец он отложил ее в сторону, и я просто стал заносить в записную книжку названия селений: Мозамболахун, Гондолахун, Джинни, Ломбола, Гбеяхлахун, Горьенди, Белливела, Банья. Впрочем, нет надобности их перечислять; на самом деле я шел совсем по другому пути, отказавшись даже от первоначального замысла — двигаться на Монровию. В стране, где можно путешествовать, только затвердив название следующего города или деревни и повторяя его в пути каждому встречному, непредвиденные обстоятельства снова и снова завставляли менять планы.

В конце концов моя записная книжка заполнилась длинными перечнями кое-как нацарапанных и, вероятно, перевернутых названий деревень, которые мне никогда не суждено было разыскать. Перелистывая ее теперь, я обнаруживаю, например, такую загадочную запись: «Пароход заходит в К. Пальмес и Сино. Не разглашать место назначения. Сойти в С. Добраться берегом до Сетта — Кру, Нана- Кру. В Н. — К. — доктор В., ам. миссионер. В Вессерпор или Дио. Сказать, чтобы проводили к Нимли. Оттуда к Нью — Сесстауну и К. П.».

Это, по — видимому, проект одного из маршрутов, от которого мы отказались, — не хватило ни денег, ни сил. Я привез из Англии рекомендательное письмо к Нимли, верховному вождю сесстаунских негров, руководителю восстания на побережье в 1932 году. Это был тот самый Нимли, в борьбе с которым, как сообщал британский консул, пограничные войска Либерии под командой полковника Элвуда Дэвиса, североамериканского негра, особого уполномоченного президента, убивали детей и женщин, жгли деревни, пытали пленных. Мир был с грехом пополам водворен, но отнюдь не с самим Нимли, который с остатками своего племени укрылся в непроходимых зарослях, тщетно рассчитывая на вмешательство белых. «Ни одному белому, — сказал мистер Д., — не разрешается посещать берег, где живут кру, но, если взять билет на каботажное судно, которое ходит от Монровии до Кейп — Пальмес, можно по пути высадиться в Сино, из Сино берегом пройти до Нана — Кру, а там поискать

проводников — они укажут дорогу к местам, где скрывается Нимли».

Я рассказываю об этих неосуществившихся планах и непройденных маршрутах лишь потому, что они дают какое-то представление о путанице, царившей у меня в голове, когда я высадился во Фритауне. Никогда прежде я не покидал Европу; я ничего не смыслил в путешествиях по Африке. Я собирался пешком пересечь Либерию, но понятия не имел ни о том, как идти, ни о том, что нас ожидает в дороге. Разглядывая ненадежную карту, я смутно себе представлял, что мы проедем через Сьерра — Леоне до Пендембу, где железная дорога кончается, затем пересечем в ближайшем пункте границу и пустимся наискосок прямо к столице Либерии. По — видимому, нам предстояло переправиться через много рек, но я полагал, что там есть какие-нибудь мосты; разумеется, впереди был лес, но лес здесь повсюду. Одна более или менее надежная книга о Сьерра — Леоне упоминала о нескольких старателях, искавших золото, — они пересекли границу Либерии в слывших необитаемыми лесах и больше не вернулись; но это было немного пониже того места, куда я направлялся (Либерия расположена на выпуклости африканской береговой линии, и я никак не мог запомнить, где здесь север и где юг).

В эту ночь мне приснился путаный, беспокойный сон: мне снились мистер Д. и таможня на границе. Я все время что-то забывал; я прибыл в таможню со всеми своими мешками и ящиками и мистером Д., упакованным в тук, но забыл нанять носильщиков, и у меня не было слуг. Я страшно боялся, что таможенный инспектор обнаружит мистера Д., а меня оштрафуют за контрабанду и заставят платить высокую пошлину.

Три спутника

Я попал во Фритаун в субботу, а поезд на Пендембу уходил в следующую среду; я надеялся, что слуги уже наняты и ждут меня, но Джимми Дейкер, которому обо мне писали и который уже давно обещал моим друзьям все устроить, просто позабыл о своем обещании. Это был странный человек — обаятельный, рассеянный, всегда под хмельком. Он постоянно сидел в баре «Гранд — отеля», тянул виски, запивал его пивом, разглагольствовал о нацистах и о войне; начинал он с пацифистских заявлений, но после третьей рюмки готов был хоть сейчас снова встать под ружье — а лицо его бороздили шрамы, оставшиеся от прошлой войны. Джимми Дейкер не имел никакого представления, как мне найти слуг; впрочем, он охотно согласился, что было бы неразумно нанять кого-нибудь из тех, кто целыми днями толкается у порога гостиницы, предлагая свои услуги. Он не знал ни единого человека, хоть скольконибудь знакомого с Либерией. Никто в Сьерра — Леоне, по его словам, ни разу не пересекал либерийской границы.

— Кто, Джимми? — удивлялись все в один голос, когда я говорил, что он ищет мне слуг. — Бедняга Джимми ни черта в этом не смыслит.

В конце концов мне достались лучшие слуги во всем Фритауне. Слава моего старшего слуги Амеду гремела до самой границы, а Амеду подобрал второго слугу, Ламина, и старого повара — магометанина Сури. И в какой-то степени я должен быть благодарен за это Джимми Дейкеру. Если бы я не навестил Джимми, чтобы выпить рюмочку на сон грядущий, я бы не познакомился с Папашей — Папаша прожил во Фритауне целых двадцать пять лет и знал всех местных жителей. Он был пьян в стельку. Сидя за рулем машины, он гнал ее вверх и вниз по холмам, словно нарочно выбирая самую плохую дорогу; его чуть было не арестовали, когда он сдернул фуражку с черного полицейского.

— Кто же не знает здесь Папашу? — вопрошал он, пытаюсь в два часа утра въехать в запертые ворота губернаторского дворца, чуть было не свалившись в кювет, а потом снова

помчался в гору, в то время как часовые, вытянувшись в струнку, с невозмутимыми лицами смотрели вслед машине.

Мы с грохотом пронеслись мимо казарм (караульное помещение опустело: завидев машину, солдаты высыпали на лужайку, отдавая нам честь, — они мелькнули перед нами в зеленоватом полумраке, точно обитатели подводного царства), свернули с дороги на грязный проселок и, наконец, остановились у какой-то насыпи.

— Ах вы, идиоты несчастные, — сказал Папаша.

Мы застряли высоко над Фритауном и были похожи на преступников, запертых в маленькую, освещенную изнутри клетку.

— Вы бывали когда-нибудь в Африке? Вы знаете, что такое дальние переходы пешком? Чего это ради вас туда несет?

Это «туда» прозвучало так, словно он говорил о геенне огненной; впрочем, о тех местах Папаша судил лишь понаслышке, самому ему, разумеется, никогда бы и в голову не пришло...

Знаем ли мы, что нас ожидает? Есть у нас надежные карты? Нет, сказал я, таких карт достать нельзя. Есть у нас слуги? Нет. Предупредили мы хотя бы заранее окружных комиссаров, чтобы нам приготовили ночлег? Нет, я и не знал, что это нужно сделать.

А где же мы собираемся ночевать, когда перейдем границу? В деревенских хижинах.

— Идиоты несчастные, — повторил он.

Склонясь над баранкой, он чуть не плакал. Да имеем ли мы хоть малейшее представление о том, что такое деревенская хижина? А крысы, вши, клопы? Что будет, если в пути мы заболеем малярией, дизентерией?

— Надо что-то придумать, — заявил он и, круто развернув машину, погнал ее обратно вниз.

Но туг он переключился на свою излюбленную тему:

— Кто же здесь не знает Папашу?

В негритянском квартале он затормозил рядом с полицейским и высунул голову из машины.

— Кто я такой? — Полицейский подошел и неуверенно покачал головой. — Не знаешь? Поди сюда. Ближе. Теперь скажи: кто я такой? — Полицейский покачал головой и криво улыбнулся; он был испуган: наверно, это какая-нибудь игра, но он не знал, как в нее играют. — Кто я такой, черная образина?

В полосе света, отбрасываемой фарами, показалась молодая девушка; ей нечего было так поздно слоняться по улице, и она хотела прошмыгнуть мимо, но Папаша ее заметил.

— Эй, ты, — сказал он, высунув голову в противоположное окно. — Поди сюда. — Девушка подошла к машине; она была слишком хорошенькой, чтобы пугаться чего бы то ни было; ее маленькие крепкие остроконечные груди были обнажены. — Объясни ему, кто я такой, — сказал Папаша. Она улыбнулась. Ее не пугали никакие игры. — Ты знаешь, кто я?

Широко улыбаясь, она заглянула в машину.

— Папаша, — сказала она.

Папаша дружелюбно похлопал ее по щеке и включил скорость. Он был горд, словно ему

удалось нам что-то доказать.

— А вы подумали о пиявках? — спросил он. — Они падают на голову прямо с деревьев.

Мы остановились у дверей гостиницы. Деревянный пол и лестница кишели муравьями.

— Придется мне что-нибудь придумать, не могу же я бросить вас на произвол судьбы, — бормотал Папаша; он клевал носом над баранкой.

На рассвете послышались стоны, это брел по улице какой-то умалишенный; я уже слышал его стоны накануне. Я выбрался из — под москитной сетки, чтобы посмотреть, как он волочит свои лохмотья сквозь серую предутреннюю мглу, мотая головой и мыча по — звериному. Железные крыши пустовали — в такую рань не видно было грифов. Есть ли у грифов гнезда? Не было и летучих мышей, которые к семи часам вечера тучей повисали над городом.

Как ни странно, Папаша не забыл своего обещания. Рано утром он явился в гостиницу и сообщил, что слуги ждут во дворе. Я не знал, что им сказать. Они глядели на меня с нижних ступенек наружной лестницы, ожидая приказаний: Амеду, человек лет тридцати пяти с серым бесстрастным лицом, прижимал к груди феску; рядом с ним стоял повар Сури, беззубый старик в длинном белом одеянии; второй слуга, Ламина, казался совсем еще мальчиком, на нем были трусы и короткая белая куртка вроде тех, какие носят парикмахеры, голову его покрывала вязаная шапочка, увенчанная алым помпоном. Прошло несколько дней, прежде чем я запомнил их имена, а понимать все, что они говорят, я так никогда и не научился. Я велел им прийти на следующий день, но они сразу же прочно обосновались в гостинице: Амеду и Сури то и дело вырастали передо мной в коридоре — склонив голову, они молча прижимали к груди феску. Я никак не мог догадаться, что им нужно, они же всякий раз ждали, чтобы я заговорил. Лишь значительно позже я понял, что Амеду был смущен не меньше моего. Я еще и представить себе не мог, как я привяжусь к этим людям впоследствии.

Нашим отношениям суждено было стать почти такими же близкими, как отношения между возлюбленными; порой нам бывало трудно сладить со своими нервами, нас одинаково раздражали всевозможные проволочки. Но наша совместная жизнь закончилась так же, как и началась, а потому, когда она пришла к концу, ее словно и не бывало. На память о близком человеке у вас остается обычно множество всякой всячины: письма, общие друзья, портсигар, какая-нибудь побрякушка, несколько патефонных пластинок, излюбленные места, где вы виделись. А у меня не осталось ничего, кроме нескольких фотографий, напоминавших мне, что когда-то я знал этих троих людей. Я никогда больше не увижу поселков, где мы побывали вместе, и не встречу их там невзначай[45].

По железной дороге

Все казалось нам необычным с той самой минуты, как мы протолкались через толпу, собравшуюся на вокзале Уотер — стрит, чтобы поглазеть на отход поезда (это повторялось регулярно два раза в неделю), и помахали на прощание Юнгеру, потерявшемуся за плотной стеной черных лиц. Я чувствовал, что начинаю понимать моих соотечественников, любителей перекинуться в карты: в чужом месте нужна какая-то точка опоры, хотя бы две — три знакомые и понятные вещи, пусть даже это будет детективный роман или рюмка коктейля. Ведь даже путешествие по железной дороге и то было ни на что не похоже. Поезд ползет по местной узкоколейке невероятно медленно (за два дня мы сделали всего двести пятьдесят миль). В нем три купе первого класса. Опытный путешественник (такой нашелся и в нашем составе) занимает среднее, совершенно пустое купе и водружает там свой собственный шезлонг; два других купе снабжены плетеными креслами.

Мы двинулись в путь и все время ужасно боялись поступить не так, как положено: этикет путешествий по первобытным местам не менее строг, чем правила вновь открытого клуба. Никто в Англии не предупредил меня насчет среднего купе, и только теперь я понял: мне следовало воспользоваться привилегией белого и оставить его за собой. Вдобавок ко всем этим переживаниям я испытывал страх перед первой встречей с каким-нибудь вождем: мне сказали, что вождь преподнесет мне «подарок» (по всей вероятности, курицу, яйца или рис), а мне придется в свою очередь «одарить» его деньгами; при этом я должен обменяться с ним рукопожатием и выказать дружелюбие, но не допускать фамильярности (приятно было сознавать, что в Либерии мне больше не придется беспрестанно чувствовать свою принадлежность к господствующей расе).

Вопрос о подарках был и в самом деле довольно сложным. Во время путешествия нас «одаривали» не только общепринятой курицей (ценой в 6 или 9 пенсов, в зависимости от качества; ответный «подарок» — он всегда должен был немного превышать стоимость полученного «дара» — 1 шиллинг или 1 шиллинг 3 пенса[46]). Нас «одаривали» также яйцами (ответный «подарок» — 1 пенс за яйцо), апельсинами и бананами (цена — 3 пенса за сорок штук;

От первых шести лет жизни у меня осталось ощущение покоя и радости...»

Грэм со своим трехлетним братом Хью

Мать — двоюродная сестра Р.Л.Стивенсона

Отец — директор привилегированной мужской школы, основанной в XVI веке

В школьном спектакле по пьесе Дансейни «Потерянный цилиндр». Грин, второй справа, — в роли Поэта

Гувернантка Гвен Хоуэлл — первая любовь маленького Грэма

Школа в Берхемстэде, где учился будущий писатель. «Бесконечные дни однообразия, унижений и боли»

«Я женился и был счастлив». Свадьба Грина, к этому времени автора нескольких книг, рассказов и сценариев, и Вивьен Дэйрелл — Браунинг (1937)

Грин (второй справа) на борту парохода (1935)

«В те дни невозможно было оставаться в стороне от политики...земля вокруг превращалась в огромное поле боя»

Уинстон Черчилль возле развалин кафедрального собора в Ковентри. (1940)

Дети прячутся в траншеях во время бомбежки

«Если бы Стивенсон был жив, я решил бы послать ему свою первую книгу и попросить совета», — вспоминал Грин. Чуть позднее он написал: — * Читаю Конрада-• мощный, гипнотический стиль вновь обрушился на меня»

Генри Джеймс, чьим мастерством всегда восхищался Грин

Джозеф Конрад

Роберт Льюис Стивенсон — кумиры молодого писателя

Американский режиссер Александр Корда — крестный отец Грина в кинематографе. Он

предложил ему вести колонку «Кино» в «Спектейторе», за что тот взялся «смеха ради»

«Мой опыт сценариста, особенно союз с Кэролом Ридом, был, по — моему, удачным». На снимке — Грэм Грин и Кэрол Рид, создатели «Падшего ангела» (1948), «Третьего человека» (1949), «Нашего человека в Гаване» (1960)

Грин позирует английскому художнику Джеффри Уайльду

«Меня всегда тянуло в те страны, где сама политическая ситуация Как бы разыгрывала карту между жизнью и смертью... литература помогает Бороться с диктаторскими режимами, и я вносил посильный вклад в эту борьбу»

Грин в Сьерра — Леоне. «Мир Гитлера, мир Дахау... не так уж далек от этого уголка Африки»

Кения. «Хищники все-таки лучше людей»

«Из-за "Нашего человека в Гаване" я ездил на Кубу четыре раза и жил там по три месяца»

Грин во Вьетнаме

«.Кинематограф помог мне, Как Вальтеру Скотту — живопись, а Генри Джеймсу — театр...»*

Генри Фонда и Уорд Бонд в фильме «Беглец», снятом по роману Грина «Сила и слава»

Мария Шелл и Тревор Ховард в фильме «Суть дела»

Майкл Редгрейв и Оди Мерфи в фильме «Тихий американец»

Элизабет Тэйлор и Ричард Бартон в фильме «Комедианты»

Питер Устинов, Алек Гиннесс и Ричард Бартон в фильме «Комедианты»

Дерек Джэкоби (слева) и Никол Уильямсон (справа) с режиссером Отто Преминджером на съемках фильма «Человеческий фактор»

Творчество Грэма Грина стало знакомо советскому читателю с конца 50–х годов. Почти все его романы переведены на русский язык

Во время вручения литературной премии. На снимке (слева направо) — Грэм Грин, Джерри Дьюкс, Джон Бэнвилл, Винсент О'Доннелл, Шейн Коннотон, Эйден Мэттьюз, Шимус Хини

«Иногда я думаю, что книги действуют на человеческую жизнь больше, чем люди»

«Очень люблю Мальро и Камю...»

Грэм Грин со Святославом Бэлзой. Грин неоднократно приезжал в Советский Союз, побывал в Сибири, у нею в нашей стране было мною друзей

С женой Ивонн Клоетта в Томске

Кембриджский университет присвоил Грэму Грину степень почетного доктора наук

С братом Хью и сестрой Элизабет

Последний приют великого путешественника по «Гринландии»

ответный «подарок» — 6 пенсов); нам случалось даже получать в «дар» козу, дрессированную обезьянку, десяток ножей, кожаный кисет, не говоря о бесчисленных бурдюках с пальмовым вином. Было не так просто определить цену каждого из этих «даров», и прошло немало времени, прежде чем я преодолел неловкость, с которой совал шиллинг в руку вождя.

Мистер Д. сообщил мне, что еще на территории Сьерра — Леоне я могу повстречаться с тремя вождями — с вождем Кумба и вождем Фомба в Пендембу, на конечной железнодорожной станции, и с вождем Момно Кпаньяном в Кайлахуне, нашей последней стоянке по эту сторону границы. Вождь Момно Кпаньян был настоящий богач, и одна мысль о том, что мне надо будет «одарить» его несколькими шиллингами, отравляла всю поездку.

Никогда еще мне не было так жарко и так душно; стоило опустить штору в окне маленького пыльного купе, как прекращался всякий приток воздуха; если же мы поднимали штору, солнце немедленно накаляло плетеные кресла и деревянный пол, и мы обливались потом.

За окном разворачивался пыльный ландшафт Сьерра — Леоне, словно кусок скучной ткани на прилавке мануфактурного магазина: преобладали серые и тускло — зеленые тона, все вокруг было выжжено солнцем за время сухого сезона, приближавшегося теперь к концу. Дребезжа и раскачиваясь, поезд шел со скоростью пятнадцать миль в час, бесцеремонно врываясь в попадавшие на пути деревни; мы проезжали на расстоянии вытянутой руки от хижин; дети возились в пыли, а взрослые отдыхали в рваных гамаках, развешанных под соломенными навесами. Лесные заросли выглядели так же неряшливо и скучно, как запушенный уголок заднего двора, куда каким-то чудом занесло из окна гостиницы семена аспидистры, и она расцвела среди сухой травы и высоких поникших сорняков.

Чем дальше, тем больше падали цены на апельсины — от 6 штук на пенс во Фритауне до 15 штук на пенс по ту сторону реки Бо. Поезд останавливался на каждом полустанке, и женщины тесной шеренгой выстраивались вдоль полотна. Вид нагого тела еще не успел нам надоесть, а может быть, женщины здесь были красивее и стройнее, чем те, которых я позже встречал в Либерии. Любопытно, как быстро отделяешься от эстетических представлений белого человека. Эти длинные груди, ниспадавшие плоскими бронзовыми складками, вскоре начинают казаться красивее маленьких округлых незрелых грудей европейских женщин. Дети сосали молоко стоя; они подбегали к материнской груди парами, как ягнята, и, как ягнята, припадали к соскам. Впрочем, хотя понятие о стыдливости сузилось, оно еще не исчезло окончательно. Мы переезжали через реку Мано; далеко внизу, ярдах в ста от железнодорожного моста, купались местные жители: когда проходил поезд, они прикрывали срам руками.

Путешествие по железной дороге началось около восьми часов утра и прервалось вечером в начале шестого; первый этап поездки заканчивался в Бо; здесь поезд и пассажиры дожидались утра. Днем мы незаметно выехали за пределы колонии и очутились в протекторате. Изменились не только природа и управление — изменились и нравы. Здесь англичане остерегались обзывать местных жителей «проклятыми черномазыми», не задирали нос и не издевались над ними; им тут приходилось иметь дело с аборигенами Африки, коренной же африканец вызывает к себе любовь и уважение. Нельзя смотреть на него сверху вниз: пусть о некоторых вещах вы знаете больше него, зато о других он знает больше вас. В целом же то, что знает он, было здесь куда более существенно. Вы не умеете заклинать молнию, как он, ваше ружье бьет не намного дальше, чем его отравленное копье, и, если только вы не врач, он куда скорее вашего вылечит змеиный укус. Здешние англичане были умнее, гибче тех, которые осели на Берегу, и большие патриоты — они любили в своей стране не только внешние ее приметы; да и напрасно было бы пытаться воссоздать здесь уголок Англии при помощи нескольких железных крыш, прошлогодней афиши и привычной выпивки в баре.

Может быть, этим людям больше повезло или проще было сохранить свой уклад — ведь легче воссоздать духовные, чем материальные, ценности. Но попробуйте сберечь искусство своего народа в душе — ведь в Западной Африке книги гниют, пианино расстраиваются и коробятся даже патефонные пластинки.

Возле железнодорожного полотна нас ожидал сержант Пенни Карлейл, курьер окружного комиссара. Он был в трусах и босиком, но под мышкой у него щеголевато торчал стек, надетая набекрень фуражка напоминала фуражку посыльного Викторианской эпохи, на кителе блестели медали, а его выправке и исполнительности позавидовал бы любой сержант гвардии. Он отдал приказ сопровождавшим его носильщикам, провел нас к дому для приезжающих, раздавил ногой жука, щелкнул голыми пятками и удалился. Повсюду расхаживали цапли, похожие на стройных белоснежных уток с желтыми клювами. Их изящество и чисто восточная красота подчеркивали разительный контраст с Фритауном; грифов не было и в помине. И внезапно, неизвестно почему, мне стало хорошо в этом квадратном приземистом доме на цементных сваях, которые спасали здание от термитов; зажглись фонари, и на тарелках у нас появились остатки жесткой, сухой и безвкусной курицы, привезенной с Берега. В ванной комнате я увидел таракана, превосходившего размерами майского жука, койки здесь не были защищены москитными сетками, где-то мы забыли медицинскую сумку, за которую я заплатил в Лондоне четыре с половиной фунта, у порога весь вечер простоял негр — он жаловался на что-то, молитвенно сложив руки, — а все-таки мне было хорошо, словно нечто, чему я не доверял, осталось у нас позади.

В этот теплый, тихий вечер мы сидели на лужайке перед домом директора школы, под деревом, усыпанным восковыми цветами, похожими на магнолии; мы пили джин с лимонным соком и слушали рассказы о Либерии. У меня было письмо к молодому голландцу К. — говорили, что он где-то в Либерии ищет алмазы. Начальник управления торговли слышал о нем; К. перебрался через границу где-то в районе Пендембу и, по слухам, нашел алмазы. Он старательствовал в одиночку, работая на какую-то маленькую голландскую компанию, не входившую в могучий Трест. Как гласил рассказ, слухи о его находке встревожили Трест: если бы в Либерии стали добывать много алмазов, Трест больше не сумел бы контролировать цены. И вот по следам К. послали шпионов из Сьерра — Леоне, Французской Гвинеи и с Берега Слоновой Кости: заправилам Треста нужно было узнать правду, от этого зависела цена на алмазы и их собственное благополучие.

Отличный рассказ — особенно интересно было его слушать в ночной тьме неподалеку от границы страны, о которой никто в Сьерра — Леоне не мог мне ничего рассказать. Отличный рассказ еще и потому, что в нем ничего не договаривалось до конца, а увлекательный сюжет нес серьезную тему; он проливал свет на самые разные стороны жизни, в нем была и сатира, и социальная идея, и человеческая психология; недоставало только личного знакомства с героем, чтобы обогатить рассказ подробностями; однако я боялся встретить К., мне не хотелось, чтобы эту романтическую повесть принизили факты реальной действительности.

В Сьерра — Леоне бесполезно было расспрашивать кого бы то ни было о Либерии. Ни одна живая душа ни разу там не бывала; если кто-нибудь и пересекал границу, он шел в обратном направлении из Либерии в Сьерра — Леоне.

Несколько лет назад Сьерра — Леоне посетил президент Кинг, который вскоре после этого вынужден был подать в отставку в результате разоблачений комиссии Лиги Наций[47]. Его принимали с королевскими почестями: ему устраивали банкеты и приемы, салютовали из пушек, словно королевской особе. Президент так никогда и не узнал, что на нем просто практиковались, нужно было подготовиться к предстоящему приезду принца Уэльского; пушечные салюты были простой репетицией, комитеты по приему принца Уэльского испытывали свою программу на президенте Кинге. Позднее, по пути домой, президент заехал в Бо. Он собирался пересечь сухопутную границу под охраной своих войск: президенту небезопасно было путешествовать по землям управляемых им племен без надежного эскорта

из двухсот солдат. В его честь в Бо был дан парадный обед; все шло как по маслу почти до самого конца; тосты следовали один за другим. Но, когда президент поднялся из-за стола, вышла заминка. Полковник, командовавший пограничными войсками Либерии, развеселился и не желал прерывать празднества.

— А ну-ка, сядь, господин президент, — сказал он. — Мне хочется выпить еще коньяку.

Прошло несколько дней, и президент надоел хозяевам, они проводили его с подобающими почестями до границы, но ошиблись местом: пограничные войска ждали в Фойе, а Кинга доставили в Кабавану. Перепуганный насмерть президент и его спутники уселись на земле в томительном ожидании, а взвод британских войск пустился в обратный путь, бросив их на произвол судьбы.

Часть вторая

Глава вторая. Его превосходительство господин президент

«Самый главный хозяин»

Марк разбудил меня в пять часов утра, скребя рукой о проволочную москитную сетку. Я послал его вперед вместе с носильщиком Ама из племени мандинго предупредить вождя в Кпангбламаи о нашем приходе и о том, что нам понадобятся кров и пища на тридцать человек; я просил также известить вождя в Пандемаи о том, что мы передумали и туда не придем. Ама взял мой чемодан и зашагал по тропинке в деревню. Он знал, что уходит из дому на несколько недель, но все его пожитки были увязаны в тряпку величиной с большой носовой платок.

Мы тронулись в половине восьмого. Длинная цепочка носильщиков потянулась с пригорка, на котором стояла миссия, и скрылась внизу в тумане. Старшина Ванде отлучился в деревню: он пошел попрощаться с женой. Одет он был в широкую рубаху и трусы, голову прикрывала суконная шапочка. Сам Ванде шел без груза, даже его собственный узелок нес младший брат, которого он взял с собой на несколько дней. Ванде как нельзя больше напоминал английского десятника — веселого, нетребовательного, попыхвающего своей трубкой. Когда он не курил, он потряхивал трещоткой, сделанной из двух маленьких тыкв, куда были насыпаны зерна. Он шел в хвосте колонны, и, если кто-нибудь из носильщиков выбивался из сил и должен был отдохнуть, он оставался с ним.

Целую милю по широкой утоптанной дороге на Колахун рядом с нами бежал вприпрыжку какой-то малыш. Он был не выше двух футов, в одной руке он держал пустую жестянку из-под консервированной колбасы, в другой — пустую жестянку из-под сгущенного молока. Его гнали домой, но он не слушался; чтобы не отстать, ему приходилось бежать, но он не отставал. Ему хотелось пойти с отцом. Вдоль колонны прокатились смех и крики, отец наконец услышал, остановился и велел малышу вернуться домой. Цепочка прошла мимо и исчезла; они остались одни — маленький ребенок, надутый, огорченный, упрямый, и отец, повторяющий слово «домой». Наконец ушел и отец, но ребенок не двигался с места.

К прибытию президента глинистую дорогу расчистили: деревья по обочинам срубили, а стволы сбросили в глубокие, поросшие пальмами овраги. Густой туман низко висел между холмами, и определить расстояние до опушки леса было невозможно. Дорогу перебежал олень — небольшой коричневый олень, каких можно увидеть в любом английском парке, обыкновенный олень, а не королевская антилопа, встретить которую в наши дни в Либерии редкая удача для путешественника: размером она не больше кролика, дюймов десять в высоту, если не считать стройных ног, а рожки у нее не длиннее дюйма. Пока держался туман, шагать было хорошо, но все тенистые деревья вырубали, и я торопился оставить эту дорогу позади до того, как солнце достигнет зенита. В половине десятого мы пришли в Колахун, где дорога кончалась и находилась резиденция Ривса.

Мне пришло в голову, что, хотя президент, как мне сообщили, и отправился дальше, а Ривс, по — видимому, его сопровождает, было бы все же разумно справиться, нет ли здесь окружного комиссара. Поселок опустел; триумфальные арки из зеленых ветвей, воздвигнутые к прибытию президента, покрылись пылью, листья увяли. В стороне от хижин на огороженном участке стоял одинокий двухэтажный каменный дом, перед ним на шесте развевался флаг со звездой и продольными полосами. Это и был тот дом, который, по слухам, строился при помощи принудительного труда. Второй этаж придавал ему внушительный вид; он высился над поселком, словно не спуская с него глаз и зная все, что происходит вокруг; да, нашему длинному каравану было бы неразумно пытаться пройти стороной — дом все равно бы нас заметил.

Кругом было очень тихо, тишина стояла совсем воскресная; ни один человек не вышел из хижины, чтобы на нас поглазеть, и это выглядело странно — словно враг опустошил весь поселок; но когда мы подошли поближе, я увидел десяток солдат в алых фесках с золотой звездой, маршировавших за оградой. В другом конце поселка на пригорке стояло нечто вроде беседки, и там тоже мелькала алая феска. Из-за ограды вышел нам навстречу маленький мулат с желтым лицом в черной феске. Да, подтвердил он, окружной комиссар здесь; и он тут же провел меня и двоюродного брата мимо часовых за ограду, оставив носильщиков и слуг снаружи. У меня сложилось впечатление, что нас ожидали; да и как могло быть иначе, ведь из окон второго этажа всегда кто-нибудь следил за дорогой.

Откуда-то слышались звуки патефона; по двору разносился голос Жозефины Бейкер[48], проникнутый забавной и слегка наигранной печалью. На миг все вокруг сделалось каким-то призрачным — и сидевшие в дорожной пыли носильщики, и замершие в тишине хижины, и уходивший за горизонт лес превратились просто в декорацию для обольстительной эстрадной дивы. Уже не верилось даже в реальность мистера Ривса, который, точно злодей в мелодраме, появился вдруг из-за кулис в алой феске и длинном, до пят, балахоне; его густые черные бакенбарды, серая, точно дубленая, кожа и чувственный рот были словно взяты напрокат из парижского мюзик — холла. Но вот кто-то наверху остановил патефон, и щеголеватый черный офицер маленького роста в блестящих, как зеркало, крагах избавил нас от мрачного общества мистера Ривса.

— Вас просят подняться наверх, — сказал он. — Президент сейчас примет вас.

Этого мы никак не ожидали. Я не просил свидания с президентом, полагая, что он находится в другом районе, и поневоле был немного огорошен. Костюм мой состоял из рубашки и трусов. На боку висела фляга; особенно смущала меня пыль, которой мы были покрыты с ног до головы; я вспоминал рассказы о правителях Либерии, о том, как они любят заставлять белых подолгу дожидаться у них в приемной и требуют, чтобы посетитель был одет как подобает.

Нас усадили в маленькой комнате верхнего этажа, и какой-то военный с револьверной кобурой у пояса поставил новую патефонную пластинку. На столе лежал роман Эдит Оливье «Кровь карлика». Черный офицер был щеголеват, изысканно вежлив, чрезвычайно

внимателен; он напоминал фарфоровую статуэтку, с которой тщательно смахнули пыль. Не прошло и нескольких минут, как вошла молодая женщина в европейском платье, похожая скорее на китайку, чем на африканку: у нее был косой разрез глаз и лицо, полное глубокого внутреннего покоя. Офицер представил ее как «одну из спутниц президента», а она не сказала ни слова, села возле патефона, взяла со стола колоду карт и принялась ее тасовать. Позднее я узнал, что отец ее был назначен членом Верховного суда; как видно, на либерийском Берегу царят нравы, господствовавшие при дворе Стюартов в Англии.

Она была самым очаровательным созданием, какое мне довелось видеть в Либерии; я не мог оторвать от нее глаз. Мне хотелось с ней заговорить, сказать, как приятно видеть ее в этом опустевшем, опаленном зноем поселке. Голос Жозефины Бейкер — когда он оборвался, военный сменил пластинку — не мог с ней соперничать. Девушка была, как внезапное откровение, — вот такой могла стать Африка, если бы ей предоставили самой выбирать в Европе то, что действительно могло ее украсить; страна обещала нечто большее, чем мертвая риторика американской Декларации независимости. Я так и не сказал этой девушке ни слова. («Очень жарко шагать в такую погоду», — заметил блестящий маленький офицер, чтобы поддержать светский разговор.) Мне довелось еще раз увидеть ее, но только издали — она стояла на балконе президентского дворца в Монровии, глядя на то, как негры кру демонстрируют свою преданность режиму; но она как живая сохранилась в моей памяти — одно из тех воспоминаний, которые долго влекут нас в давно покинутые места.

Тут вошел президент — человек средних лет по фамилии Барклей с седеющими курчавыми волосами, в темном шерстяном костюме и дешевой полосатой рубашке с мятым цветным галстуком, заколотым булавкой. Живое олицетворение Африки, полное очарования и покоя, выскользнуло из комнаты, и мы остались наедине с Вест — Индией, с ее любезными манерами и красноречием — целыми потоками красноречия. Президенту нельзя было отказать в энергии — он был политиком американской школы, но у меня сложилось твердое убеждение, что на африканском Берегу он нечто чужеродное. Он вел свою собственную игру, но, правда, играл с таким необычайным рвением, что и республике могли перепасть кое-какие крохи с его стола. Я спросил его, пользуется ли он такими же прерогативами, как президент Соединенных Штатов Америки. Он ответил, что его прерогативы шире.

— Раз уж меня выбрали, — сказал он, — и раз я команду парадом, — слова из него так и сыпались, и сквозь выпренные политические сентенции все время проглядывало какое-то простодушное ребяческое хвастовство, — стало быть, теперь я здесь самый главный хозяин.

Деятельность либерийских политиков похожа на игру краплеными картами. Но в прошлом полагалось, сорвав куш, передать колоду партнеру. Существовало нечто вроде неписаного закона, согласно которому президент мог избираться на два срока, после чего должен был уступить свое место за пиршественным столом другому. Именно уступить: ведь, как совершенно точно выразился мистер Барклей, президент здесь главный хозяин, в его руках находятся газеты, и, что самое важное, он печатает и распространяет избирательные бюллетени. Когда в 1928 году переизбрали президента Кинга, он получил на шестьсот тысяч голосов больше, чем его противник Фолкнер, хотя общее число лиц, пользующихся избирательным правом, не превышало пятнадцати тысяч. Теперь мистер Барклей решил изменить старые порядки. В глазах своих противников он вел нечестную игру; он относился к политике всерьез и может с некоторым основанием называть себя первым диктатором Либерии. До сих пор президент избирался на четыре года; мистер Барклей приурочил к очередным президентским выборам плебисцит, предлагая увеличить этот срок до восьми лет. Для того чтобы провести свое предложение, он мог использовать те же средства, какие должно было обеспечить ему баснословное большинство, ведь печатный станок находился в его ведении. В его распоряжении находилась и армия чиновников. Сверкая очками в золотой оправе и сияя доброжелательством, он объяснял мне, как очистил государственный аппарат и освободил его от влияния политиканов, как при заполнении вакансий заменил назначения экзаменами. Но он забыл упомянуть, что веревочка, которая приводила все в движение, по —

прежнему оставалась у него в руках. Если кандидатуры признавались равноценными (а это совсем нетрудно устроить), право выбора кандидата было за президентом.

Все же нельзя не признать, что этот человек обладал силой воли и смелостью. До него ни один президент не отваживался на путешествие в глубь страны. Кинг совершил свой стремительный переход от границы Сьерра — Леоне под охраной двухсот солдат, но президента Барклея сопровождало всего каких-нибудь тридцать человек. Сейчас я мог их пересчитать — почти все они маршировали взад и вперед перед домом. Конечно, со времен мистера Кинга полковник Дэвис успел обезоружить племена, у них осталось всего по несколько винтовок в каждом крупном поселке, но в мечях, копьях и кинжалах все еще недостатка не было.

Правда, президент не засиживался на одном месте. Он передвигался очень быстро, форсированным маршем появляясь там, где его не ждали, и наспех знакомился с обстановкой. Как я уже говорил, жители Болахуна не питали надежды, что Ривса когда-либо призовут к ответу. Их опасения оправдались; позже я узнал, что местные вожди, которых подкупили или запугали, не подали президенту никаких жалоб. Президент смог так же быстро вернуться в Монровию, как он оттуда прибыл. Он объявил, что население повсюду принимало его с восторгом, но ведь устроить пляски нетрудно, да и возвести триумфальные арки из ветвей и рассыпать белый порошок тоже не слишком хлопотно. Мне ни разу не случилось встретить в глубине Либерии ни одного человека, который сказал бы доброе слово о столичных политических деятелях. Если люди отдавали предпочтение тому, а не другому президенту, так это просто потому, что им лучше жилось при одном комиссаре, чем при другом.

Но даже при самом худшем черном комиссаре им не приходилось терпеть того, что терпело население Французской Западной Африки при белых комиссарах. К тому же в этой первобытной, не знающей карт стране двадцать миль расстояния до резиденции комиссара порой равнялись пятидесяти годам жизни. Жителей предоставляли самим себе вместе с их «дьяволами», тайными обществами и всевозможными страхами, их предоставляли патриархальному гнету вождей. В их дела не вмешивались так, как вмешивались в дела населения любой белой колонии, и, право, это было к лучшему: разве можно сравнить «непросвещенных» негров из племени бузи, шагавших с гордой осанкой в своих длинных балахонах по узким лесным тропам, придерживая у пояса меч с рукояткой из слоновой кости, разве можно их сравнить с англазированными «просвещенными» черными из Сьерра — Леоне, в военной форме, полосатых рубашках и грязных тропических шлемах! В племени бузи каждый глава семейства имел свой меч (он брал его с собой всякий раз, покидая деревню) и каждый юноша имел кинжал; в простейшем орудии труда земледельца — ноже с широким лезвием в красивых кожаных ножнах — было что-то рыцарское, свидетельствовавшее о более древней цивилизации, чем та, которая породила обитые жестью бараки на Берегу. Даже самые бедные племена — гио и мано, соседи бузи, — даже и они, с набедренными повязками и изъеденным язвами телом, были в своих лесах заброшены не больше, чем жители британского протектората, опекаемые одним — единственным санитарным инспектором.

Часть третья

Глава первая. Миссия

Никто не сумел так прочно внушить людям представление о ханже — священнике, подавившем в себе всякие человеческие чувства, как Сомерсет Моэм. Когда-то «Открытое письмо» Стивенсона подарило нам отца Дамьена, но «Ливень» навсегда запечатлел для нас образ миссионера мистера Дэвидсона, который говорил о своей работе на островах Тихого океана: «Когда мы туда приехали, у людей совершенно не было чувства греха. Они нарушали все заповеди подряд, не подозревая, что творят зло. И самое трудное в моей работе, как мне кажется, было внушить туземцам чувство греха». Это был тот самый мистер Дэвидсон, который сошелся с проституткой Сэди Томпсон, а потом покончил с собой.

Я помню, что в школе мне трудно было примирить это общепринятое представление о миссионерах с худыми, усталыми людьми, которые, стоя на кафедре, постукивали указкой, в то время как по экрану скользили тощие тела черных детишек. Они казались мне куда менее библейскими, чем мистер Дэвидсон; их, по — видимому, больше волновало получение нескольких шиллингов на содержание своей уродливой, обитой жестью церквушки, которую, стараясь разжалобить нас, тоже показывали на экране, нежели чувство греха. Чувство греха гнездились гораздо ближе — по эту сторону алтаря школьной церкви. Тут было сколько угодно и ханжества, и сластолюбия. Гости из Африки казались мне невинными младенцами по сравнению не только с моими учителями, но и с теми неграми, которых они просвещали. Они стояли там на кафедре, изможденные и обтрепанные, наивно упрасывая пожертвовать несколько шиллингов на новый покров для алтаря или серебряную дароносицу; мне не верилось, чтобы они причиняли так уж много вреда тайным Обществам аллигаторов и леопардов или могли растлить тех, кто тайком приносит детей в жертву огромному питону.

В Либерии я узнал другой тип миссионера. Не думаю, чтобы доктор Харли (врач и методистский миссионер) был единственным в своем роде на всю Африку. Этот человек, измотанный душой и телом после десяти лет подвижнического труда, выпускал гной из раздутых, воспаленных половых органов, делал прививки от фрамбезии, смазывал язвы, принимал подвести больных венерическими болезнями в неделю. Он обосновался в этом уголке Либерии со своей женой и двумя детьми — странными желтолицыми маленькими старичками; третьего ребенка он похоронил здесь же, в миссии[49].

Слухи о докторе Харли доносились до меня, когда я шел вдоль границы Либерии; это был человек, который больше всех знал о тайных лесных братствах; редкие часы, которые у него оставались от упорной безнадежной борьбы с болезнями, он посвящал исследованиям в этой области. Но он старался не разговаривать о них в присутствии своих слуг из страха, что его отравят.

Нам приготовили жилье в ста ярдах от миссии, оно показалось нам просто дворцом; это был деревянный домик с железной крышей, на высоком фундаменте, предохраняющем от нашествия муравьев. В другой половине дома помещалась аптека, а прямо под окнами больница на открытом воздухе: длинные деревянные скамьи под тростниковым навесом. Лес подступал сзади, словно больничный сад. Ганта меня испугала: тут пахло лекарствами, болезнями и смертью. Мы как-то незаметно спустились с плоскогорья в низину, и воздух был здесь совсем другой — тяжелый и сырой. Кругом росли пальмы, земля казалась пропитанной влагой, повсюду были нечистоты и роились тучи мух. Никогда бы не поверил, что за один день пути климат может так измениться. Перемена сразу же сказалась на моем самочувствии: я совсем обессилел, вечером мне было трудно дойти до миссионерского дома, куда нас пригласили поужинать; желудок сразу же перестал действовать.

Ужин, помню, прошел невесело. Доктора Харли целый день не было дома, от усталости он дремал за столом; к тому же это был день рождения покойного ребенка. Когда доктор услышал, что я прошел весь путь от Сьерра — Леоне, не пользуясь гамаком, он обозвал меня сумасшедшим; он только что отправил в последний путь тело доктора Д., который прошел пешком сравнительно немного — из Монровии. В этом климате опасно долго ходить пешком. Я старался навести разговор на лесные братства, но он упорно от него уклонялся. Он сказал, что Сино, куда мы намеревались попасть, находится отсюда не меньше чем в четырех неделях пути. При этом известии боль в желудке, которую я чувствовал уже несколько дней, стала еще острее. Я бы не возражал против того, чтобы прожить на одном месте хоть несколько месяцев, но мысль, что еще целые четыре недели придется терпеть физические лишения, вставать чуть свет и шагать по шесть или семь часов сквозь эти чудовищно однообразные заросли, казалась мне невыносимой.

По дороге домой я вдруг вспомнил, что мы уже два дня не принимали хинин. Крысы добрались до наших головных щеток и погрызли щетину. Они бегали в моей комнате по стене вдоль крыши, не дожидаясь даже, покуда я погашу свет. Я принял горсть английской соли, разведя ее в теплой кипяченой воде, которая все время капала из фильтра, и стал следить за тем, как крысы прячутся в узкую щель у меня над головой. На крыс мне теперь уже было наплевать (монахини из Болахуна оказались правы); зато я испытывал такой же страх, как тогда в Англии, когда вдруг выяснилось, что моя затея с поездкой в Либерию увенчалась успехом и отступать уже поздно. Помню, я тогда думал: «Через три недели я буду там...»; «там» означало длинный список болезней. Я не испытывал никакой радости, я был просто испуган. И сколько бы я себя ни утешал: «Ладно, не буду пытаться дойти до Сино», я знал, что у меня не хватит мужества двинуться прямо на Монровию. Когда я погасил фонарь, крысы стали прыгать с потолка вниз, но крыс я больше не боялся. Я открывал в себе то, чем, казалось, никогда не обладал: любовь к жизни.

Либерийский комиссар

Естественно, что при свете дня я почувствовал себя лучше; трудно уверовать в смерть до захода солнца. Однако четыре недели ходьбы до Сино казались мне не под силу, а у нас теперь люди были наперечет, и я не мог пользоваться гамаком даже при желании. Было и еще одно препятствие: недостаток денег. В Сино я не мог раздобыть ни гроша, а того, что у меня осталось, не хватило бы на оплату носильщиков, если бы мы выбрали более длинный маршрут.

Мы решили, что, попав в Ганту, нам следует нанести визит окружному комиссару. На нем был отлично сшитый тропический костюм, лицо украшали небольшие офицерские усики, кожа была желтоватая, и по внешнему виду он скорее напоминал итальянца, чем африканца. Комиссар славился своей честностью, справедливостью и административными способностями. В настоящее время он занимался тем, что тянул дорогу Саноквеле — Ганта дальше на юг. Мы снова столкнулись с либерийским патриотизмом, на этот раз с более европейской его разновидностью. Патриотизм комиссара Данбара был таким же, как у европейцев; его возмущала мысль о вмешательстве белых в дела его народа, и, так как поведение англичан во время восстания племени кру угрожало независимости Либерии, он не любил англичан и им не верил. С нами он был вежлив, но сдержан; убеждать его, что наше путешествие не имеет политической подоплеки, было безнадежно. Я чувствовал, что все мои дружеские заверения звучат фальшиво, разбиваясь о его непроницаемую вежливость, как о скалу. Убеждать его было безнадежно, но этот человек обладал такими достоинствами, что нам хотелось произвести на него хорошее впечатление. Однако, чем больше мы старались произвести это хорошее впечатление, тем фальшивее и лицемернее казался нам самим наш

тон.

Я старался заставить его высказать свои подозрения, упомянув город в закрытой для иностранцев береговой зоне, но в ответ он лишь предостерег нас, что мы вряд ли дойдем до Сино раньше, чем через пять недель. А долго ли нам придется ждать там парохода до Монровии? «Может быть, месяц», — сказал он, откинувшись на спинку плетеного кресла. Палящее солнце освещало его сзади, превращая красивое желтое лицо в темный, расплывчатый контур. Он намеренно допустил неточность, ибо, как мы выяснили потом, в Монровию каждую неделю ходил из Сино катер. Тогда я сказал, что мы изменим маршрут и отправимся в Гран — Басу, и он одобрил мою мысль; мы сможем дойти туда за десять дней, сообщил он нам, на этот раз явно преуменьшив расстояние. Сам он дороги не знал; ею пользовались только торговцы из племени мандинго; она непроходима во время дождей и вообще очень трудна, потому что проходит через самое сердце леса, но зато через десять дней мы будем на Берегу.

Данбар не доверял белым не из одних только патриотических соображений. В Саноквеле, где находилась его резиденция, жил католический священник. Предшественник Данбара был женат на католичке. Священнику не нравилось, что Данбар не похож на своего предшественника: он твердо придерживался буквы закона и не делал священнику никаких поблажек. Католический пастырь старался избавиться от Данбара и писал на него доносы президенту в Монровию; жара и одиночество ожесточали обоих недругов. Священник воспользовался тем, что один из рабочих на строительстве дороги заболел, и забрал его к себе в миссию, но рабочий умер. Тогда священник тут же написал жалобу, обвиняя Данбара в том, что тот морит своих людей голодом, а одного из них забил до смерти. Данбар ответил на удар с завидной быстротой: он прибыл в миссию со взводом солдат до того, как рабочего похоронили, увез труп и священника за восемнадцать километров от Саноквеле — в Ганту, где попросил американского доктора осмотреть тело. Доктор Харли реабилитировал его, и священника выслали из Либерии. А что касается самого Данбара, то он понял: белые не только лицемерно ведут себя по отношению к его стране, но и делают подлости отдельным людям.

Тайные общества

В этот день к нам зашел доктор, чтобы поговорить о тайных обществах — лесных братствах. Исследование этого вопроса было единственным увлечением, которое он сохранил после десяти лет пребывания в Африке, но прежде всего он хотел удостовериться, что моих носильщиков нет дома. Я пошел в кухню, где они спали. Там было пусто. Ламина сидел в тени больничного навеса, вид у него был несчастный: утром доктор вырвал ему зуб, и сквозь дощатую стену я слышал его жалобные вопли; теперь он боялся, что умирает, потому что из десны еще сочилась кровь. Он уже был слишком испорчен цивилизацией, чтобы намазаться туземным снадобьем, но захватил из Фритауна баночку кольдкрема и теперь вымазал им лицо, шею и волосы.

Я не этнограф и мало запомнил из того, что мне рассказал доктор Харли, а жаль, потому что ни один белый не постиг так глубоко эту «душу черного царства»: тайные общества укоренились в Либерии глубже, чем в любой другой части Западного Берега. Правительство с ними почти не борется. Да и о какой борьбе может идти речь, если власть имущие в Монровии сами причастны к верованиям. Ходили слухи, будто и президент Кинг член Общества аллигаторов.

Страшен этот мир, полный тайных обществ, ведь, по словам доктора Харли, в Ганту год или

два назад открыто пришли с севера четыре человека в поисках жертвы для ритуального убийства. Все в Ганте знали, что они бродят где-то неподалеку, охотясь за нужными для жертвоприношения сердцем, кистями рук и кожей со лба, но никто не знал, кто они такие. Пограничная полиция была начеку. Но потом страх прошел. Люди из племени мано, живущие в окрестностях Ганты, понимали, за чем охотятся эти четверо, потому что у них самих существуют тайные людоедские общества. И хотя я ни словом не обмолвился слугам о своем разговоре с доктором и среди моих носильщиков не было ни одного мано, Ламина и Амеду все знали... Как-то раз Ламина мне сказал:

— Эти плохой люди — он варят человека.

И наши слуги, и носильщики с радостью покинули землю племени мано. Это и есть то белое пятно, которое на американских картах так туманно и заманчиво обозначено: «Людоеды».

Общество черепах у женщин и Общество змей у мужчин существуют, конечно, не только среди племени мано. Помимо тайного общества, существует и обычное Общество змей, нечто вроде высших курсов по дрессировке змей, лечению их укусов и змеиному танцу. Члены тайного общества поклоняются питону, и каждый год один из посвященных приносит ему в жертву младенца. Когда-то это общество терроризировало все население. Мы столкнулись с остатками родственного ему культа возле священного водопада за Гантой. Теперь только в Либерии, где тайные общества существуют безнаказанно, еще порой наблюдаются случаи убийства или исчезновения детей.

Доктор Харли очень гордился тем, что ему удалось обнаружить происхождение одного из «дьяволов», самого священного для женщин: достаточно любой из них на него взглянуть — и она погибла. Доктор установил, что этот «дьявол» — не отдельное лицо, а целый кружок молодых воинов, которые поступили в лесную школу одновременно с сыном вождя. Барабаны предупреждали женщин, что «великий дьявол» рыщет на свободе, а молодые люди в это время плясали в полном боевом уборе, ударяя о землю жезлами.

Среди этих «дьяволов» был, по словам доктора Харли, самый главный, чье влияние распространялось по всему Берегу и властью которого прекращались войны между племенами. Он мог появляться одновременно в далеко отстоящих друг от друга местах; его узнавали по одному ему присущей маске и одеянию. По — видимому, такую маску и наряд хранили в каждом из более или менее значительных поселений Западного Берега в доме совета старейшин или в хижине кузнеца. Ибо кузнец Мозамболахуна, тамошний «дьявол», был, по- видимому, не одинок в своих занятиях. Доктор Харли считал, что искусство кузнеца всегда связано с «дьявольским чином».

Во всей этой чертовщине есть что-то удивительно напоминающее романы Кафки: наставники в лесных школах, которые, сняв маску, оказываются всего — навсего местными кузнецами... Добираешься до деревни у подножия Замка и узнаешь, что чуть не всякий может оказаться его хозяином; люди этого властелина повсюду... вокруг царит атмосфера насилия и ужаса... иногда ощущение чего- то прекрасного... «смысла, скрытого за смыслом, формы, спрятанной под другой формой». Могу себе представить, что, изучая семь лет эту религию, такую скрупулезно обрядовую, но в то же время такую многоликую, можно в конце концов отчаяться когда-нибудь ее постигнуть. Так и Ольга в романе Кафки, помните, старалась воссоздать «из мельком увиденного, из слухов и самых обманчивых и противоречивых свидетельств» образ Кламма. «Говорят, что он выглядит по — одному, когда входит в деревню, и совсем по — другому, когда из нее выходит; выпив пива, он отнюдь не похож на того, каким был, пока его не пил; когда он бодрствует, он не такой, как во сне; когда он один, у него совсем другой вид, чем тогда, когда он разговаривает с людьми, и чего же удивляться, если в Замке он вообще превращается в совсем другого человека». Вспомним о богатом и злобном советнике из Зигиты: а что, если это был сам «дьявол»?.. А может, «дьявол» — кузнец? Да и существует ли вообще «дьявол» как личность, как отдельное лицо, ведь была же «дьяволом» компания

молодых воинов, а вдруг «дьявол» — это просто жульничество посвященных! Впрочем, было бы ошибкой считать молодых воинов обманщиками: в своей совокупности они и в самом деле были «дьяволом».

Ну а маски? Я спрашивал Марка, боится ли он Ландоу, когда тот, сняв маску, становится всего — навсего кузнецом из Мозамболахуна, и понял, что тогда он боится его меньше, хотя кузнец и без маски кажется ему не совсем обыкновенным человеком. Стало быть, сверхъестественное заключено в маске? Нет, скажут мне, дело тут в сочетании того и другого — человека и маски, хотя, с другой стороны, старые, вышедшие из употребления маски часто хранят как талисманы, и даже «кормят»; существуют маски, на которые, даже когда они сняты, женщине нельзя смотреть под страхом самой страшной кары; ей грозит гибель — вероятнее всего, слуги «дьявола» расправятся с ней при помощи ножа или яда; однако будет ли такая кара сверхъестественной?

Слово «дьявол» употребляется, конечно, только неграми, говорящими по — английски, для того чтобы обозначить понятие, совершенно чуждое нашей теологии; оно не имеет ничего общего с понятием зла. Можно с равным правом называть этих «великих дьяволов леса» и ангелами, ибо они обладают ангельской вездесущностью и бестелесностью, если только ни в какой мере не соединять с этим словом идею добра. В нашем христианском мире мы так привыкли к представлению о духовной борьбе между Богом и сатаной, что этот потусторонний мир, в котором нет ни добра, ни зла, а есть только Сила, почти недоступен нашему пониманию. Правда, не совсем, потому что ведьмы, которыми пугают нас в детстве, тоже не добры и не злы. Они ужасают нас своим могуществом, но мы знаем, что спастись от них бесполезно. Они требуют только признания своей власти: бегство от них — это слабость.

В тот вечер доктор Харли показал нам устрашающую коллекцию уродливых масок «дьявола». Каждая из них была изготовлена художником, явно понимавшим свою задачу. Все эффекты были предусмотрены заранее. Были тут и двуликие маски женского тайного общества, и мужские маски, на которые запрещено смотреть женщинам. Они отличаются от масок, которые носят танцующие «дьяволы». Те — наполовину человечьи, наполовину звериные; эти же точно воспроизводят черты человеческого лица. Среди них была одна с жидкой бороденкой из куриных перьев и еще одна, самая старая из всех (на вид ей было не меньше трехсот лет), с тонким носом и высоким лбом европейца. Такой маски я еще никогда не видел. Моделью для нее могло послужить лицо какого-нибудь португальского матроса, выброшенного кораблекрушением или насильно высаженного на Западном Берегу, а может, дело происходило не так давно и прототипом был торговец рабами начала прошлого века, кто-нибудь вроде Кано (в чьей автобиографии описан берег Либерии), какой-нибудь прихвостень своего португальца — хозяина дона Педро Бланка, построившего сказочный дворец на спорной заболоченной земле между Либерией и Сьерра — Леоне, возле Шербро; в эту глушь еще до сих пор заходят торговые суда, к большущему неудовольствию экипажа; там еще сохранились развалины дворца с павильонами на островках для гарема, бильярдными и всеми изысками как европейской, так и африканской цивилизации. Прототип этой маски давным — давно мертв, как мертв и Кано, как мертвы и либерийские леса, куда привела его непреодолимая тяга — быть может, к золоту, а быть может, к обладанию рабами. Но все его страсти запечатлены в маске, и я не думаю, чтобы среди них была жадность: из пустых глазниц на меня глядело ненасытное Любопытство.

Священный водопад

Перед тем как мы покинули Ганту, мне рассказали о священном водопаде в лесу подле деревни Зугбеи, по дороге в Сакрипие — следующий большой поселок на нашем пути. Если

мы сделаем крюк, мы пройдем мимо Зугбеи. Вождь этой деревни был одним из учеников доктора Харли по миссионерской школе, и, хотя существование водопада много лет держали от доктора втайне, этот ученик в последнее время как будто не отказывался проводить его туда. Когда-то у водопада приносились человеческие жертвы, но теперь тропинки к нему больше не расчищались.

Наутро, когда мы собирались двинуться на северо — восток, к Зулуйи, по новой, проложенной Данбаром дороге, мне сообщили, что Бабу не может идти дальше, он болен. Это был один из немногих носильщиков, кто хоть и не говорил ни слова по — английски, казалось, питал ко мне дружеские чувства. Я убедился в том, что на него можно положиться: он не присоединился к забастовщикам, требовавшим повышения платы. Думаю, что он был на самом деле болен; последние дни он носил большой груз, а человек он был не очень крепкий, да никто из носильщиков и не захотел бы сейчас оставаться один среди чужого племени не меньше чем в десяти днях пути от своей родни. Я охотно рассчитал бы его, хорошо отблагодарив, но боялся, что это вызовет охоту заболеть и у остальных. Пришлось изобразить гнев и расплатиться с ним не слишком щедро. Мне было стыдно, я понимал, что поступаю некрасиво; среди носильщиков у Бабу не было друзей, кроме Гуавы (другого нефа из племени бузи), и все над ним издевались. А я бы куда охотнее расстался с любым из них.

Но терять кого бы то ни было как раз теперь, когда я почувствовал, что мне скоро до зарезу понадобится гамак, было весьма некстати. У нас не хватало людей, чтобы нести даже пустой гамак. Мне пришлось распорядиться, чтобы тяжелый шест вынули и оставили в Ганте, а гамак добавили к какой-нибудь легкой ноше. Я видел, как неодобрительно поглядывает на меня доктор, мне без слов было понятно, о чем он думает.

Часа через два мы дошли до Зулуйи. Тамошний вождь был учеником Харли и взялся проводить нас до Зугбеи. Мы шли по крутому склону холма, густо поросшему лесом, который туземцы считают священным. Вождь нам сказал, что на этом холме жило племя маленьких волшебников; они спускались вниз и помогали племени ману сражаться с врагами. Харли очень заинтересовался этим преданием: он впервые наткнулся на свидетельство о том, что в Либерии жили пигмеи. Может быть, от них остались какие-нибудь следы... По — моему, он уже мысленно составлял отчет, делал раскопки, открывал стенную живопись и купался в лучах той научной славы, которая была нужна даже его подвижнической натуре. Вон там в скале была большая дыра, сообщил нам вождь, показывая тропинку, которая исчезла в зарослях деревьев и кустарника, где жили эти маленькие люди. Раз в год мальчики носили в пещеру подарки. Последний из ребят, ходивший туда, еще жив, это старик из деревни Зугбеи. Голова у него была бритая, когда он туда шел, а когда вернулся обратно, волосы у него были искусно завиты. Теперь уже никто больше не ходит в пещеру, но подарки все еще приносят.

Мы дошли до крохотной деревушки Зугбеи в самый зной; жара тут была куда чувствительнее, чем на плоскогорье: воздух был насыщен влагой, которой скоро предстояло излиться дождями. Деревни уже не лепились к каменистым холмам, возвышающимся над лесом. В них попадаешь прямо из чащобы; они похожи на маленькие высохшие озерца, где совершенно нечем дышать.

Вождь повел нас к водопаду. Все мы думали, что увидим тоненькую струйку воды, сбегаящую по обломкам скалы; в это время года вода так убывает, что носильщики переходили вброд даже большие реки, и челноки валяются на суше, трескаясь от жары. Мы шли напрямик через непроницаемую стену леса. Вождь и один из жителей деревни двигались впереди, расчищая тропу ножами. Непонятно, как они отыскивали дорогу. Они пробирались мимо стволов упавших деревьев, сползали вниз по отвесным склонам, все время расчищая путь, хотя нигде не было и признаков протоптанной тропы. И вдруг у подножия самого крутого холма перед нами открылась лощина, наполненная шумом падающей воды, которая лилась, покрытая перьями пены, и падала на глубину в шестьдесят футов. Все соседние склоны вдруг ожили и покрылись людьми: девушками племени ману, с красивыми, похожими на рожки, грудями, и

мужчинами, вооруженными широкими ножами. С нами, видно, пришла вся деревня, но лес был такой густой, что мы не видели никого, кроме вождя и его спутника. Люди сидели на холмах, наслаждаясь зрелищем этого почти невероятного водяного изобилия. Даже молодой вождь помнил, как у водопада происходило жертвоприношение — к концу сухого сезона змея в сто футов длиной, которая жила под водопадом, приносили в жертву раба. Это был тот же миф о радужной змее, который, по слухам, бытует даже в Австралии: он зародился оттого, что люди глядели на радужные отсветы падающей воды. Жертвоприношениям был положен конец, когда этот вождь был еще ребенком. Раб, хотя руки у него и были связаны за спиной, умудрился схватить тогдашнего вождя за одежду и утащить его за собой в воду. После этого жертв уже больше не приносили, а змея будто бы ушла вниз, к реке Сент — Джон, и живет сейчас в заводи, недалеко от того места, где мы переправлялись, между Гантой и Джиеке.

Мы простились с доктором Харли в Зугбеи. Можно было там переночевать, но меня мучила мысль, что мы все еще не повернули на юг. Мне хотелось поскорее почувствовать, что я двигаюсь к Берегу. Поэтому мы отшагали еще полчаса до какой-то скучной деревни, имени которой я так и не узнал. Она звалась как-то вроде Момбеи. Вождь не разрешил, чтобы нашим людям варили еду, но подарил мне корзинку рису, и носильщики сварили его сами. Однако, как всегда, покоя мне не дали. Я чувствовал себя больным и усталым. Каравание по скалам к водопаду и обратно по самой жаре утомило меня больше, чем длинный переход, и я страшно обозлился, когда, едва я сел, ко мне явился носильщик по имени Сиафа и стал показывать сифилическую язву. Она была у него уже три года, он и не подумал показать ее доктору, который сделал бы ему вливание, и мне казалось, что он может обождать с лечением еще несколько недель, но я не должен был показывать свое раздражение или невежество. С тех пор мне каждый день приходилось разыгрывать комедию и делать вид, будто я перевязываю ему язву. Потом я принял большую дозу английской соли и лег спать; вдруг я почувствовал, что мучительно устал от крыс; так как керосина у нас теперь было вдоволь, я не гасил фонарь, но это несколько не помогало. В комнате всегда оставались темные углы, где крысы могли разгуляться. Английская соль выгнала меня ночью из постели на опушку леса. Близилось полнолуние, и хижины вырисовывались в ярком, как днем, зеленоватом свете. Стояла полная тишина; из черного, мертвого леса не доносилось ни звука. Все двери были закрыты; из живых существ видны были только козы, которые бессонно бродили среди хижин. Даже тогда все это казалось мне удивительно красивым, что, однако, несколько не убавило моего нетерпения поскорее вернуться домой. Магия этого пейзажа дошла до моей души много месяцев спустя; пока что я мечтал о лекарстве, о ванне, о холодном питье со льдом и о комфортабельной уборной, не похожей на этот уголок леса, усыпанный мертвыми листьями, где я в любую минуту мог в темноте наступить на змею.

Глава третья. Диктатор Гран — Басы

Черный наемник

Когда часовой ввел меня на просторный чистый двор, я почувствовал себя ужасно грязным и ужасно нескладным в своих длинных чулках, запачканных штанах до колен и слишком британском защитного цвета шлеме. Какой невыгодный для меня контраст со всеми этими черными господами, сидящими на веранде, в элегантнейших тропических костюмах и мундирах! Они только что отобедали и теперь пили кофе и курили сигары. Интересно, который из них полковник Дэвис? Чувствовалось, что, пока я стою тут на солнцепеке с видом

бродяги, повсюду идет деловая жизнь: чиновники приносят депеши и поспешно убегают восвояси, часовые отдают честь, а высокомерные господа из дипломатического мира, перегнувшись через перила, с вежливым любопытством рассматривают покрытого пылью пришельца.

Часовой вернулся и проводил меня к другому домику, менее роскошному, чем первый, с несколькими расшатанными стульями на веранде. В дверях появился окружной комиссар; из-за его спины выглядывала неопрятная мулатка. Комиссар был пожилой человек с желтым лицом и старомодными бакенбардами, давно не бритый, с гнилыми зубами, в потрепанном защитного цвета мундире и в самом грязном и облезлом тропическом шлеме, какой мне приходилось видеть. Лицом он напоминал сурового мучителя — папашу из какой-нибудь детской книжки конца прошлого века; звался он Вордсворт, но ничем не напоминал своего однофамильца поэта. Думаю, что его внешность была обманчива, и на самом деле, будучи человеком застенчивым, он больше всего боялся, как бы его не обидели; очень может быть, что под этой угрюмой внешностью скрывалось золотое сердце. Пока что он возвышался надо мной, как желтый властелин, и я уж было решил, что он откажет мне в приюте, но вместо этого он вызвал своего младшего брата — квартирмейстера.

Мистер Вордсворт — младший был совсем не похож на брата. Круглолицый, с темно — серой, как у тюленя, кожей, с мягкими губами (в его жилах текло, по — видимому, меньше белой крови), он выказывал величайшее дружелюбие каждому встречному. Это он снял передо мной шляпу у пересечения дорог возле Ганты. Он отвел меня в соседний домик — дворец из четырех комнат и кухни. В одной из комнат мы обнаружили верховного вождя; он сидел поджав ноги на деревянной лежанке и обедал с вождем одного из здешних племен. Лицом он был удивительно похож на бывшего испанского короля и носил туземное платье и фетровую шляпу. Мы явились в Тапи — Та как раз тогда, когда там шло совещание местных вождей. Они жаловались на окружных комиссаров — в частности, на Вордсворта, и полковник Дэвис прибыл сюда в качестве уполномоченного президента, чтобы разобраться в их жалобах. На совещание съехалось и несколько окружных комиссаров. Мы прибыли в обеденный перерыв.

Я уселся в деревянное кресло и стал дожидаться остальных. Верховный вождь поспешно появился из спальни и заявил, что кресло принадлежит ему. Я могу в нем сидеть, но оно его.

Дом совета старейшин, расположенный тут же, в ограде, стал наполняться народом; вожди целым потоком входили в ворота, под зонтиками, в фетровых шляпах; за ними их слуги несли стулья. Я стал просить верховного вождя продать мне риса для моих людей.

Худой, энергичный, горбоносый, он, казалось, не обращал на мои слова внимания. Он отошел, чтобы перемолвиться словом с местными вождями, потом вернулся и заявил, что я могу получить рис по четыре шиллинга за корзину. Я сказал, что это слишком дорого, но он уже опять исчез. Голова его была занята государственными делами, у него едва хватило времени на то, чтобы снизить цену до трех шиллингов, и прежде чем я успел предложить ему два с половиной, он ушел в дом совета. Но вот затрубил рожок, и полковник Дэвис в сопровождении комиссаров проследовал на совещание.

Даже издали в диктаторе Гран — Басы было нечто привлекательное. Чувствовалось, что это личность. Держался он прямо, по — военному, с каким-то шиком, одет был в превосходный костюм для тропиков, с шелковым платком в грудном кармашке. Он носил остроконечную бородку, и отсюда не видны были его золотые зубы, несколько портившие ему рот. Он напомнил мне конрадовского мистера Д. К. Бланта, который с гордым простодушием заявлял в кабачках Марсея: «Я живу моей шпагой». Полковник заметил наш приход, и вскоре появился болезненный окружной комиссар. Он заявил, что уполномоченный президента желает проверить наши паспорта.

Наши документы проверялись в Либерии впервые. Проворовавшемуся банкиру, которому, по моему разумению, следовало бы поселиться в глубине Либерии, вдали от полицейского ока, и ездить развлекаться во Французскую Гвинею (она вполне заменит ему курорты Нормандии и не потребует никакой волокиты с документами), следует всячески избегать Тапи — Та. Ибо тут, в Тапи — Та, в загородке окружного комиссара есть даже тюрьма, и хотя диктатор Гран — Басы удовлетворился нашими паспортами, несмотря на то что они не давали права следовать по Центральной Либерии, банкиру могло бы посчастливиться меньше.

А тюрьма, стоявшая рядом с нашим домиком, ее соломенная кровля над выбеленными стенами и крошечными окошечками, создавала ощущение темноты, духоты и какой-то бессмысленной жестокости (старший тюремщик был слабоумный калека). Каждое окошечко, величиной с человеческую голову, означало отдельную камеру. Заключенные — мужчины и женщины — были привязаны веревками к прутьям, крест — накрест набитым на окна. Двоих или троих мужчин по утрам выгоняли на работу, две костлявые старухи носили заключенным пищу и воду, и тогда их веревки были обернуты у них вокруг пояса; лишь одному старику разрешалось лежать на циновке снаружи, его привязывали к столбу, подпирающему крышу. У входа в тюрьму, напоминавшего темный лаз в пещеру, где не было уже и следа побелки, весь день валялись тюремщики; они кричали, ссорились и время от времени кидались, размахивая дубинкой, в одну из крошечных камер. Старик — заключенный был полоумный; я видел, как тюремщик бьет его дубинкой, подгоняя к жестяному тазу, где тому полагалось умыться, но старик будто и не чувствовал ударов. Жизнь для него ограничивалась немногими очень простыми и очень неясными ощущениями: ощущением солнечного тепла, когда он лежал на своей циновке, и холода в камере, потому что ночью в Тапи — Та очень холодно. Одна из старух сидела в тюрьме уже месяц, ожидая суда. Ее обвиняли в том, что она вызвала молнию на свою деревню; с каким жалким бессилием проходила она каждодневно свой крестный путь, спотыкаясь под тяжестью воды, которую носила из источника в полумиле от тюрьмы! Если она умела вызывать молнию, почему же она не подожгла тюрьму или не сразила медлившего выпустить ее комиссара? Очень может быть, что она и в самом деле вызвала молнии (я не мог не верить в эти рассказы; их подтверждало слишком много свидетелей), но колдовская сила, наверное, покинула ее в заключении или у нее просто не было необходимых средств для ворожбы. Я спросил квартирмейстера, когда ее будут судить, но он не мог мне ничего ответить.

Заседание в доме совета старейшин продолжалось до пяти; народу там было набито битком и жара, наверно, стояла невыносимая. Я подозревал, что целью всего этого расследования было утихомирить вождей, а не осудить комиссаров: судья приходился главному обвиняемому двоюродным братом. Но, во всяком случае, судье этому нельзя было отказать в терпении.

Под вечер мы наблюдали церемонию спуска национального флага; она происходила весьма торжественно: два горниста проиграли несколько тактов государственного гимна, и все стоявшие на веранде вытянулись. Когда церемония окончилась, я послал записку полковнику Дэвису с просьбой меня принять и получил ответ, что полковник совершенно обессилен после девятичасового совещания, но все же постарается уделить мне несколько минут.

«Несколько минут» превратились в несколько часов, потому что полковник был разговорчив, и, проболтав больше часа у него на веранде, мы перешли на мою и стали пить виски. Он был когда-то рядовым американской армии, и его биография, если бы ее написать правдиво, стала бы одним из самых увлекательных авантурных романов на свете. Рядовым или санитаром негритянского полка (я уже забыл подробности) он служил в армии генерала Першинга во время его злосчастного мексиканского похода, когда сотни людей погибли в пустыне от жажды; позже он служил на Филиппинах и, наконец, не знаю почему, покинул Америку и приехал в Монровию. Очень скоро его назначили офицером медицинской службы, хотя я не думаю, чтобы у него было какое-нибудь медицинское образование, а потом он стал делать политическую карьеру. При президенте Кинге его назначили командующим

пограничными войсками в чине полковника, но когда Кинг вынужден был уйти в отставку после расследования, проведенного Лигой Наций, Дэвису удалось переметнуться к Барклею. Любая ситуация приобретала в передаче полковника Дэвиса острый драматизм; он рассказал неприглядную историю о том, как Кинг участвовал в принудительной отправке рабочих на Фернандо — По[50], а потом трусливо признал обвинения Лиги Наций (что угрожало независимости Либерии) и подал в отставку, когда законодательные органы постановили отдать его под суд; в устах рассказчика эта история превратилась в увлекательную мелодраму, в которой сам полковник Дэвис играл героическую роль.

— Они жаждали его крови! — патетически воскликнул полковник.

Однако, сколько я потом ни присматривался к либерийцам на Берегу, я так и не мог поверить, чтобы у них хватило духу пить кровь кого бы то ни было; наглотавшись тростниковой водки, они способны пробудить в себе ораторский пыл, но пойти на убийство?..

Полковник понизил голос:

— Целые сутки я не отходил от мистера Кинга ни на шаг. Толпы народа бродили по улицам, требуя его крови. Но все говорили: «Мы не можем убить Кинга, не убив Дэвиса!» — Полковник презрительно сверкнул в мою сторону золотыми зубами. — Ну, и конечно...

— Да, конечно, — подтвердил я.

Расспрашивая полковника о других его воинских подвигах, я старался навести разговор на восстание кру. Мне казалось, что эту тему он постесняется затронуть, но я переоценил стеснительность полковника. Когда я выразил свое восхищение той ловкостью, с какой ему удалось разоружить восставшие племена, он радостно подхватил мои слова. Насколько я мог понять, операция удалась благодаря стакану овальтина[51], а не ружьям или пулеметам, ибо полковник незлобивый человек, он и мухи не обидит. Одно из племен послало вооруженных воинов, чтобы устроить ему засаду, но он узнал об этом через своих шпионов, пошел по другой тропинке и нагрянул в поселок, когда там никого не было, кроме женщин и стариков. Если верить донесениям британского консула, полковник Дэвис поджег поселок, в то время как его солдаты насиловали женщин; но, оказывается, ничего подобного не было; он вызвал старейшину, усадил его, дал ему стакан овальтина (при этом полковник, кинув мимолетный взгляд на веранду напротив, где на моем столе стояли бутылка виски и стаканы, заметил: «Я всегда выпиваю стакан овальтина после дневного похода»), подружился с ним и уговорил его послать приказ своим воинам вернуться с миром.

— Мне, конечно, пришлось ему намекнуть, — сказал полковник, — что и он, и другие старики должны побыть у меня в гостях, пока оружие не будет сдано...

Я никак не мог понять, что он собой представляет на самом деле. Полковник явно был человеком ловким; об этом свидетельствовало то, как он сумел разоружить воинственные племена; кроме хвастовства, он обладал еще и отвагой, что показывала история восстания кру. Мне о ней говорил не только он сам; факты не мог скрыть даже враждебный доклад британского консула. Полковник с вооруженной охраной прибыл во владения вождя Нимли как чрезвычайный уполномоченный президента, для того чтобы собрать недоимки. Он отлично знал, с кем имеет дело и какой опасности подвергается, соглашаясь встретиться с Нимли в его деревне. Было решено, что ни тот ни другой не приведут с собой вооруженных людей, но, когда Дэвис со своим письмоводителем пришли в дом совета старейшин, они увидели, что Нимли и другие предводители племен вооружены до зубов. Но даже тогда, по словам полковника, все могло бы сойти благополучно, если бы командующий пограничными войсками майор Грант не отправился на прогулку вокруг деревни. Он ворвался в хижину и прервал переговоры, крича, что у Нимли в банановых зарослях спрятаны вооруженные люди. Дэвис приказал ему не двигаться с места, но Грант крикнул, что отвечает перед президентом

за безопасность Дэвиса, выбежал из хижины и стал сзывать своих солдат.

Дэвис потом решил, что Грант был подкуплен вождями мятежников: его поступок сразу же поставил под угрозу жизнь Дэвиса. Нимли вышел из хижины, а его воины окружили полковника. Понятно, он разукрасил мне всю эту историю как мог. Опираясь на барьер веранды и поглядывая одним глазом на виски, он рассказывал:

— Я говорю своему письмоводителю: «Возьми бумаги. Тебя не тронут. Иди как можно медленнее к нашим и скажи солдатам, чтобы они сюда не ходили». Сам я прислонился спиной к стене, а они потрясли копьями прямо у меня перед носом. Письмоводитель говорит: «Полковник, я вас не оставляю. Я умру вместе с вами». А я ему отвечаю: «Какой в этом толк? Выполняй приказ!»

Но, как ни странно, факты подтверждают этот рассказ. Полковник был в руках у врагов и сумел спастись. Дэвис говорит, что, когда письмоводитель ушел, он медленно двинулся к выходу. Воины размахивали копьями, словно намеревались их в него вонзить, но никто не решался ударить первым. Тут появился какой-то старик с длинным посохом, заставил воинов отступить и провел Дэвиса через деревню.

— Потом Нимли убил этого старика.

Из дома на веранду вышел повар полковника и объявил, что обед подан, но Дэвису не хотелось со мной расставаться: он нашел слушателя для рассказа, который, наверно, давно уже приелся всем на Берегу.

— В тот вечер я сидел у себя на веранде, вот так, как сейчас: было десять часов, и там, где стоит теперь часовая, появился высокий воин в полной боевой раскраске, с колокольчиками у колен. Он подошел ко мне и сказал: «Кто здесь у вас самый главный?» Я говорю: «Думаю, что главнее меня нет никого. Что тебе нужно?» А он говорит: «Вождь Нимли послал меня предупредить, что он придет в пять часов утра, чтобы вернуть себе собранные тобой недоимки». — «Ну и что ж, — сказал я, — скажи вождю Нимли, что я буду его ждать». А в одиннадцать часов я увидел еще одного воина, маленького человечка, тоже в боевой раскраске с головы до пят. Он подошел к веранде и говорит: «Ты здесь самый главный?» — «Да, вроде того. Думаю, что никого главнее меня тут не сыщешь. Что тебе надо?» Он отвечает: «Вождь Нимли послал меня тебе сказать, что в пять часов утра он придет поглядеть, кто из вас настоящий мужчина». А в полночь я увидел негритенка в форме бойскаута, но тоже в полной боевой раскраске. Он подошел к веранде и говорит: «Где главный?» А я в ответ: «Ты бойскаут?» — «Да», — говорит. «Кто у нас в стране руководит бойскаутами?» — «Полковник Элвуд Дэвис». — «А где сейчас полковник Дэвис?» — «В Монровии». — «Нет, — говорю я ему, — полковник Дэвис — это я. Как ты смеешь показываться перед своим руководителем в размалеванном виде?» Ну тут он, конечно, немножко смутился и говорит: «Это вождь Нимли меня сюда послал». — «Ступай к своему вождю Нимли и скажи ему, что я не разрешаю бойскауту исполнять такие поручения».

На этом рассказ заканчивался. Я спросил:

— А вождь Нимли в конце концов пришел?

— Конечно, нет, — сказал полковник Дэвис. — Он только вызвал молнию. Но в моем лагере было много людей из племени бузи, а все они члены Общества молнии; они разложили свои талисманы, и молния никому не причинила вреда.

На веранде снова показался повар полковника и сказал, что обед стынет. Дэвис на него накричал — он не умел ладить со слугами.

Мы перешли на мою веранду, полковник принялся за виски и рассказал нам во всех

подробностях историю своего первого брака: он женился на трезвеннице, но хитростью излечил ее от этого порока. Повар время от времени выскакивал на веранду, как чертик из табакерки, напоминая о еде, но Дэвис упрямо не трогался с места, чтобы показать, кто здесь хозяин.

Назавтра вечером он снова зашел ко мне выпить и почти прикончил мое виски. Ночь была пронизывающе холодная, собиралась гроза; явно надвигалась пора дождей. Просидев часа два, полковник расчувствовался: откинувшись на спинку стула, он смотрел на меня с грустью человека непонятого; трудно было представить себе, что он мог даже присутствовать при каких-нибудь зверствах.

— Как-то раз я плыл на большом пароходе, — сказал полковник, — и после обеда капитан пригласил меня подняться к нему на мостик. Он обронил замечание, которого я не могу забыть. Показывая мне проходившее мимо судно, он сказал, что ему вспоминаются три книги, которые стоят внизу в библиотеке. Одна из них — «Корабли проходят ночью мимо». Догадайтесь, как называются две другие?

Мы с братом не могли догадаться.

— Капитан показал на палубу, где гуляли пассажиры. «Смотрите, Дэвис, вот “Люди, которых мы встречаем”. Но еще важнее, — продолжал он, обращаясь ко мне, — “Друзья, которых мы любим”».

Я подлил ему виски.

— Какая прекрасная мысль! — сказал он, скромно отвернувшись.

Патриархальное воскресенье

Наутро я проснулся с сильным насморком, несмотря на то что ночью надел поверх пижамы свитер и укрылся двумя одеялами. За завтраком мне подали письмо от квартирмейстера:

«Дорогой друг, мистер Грин. С добрым утром. Я хочу обратиться к Вам с просьбой, которую, надеюсь, Вы сможете выполнить. Если у Вас есть коньяк, пошлите мне немножко, или чего-нибудь еще, если коньяк у вас вышел. Буду Вам очень благодарен. Мне сегодня утром, понимаете ли, ужасно холодно, надеюсь, вы оба здоровы. Горячо желаю Вам хорошего самочувствия.

Ваш друг

Вордсворт, квартирмейстер.

Сегодня вечером приведу к Вам и к Вашему двоюродному брату в гости моих сестер. Они очень хотят с Вами подружиться».

Я послал ему стаканчик виски и попросил кокосовый орех и немножко пальмового масла, оно требовалось повару вместо сала. Вскоре мне принесли кокосовый орех, бутылку пальмового масла и записочку, которая гласила:

«Дорогой друг. Большущее спасибо за Ваше любезное угощение, я Вам очень за него признателен. Буду неизменно считать Вас своим другом...»

Кругом стояла тишина: было воскресенье, и тяжеловесный покой патриархальной Англии

разлился над Тапи — Та. Даже деревенские пляски и те были запрещены. Заключенных погнали мыться, связав их попарно веревками, а из патефона, стоявшего в домике, где остановились два окружных комиссара, по всему раскаленному пустому двору разносились звуки духовных песнопений: «Внимай, глашатаи Небес поют», «Я ближе, Господь мой, к Тебе». Но потом их сменила танцевальная музыка и развязные американские песенки. Я вышел размять ноги, мне нездоровилось и было тоскливо; Берег казался мне по — прежнему недостижимо далеким. Какое безумие слоняться здесь, в самом сердце Либерии, когда все, что мне дорого и знакомо, находится в Европе. Жизнь стала похожа на дурной сон. Я не мог вспомнить, зачем меня сюда занесло. Мне хотелось бежать отсюда не теряя ни минуты, но не было сил, да и слова доктора Харли, предостерегавшего от ходьбы пешком по Западной Африке, меня пугали. Мне надо было отдохнуть несколько дней, и не только мне, но и моим людям. Марк устал до полусмерти, и даже Амеду и Ламина совсем издергались. Я старался утешить себя мыслью о том, что до Гран — Басы всего шесть дней пути, и, если верить полковнику Дэвису, нам придется торчать в этом убогом порту не больше недели, дожидаясь прихода судна.

Когда я принимал ванну, готовясь проспать самую жаркую часть дня, появился квартирмейстер. Он хотел купить бутылку виски для своего брата, и брат дал на это пять шиллингов. Я сказал, что виски у меня не осталось, или, вернее, осталось в обрез только — только дотянуть до Берега. Но когда мои часы показывали половину третьего и я едва успел заснуть, он явился снова с запиской от окружного комиссара, приглашавшего меня к двум часам обедать. И хотя я уже плотно поел, я все же пошел, захватив с собой полбутылки сильно разбавленного виски.

Общество мне напомнило одно из тех странных, грубоватых семейных сборищ, которые любил описывать Сэмюел Батлер. Казалось, время вернулось вспять лет на шестьдесят и я попал на один из воскресных званых обедов времен королевы Виктории. Единственное, чего не доставало за столом, — это хозяйки дома: она помогала подавать еду. На хозяйском месте сидел папаша — желтолицый Вордсворт с густыми бакенбардами, одетый в тяжелый темный воскресный костюм; его живот украшала золотая цепочка от часов с золотой печаткой. На стенах висели выцветшие семейные фотографии викторианской поры (баки, турнюры и зонтики) в дешевых четырехугольных рамках. Все, кроме меня и полковника Дэвиса, сидевшего на противоположном конце стола и резавшего гуся, были одеты по — праздничному — и тощий старый негр, болтавшийся в своем пиджаке, как сухой орех в скорлупе (он был членом выездной судебной комиссии), и черный комиссар из Гран — Басы, и еще один комиссар, робевший перед полковником Дэвисом; он-то, как я подозреваю, и заводил пластинки с духовными псалмами. А комиссар из Гран — Басы явно предпочитал скабрезные песенки.

Беседа не клеилась, говорили о погоде, о нечистой силе и тайных обществах, передавали местные сплетни. Полковник Дэвис непоколебимо верил в силу Общества молнии. Он бывал в поселках, где члены этого общества показывали чудеса в его честь. Они говорили, что в такой-то час ударит молния, и точно: в назначенный час в безоблачном небе вдоль всей цепи холмов на целые мили вокруг начинали сверкать молнии. Судья Пейдж дополнил этот рассказ, перечислив несколько своих судебных приговоров преступникам, вызывавшим на землю молнии, но тут полковник Дэвис пожелал перевести разговор на великосветскую тему — он заговорил о еде. Он путешествовал по Европе с президентом Кингом и отлично помнил, как они ели икру.

Полковник Дэвис объяснял недоумевающим черным:

— Икра — это черные яички маленьких рыбок. — Он обратился ко мне: — Теперь вы в Англии, конечно, уже не получаете русских папирос?

Я сказал, что точно не знаю, но, кажется, видел их в табачных лавках.

— Ненастоящие, — заявил полковник Дэвис. — Те — вещь редкая. Года два назад их в Монровии подавали как отдельное блюдо на званых обедах.

— Когда же его подавали? — спросил я.

— После рыбы, перед салатом, — ответил полковник, а комиссар из Гран — Басы, перегнувшись через стол, ловил каждое слово о роскошной жизни столичной знати. — В зале воцарялся полумрак, — тут полковник сделал выразительную паузу, — и каждому гостю подавали по одной папиресе.

Судья утвердительно кивнул: он и сам был из Монровии.

Помню, я сказал полковнику Дэвису, как меня удивляет, что я не вижу здесь ни единого москита. Да, он тоже не видел ни одного москита с прошлых дождей; он немножко страдает от палящей жары, но, ей — богу же, Либерия — самое здоровое место в Африке.

У него была явная склонность к преувеличениям. Он, например, заявил, что в Либерии никогда не было желтой лихорадки; управляющий английским банком, который умер от нее в Монровии (его смерть была одной из причин, по которым Западноафриканский банк закрыл свое отделение в Либерии), завез эту заразу из Лагоса. Причина всех остальных смертных случаев — это прививки. В Либерии реже болеют малярией, продолжал он, чем в каком-либо другом месте на Западном Берегу. «Вы ведь и сами заметили, — сказал полковник, — что здесь нет москитов». Но судьба сыграла с Дэвисом злую шутку: когда наступил вечер и мы его ждали, чтобы выпить вместе по стаканчику виски, квартирмейстер сообщил нам, что полковник слег в тяжелом приступе лихорадки.

И поэтому в наш последний вечер в Тапи — Та нас развлекал квартирмейстер; он сидел напротив с мечтательным видом, и его большие блестящие тюленьи глаза настойчиво молили нас о дружбе. По его словам, он сразу же почувствовал ко мне симпатию, когда встретил нас на тропинке возле Ганты; он тогда же понял, что мы будем друзьями. Он будет писать мне, а я должен писать ему. В Тапи — Та очень скучно, он привык к столичной жизни; в Монровии весело, там танцуют и сидят в кафе на пляже. Когда мы туда попадем, сезон уже кончится, но все равно там будет весело, столько всяких развлечений, танцы при лунном свете... Его странные сияющие глаза романтика смотрели на меня не отрываясь. Сердце его было переполнено любовью, дружбой, танцами и лунным светом.

— Вы пришли из страны племени бузи, — продолжал он. — У них там замечательные талисманы. Есть даже превосходное средство от венерических болезней. Надо обвязать веревку вокруг пояса. Я-то, правда, никогда этого не пробовал. — И он добавил очень грустно: — Вас, белых, наверно, никогда не мучают венерические болезни.

Он долго печалился по поводу нашего отъезда. Жаль, что он не может пойти с нами, но он навсегда останется мне другом. Он очень хочет получать от меня письма. Ночью, когда я выходил в лес, он поймал меня у ворот.

— Надеюсь, — сказал он, — вы не будете на меня в претензии за непрошеное вмешательство, но позади дома полковника есть хорошая уборная с деревянным сиденьем. Для вас это куда удобнее, чем ходить в чашу.

Однако я помнил, что он еще не испробовал превосходного средства племени бузи, и твердыми шагами пошел в лес. На следу — ющее утро он встал чуть свет, чтобы нас проводить, и последнее мое впечатление от Тапи — Та — его влажное, романтическое рукопожатие на сером от пыли пустынном дворе резиденции.

Приступ лихорадки

Я никак не предполагал, что Гран — Баса когда-нибудь станет для меня идеальным местом отдыха. Но сейчас она казалась мне землей обетованной. Ведь там я встречу хотя бы еще одного белого; перед глазами у меня раскинется море вместо леса; может быть, там найдется и пиво. Пока я снова не пустился в путь, я не отдавал себе отчета в том, как я измучен дорогой. На меня уже не действовали лошадиные дозы английской соли; раньше я принимал по ложечке утром и вечером с горячим чаем, но сейчас я с тем же успехом мог бы глотать сахар. Я чувствовал себя усталым, изнуренным, еще не сделав ни шагу, а у меня не было даже гамака, в который я мог бы забраться. В Ганте нам сказали, что мы дойдем от Тапи — Та до Гран — Басы за шесть дней, но в Тапи — Та объяснили, что путешествие отнимет у нас не меньше недели, а вернее — и все десять дней. Я уже больше не мог исчислять время такими большими сроками, даже четыре дня казались мне вечностью. Пока нельзя будет сказать «завтра», я не поверю, что мы и в самом деле приближаемся к Берегу. Голова моя так же устала, как и тело. На мне лежала вся ответственность за путешествие, выбор дороги, забота о людях, а мысли отказывались повиноваться. Я попросту не мог представить себе, что мы когда-нибудь доберемся до Гран — Басы, что я когда-то вел совсем иную жизнь, чем теперь.

Мне было трудно дойти до нашего следующего привала — Зиеншу. От Тапи — Та до этого поселка было почти девять часов ходьбы, все время вниз, в сырую, душную жару, а первые несколько миль нужно было пробираться по затопленным местам, по пояс в воде. Проводник, которого дал нам комиссар из Гран — Басы, наказав ему доставить нас до дверей лавки компании П. З. на Берегу, оказался никуда не годным с самого начала. Этот парень в рваном синем мундире, с ружьем за плечами, которое не выстрелило бы даже в том случае, если бы у его владельца были патроны, нес все свои пожитки в жестяном ведре и отстал от нас в первой же деревне. Его звали Томми, и в нем была своя нагловатая мальчишеская прелесть. Дорогу он знал, но отнюдь не желал идти с той скоростью, с какой шли мы. По утрам он начинал переход довольно быстро, но уже через полчаса отбегал в сторонку, в лес, и догонял нас не раньше, чем мы делали полуденный привал. К этому времени он уже был немножко пьян. Благодаря тому что на нем был мундир, он мог ограбить любую деревню по дороге, разжившись там пальмовым вином, фруктами и овощами.

Я ничего не помню о переходе до Зиеншу и очень немного — о днях, которые за этим последовали. Я так обессилел, что не мог записать в дневнике больше нескольких строк; надеюсь, мне никогда не придется так уставать. У меня сохранилось смутное воспоминание о чаще, которой нет конца, о редких холмах, поднимающихся над лесом; взобравшись на такой холм, мы видим со всех сторон покатые громады лесов, тянущиеся до самого моря. У Зиеншу сбегал по кособокому ручью, и в нем плавали какие-то удивительно английские утки. Помню, я захотел присесть, но тут же был вынужден вступить в переговоры с вождем поселка относительно пищи для носильщиков; уселся снова, но сразу же встал опять, чтобы дать трехпенсовую монетку повару, покупавшему курицу; опять попытался сесть, но был поднят для того, чтобы перевязать болячку одному из носильщиков. Больше я не мог этого вынести: проглотив две столовые ложки английской соли с чашкой крепкого чая (сгущенное молоко кончилось у нас уже давно), я предоставил вести все остальные дела двоюродному брату. У меня поднялась температура. Растворив двадцать граммов хинина в стаканчике виски, я выпил, разделся, завернулся в одеяло под москитной сеткой и пытался заснуть.

Началась гроза. Это была уже третья гроза за последние дни; если мы хотели добраться до побережья, нельзя было мешкать. Я лежал в темноте, и меня обуревал страх, какого я не испытывал еще никогда в жизни. Крыс тут, правда, не было, но, когда я выполз из-под одеяла, чтобы вытереть пот, я поймал у себя между пальцами на ноге тропическую блоху. Пот с меня лил ручьем, как во время гриппа. Рядом с кроватью на перевернутом ящике тускло горел фонарь; подле него стояли бутылки из-под виски с теплой фильтрованной водой. Я вспоминал Ван Гога, которого сжигала лихорадка в Болахуне. Он говорил, что после приступа надо вылежать хотя бы неделю — малярия не опасна, если лежишь столько, сколько надо; но я не мог примириться с мыслью, что пробуду здесь целую неделю, что пройдет еще семь дней, прежде чем я попаду в Гран — Басу. Есть у меня малярия или нет, завтра я должен встать и двинуться дальше; и это меня пугало.

Жар не дал мне спать, но к утру я пропотел, и температура упала. Теперь она была гораздо ниже нормальной, зато я избавился хотя бы на время от самого худшего испытания, какое мне пришлось изведать за время нашего похода. Ночью я сделал очень интересное открытие — я обнаружил в себе страстное желание жить.

На грани цивилизации

Считается, что от Зиеншу до Баса — Тауна — первого поселения на территории племени баса — семь часов ходу. Я сомневался, смогу ли сделать этот переход совсем без помощи гамака, и потому нанял еще двух носильщиков, а мои люди вырубали новый шест, взамен того, который я бросил в дороге. Я был очень слаб, но людей не хватало, и нести меня всю дорогу было некому, поэтому я провел первые два часа на ногах, десять минут отдохнул в гамаке, а потом пошел снова. Я не любил, чтобы меня носили. Гамак, рассчитанный на двух носильщиков, непомерно тяжел, а наши люди и так устали от долгого пути. Лежа в гамаке, слышишь, как веревки со скрежетом трутся о шест, и видишь, как напрягается под тяжестью спина носильщика. Люди становятся слишком похожи на вьючный скот, а я не мог на это смотреть спокойно.

В деревнях, которые мы проходили, было безлюдно, мы встретили всего нескольких женщин. Где-то в чаще убили слона — думаю, что отравленными дротиками, которыми охотники в здешних местах стреляют из старинных самострелов, — и все мужчины собрались туда, чтобы его освежевать. К великому нашему удивлению, мы дошли до Баса — Тауна меньше чем за четыре часа. Я был этому рад, однако Берег, как нам казалось, был от нас теперь еще дальше, чем прежде. Мы вышли из Тапи — Та два дня назад, а молодой чернокожий помощник комиссара, которого мы здесь встретили, заверил нас, будто отсюда до Гран — Басы еще семь дней пути. Он был единственным мужчиной в этой деревне, состоявшей из квадратных приземистых хижин; все остальные отправились за сломом, и я немножко побаивался, не позволят ли себе чего-нибудь мои носильщики в поселке, где остались одни женщины.

Но долго раздумывать об этом я не мог. Наскоро пообедав, я лег в постель и укутался одеялами — приступ лихорадки повторился, и я обливался потом. Хижины были такие низкие, что в них нельзя было выпрямиться во весь рост, а вместо крыс тут бегало множество больших пауков. У меня едва хватило сил, чтобы уныло записать в дневнике: «Последняя банка сухарей, последняя банка масла, последний кусок хлеба». Трудно поверить, как мы стали ценить эти лакомства: нам с двоюродным братом досталось по десяти сухарей, мы их поделили, не вынимая из банки, и каждый установил, сколько ему разрешается съесть в день; масло уже прогоркло, и его пришлось отдать повару.

Мне бросился в глаза первый признак того, что мы приближаемся к цивилизации, которая наступает на эту глушь с побережья. Молодая девушка вертелась возле нас весь день, зазывно, как заправская проститутка, покачивая бедрами. Обнаженная до пояса, она сознавала свою наготу, понимала, что белый человек глядит на женскую грудь не так, как ее соплеменники. Несомненно, она уже встречала белых. Были и другие признаки: стало меньше еды и подорожал рис. Ближе к Гран — Басе цены будут еще выше, сообщил помощник комиссара. Он советовал мне купить здесь корзины две риса и сэкономить таким образом по шести пенсов на каждой корзине. Местная математика — наука несовершенная, и Ламина никак не мог понять, почему я отказался от такой выгодной сделки и не сберег шиллинг, хотя мне для этого пришлось бы нанять двух лишних людей, которые несли бы этот рис.

В тот день мы сделали последний короткий переход на пути к Берегу. Никто уже больше не говорил «слишком далеко»: носильщикам не терпелось, как и мне, поскорее выбраться из зарослей и увидеть море, а что касается моих бедных слуг, они вконец измучились. Нервы у них были натянуты до предела, и как-то вечером Амеду и старшина носильщиков подрались в моем присутствии из-за тарелки мясных обрезков. Мы вышли из Баса — Тауна двадцать седьмого февраля, а начали свое путешествие третьего февраля. Через восемь часов мы достигли Гьона, но до Гран — Басы от этого не стало сколько-нибудь ближе. По слухам, нам по — прежнему оставалась еще неделя пути. Мне все так же не верилось, что мы когда-нибудь туда дойдем. После Баса — Тауна лихорадка меня больше не донимала, но температура оставалась гораздо ниже нормальной.

Мы с братом никогда еще не чувствовали такого упадка сил, как в эти два дня. Нам приходилось все время следить за собой, чтобы не поругаться. Мы виделись не больше чем час или два перед сном, но и в это время трудно было избежать столкновений по вопросам, на которые мы смотрели по — разному. А число таких вопросов все увеличивалось, и они касались чуть не всего на свете. Сперва мы успешно избегали разговоров о политике, и этого было достаточно, но теперь мы могли поссориться из-за того, что плохо заварен чай. Оставался единственный выход — молчать, но один из нас всегда мог принять молчание другого за нежелание разговаривать. Мои нервы были в худшем состоянии, и надо отдать должное брату — только благодаря ему наше взаимное раздражение не вылилось в открытую ссору.

Гьон оказался безлюдным, негостеприимным поселком; квадратные хижины из красновато — коричневой глины были кое-как побелены снаружи. По какой-то странной ассоциации они мне напомнили меченые дома в чумном Лондоне времен Стюартов, и мой усталый мозг неизвестно почему внушил мне, что эта деревня — очаг заразы. Полное истощение довело меня до того, что разум уже не мог отделить вымысла от реальности. Деревня опустела лишь потому, что все мужчины были заняты на полевых работах, кроме советника вождя, который не желал нам ничем помочь, но по сей день мне трудно уверить себя, что поселок не был опустошен каким-нибудь мором.

Нам пришлось просидеть на ящиках больше трех часов, пока не вернулись мужчины и мы не нашли себе приют. Для слуг же мы не нашли ничего; им пришлось ночевать в открытой кухне возле очага; спали они мало, боясь диких зверей, особенно слонов и леопардов. Мы шли по стране леопардов; на всех дорогах, которые вели в Тапи — Та, были установлены ловушки — деревянные клетки с опускающей дверью и противовесом из связки раковин; в клетку сажали живого козленка.

Виски оставалось так мало, что мы уже не могли пить по вечерам; из последней полбутылки мы наливали по ложечке в чай. Пока мы ужинали, носильщики устроили нечто вроде судилища, в котором Амеду изображал судью. Они уселись перед ним в два ряда, и свидетели с жестами и пафосом опытных ораторов поочередно давали показания. В восемь часов, когда я пошел спать, суд еще продолжался, и Марк рассказал на следующий день, что

разбирательство окончилось только около двенадцати.

Я так и не узнал толком, в чем было дело. Рано утром Колиева, который сначала вместе с Бабу был моим любимым носильщиком, подошел ко мне в кухне, где я ждал завтрака, раздумывая, выдержу ли еще один длинный переход (ботинки мои износились, подошвы стерлись так, что стали тоньше папиросной бумаги, а потом просто исчезли; у меня оставалась только пара спортивных туфель на белом каучуке). Я не мог понять, что он мне говорит; остальные носильщики сгрудились вокруг, было ясно, что все это должно изображать заседание кассационного суда. Амеду принялся мне что-то объяснять, но я не уверен, что правильно его понял.

Один из носильщиков по имени Буккаи забыл на дневном привале какую-то свою вещь. Ее взял Фадаи — худой, изможденный парень с красивыми глазами, страдавший венерической болезнью; он называл себя английским подданным, потому что родился в Сьерра — Леоне. Когда Буккаи обвинил Фадаи в воровстве и пригрозил ему, что пожалуется, Фадаи был готов тут же вернуть украденное (если не ошибаюсь, это были иголка и нитки), но Колиева увел его к ручью за деревней и стал вымогать у него деньги, обещая выступить свидетелем в его пользу. Состоялся суд, но Колиева смолчал, и тогда Фадаи рассказал все начистоту. Обвиняемым стал Колиева, ибо лжесвидетельство, с точки зрения негров, куда больший грех, чем воровство. Его признали виновным, и Амеду присудил его к штрафу в четыре шиллинга — это очень большая сумма, равная жалованью почти за десять дней. Так как я не был уверен, что понял суть дела, но знал, что на Амеду можно положиться, и видел, что приговор встретил всеобщее одобрение, я изрек: «Согласен» — и, боясь, как бы Колиева не стал оспаривать мое решение, произнес глупейшую формулу, которая всегда спасает власть имущих: «Прекратить разговоры!» Сначала Колиева заявил, что не пойдет дальше, и требовал расчета, но мысль о том, что ему придется проделать долгий путь в одиночку, среди чужих племен, его смирила.

Тайный агент из Дарндо

В тот день мы опять сделали большой переход — он длился около восьми часов. Проводник сбежал в первой же деревне; я болезненно ощущал каждый корень и каждый камешек сквозь тонкую подошву моих спортивных туфель. Носильщики, которые сами к нам напросились в Баса — Тауне, бросили нас на полпути, и я больше совсем не мог пользоваться гамаком. Люди из племени баса любят наобещать, а потом обмануть. Во мне развилась острая неприязнь даже к внешности людей из этого племени: к их рослому, упитанному телу, круглой голове, томному, женственному взгляду. Берег их развратил, превратил в лжецов, жуликов, лентяев, безвольных и совсем ненадежных людей. Но правящий класс в Либерии черпает новых членов из племени баса, да еще из племени ваи, чьи земли тоже соприкасаются с растленным приморским краем. В ответ на обвинение в том, что коренные жители не участвуют в управлении страной, американо — либерийцы кивают на людей из племен баса и ваи, работающих в государственных учреждениях комиссарами и чиновниками[52].

Следующая деревня, в которой мы остановились, называлась как-то вроде Дарндо, на картах она не помечена. Я вошел в нее с двумя носильщиками, намного обогнав остальных.

В маленькой четырехугольной хижине, украшенной либерийским флагом, сидели несколько пожилых негров и мулат. Желтолицый мулат был одет в грязную пижаму, во рту у него торчало несколько гнилых зубов, один глаз был стеклянный; подобного уroda я в Либерии еще не встречал, но я не знаю там человека, к которому по сей день испытывал бы такое чувство признательности. Он подал мне стул, принес свежие фрукты, которых я не видел уже

несколько недель, — большие горьковатые апельсины и лимоны; он устроил меня в хижине на ночлег и ничего не попросил взамен.

Это была нелепая, но героическая личность. Он мне сказал:

— Вы, конечно, миссионер? — И когда я ответил: «Нет», он вперился в меня своим единственным оком, в то время как другое буравило палящее полуденное небо над грязными хижинами. Он сказал: — Я догадываюсь. Вы — член королевской семьи.

Я спросил его, почему он так думает.

— Ах, — ответил он. — Не спрашивайте. Дело в том, что я тайный агент.

У него кончилась бумага, а достать ее можно только на Берегу, и когда я вырвал ему десяток листиков из записной книжки, он был до нелепости мне признателен. Я боялся, что слезы вот — вот покатятся из его единственного глаза; он тут же скрылся в своей хижине, чтобы написать отчет о том, как член английской королевской семьи бродит в чащобах Либерийской Республики.

Но я не зря назвал его героем. Как и мистер Нельсон, он был сборщиком налогов. Он принадлежал к миру, о котором мечтал мистер Вордсворт, — к Берегу с его кафе, — но был заброшен сюда, в эту крошечную деревушку, к людям чужого племени. Как и мистеру Нельсону, ему ничего не платили, приходилось жить на то, что давали местные жители, но в противоположность мистеру Нельсону он давал им кое-что взамен. Они верили ему, и он защищал их как мог, со всей энергией, которая еще жила в его иссушенном лихорадкой теле, он спасал их от вымогательств курьеров в мундирах, сновавших взад и вперед между Тапи — Та и Берегом. Для этого требовались мужество и такт.

Его доброта явно спасла нас с двоюродным братом в тот день: не будь его, мы бы окончательно свалились; к тому же он нам сообщил, что в двенадцати милях от Гран — Басы находится городок Гарлингсвилл, куда ведет автомобильная дорога, а у одной голландской фирмы в порту есть грузовик, который можно вызвать, что сократит нам целый день пути. Когда стемнело, снова разразилась гроза, прокатившаяся громом по холмам в сторону Тапи-Та. Какой-то несчастный приполз в мою хижину по кофейным зернам, рассыпанным в пыли для просушки. Он спросил, не доктор ли я; ответив отрицательно, я сказал, что у меня есть кое — какие лекарства, но, когда выяснилось, что он болен гонореей, мне пришлось признаться, что никакие средства из моей аптечки ему не помогут. Это до него дошло не сразу. Присутствие белого человека внушило ему надежду на выздоровление; он так и остался стоять, ожидая, что я дам ему чудодейственный порошок или волшебную мазь; потом, удрученный, он вернулся в свою хижину и стал дожидаться другого чуда.

В этот вечер я не мог ничего есть; я чувствовал себя не только измученным, но и больным; к тому же наш повар Сури вселил в мою душу новый страх: когда он увидел, что я ем апельсины, которые мне дал мулат, он их у меня отнял, заявив, что горькие апельсины есть нельзя, белые люди от них болеют. Тут я вспомнил, что доктор Харли тоже предупреждал меня в Ганте, чтобы я не ел слишком спелых плодов, и теперь к страху перед лихорадкой добавился еще страх заболеть дизентерией. Я слишком устал и не мог заснуть; раздумывая о своих злоключениях, я все прислушивался, как ливень сплошной стеной падает на Дарндо.

Мне казалось, что завтра я не в силах буду ступить и шагу, и потому попросил достать мне еще шесть носильщиков. Тогда я смогу все время лежать в гамаке, не утруждая моих людей, которые проделали такой длинный путь. Но утром я почувствовал себя лучше и, не став дожидаться носильщиков, которых должны были привести с поля, удовольствовался всего двумя новыми людьми, один из них был типичный негр из племени баса — высокий, хвастливый, мясистый, со всегдашней их капризной манерой дуться. Сыщик очень им гордился, звал его Самсоном и хвастал его силой, но еще задолго до того, как мы дошли до

Кинг — Питерс — Тауна, Самсон оказался в самом хвосте, задерживая всю колонну и ворча, что ноша ему не по силам.

Нашей ближайшей целью был Кинг — Питерс — Таун. Гран — Баса по — прежнему маячила где-то в недостижимой дали, но во время обеденного привала я вдруг услышал от приветливого деревенского вождя, что она совсем близко и что на грузовике из Гарлингсвилла мы до нее быстро доберемся. Новость эта сразу же дошла до носильщиков и слуг. Мы сидели, радостно ухмыляясь друг другу, и черные, и белые; счастье сблизило нас больше, чем все наше путешествие. На душе стало так легко, что больше не надо было держать себя в узде, можно было не только смеяться, но и спорить, и даже ссориться. И вот, к полному восторгу моих носильщиков, я вдруг вылил на опостылевшего всем Томми такой запас непристойной брани, какого я у себя и не подозревал. Забыв об осторожности, я рассказал слугам о грузовике, который непременно достану в Гарлингсвилле, и скоро об этом уже знал каждый носильщик; ни один из них никогда не видел автомобиля, но они поняли, что это двенадцать благословенных миль без ноши, без труда.

До Кинг — Питерс — Тауна было семь с половиной часов ходьбы, а в конце пути нас ждала убогая деревушка, но мы не были так веселы с самого Болахуна. Я нацарапал карандашом записочку управляющему голландской фирмы, сообщая о нашем приезде и прося его выслать грузовик нам навстречу; меня не смогли расхолодить даже предостережения трех новых носильщиков, которых я нанял на один день, твердивших, что Гарлингсвилл «слишком далеко, слишком далеко», что до него двенадцать часов ходу. Не желая обескураживать моих людей, я сделал вид, что не верю, но тайком все же перевел часы назад, решив, что, если туда даже и двенадцать часов ходьбы, мы их пройдем и будем ночевать в Гран — Басе. Гонец воткнул мою записку в расщепленную палку и, налив чуть не последний наш керосин в фонарь, отправился пешком через лес в Гран-Басу, собираясь идти всю ночь. Помню, среди жалких хижин вдруг раздался свисток, и Томми вывел несколько оборванных курьеров в мундирах с такими же нестреляющими ружьями, как и у него самого, к флагштоку в центре деревни. Флаг Либерии поднимался и опускался, а Томми заставлял свой нелепый отряд стоять по команде «смирно». Но его отряд только смеялся над ним, а кто-то даже стащил его свисток, и весь вечер Томми злобно бродил по деревне, разыскивая его.

Гран — Баса

Мы поднялись в четверть пятого, но Томми и новые носильщики нас задержали, и мы не смогли выйти из Кинг — Питерс — Тауна раньше шести. К тому времени настроение мое упало; люди из племени баса настаивали, что до Гарлингсвилла двенадцать часов пути, а до миссии Адвентистов седьмого дня, где они предлагали заночевать, — пять. И все же наш стремительный набег на Либерию был уже почти закончен; правда, лишь много позже, когда прошла усталость от долгих лихорадочных маршей по лесам, я смог разобраться в своих впечатлениях. Мне казалось, что я устал от первобытной жизни, от Африки, но на самом деле меня просто изнурила ходьба, лесная чаща, несовершенное устройство моего собственного мозга. Я ни за что не хотел провести хотя бы еще один день в зарослях, и если понадобилось бы шагать круглые сутки, чтобы выйти из леса, я был к этому готов. Так как переход обещал быть очень продолжительным, я старался не пользоваться гамаком до последней крайности. Если бы не боязнь, что носильщикам будет слишком тяжело, какое бы это было наслаждение — плавно покачиваться, глядя вверх на синие просветы неба в огромном веере из листьев между стройными серыми стволами, и чувствовать, что не надо больше надрываться, что тебя несут на юг, назад к той жизни, которой, как оказывается, ты очень дорожишь.

К счастью, выяснилось, что люди из племени баса, как всегда, солгали. Наша колонна

подошла к миссии через три с половиной часа. Была суббота, и на вершине холма, где стояло несколько белых зданий, звонил колокол, призывая верующих в церковь. По тропе спустился миссионер и повел нас к себе; это был немец, живший здесь с женой и пытавшийся внушить племени баса веру в тысячелетнее царство и священное отличие дня субботнего от воскресенья. Они угостили нас самым настоящим немецким имбирным пряником, дали выпить ледяного виноградного сока и, гортанно выговаривая английские слова, беседовали с нами о радиоприемниках. Вкус ледяного напитка во рту означал конец злоключений, и я уже стал вспоминать о Кпангбламаи и Никобузу как о чем-то безвозвратно ушедшем. До Гран — Басы, по словам миссионера, было всего восемь часов пути, а до Гарлингсвилла — шесть, но когда я упомянул о грузовике, который, как я надеялся, нас там встретит, меня огорчили. В Гран — Басе, как объяснили мне, имеется только одна машина, да и та сломалась несколько месяцев назад, миссионер сильно сомневался, что ее починили. Как я жалел, что сказал моим слугам и носильщикам о грузовике! Мысль о том, что от Гарлингсвилла им нужно будет тащиться еще два часа пешком, беспокоила меня не меньше, чем опасение, что я и сам не выдержу восьмичасового перехода.

Через несколько часов мы окончательно вышли из леса на широкую, заросшую травой дорогу, которая тянулась по долинам и покатым холмам; они, казалось мне, предвещали, что море близко. Мы были в лесу почти без перерыва с того самого дня, как пересекли границу на другом конце Либерии. Расставшись с ним, мы вздохнули свободно. Теперь с вершины любого холма нам мог открыться Атлантический океан. После обеда нас нагнал Томми, он был пьян и распевал какую-то непонятную песню; носильщики подхватили, шедшие сзади стали вступать один за другим, и песня понеслась над холмами. Я приободрился: если бы Гарлингсвилл был далеко, наш проводник остался бы позади, чтобы еще попьанствовать и пограбить. Со стороны моря на тропе появлялось все больше и больше встречных, и у каждого из них Томми спрашивал, приехал ли в Гарлингсвилл автомобиль, но все отвечали, что никакого автомобиля там нет. Мы миновали недостроенный мостик, показывавший, куда доходила раньше дорога; та дорога, по которой мы шли теперь, постепенно зарастала и приходила в упадок. Потом появилось несколько убогих домишек, но это уже все-таки были дома, а не хижины — двухэтажные, под железными крышами, правда, без стекол в оконных рамах; у них был вид старомодных курятников, выросших до размеров человеческого жилья. Через окно я увидел группу мулатов, игравших в карты вокруг бутылки с тростниковой водкой. Это напоминало Африку, которую принято изображать в кинофильмах и парижских обозрениях. Порой нам попадались куры, коза, огород. Это была та цивилизация, с которой мы расстались во Фритауне.

А потом, в три часа дня, мы неожиданно вошли в Гарлингсвилл. Там уже были деревянные двухэтажные дома, наружные лестницы, зловоние разогретых на солнце отбросов, почта с вывеской, написанной мелом, женщины и мужчины в брюках и рубашках, а когда тропа свернула в сторону, началась проселочная дорога, и на ней стоял грузовик. Мне хотелось смеяться, кричать, плакать — наконец-то, наконец я прошусь с самым утомительным путешествием, которое когда бы то ни было предпринимал, с самыми худшими страхами, с самой тяжкой усталостью. Не будь я так изнурен (было второе марта, и мы шли уже ровно четыре недели, покрыв около трехсот пятидесяти миль), цивилизация, наверное, не показалась бы мне такой желанной по сравнению с тем, что осталось позади; а позади оставалась полнейшая простота жизни, граничащая с растительным существованием стайки рисовых трупиалов, могилы вождей, тусклое пламя костров на закате, луч фонарика, «дьяволы» и пляски. Но сейчас я готов был принять цивилизацию целиком — даже железные кровли, вонючий, тряский грузовик, от которого местные жители, возвращавшиеся с базара в Гран — Басе, отшатывались с таким же ужасом, какой испытывали их сородичи на дороге из Кайлахуна, и прятались в канаве, пока чудище со скрежетом не проносилось мимо. Мое путешествие началось и окончилось в грузовике, окутанном облаком бензиновой вони.

Цивилизация на уровне Гран — Басы предоставляла вам еще кое-какие блага: пиво со льда

в доме управляющего магазином голландской компании, который вот — вот должен был закрыться из-за отсутствия покупателей, свежую либерийскую говядину сверхъестественной жесткости, вереницу покосившихся деревянных домиков, окаймлявшую чистый широкий пляж, на который набегал прибой — эти водяные валы спасли Гран — Басу, как и прочие торговые порты Либерии, от пристаней и причалов. Вам предоставлялись на выбор и несколько безобразных церквей; одна из них разбудила меня рано утром какими-то непонятными звуками — по — видимому, записью на патефонной пластинке, повторявшей: «Идите в церковь. Идите в церковь».

Эта цивилизация могла похвастаться и деревянным полицейским участком, откуда кучка людей в мундирах с жадностью наблюдала за тем, как во дворе магазина собирались мои носильщики за расчетом. В каком-то смысле я был рад с ними расстаться, но когда управляющий посоветовал им как можно скорее уйти из Гран — Басы, пока полицейские не отняли у них денег, у меня даже сжалось сердце: ведь кончилось то, что вряд ли когда-нибудь повторится. Не думаю, чтобы мне когда-нибудь еще пришлось жить среди людей таких простодушных и неиспорченных: ни один из них не видел прежде так много лавок, не видел моря и грузовика; глаза их горели от восторга и удивления перед чудесами Гран — Басы, а ведь они даже не знали дороги назад, и никто тут не мог им ее показать; когда Ванде предложил идти берегом до Монровии, а оттуда добираться до миссии Святого креста, управляющий предупредил их, что его люди не решаются ходить этой дорогой без оружия. Берег — самое опасное место в Либерии для путешественников, потому что его обитателей коснулась цивилизация, научив их воровать, лгать и убивать.

Один за другим они разошлись, не зная, что им делать, стыдясь своего туземного одеяния перед одетыми в брюки жителями Гран- Басы. Они не захотели послушаться совета и побыстрее убраться из города, унося свои деньги: ночью, лежа в постели, я слышал у себя за стеной пьяные крики и пение Ванде и Ама. В Гран — Басе дешева только тростниковая водка, и я чувствовал разницу между их теперешним опьянением и ласковым, сонным хмелем, который дарило пальмовое вино. Это был неочищенный спирт, от которого тут, на Берегу, тяжело мутилась голова.

Дряхлый мир

Ну вот я и вернулся, а вернее сказать, приблизился опять к дряхлому миру, из которого было ушел. Мое путешествие, если оно ничего другого мне и не дало, то, во всяком случае, еще больше разочаровало в том, во что человек превратил первобытный мир, что он сделал со своим детством. Ах, ну конечно же, мне не хотелось бы болтовни о том, что ты «прозреваешь», глядя на следы бывшего величия; но в этом первозданном ужасе, в неприкрытости нужды, ей- богу же, что-то было — в струнах, которые перебирают за стеной хижины, в колдунах, в пригоршне орехов кола, в плясуне и его маске, в ядовитых цветах. Вкусовое восприятие было здесь тоньше, чувство удовольствия острее, чувство ужаса глубже и чище. Много ли мы выиграли от того, что променяли колдуна, ритуальный танец и ощущение сверхъестественного зла на тайные грешки благообразного военного, который в Кенсингтонском парке мутными глазками похотливо разглядывает мальчиков и девочек «подходящего» возраста? А он ведь кончил Итон[53]. У него поместье в Шотландии...

Мне было слышно, как за стеной полицейский разговаривает с Ванде, и я вдруг вспомнил (хотя и продолжал уверять себя, что мне осточертела Африка) слугу «дьявола» в Зигите, отпугивающего дождь и молнию бичом из слоновой кожи, вспомнил, как опустел и примолк поселок, когда барабаны пробили предупреждение «дьявола». Да, там, в дебрях, немало жестокости, но мудро ли мы поступили, заменив жестокость потустороннюю нашей

обыденной жестокостью?

Подошло еще несколько полицейских за своей долей наживы; Ванде и Ама вели в участок. Я вспомнил, как Ванде в темноте уговаривал носильщиков пройти по длинному, качающемуся, дырявому мосту в Дугобмаи; я вспомнил, что они обошлись без козы, которая должна была обезопасить их от слонов. Да, сейчас коза бы им не помогла. Все мы покинули детство и вернулись в мир взрослых, и я подумал с вызовом: «Вот и слава богу, тут, по крайней мере, есть пиво со льда и радио, можно послушать программу мюзик — холла из Давентри, и я в конце концов дома, в том смысле, в каком у нас это принято понимать, и скоро я забуду, что такое более тонкое вкусовое восприятие, более острое удовольствие, более глубокое чувство страха, хотя мы и могли бы сохранить их на всю нашу жизнь».

В Поисках героя

Два африканских дневника

Предисловие

В Африке начал я два романа: «Ценой потери» в Бельгийском Конго и «Суть дела» в Сьерра — Леоне. Правда, рождались они по — разному; когда в январе 1959 года я отправился в Бельгийское Конго, у меня уже созрел сюжет будущего романа: чужестранец случайно попадает в глухой поселок для прокаженных. Как правило, я не пишу заметок — только во время путешествий, — но тут я просто не мог без них обойтись: для воссоздания обстановки нужны были подлинные медицинские сведения. Я завел нечто вроде дневника и день за днем записывал в него свои наблюдения, и все же допустил ряд ошибок, которые потом исправил мой друг доктор Леша. Раз уж волей — неволей пришлось вести дневник, я решил извлечь из этого пользу: стал проигрывать вслух и записывать клочки воображаемых диалогов и эпизодов; одни из них прижились в романе, с другими же пришлось расстаться. Плохо ли, хорошо, но так зарождался мой роман; правда, взялся я за него лишь спустя четыре месяца после возвращения из Конго. Никогда прежде у меня не было такого неподатливого и такого тягостного романа. Читателю нужно будет провести в компании моего персонажа — в дневнике X., а в романе Керри — лишь несколько часов, тогда как автору пришлось прожить с ним, и в нем, целых полтора года. С годами писать романы отнюдь не становится легче: я дописывал последние строки, и мне казалось, что я уже в том возрасте, когда еще один полноценный роман, вероятно, будет мне не под силу.

Второй дневник — я вел его во время следования морского конвоя в Западную Африку в 1941 году — писал я для собственного удовольствия в тот период войны, когда никто не знал, удастся ли выжить и что ждет нас впереди. Я не замышлял писать роман, хотя помню, что в пути читал сдобренный фантастикой детективный рассказ Майкла Иннесса, который натолкнул меня на мысль о «Ведомстве страха» — вещице, написанной мною в свободное время, которое удалось выкроить во Фритауне. Это была моя вторая поездка в Западную Африку — впервые я побывал там в 1934 году, когда через Сьерра — Леоне добрался до либерийской границы, пересек пешком эту незнакомую страну и вышел к морю у Гран — Басы. На этот раз поездка была деловая — государственная служба трудноописуемого характера. Те месяцы в Лагосе и год во Фритауне я не вел дневника из соображений

безопасности, так что у меня нет заметок о том причудливом периоде моей жизни, когда, например, агенты военной разведки из самых лучших побуждений довели до белого каления комиссара полиции или я сам ссорился со своим начальником, жившим от меня за две тысячи миль, — он перестал высылать мне деньги для дальнейшей работы. Да упокоит Господь его душу! Теперь он в мире ином — ох, и натерпелся же он от меня!

Тогда я и не подозревал, что из этих времен произрастет роман, и когда пять лет спустя я принялся за «Суть дела», как я жалел, что не делал заметок! Сколько мелких подробностей моей жизни во Фритауне кануло в небытие! Я слишком долго прожил там и оттого слишком многое принимал как само собой разумеющееся — и все по причине жалкого воображения и короткой памяти. В романе «Это поле боя» мне надо было подробнейшим образом описать путь помощника комиссара полиции с Пикадилли до «Уормвуд скрабз», а с возрастом память слабеет. Из-за «Тихого американца» я провел четыре раза по три месяца в Индокитае, но в «Ценой потери» это оказалось невозможным.

Ни один из этих дневников не писался для публикации, и все-таки они, быть может, представят некий интерес — необработанный материал, собранный романистом. Он ведь идет по жизни, не столько собирая, сколько отбрасывая, но замечает он именно то, что, с его точки зрения, представляет интерес для творчества.

Конголезский дневник

31 января 1959 года

О задуманной мною истории я знаю только одно: некий человек «неожиданно очутился...», и единственно поэтому я лечу в самолете из Брюсселя в Леопольдвиль. Но тут поиск персонажа не кончается — Х. наверняка знал Леопольдвиль, добирался тем же путем, и все-таки впервые он проникает в мое сознание в поселке для прокаженных в сотнях миль вверх по реке Конго. Может быть, в Йонде, а может, и в совсем крохотном селении в четырех днях пути. Я знаю об этом человеке не больше, чем его вынужденные знакомые, обитатели поселка. Я даже не могу себе представить места действия и почему мне следует оказаться именно там. Мой герой — человек со средствами, и, возможно, приехал на автомобиле, а может, на колесном пароходе или даже на лодке. Он окунулся в жизнь лепрозория самозабвенно — возможно ли это? — но что его к тому побудило, мне известно не более, чем священникам и докторам поселка. Роман — это незнакомец, которого предстоит отыскать, но всю эту историю я пока даже смутно себе не представляю: обстановка для меня столь же необычна, как и для него, когда он впервые в ней очутился. 1 февраля. Воскресенье. Леопольдвиль

Меня теперь опекает множество незнакомых людей, только вовсе не тех, о которых меня предупредили заранее. Новенький с иголки город с миниатюрными небоскребами — я завтракал на четырнадцатом этаже. Но лишь выйдя из аэропорта, я вдохнул аромат Африки — впервые я почувствовал его в Дакаре в 1934 году по пути в Либерию; и теперь чувствую его снова и снова, и не только в Западной Африке, но и на летном поле в Касабланке и по дороге в Найроби. Что это? Зной? Почва? Растения? Запах негритянской кожи?

В гостинице я разделся донага и только прилег вздремнуть, как меня разбудил стук в дверь. Я накинул плащ и открыл дверь: на пороге стояла молодая женщина — она до того заикалась, что я вообще долго не мог понять, в чем дело. Не успела она уйти, как на смену ей появились журналисты[54].

Улицы Лео, примыкающие к центру, слаженно охраняются военными грузовиками, танками и негритянскими войсками и напоминают мне войну в Индокитае.

Обед с бизнесменом. Неизбежные разговоры о женщинах, и мне неизбежно приходится их поддерживать. «Метод» здесь вроде таков: объезжаешь туземный город, пока не встретишь подходящую женщину, тогда посылаешь к ней шофера, и он предлагает ей деньги. Если она замужем, то никогда не пойдет без согласия мужа. Для залетных пташек вроде меня шофер такси доставит хоть целую вереницу женщин, надо только подробнее их описать. Есть — правда, их немного — и «свободные» женщины, которые принимают мужчин у себя дома. Венерические болезни, по статистике, очень редки. Негритянские женщины в интимном смысле чище европейских. Они гораздо более pudique[55] и в то же время проще и всегда безотказны.

Бизнесмен, угощавший меня обедом, наутро повез меня по городу. В туземном городе (вернее, городах Лео-1 и Лео-2 — старый и новый) он предложил шоферу снять фуражку, чтобы тот не бросался в глаза[56]. Подъезжаем к новому университету Лованиум, огромному, необитаемому — когда его еще достроят? Потом объезжаем памятник Стенли. Тяжелая уродливая статуя на том месте, где Стенли разбил лагерь, с видом на реку Конго и озеро Пул. Вдалеке небоскребы и новые многоквартирные дома.

«И здесь тоже, — неожиданно сказал Марлоу, — было одно из самых мрачных мест на земле».

Завтрак с офицером разведки в его квартире на четырнадцатом этаже. Говорили о кибонгоистах, верящих в божественность Кибонго, человека, умершего в тюрьме в Елизаветвиле в 40-х годах. Некоторые обвиняют в нынешних бедах именно их. Тип из Би — би- си с женой и ребенком в брюссельских кружевах, фанатически помешанный на своей работе.

После вторжения журналистов еду в один из богатых аристократических домов Леопольдвиль. Красивая молодая женщина — длинные скрещенные ноги в обтягивающих голубых джинсах; она — жена немолодого мужчины в костюме для верховой езды, очень богатого, из тех, что всего добились в жизни сами, — он поставщик камнедробилок для постройки дорог, с умным, выразительным лицом.

2 февраля. Кокилатвиль

Доктор Лешй встретил меня в аэропорту и повез в Йонду. Цветущий городок с восьмью сотнями больных. Вечером люди рассаживаются маленькими группками вокруг костров. Доктор изучает истории болезней, трогает кожу, протирает руки спиртом — больные все здесь заразные. Если нервные окончания поражены, пальцы на руках и ногах уже не спасти, хотя болезнь и можно контролировать[57].

Устал от жары и множества незнакомых людей. Епископ приехал в Йонду праздновать юбилей какой-то монахини — меня одолела тоска[58]. В моей голой комнате даже негде повесить одежду, а в общем душе — пять огромных тараканов. Что я тут делаю? Вечером ко мне зашли губернатор с женой — добросердечная женщина, которой хотелось, чтобы я переводил ее книги. Она уже написала книгу и опубликовала ее за свой счет. С наступлением темноты москиты становятся невыносимы.

История о старом лавочнике — греке, который застал своего продавца в постели со своей женой — конголезкой. Не промолвив ни слова, старик пошел и на все свои сбережения купил подержанный автомобиль, до того старый, что он трогался с места, только когда его подталкивали. Никто не понимал, зачем ему понадобился автомобиль, но старик объяснил, что хотел хоть раз в жизни проехать на автомобиле: итак, машину толкали, пока мотор не завелся, и старик поехал в свой квартал и посигналил своим продавцам. Останавливать машину нельзя было, иначе она бы не завелась. Старик сказал продавцу, чтобы тот его подождал, а сам, объехав разок вокруг квартала, вдруг рванул руль и, направив машину на

продавца, въехал в дверь магазина. Продавец остался жив, но с переломанными ногами и разбитым тазом. Старик вылез из машины и стал ждать полицию. У молоденького комиссара это был первый вызов.

— Что вы сделали? — спросил он.

— Тут суть не в том, что я сделал, а в том, что я сейчас сделаю, — сказал старик и выстрелил себе в голову[59]. 3 февраля. Йонда

Все вокруг меняется. Ночью просыпаюсь, разбуженный молитвою и ответственями в часовенке по соседству, и снова засыпаю до семи утра. Яркое солнце, но еще свежо. В душевой нет тараканов. Изнуренный священник, высокий, бледный, с длинными изящными кистями рук: он преподает в негритянской семинарии — во всем районе, кроме учителей, всего один белый; рыжебородый священник с извечным огрызком сигары во рту, суровый и молчаливый монах в миру, который успел побывать в японском тюремном лагере, у него неприязненный вид, но в моей истории он начинает действовать лишь в самом конце, неожиданно выступая в защиту Х., моего главного персонажа[60]. Что же до изнуренного священника, то трудно и вообразить, что за жизнь он ведет, если ищет отдохновения в лепрозории.

Благоустраиваю свою комнату — поставил в ней вешалку, и она служит мне платяным шкафом. Еще немного — и вполне станет походить на жилье. Спускаюсь к реке Конго. Огромные деревья с корнями, напоминающими корабельные шпангоуты. С самолета, наверно, кажется, будто они выступают из зеленого ковра джунглей с темнеющими, точно у цветной капусты, верхушками. Их извивающиеся стволы наводят на мысль о рептилиях. Среди мелкого — кофейного цвета — рогатого скота белеют, пятнами снега, цапли. Огромная река Конго с ее бурным течением похожа на знаменитые нью — йоркские мосты в час пик. Со времен Конрада ничего не переменилось. «Порожный поток, величавое безмолвие, непроходимый лес». Отовсюду, насколько объемлет взгляд, островки травы плывут к морю, до которого им вовек не доплыть, — одни маленькие, словно дно от ведра, другие — крупные, с обеденный стол. Издалека, когда отплываешь от Африки, они напоминают утиные выводки [61]. Два ржавых суденышка. Голубоватые кувшинки. Семейство в пироге: мать в ярко — желтом платье, девочка с младенцем на руках, — улыбаясь, он похож на раскрытый рояль.

Доктор — датчанин[62] раскапывал могилы на старом кладбище и находил скелеты без пальцев — это было кладбище прокаженных четырнадцатого столетия. С помощью рентгена он изучал кости, особенно тщательно в носовой области, и сделал несколько открытий. Теперь он специалист по прокаже и возит этот свой череп на международные конференции: этот череп прошел уже не одну douane[63].

В конце сиесты ко мне заявился некий тип, похожий на крысу, фламандец, учитель протестантской школы. Он написал роман на английском языке и пришел посоветоваться о литературном агенте. Есть ли на свете края, даже в самых отдаленных уголках земли, где, едва появившись, писатель с известностью не встретил бы человека, жаждущего стать литератором? Интересно, встречают ли врачи пожилых людей, все еще лелеющих честолюбивую мечту стать врачами?

Обед со священниками; крохотная мишень для метания тоненьких стрел; пикировка изнуренного священника и бывшего заключенного, который уже немного пришел в себя. Вода, суп, омлет, ананасы.

Девиз здешнего племени: «Москиты не щадят тощих». 4 февраля. Йонда

Спал плохо. Никак не мог улечься на жестком матрасе: слабый приступ ревматизма из-за того, что вспотел, москиты гудят за пологом. Проснулся без двадцати семь, пасмурным утром. Написал письмо матери, с «Дневником» Жюльена Грина спустился к реке Конго и устроился на борту какого-то ржавого суденышка — единственное место, где не было

муравьев. Все изумляюсь бесконечной веренице островков из травы; двигаясь со скоростью четырех миль в час, плывут они из самого сердца Африки, и ни одни, даже самые крошечные, не перегоняют друг друга.

Когда Х. здесь появился, пожалуй, у него были иллюзии, что он сможет работать в больнице. И вот ему говорят: «Возвращайтесь в Европу и пройдите шестимесячный курс психотерапии и массажа, тогда вы могли бы здесь пригодиться». Но он боится вернуться. Возникает подозрение — хотя особых опасений и не высказывают, — что, возможно, на родине его разыскивает полиция. По — французски говорит он довольно плохо, и поэтому неизбежно, что наибольшая близость возникает у него с единственным священником, который говорит по — английски[64].

От чьего лица будет вестись этот рассказ? Во всяком случае, не от лица Х., хотя я и могу представить себе несколько писем от женщин — обвинений, вызвавших те вспышки гнева, свидетелем которых делается священник. Не думаю, что история эта может быть рассказана и от лица священника — откуда мне так уж хорошо знать и его самого, и его повседневную деятельность. Я могу предположить наличие различных точек зрения, проблем — но не настолько глубоко знаю их, чтобы изложить в письмах и диалогах, уже «содержащихся» в самой этой истории. Остается авторское «я», но ему не следует вторгаться в мысли персонажей романа, которые должны быть обозначены только действиями и диалогом. Это вызывает атмосферу таинственности, чего я и хотел бы достигнуть. Название? Возможно, «Незавершенное досье». Если священник ведет досье на Х., то мы совершенно лишены возможности заглянуть в его мысли. И уж менее всего способен разобраться во всем этом сам Х.

Посетил амбулаторию доктора Леша.

Замкнутый круг: заразная и незаразная формы проказы — это различные болезни, однако незаразные формы могут развиваться в заразные. В большинстве серьезных случаев начатое в нужный момент лечение протекает быстрее, чем у незаразных больных, но, если момент упущен, дело обстоит очень плохо.

Бактерии приходится культивировать — они не могут быть привиты животным. Социальная проблема: мужья менее склонны следовать в колонию за своими женами, чем жены за своими мужьями. Муж заводит новый семейный очаг в своей деревне; если же его жена в колонии находит мужчину, который оказывает ей внимание, тут откуда ни возьмись появляется муж, требуя восстановления справедливости и возврата «приданого». В протестантских миссиях идут на это, католические же отцы живо спроваживают таких мужей куда подальше. Люди предоставлены самим себе, здесь не место преследованиям по соображениям нравственности. Двое мужей покинули колонию после лечения, и обе женщины остались теперь при одном мужчине.

История о том, как один весьма образованный старый джентльмен в Париже — приятель Жида — чуть не выставил доктора из своей квартиры, узнав, что тот работал в лепрозории. «Вы должны были сказать мне об этом. Я в ответе за всех, кто живет здесь. Сколько времени должно пройти, пока узнаешь, не заразился ли проказой?» Ему было семьдесят четыре года. «Через десять лет». — «Вы полагаете, что я должен десять лет жить под страхом этой заразы?»

...Трудность заразиться проказой, доказанная тем, как один немецкий врач (предшественник врачей из Бельзена) безрезультатно пытался инфицировать сто четырнадцать здоровых людей по их собственному желанию (их должны были выдворить из «владений» отца Дамиана).

Странности заражения: два солдата — техасца из одной роты, которые вдруг, не имея

никаких контактов с прокаженными, подхватили инфекцию. Они сделали себе татуировку на Гавайях (?) у кого-то, кто только что теми же иглами пользовал прокаженного.

К вечеру воздух настолько пропитан влагой, что как бы растекается по коже, окутывая все тело пеленою дождя. Стемнело, и вместе с порывами ветра грянул дождь, правда не слишком сильный. Нам не повезло. Л. сказал, что за шесть лет он не припомнит и двадцати дней такой влажности и такого пекла. Ко мне пристал школьный учитель, пытаюсь то так, то эдак сделать меня объектом своего рода духовного шантажа[65]. Я ответил ему, что я вовсе не знаток в делах веры — ему лучше было бы обратиться к священнику.

Во время обеда со священниками атмосфера гораздо легче — может, из-за того, что я меньше робею и уже лучше схватываю бельгийский акцент. 1 февраля. Йонда

Необычайно хмурый день. Солнце не возвестило о приходе утра, и многие опоздали на работу.

Я бреюсь, а мимо проходит рабочий в сандалиях, специально обрезанных для ног, на которых нет пальцев, и я уже на это обращаю внимание не более, чем на пение прокаженного, который сейчас красит наружную сторону моей двери. Этот калека с такой силой ступает на землю, что кажется, будто он утрамбовывает ее железным пестом.

До чего ж тягостно в первый день в совершенно чужом краю от одной мысли, что пройдут долгие недели, прежде чем вернешься к прежней привычной жизни; но вот прошло несколько дней (скрепись, потерпи, и они пройдут), и ты уже выстроил привычное в самой сердцевине чужого. Обыденное становится удовольствием: после завтрака бреешься, пишешь письмо, а то и прочтешь статью в журнале, потом спускаешься к реке и там на старой посудине читаешь книгу, возвращаешься, еще одно письмо, книга, иногда — как, например, вчера — заглянешь в амбулаторию: у врачей в это время ленч; потом послеобеденный отдых, снова прогулка к реке, вечерняя рюмка виски, обед со священниками и в постель — еще один день промелькнул. Я чуть ли не расстроен, что сегодня заведенный порядок будет нарушен: ленч со священниками, поездка в Кок на *rique*[66] и чтобы похлопотать о путешествии в буш[67], а затем в гости к губернатору.

Смех африканцев; где в Европе услышишь, чтобы столько смеялись, сколько смеются эти больные проказой рабочие? Но верно и другое: видя, как они страдают от боли, испытываешь глубочайшее отчаяние. (Я вспоминаю моих носильщиков в Либерии, слуг в Сьерра — Леоне.) Жизнь — мгновение. Смехом они обращают ее в вечность.

Вчера сценка в амбулатории: дети громко плакали, стоял невыносимый шум, врач позвал своего помощника, и тот скомандовал: «Прижмите детей к груди» — команда, которая, по его словам, то и дело звучит во время мессы. Само собой, тут же воцарилась тишина.

Слишком пасмурно для прогулки. Ходил в главную амбулаторию и новую лабораторию, которая еще только строится. Л. показал мне сложный прибор для определения нервной чувствительности за 1/20 000 секунды. Но что особенно его радует, это сравнительно дешевый прибор для измерения температуры кожи одновременно в двадцати точках. Похоже, что температура в области пятен выше температуры тела, и Л. надеется, что можно будет предотвратить их появление у ребенка и начать лечение заблаговременно. И еще он надеется, что станет возможным предвидеть и предотвратить калечение пальцев.

В амбулаторию явился пациент со слоновой болезнью: его ступни и голени — шишковатые и узловатые — напоминают стволы древних деревьев, вырезанные у основания в виде огромных пальцев.

Пусть прежде Х. был преуспевающим архитектором, неужто невозможно, чтобы склонность его угасла? Его любовь к искусству претерпела то же, что и его любовь к женщинам, — некое

чувственное истощение.

После обеда вместе с семьей Л. отправились в Кок, и там в Национальной службе здоровья мне сделали вторую прививку от туберкулеза, довольно болезненную. Рассказали о человеке, который по ночам без конца звонит в Stirete и заявляет, что возле его дома снуют конголезцы, которые хотят убить его самого и его жену. В Коке теперь многие спят с оружием под подушкой — главная опасность сейчас таится в происшествиях, вызванных страхом.

Был у епископа. Изумительно красивый старец с манерами аристократов восемнадцатого века или щеголя времен короля Эдуарда. Он предложил мне воспользоваться его пароходиком для путешествия в буш.

В гостях у губернатора: и он, и жена простые, милые люди, им совершенно не свойственны пороки жителей колоний[68]. Сгустились сумерки, и по улицам прошла машина, так густо распылившая ДДТ, что мы, сидевшие в автомобилях, едва различали друг друга, словно в лондонском смоге: видимость всего несколько ярдов. Губернатор неотделим от своего двадцатилетнего опыта. Он восхищается африканскими женщинами. Взволнованно говорит о том, как славно жить в деревне, но ему кажется — я еще в этом не разобрался, — что племенная структура должна быть заменена связями, основанными на принципах материального стимулирования. Не приведет ли это к духовному обнищанию, как в Соединенных Штатах? Губернатор говорил о необходимости мистического начала, но разве оно есть в современной Америке, хотя бы даже в католической церкви? 1 февраля. Йонда

Человек, которого Л. вылечил, прислал письмо своей сестре, все еще остававшейся в лепрозории, где настаивал на его смерти и похвалялся своими подвигами во время беспорядков в Леопольдвиле. Сестра испугалась и ничего не могла понять, а потом отнесла письмо в школу классному старосте. Снова пришло письмо, и Л. гадает, что бы там могло быть.

Другой пациент, которого он тоже вылечил и который поэтому должен был покинуть станцию, грозился поджечь его дом.

Меланхолия сегодня коснулась меня своим крылом — может быть, потому, что я не почерпнул здесь ничего нового, может, оттого, что я плохо спал, а может, это все из-за моих снов. 7 февраля. Йонда

Хорошо спал, хотя принял всего одну таблетку, и сон приснился один — единственный. Ріқиге уже не так беспокоит, и меланхолии как не бывало.

Брошюра, рассказывающая, как в Европе искоренили проказу, — но была ли это проказа и вправду ли ее искоренили?

Из-за не вовремя почищенных туфель чуть не пропустил утренние полчаса на берегу Конго. Как легко в незнакомой обстановке привычка приобретает магическое очарование. И прогоняет что? Вероятно, меланхолию или апатию.

Читаю последний том «Дневников» Жюльена Грина «Le [69]Bel Aujourd'hui» — все с большим и большим раздражением. Мне кажется, что от них не столько веет величием духа, сколько духом тщеславия. Слишком много разговоров о Боге и святых. В одном месте он даже призывает уничтожить все, негодное Богу. Но угоден ли Господу этот велеречивый поток благочестивых банальностей? Не променяет ли Он все их на одну богохульную строку Вийона? Так и вижу, как Господь, лишь мельком взглянув на книгу, тут же швыряет ее прочь, в точности как сделал бы писатель, увидев очередной занудный трактат о своем романе, сочиненный студентом на соискание степени бакалавра.

Пожалуй, первое, что неясно в отношении X., — это считать ли его лепрофилом или нет.

Образ Х. застыл у меня в мозгу и не продвигается ни на шаг. Разве что я узнал немного больше о его окружении. Возможно, следует дать моему герою имя, а вот давать определенную национальность пока не хочется. А может быть — якобы из предосторожности, — ограничиться только буквой? К сожалению — знаю уже по опыту, — стоит автору вместо имени главного героя поставить инициал, как тут же заговорят о Кафке.

Бактерии проказы очень похожи на туберкулезные. Однако бактерии Хансена не передаются животным. Внешние признаки:

а) пятна и потеря чувствительности, б) потеря чувствительности конечностей при отсутствии пятен, в) утолщение кожи на лице и ушах и появление узелковых уплотнений. Последнее — признак заразности.

Соблюдение чистоты важно только для окружающих. Для больных оно вряд ли уже имеет хоть какое-то значение.

Когда отправляешься в дальние края, путешествуешь еще и во времени. В этот час неделю назад я еще был в Брюсселе, но кажется, будто от того времени меня отделяют не дни, а недели. В 1957 году я проехал более 44 тысяч миль. Может, поэтому — а мои долгие путешествия начались еще в 30-е годы — минувшая часть жизни кажется мне бесконечно длинной?

Как бы мне воспользоваться снами Х.? По своему горькому опыту знаю: вчерашние сны могут задать настроение на целый день и возродить к жизни какое-нибудь угасающее чувство.

Абоко. Два дня назад епископ рассказал нам, что многие из них безоговорочно верили, будто порохом можно рушить стены. Они загоняли порох под ногти — и оставалось лишь броситься на стену, и она рухнет. Первобытные люди, как дети, иногда просто не в состоянии отличить фантазию от реальности. Это смешение хорошо иллюстрируется увесистым романом «La Gana», который я сейчас читаю.

Новые лекарства иногда слишком дороги, чтобы пользоваться ими миллионы больных. Тогда как на ДДТ уходит всего три шиллинга в год.

Колониальный протокол. Мне рассказали, что с любого сборища — каким бы неофициальным и случайным оно ни было, даже, скажем, из ресторана, — нельзя уйти прежде старших по положению. Так, в Сьерра — Леоне мне довелось столкнуться с тем, что и мебель в доме зависит от положения хозяев. Л. скоро займет положение, когда сможет иметь в доме не четыре кресла, а целых шесть, а его жена — зеркало в полный рост. Грустная история о человеке, не имевшем права завести себе второй cabinet[70] — о чем прямо-таки мечтала его жена, — прежде чем сдаст определенный экзамен и поднимется по положению на ступеньку выше. Он завалил экзамен и все-таки на свои же деньги построил второй cabinet в саду. Но сад принадлежал государству, и тогдашний губернатор велел ему это сооружение уничтожить [71].

Возрождение обряда: вынос из леса изготовленного по старинке гроба в форме человеческого тела. О тех днях помнит здесь лишь один человек — сын старого умельца. Вся эта процессия — насмешка над деревней: гроб сделан очень топорно. Руки, согнутые в локтях. Волосы на голове стянуты в два погребальных пучка. Лицо красного цвета. Группа колонистов, в том числе бургомистр с женой, фотографируют, восседая на трубчатых металлических стульях, вынесенных из дома скульптора. Мы привели из миссии старого священника — отца N. Священник — необычайный знаток indigenes[72]. Он произнес краткую речь, прежде чем началась эта надуманная церемония, единственная цель которой — приобретение музеем в Лео одного из таких гробов. Бьют барабаны, старухи танцуют с листьями, но так и напрашивается сравнение этой сцены с трубчатыми стульями и жужжанием любительской кинокамеры с подлинными обрядами и боем барабанов Никобоозу

и Зигита в неосвоенных, глухих районах Либерии. Был лишь один правдивый момент, когда организатор этой церемонии и он же покупатель гроба (за две тысячи франков) захотел оставить гроб на ночь в деревне, а жители воспротивились — ведь это может накликать беду. Знатное лицо здешней округи — он походил на вождя, — молодой красивый конголезец в элегантном европейском костюме, прибыло сюда вместе с дочерью, очаровательной девочкой, голова которой, словно короной, увенчана желтым шарфом. В ушах у девочки кольца, на ней европейское платье и ожерелье. Она восседала на стуле с достоинством молодой королевы, в то время как жены колонистов без умолку трещали, возились со своими фотоаппаратами, суетливо сновали взад — вперед.

Старый священник остался на обед. Веселый, занятый старик, но когда поздно вечером мы везли его домой, он сетовал, что боится за Кок — чего только не натворят безработные и jeunesse[73]. Отвезли старика и зашли посидеть в одну из двух гостиниц — ту, что поменьше (большая отталкивала нас желтыми фонарями, разрисованными, словно луна в детской книжке, — совсем как человеческое лицо). Хорошенькие скромные девушки лет двадцати, крохотная мишень для метания незатейливых стрел. Тип у стойки бара надерзил Л. из-за того, что тот предпочел ждать и только поманил официанта, вместо того чтобы его окликнуть: «Etesvous muet?»[74] Возвращаясь, видели свет в окнах fonctionnaire[75], который от страха не спит по ночам. 9 февраля. Йонда

Ночью грянул дождь.

Меня беспокоит моя книга. Возможно, для воссоздания обстановки мне следует обратиться к воспоминаниям о Мосамболахуне и Ганте в Либерии и моему приезду в те места.

Приезд Х. должен задать тон, и, вероятно, здесь требуется, как выразился бы Л., нечто «посентиментальней», а не этот благоустроенный цветущий городок. Меня также заботят и участники хора: священники хороши для Европы, но не для миссии. В священнике-миссионере я ни разу не заметил ни наивности, которую мне хотелось бы видеть в некоторых из них, ни нетерпимости к человеческим слабостям, ни излишнего любопытства. Эти люди слишком заняты, и их не заботят ваши побуждения — у них в мыслях цемент, образование, электростанция, а вовсе не побуждения. Как мне освободиться от фальши?

Утро с доктором в амбулатории и больнице. На лицах старух татуировки в виде листьев; высохшие груди похожи на маленькие пустые перчатки; мужчина без пальцев на руках и ногах нянчит малыша; человек со слоновой болезнью: яички размером с футбольный мяч; женщина, больная туберкулезом (несправедливо, что прокаженная страдает еще и от другой болезни); старик с ласковым лицом и мягкой учтивостью, который ушел умирать (гипертония) в лачугу, стоявшую на задворках его хижины, ноги у него как у ребенка, а глаза — святого; безногая женщина, родившая ребенка; человек, который ушел умирать на задворки своего дома, и его нашли там лишь через несколько дней.

Отправляюсь с Л. в Кок похлопотать о судне. Невыносимо жаркий полдень и чувство отчаяния. Забавное суденышко с облупившейся краской, похожее на миниатюрный колесный пароход с Миссисипи. Меня принял уходящий с этого поста капитан, рослый священник с золотыми пломбами и длинной, взъерошенной бородой; он угостил нас пивом в салоне с огромными окнами, расположенном, по — моему, выше капитанского мостика. Буфет с расписной панелью «Рождество Христово»[76]. Сложности с выходом в плавание, объяснил он; судно уже долгое время было в плохом состоянии: в днище то ли дыра, то ли прогнившая доска (не помню точно, что именно), плыть на нем небезопасно. Спасательный пояс за каютой, скрученный и потерявший форму, напоминает сушеного угря. Долгое обсуждение. Посещение «Отрако»[77]. Все каюты на пароходе в Вафанию до Ибонги заняты. Можно отправиться на автомобиле до Фландрии и на лодке до Ибонги, где ждать возвращения пассажирского парохода или самолета, летящего в какое-нибудь другое место, а можно машиной до Вафании и вернуться пассажирским пароходом, отправляющимся из Ибонги. Все

это тяжкие, утомительные, малоприятные путешествия. Возвращаюсь в собор. Только монсеньор может приказать, чтобы судно тронулось с места, но он позавчера упал и сломал бедро. Туманная беседа с отцом Андре. Возможно, судно отправится на следующей неделе, а может, в следующем месяце. Капитан, отец Пьер, явно из тех «капитанов, что терпеть не могут моря». В каждую поездку (их примерно четыре в год) что-нибудь да случается. Отец А. согласился поговорить с епископом. Ответ: судно обследуют двое представителей «Отрако», и если они признают его надежным, рейс состоится. Если нет, то нет. Все это кажется мне сомнительным. Не верится, что решение будет благоприятным.

Едва я сел обедать, как вошел Л. и сказал, что ему только что позвонили: все в порядке. В среду вечером отплываю. 9 февраля

Стадию проказы, которую приостановили и стали лечить лишь после того, как больной лишился пальцев рук и ног, здесь называют «burnt-out cases»[78]. И вот параллель, которую я пытался установить между моим персонажем Х. и прокаженными. Что касается его, то психологически и нравственно это поначалу тоже был человек «перегоревший». Не на этой ли стадии лечение начинает давать какие-то результаты? А может быть, действие романа должно начинаться не в лепрозории, а на миссионерском судне?

Как часто люди говорят о нелепости веры в то, что по воле Божьей жизнь существует лишь в мельчайшей частичке бескрайней Вселенной. Но есть подобная же нелепость, в которую мы должны верить: будто Господь выбрал местом своего рождения крохотную колонию Римской империи. И как ни странно, в обе эти нелепости верить легче, чем в одну.

Коровы и изящные белоснежные птицы *riqueboeufs*[79] — нет, это не белые цапли, — которые сопровождают коров, точно ангелы-хранители. Птицы эти такие нежные и гладкие, что кажется, будто перья у них фарфоровые. И бабочек без числа.

Старуха с парализованными веками — она не может моргнуть. Доктор купил ей темные очки, но она не хочет носить их, потому что это не лекарство, а она доверяет только лекарствам. Сложности с обувью. Калекам выдали специальную обувь, но многие из них не хотят ее носить. Им хочется носить обычные туфли. Даже если они соглашаются носить эту обувь, то только по воскресеньям, и обычно берут ее лишь затем, чтобы продать.

Проблема благотворительности. В специально назначенный для прокаженных день в Коке раздают одежду четверемстам больным, но их восемьсот, так что остальным четверемстам приходится одежду покупать, а это большой расход. И к тому же раздаваемая одежда не одинакова, и это порождает нескончаемую зависть.

У доктора есть шесть инвалидных колясок для тех, кто лишился ног и может только ползать. Но таких здесь десять. «А как же зависть?» — спросил я доктора. «Если речь идет не о банке сардин, а о чем-то важном, я ее попросту игнорирую». 9 февраля. Йонда

Все молчаливы и подавлены.

Во дворе возле дома заседает суд прокаженных: трое мужчин, представители своих племен, слушают свидетелей. Они имеют право разбирать незначительные происшествия: кражи, оскорбления, похищения жен — и могут приговаривать к незначительным срокам заключения в тюрьме близ Йонды. Но всех заключенных отпускают на работу и лечение — в тюрьме они только ночуют.

Покупки для плавания на пароходе: ДДТ, одеколон, мыльные стружки, десять бутылок виски и тридцать шесть содовой[80]. Угостил супругов Л. обедом в гостинице. Мерзкий бар с металлическими стульями и луноликовыми абажурами. Но обед приличный. Потом, уже на борту, — виски. Каюта епископа очень славная. Алтарь в салоне на верхней палубе.

Несчастье с епископом. Все прошлые годы он не знал, что такое болеть, и теперь его убивает не столько боль, сколько скука. Для него одиночество всегда было невыносимо; величественный и безупречный, как и подобает епископу, с большим крестом на шее, добрый и внимательный человек, он не слишком-то верит в свою епархию. Теперь он лежит, одетый в пижаму, и неимоверно тоскует — для него непостижимо, как можно быть одному. За все пятьдесят лет с момента его назначения он никогда не испытывал одиночества. Сейчас он не может без боли даже повернуть головы[81].

Только что по почте пришло письмо еще от одного местного писателя и книга, опубликованная за его счет. Почему эта жажда писать обуревают столь многих? Желание разбогатеть? Сомневаюсь. А может быть, человек, который понял, что живет жизнью, в общем-то, избранной не им самим, просто хочет внять своему призванию? Тот же отчаянный инстинкт, который толкает человека не столько к религиозной вере, сколько к желанию верить? 9 февраля. На борту епископского пароходика

...Проснулся в пять, как только пароход стал отчаливать, и открыл иллюминатор, чтобы видеть огни Кокилатвиля. От гребного колеса сильно передается вибрация. Река около полутора километров ширины. Мы держимся вблизи от берега.

Осмотр судна у входа в русло Руки: не тянем ли мы за собой цветы и водоросли, которые могут разрастись и забить фарватер.

С бортов судна у нас по понтону, груженному дровами. После завтрака бывший капитан берется за бревиарий. Х. описывает свой осторожный роман с одной молодой замужней дамой — чтобы хоть как-то облегчить свою боль. В конце концов он пытается вернуться к сексуальной любви, но отказывается от этого, так как не испытывает ни малейшего желания. Расстаемся с ним в ожидании дальнейших событий[82].

На борту три священника и прислуга из африканцев, в том числе по меньшей мере одна женщина. Отец Анри, поправляющийся после болезни, в прошлом сам капитан; он пожелал принять участие в путешествии и надеется поспеть засветло в семинарию в Бакуме. Отставной капитан отец Пьер, со своей длинной взъерошенной бородой и в очках, преподаватель семинарии, и отец Жорж, нынешний капитан, человек, обуреваемый страстью к охоте. Здесь водятся обезьяны, ведущие наземный образ жизни, и он похваляется, сколько ему удалось подстрелить во время облавы — кажется, они весьма хороши на вкус. Только что мы видели баклана — длинная шея и маленькая головка, — он сидел на бревне; прогремел выстрел, но из-за вибрации отец Жорж промахнулся, птица взлетела и продолжала лететь за нами, держась на одинаковом расстоянии над водой. Крокодилы здесь явно длиннорылые и не каннибалы. Купание безопасно. Так утверждают отцы — по мнению доктора, вряд ли это полностью заслуживает доверия.

В первый день пытаешься уловить, каков именно установившийся здесь ход вещей, ибо только это создает ощущение дома. У вас могут быть моменты внезапного волнения, возбуждения, счастья — но совсем иное дело чувство покоя.

В одиннадцать мы выпили пива, а потом я учил священников играть в «421». После ленча — сиеста.

Читаю Конрада — книга называется «Юность», я взял ее ради «Сердца тьмы» — впервые с тех пор, как бросил его читать году в тридцать втором, оттого что он влиял на меня слишком сильно и разрушительно. Мощный гипнотический стиль вновь обрушился на меня, и я понял, до чего же беден мой собственный. Возможно, после того как я довольно долго прожил со своей бедностью, меня уже ничто не испортит. Когда-нибудь я перечитаю «Победу». И «Ниггера».

Вода цвета начищенной до блеска оловянной посуды; кажется, что облака — в отсветах этой

оловянной поверхности. И на зелени лесов словно тоже оловянный налет. Рыбачьи домики на сваях вызывают воспоминание о Востоке[83]. Люди стоят в пироге, и ноги их, удлинненные тенью, уходят в воду, точно они переходят реку вброд. Может быть, какой-нибудь рационалист уже объяснил подобным образом хождение Иисуса Христа по водам?

Последнее время меня все больше и больше волнует, выйдет ли что-нибудь из этой книги. Быть может, вместо того чтобы принимать реальность такой, какая она есть, я с ней сражаюсь и в то же время пугаюсь того, что доктор называет «сентиментальностью», всего яркого и драматичного. Возможно, Х., помогая больным разрабатывать руки, забудет об очевидных мерах предосторожности и не протрет руки спиртом. Священники больше думают о технике, электричестве, навигации и тому подобном, чем о человеческой жизни или о Боге, — но это у Х. ложное впечатление. Он приехал в поисках иной формы любви, а столкнулся с турбинами электростанций и проблемами строительства; он никак не может понять этих священников, так же как они не могут понять его.

Вода, которую разрезают носами наши понтоны, цвета жженого сахара.

Возможно, первая фраза будет такой: «Каждый день после завтрака капитан читает в рубке свой бревиарий»

Неустанное перебрасывание дров с понтонов к машине вызывает воспоминание о том, как Филеас Фогг пересекал Атлантический океан.

Подходим к Бакуме. Отец Анри возбужденно восклицает:

— Мой дом!

— А не тюрьма?

— Нет. Моя тюрьма — Йонда.

Причаливаем. Обед в миссии, после обеда священники играют в карты тремя колодами в игру под названием «Спички».

Беспокойная, душная ночь, снотворное не подействовало. Снилось что-то сердитое о человеке, на которого я не сержусь наяву.

«Сердце тьмы» Конрада мне по —прежнему очень нравится, хотя я и стал замечать недостатки. Язык для этих событий слишком напыщенный. Курц кажется каким-то искусственным. Словно Конрад взял эпизод из собственной жизни — ради «литературы» — и приписал ему большее значение, чем он того заслуживает. Конрад то и дело сравнивает конкретное с абстрактным. А не перенял ли и я сам этот трюк?

Сегодня вечером мне в голову пришла занятная мысль: за кого можно принять этих священников, не зная, кто они есть на самом деле, — ведь только один из них в сутане?! Отец Жорж, капитан, очень похож на тех молодых офицеров из иностранного легиона, которых можно было встретить в свое время в Индокитае; отец Пьер немного похож на У. Г. Грейса или на Хаксли; остальных я, пожалуй, поделил бы между врачами и преподавателями колледжа (в последнюю категорию входит и австриец, побывавший после войны в плену у американцев, он не может говорить о Германии спокойно. По случайности где-то здесь в буше и сын Мартина Бормана). Среди священников царит приподнятое настроение. Бесконечные шутки и смех. Только один молодой человек (здесь он среди тех немногих, у кого нет бороды) несколько молчалив и замкнут. Интересно, это подшучивание и студенческий юмор сохраняются ли с годами?

Миссия немного напоминает консульство. Неизменно портрет нынешнего папы и портрет

епископа.

Смогу ли я извлечь что-нибудь ценное из этого веселья, бесконечных шуток и смеха вокруг моего загадочного, безразличного Х.? 13 февраля. Бакума

В 2.10 наконец отплываем. Невыносимая жара. Тягостная сиеста.

Через час с небольшим останавливаемся у деревни Иконга, чтобы купить горшки. Хорошенькая молодая женщина в зеленом, с рыбой в руках[84]. Фотографируем. Собирается буря. Отец Анри купается. Гром и молния, ливень, пар вырывается из какого-то сочленения, когда мы готовимся отчалить. Приходится остаться на ночь.

Капитан растянулся в шезлонге и взялся за breviарий. Отец Анри отправился в деревню сообщить об утренней мессе. Капитан пошел поудить. Приятный, свежий вечер.

Когда зажгли лампы, несколько старух приковыляли на исповедь. 10 февраля. На реке Руки

Рано утром (в 6.10), после двух месс, мы отчалили; возле берега река курилась туманом. Еще до восхода солнца, в пять утра, пароходный гудок подал сигнал к первой мессе. Из деревни спустилась процессия с факелами. Капитан отслужил первую мессу. Матросы из машинного отделения появились к вознесению Даров, а потом снова вернулись к работе. На завтрак яичница с беконом, а капитан разделал одного из кроликов, которых вчера принес на борт в клетке отец Анри[85].

Книга потихоньку движется. Начало: доктор и все эти безнадежные случаи; мрачный, раздражительный человек, уставший от добродушного подшучивания священников, не способный делать то, что ему хочется; заядлый курильщик дешевых сигар. Это начало. Вопрос, что дальше: завернуть ли действие на борт корабля и отправить Х. по реке или прямо начать с его приезда? Склоняюсь к первому[86].

А может быть, доктор женат? На иностранке той же национальности, что и Х. Лишь только прошлое Х. становится известно, доктора начинает снедать ревность. Это он, а вовсе не священник выпытывает у Х. его прошлое и толкует его совершенно неверно. И если миссии надо выбирать между Х. и доктором, разумеется, миссия выберет доктора. Он ведь человек добродетельный. Правда, испорченный невезением, но и только. Итак, человек, искавший новых форм любви, нашел новую форму ненависти[87].

С виду кажется, что волосы у африканцев такие короткие, что не требуют никакого ухода, на самом же деле они нуждаются в постоянном внимании. Парикмахер на понтоне всегда в трудах: с расческой и безопасной бритвой в руках он скоблит и скоблит клиента, в то время как тот держит перед собой зеркало и следит за работой.

На протяжении всего пути за нами следуют бабочки.

Ищем в лесу признаки жизни помимо бабочек, как когда-то, еще детьми, искали спрятанное в картине — загадке человеческое лицо.

К ленчу — в Ингенде. Пошли с отцом Анри прогуляться и отправить письма. На побережье надпись на французском, фламандском и местном языках: «Зона сонной болезни. Берегитесь мухи цеце».

Над епископской кроватью, на которой я сплю, фотография церкви или собора под снежным покровом.

В конце «Ценой потери»[88] появится ревнивый муж (без всяких оснований для ревности), он увезет Х., так и не дав ему оправдаться. Но жена доктора последует за Х. в Кок, Лео, Браззавиль, возможно с сентиментальным желанием «искупить» вину. В этой истории она

разобралась не лучше своего мужа. Она предлагает себя Х., а ему, разумеется, вовсе не нужно того, что она предлагает, — наихудшее из оскорблений для ее мужа. Доктор убивает Х., а жена становится героиней преступления из страсти в классическом африканском духе. Но вот чего никак нельзя зачитать на суде — это разрушило бы всю картину, — так это последнее письмо Х. к одному из священников лепрозория или к матери, которую никогда не могли сломить никакие потери. Не отошел ли я слишком далеко от первоначального замысла? Не начинаю ли я выдумывать, не поддаюсь ли извечному искушению рассказать занимательную историю? И все же я чувствую, что Х. должен умереть, чтобы тайна его характера так и осталась неразгаданной. Конечно, он может и попросту «удалиться», как Чаплин в своих ранних фильмах[89].

Во Фландрию прибыли часам к трем. Двое священников поднялись за мной на борт, а потом повезли меня к Л., управляющему «Юнайтед Эфрика фэктори». В прошлом офицер индийской армии, он все еще молод. Умная и очень хорошенькая жена. Двое детей в Коке, а двое младших встретили нас — к сожалению, мы попали к ним в субботнюю сиесту. Накануне праздновали день рождения мальчика, и поэтому он сразу же принялся рассказывать о подарках: молоток, пила, гвозди — и с гордостью показал, что он уже смастерил: кукольную кровать, табуретку и птичий домик. Его сестренка встала на голову, и ее стошнило. Выпили много пива. Совершенно неожиданно объявился коммивояжер пивоваренной компании. Договорившись о встрече с судном, мы поехали осматривать поместье. Фабрика: ничто не пропадает даром — все, из чего не выжимается масло, используется как топливо, и никакого другого топлива больше не требуется. Запах прогорклого маргарина[90]. Огромные участки лесной вырубki напоминают мне Западный фронт. Пришлось построить платформы восьми футов высотой, чтобы громадные сучья не мешали срезать деревья. Повар, заболевший проказой; из-за детей его пришлось уволить, он плакал.

Пароходик спешит нам навстречу: до чего красиво он входит по излучине реки в окрашенный закатом плес.

Очень душная ночь в салоне на верхней палубе — мы должны были держать двери закрытыми, чтобы можно было в темноте управлять судном; я рано лег спать и видел дурные сны.

Долгое пение в ночи: африканцы поют о происшедших событиях и об участниках путешествия. Можно начать роман с песни туземцев: «Вот человек: он не священник и не доктор. Он прибыл из далеких краев и едет неведомо куда. Он много пьет, он курит, но никого не угостил сигаретой»[91]. 16 февраля. Имбонга

После завтрака отправился в лепрозорий; проводник провел меня два километра по лесу до развилки и показал, по какой тропе идти. Едва он скрылся из виду, как передо мной через дорогу проскакала большая рыжая обезьяна с длинным хвостом. Прогулка в лепрозорий длилась час пять минут и была оживленной. Три деревни. Осмотрел их все — вместе с черным infirmier[92] и двумя его помощниками. Врача нет. Монахиня ежедневно приезжает на велосипеде — через лес — из Имбонги. Главная деревня прекрасно расположена: транспорт мог бы двигаться в три ряда — если б был транспорт, — а в центре обширная площадь, обсаженная пальмами. Прокаженные метут пыль на пустынной улице. Даже в наши дни тут встречаются ужасающие зрелища. Захожу в хижину, разделенную на две половины, во внутренней части совершенно темно: можно различить лишь котел да услышать человеческие шорохи. И тут, будто собака, на руках — если это можно назвать руками — и коленях выползает старуха; она не может даже поднять головы, только ползает на звук человеческого голоса. Единственное, что я знаю на местном наречии, — «Оуане», «Добрый день», — в данном случае нелепо. При входе в деревню веселый старик помахал мне своими обрубками и задрал искалеченные ноги. Мне всучили дюжину яиц — за которые я заплатил — и дали в провожатые весельчака — прокаженного, он и понес эти яйца; у него сильно поражен лоб, и один глаз едва открывается. Он не женат. Уже шесть лет в лепрозории.

Послеполуденный отдых пришлось прервать. За мной приехал автомобиль, так некстати: сиеста есть сиеста, и потом я уже осмотрел все, что хотелось (мой фотоаппарат заело, и мне пришлось отправиться без него). Удивительно, как машине удалось преодолеть последний отрезок пути — узкие тропки, узкие мостики, и тем не менее удалось[93].

Позднее, когда мы уже успели осмотреть миссию, разразился ливень, и из его недр вдруг появились местный полицейский и молодой доктор (с романом «Третий человек»), которые прибыли на том, что здесь называют canot — в отличие от пироги, — а мы называем моторной лодкой. Так, похоже, люди и появляются в Африке: из ниоткуда — на одну ночь, виски и «421». Спать вернулся на судно, но спал плохо. Наверняка в матрасе завелись мыши.

Отец Анри, рассуждая об африканском «материализме», привел забавную историю. Учитель показал ученикам глобус и рассказал о Земле и разных странах. А затем попросил задавать вопросы, но только толковые. И тут же один из мальчиков поднял руку: «А сколько стоит этот глобус?» — «Я же просил задавать толковые вопросы». Поднимает руку другой мальчик: «А что у этого глобуса внутри?»

У отца Анри своеобразная страсть потихоньку мучить кошку и собаку миссии. 17 февраля. На реке

Снова в путь, и рад, что вернулся на судно. Вся река — здесь она гораздо уже — клубится паром в фуге от поверхности. Вдоль одного берега, похожие на птиц, тянутся белые кувшинки. Несколько крокодильчиков возлежат меж упавших ветвей и, когда судно проходит мимо, ныряют.

Л. дал мне почитать «Тигра в дыму», нелепейший, неправдоподобнейший рассказ Марджори Эллингем. Этот рассказ даже не способен убить время, он только раздражает.

Ибис — в дополнение к моим сведениям из естественной истории.

Лусака. Возобновили запас дров. Сумасшедший в красной феске и желто — зеленой мантии, с распятием, кинжалом и большой тарелкой с необычайно важным видом несет какие-то бумаги. По всему видно, без него не может произойти ни одно событие. Как все мы, он считает, что подвластен самому себе. Порой падает на колени и крестится. (Как и все мы, он во власти Господней.) Хорошенькая девушка бредет по берегу, то и дело останавливается и трется о пни спиной и ягодицами.

Сумасшедший, получив благословение вместе с чернорабочими, подходит к понтону; вручает бумаги капитану; это руководства для infirmiers, схемы кровеносной и пищеварительной систем. Я решил его сфотографировать, и он стал мне позировать возле румпеля.

Запомнить : африканцы, встречаясь на дороге, задают друг другу бесчисленные вопросы, а потом, разойдясь в разные стороны, продолжают спрашивать и отвечать, даже не оборачиваясь, и их голоса так ясно разносятся по округе.

Пока мы готовимся отчаливать, сумасшедший отдает свои последние указания, затем возвращается к хижине на берегу, и кто-то услужливо подставляет ему единственный шезлонг. Он усаживается, крестится — благодаря ему все в порядке. В нем есть что-то парламентское. Потом он подходит к самой воде и машет нам вслед. На нем солнечные очки, но только с одним стеклом, в руках медицинская карта, какой-то официальный конверт и оловянная коробочка — что в ней?

Читаю «Плаванье “Ноны”». Все-таки Беллок мне не по душе. Он все преувеличивает. Он много говорит о Правде, но в его чувствах правды нет и в помине. Преувеличивая свою ненависть, он достигает грубого, комического эффекта, а преувеличивая свою любовь,

убеждает нас исключительно в своей фальшивости. Конечно, ему хочется во все это верить, но разве он верит?

Вечером слушали по радио о беспорядках в Браззавиле: европейская Африка разваливается на глазах. Слушаешь такие новости за три сотни миль, в буше, окруженном африканцами, и на ум невольно приходят фантастические рассказы Рея Брэдбери.

Рано лег спать. Мы отчалили около десяти, чтобы к ночи быть в Вакао. 18 февраля. На реке

Спокойная ночь благодаря суппонерилу, который я предусмотрительно положил в холодильник. Причалили на время завтрака, на борт поднялся colon[94] — приземистый человек в очках, женатый (по — настоящему женатый) на туземке, которая говорит только на своем родном языке. Четверо детей, и, конечно, тьма родичей, но это для него не имеет значения — он твердо решил до конца своих дней прожить в Африке.

В 9.15 снова остановка у побережья. Капитан отправился на велосипеде в буш раздобыть у colon, если удастся, груз, так как на парходике пусто.

Беллок ругает парламент: если позволить себе такую же подозрительность, в какую впал он, поневоле задумаешься, а не подкуплен ли Беллок, чтобы нападать на парламент с грязной целью сбить людей с толку и заставить забыть о главном — ведь коррупция среди отдельных министров и членов парламента, в конце концов, не самое главное.

Начал перечитывать «Дэвида Копперфилда». Первые две главы романа, вне всякого сомнения, превосходнейшие, недостижимые даже для Пруста и Толстого. Страшусь минуты, когда Диккенс опустится — как он неизменно опускается — до преувеличений, витиеватости и сентиментальности. С каким совершенством подана идиллия Ярмута на фоне угроз мистера Мердстоуна!

Сегодня в полдень было невыносимо жарко; река сузилась до пятидесяти ярдов, а то и того меньше. Сейчас пять часов: отец Жорж, капитан, сидит, нанизывая бусины четок, отец Анри раскладывает пасьянс. Книга застряла у меня в мозгу и ни с места.

После обеда на борт поднялась чета colons с ребенком. 20 февраля. Ломбо — Лумба

«Ломбо — Лумба» значит «лесная вырубка», и лепрозорий занимает только эту вырубку, живописно усеянную округлыми рыжими холмиками, сплошь усыпанными листвой — работа термитов. Рано утром вместе со священниками покинули судно и часам к одиннадцати обошли всю округу. Ужасно жарко. Но, несмотря на жару, необычайное ощущение простора и легкости. Дом для детей, куда младенцев помещают с рождения: матери приходят дважды в день покормить малышей — у каждой здесь небольшая тумбочка, где хранятся пеленки. В этих краях некрасивы ни женщины, ни дети. Маленькое, чахнувшее несчастное существо четырех лет, скорчившись как в утробе, безмолвно лежит на кровати в пустой спальне, крохотное, как годовалый младенец, а то и меньше, с безысходной тоской на лице. Отцам разрешают навешать детей по воскресеньям.

Наши священники уехали. Отец Октав страдает от одиночества и оттого очень благожелателен. Читает дешевые romans policiers[95]. Safard[96] обычно по вечерам. После сиесты мы снова отправились на прогулку в лес, к его любимому пруду — жара стояла почти невыносимая. Возле пруда отец Октав соорудил скамеечку, чтобы сидеть там со своей safard. Вернулись священники (отец Анри от жары занемог), и мы стали играть в «421». В 7.15 розарий в маленьком гроте при свете свечей.

Запомнить : в церкви скамеечки для прокаженных сделаны из бетона, чтобы легче было мыть.

Ужин с demoiselles[97] — так здесь называют женщин из «Assistance Sociale»[98]. Потом специально для меня пришел с факелами школьный оркестр, и мальчики постарше устроили нечто вроде представления. Психологическая поддержка здесь гораздо сильнее, чем в Йонде. Кругом разбиты цветники. Все, чтобы поднять больным настроение[99]. Целый день, пока мы бродили по округе, меня то и дело окликали: кто я такой. Священник — рьяный фетишист — им отвечал. До десяти играл со священниками и demoiselles в «421». В моей комнате огромный паук; проснулся разбуженный настоящим тропическим ливнем, не стихавшим до шести утра.

К моему удовольствию — мне уже здесь все приелось, — решено сниматься с якоря после второго завтрака в Вафании. 20 февраля. Ломбо — Лумба

Радует мысль об отъезде. Бродил по округе, фотографировал (на снимал целую галерею портретов), беседовал, что дается все труднее и труднее — до чего же мучения с чужим языком усложняют и без того нелегкое тропическое путешествие! Играл в «421» и ни разу не выиграл. Поневоле станешь суеверным, видя, что священникам постоянно везет[100]. Наконец настала половина двенадцатого — пора ехать в Вафанию; отправляемся целой компанией: demoiselles и все прочие. И наконец, в 12.45 отчаливаем с массой пассажиров, коз и т. д. Через полчаса совершенно по — глупому натыкаемся на топляк — руль погнут. Прибились к берегу в лесу, разожгли костер; руль пришлось снять: может быть, удастся его выпрямить. Жарко и обидно! Длинные пальцы пальмовых листьев неподвижны, но при малейшем дуновении бриза они начинают двигаться, точно пальцы пианиста по клавиатуре рояля.

Для книги:

Пассажир записывает в дневник: «Я жив, так как испытываю неприятные ощущения». Он не совсем понимает, зачем ведет дневник. Может быть, так: «Я боюсь, но боюсь лишь каких-то пустяков: тараканов в каюте...»[101]

Стемнело, капитан пошел удить рыбу, а я уселся на понтоне отдохнуть от жары. Одна за другой на небе появляются звезды, по лесу с шуршанием носятся кровожадные летучие мыши. Из-за шума от всякой живности нелегко уснуть. 21 февраля. Воскресенье на реке

Наконец-то примерно в 6.15 отчаливаем. Проснулся с резкой болью в горле. Месса. У рослого, довольно дерзкого на вид африканца молитвенник с картинками на религиозные темы, и среди них фотография кинозвезды в костюме ковбоя.

Сегодня в девять уже темно, прохладно и штормит, но этого мало—мирадами носятся мухи цеце. В этом сумраке писать почти невозможно.

Разразился жуткий ливень, он длится уже полтора часа. Где-то позади судно «Отрако» понемногу нагоняет нас. Одиннадцать часов, все еще льет дождь. Зашли в Бесоу за грузом. Три старые лодки, две из них перевернуты вверх дном, крохотная прибрежная полоса, две женщины укрываются под лодкой от дождя. Пассажиры, прибывшие из буша. Нас догоняет суденышко «Отрако» — слава богу, я плыву не на нем. Единственно, где может посидеть пассажир первого класса, помимо своей каюты, — крошечный клочок палубы над машинным отделением, где страшно жарко. Там сейчас скрючился какой-то конголезец. Ожидающие на берегу пассажиры прячутся от дождя под крупными листьями банана. Приходится отойти и уступить место «Отрако». Здешний груз очень невелик и сомнителен, так что торопимся в Бокока, опасаясь, как бы «Отрако» не перехватил там наш груз.

Три козы в упряжке; маленькую, что посередине, бодают, и она дергается то вперед, то назад.

Месье Гурмон, молодой плантатор из Бокабу, впервые за двенадцать лет едет в отпуск в Европу. Две его дочери в Бельгии, два маленьких сына вместе с ним, а дома еще остался

младенец. Принес мне «Силу и славу» и попросил автограф[102].

Отрывок. Доктор сказал: «Ему это стоило того, что я бы назвал «ценой потери». Он был уже не заразен. Если б мы тестировали его умственные способности, так же как мы делаем тест на проказу, результаты были бы отрицательными. Разумеется, он калека, и у нас нет ни времени, ни денег для профессиональной реабилитации таких больных. (Непонятно, как монахиням удалось обучить Део — Гратиаса вязать свитеры, при том что у него не было пальцев.) И все-таки, по — моему, этот человек обрел бы свое место в жизни, если бы только не эти идиоты, эти всюду сующиеся идиоты...»

«А вы не слишком суровы к этой женщине? — спросил молоденький священник. — Слишком? Да она самая большая гордячка во всем городе. И самая счастливая. Меня так и подмывает рассказать ей о письмах, они бы ей здорово испортили настроение, хотя, в конце концов, зачем мне в это вмешиваться, мое дело — прокаженные».

Эту финальную сцену я написал в полночь. Интересно, я когда-нибудь до нее дойду?[103] Роман помимо моей воли без конца изменяется. Доктор уже не просто человек, непосредственно заинтересованный, он с горечью комментирует происходящее. Это управляющий плантацией, тупой и ревнивый, и его жена, хорошенькая и тупая, — они-то и навлекли беды на голову С.

Как мало букв можно использовать вместо имени. «К» принадлежит Кафке, «Д» я уже использовал, «Х» — какое-то неловкое. Остается «С». Удастся ли оставить без имен главных персонажей, как я это сделал в «Силе и славе»?[104]

«Доктор с удивлением взглянул на С.: этот человек и вправду сыграл с вами шутку». 22 февраля. На реке

Все еще прохладно. По — прежнему болит горло, напоминает о себе ревматизм. Вчера кто-то оставил на борту «Восточный экспресс», чтобы я поставил на нем свой автограф. Остановились в Вакао. Колонист, которого ждали на борту, заболел — лихорадка. Ночью разбудило шумное приближение «Отрако», а потом никак не мог заснуть из-за кур, петухов и коз.

Приснился сон, что участвую в какой-то войне с индейцами. Предполагалось, что ночью мы индейцев не тронем, но часовые стреляли и убили одного, поэтому теперь мы ждали нападения. Я зарядил два револьвера старого образца и почувствовал необъяснимую уверенность и удовлетворенность[105].

Возвращаемся в Лусаку, тот самый сумасшедший машет нам зеркалом. После ленча — Имбонга и та же самая миссия. До чего же быстро надоедает компания новых знакомых. Как хочется снова побыть с друзьями! Но ждать этого придется почти три недели.

«Отрако» нагоняет нас вечером в Имбонге. Он налетел на тот же топляк и повредил оба гребных винта. 28 февраля. Йонда

Посетил амбулаторию для прокаженных и совершенно пустую больницу в Коке. В отличие от больницы в Йонде, эта прекрасно оснащена, но нет ни одного пациента[106]. Правда, главной моей целью было познакомиться с dispensaire[107], мадемуазель Андре де Йонг, GM[108], героиней войны, про которую рассказывают, что ей удалось вывезти из Бельгии около тысячи союзных летчиков, прежде чем немцы арестовали ее и отправили в концентрационный лагерь. У нее красивые, веселые глаза, и выглядит она еще очень молодо, хотя ей уже, наверное, за сорок. Она сказала, что говорит по — английски с акцентом потому, что языку она училась у всего Британского содружества: канадцев, австралийцев, англичан. Говорят, что по характеру она вспыльчива, но тут же и отгорит; книга, которую написал о ней англичанин Эйри Нив, по — французски называлась «Petit Cyclone»[109].

Плывущая по реке Конго растительность — серьезная угроза навигации. Военным поручено уничтожать ее ядохимикатами, а от этого яда, говорят, человек может со временем тронуться рассудком.

Вечером с доктором объехали плантацию, а потом в тщетных поисках гиппопотамов доехали до деревни Иконга, чтобы посмотреть захватывающее зрелище — закат на реке Конго. Пылающую дорожку пересекают пироги, возвращающиеся с рыбной ловли.

Густой сине — зеленый цвет пальм: точно папоротники, растущие из коры ананасов.

После обеда до двух часов ночи ходили с Л. и полицейским Роланом Вери по африканским кабакам. Реклама «полярного» пива. Белые жокейские шапочки носят название «полярных». Публичные женщины: помада на губах африканки становится розовато- лиловой, а кожа под косметикой кажется серой, будто намазана глиной в знак траура. Старик — сумасшедший в рваной рубашке, с женской сумкой. Возле последнего кабака грандиозный спор: женщина выпила пиво из мужской кружки. Пристали две девицы: «Тут у всех гонорея и сифилис. А мы здоровые». В кабаке молодой спорщик — тонкие, изящные руки африканца. Он с сомнением говорил о честных намерениях европейцев, но, когда я упомянул Гану, смутился. Африканец по — настоящему и не знает, что происходит в мире. Он вроде бы и рад поверить в искренность белых, но в то же время испытывает смущение и боязнь разувериться в собственных догмах. Другой на его месте, возможно, и слушать бы нас не стал.

Вернулся домой вместе с Бери, выпить рюмочку виски. Он похвалил моего Скоби — точный, по его словам, тип колониаль — ного полицейского[110]. Дома в 2.45; завтрашняя поездка к озеру отменяется. 1 марта. Воскресенье. Йонда

Доктор в романе: «По временам ему чудится, будто его стол окружают запахи африканцев, и сердце его начинает колотиться точь — в-точь как в день его первого приезда в Африку».

Похмелье; не вставал почти до восьми часов; чашка кофе, ленч со священниками; долгая сиеста: читал «Дикие берега любви» — безудержное многословие; отправились в Кок вместе с Л., в маленьком ресторанчике пили пиво. Месса в Коке (совершенно лишенная религиозного духа): все вертят стульями и вертятся сами, точно в танце; так и кажется, что перед тобою партнерша. Большинство малопривлекательные, колониального типа. Для африканцев, как обычно, низкие скамеечки высотой несколько дюймов.

Дискриминация повернула в обратную сторону. За пользование радиоприемником белые платят больше, чем негры; в суде, при отсутствии свидетелей, если негр заявит, что белый его ударил, суд всегда на стороне нефа, и это ведет к шантажу. Самобичевание европейцев — многие монахини после событий в Леопольдвиле получили письма из Европы: «Мы сами навлекли на себя эти беды». Они понятия не имеют, как самоотверженно помогают здесь африканцам.

Турнюры африканок: они надевают на бедра, прямо на голое тело, нечто вроде веревочного каркаса с пластмассовыми кольцами. Чем богаче женщина, тем больше колец. Им придается сексуальное значение. Интересно, снимают ли они их, когда отдаются мужчинам?

Контроль за рождаемостью здесь не проблема. Африканская раса вымирает из-за бесплодия женщин, больных гонореей. К доктору на днях привели восьмилетнюю девочку, больную гонореей. 2 марта. Йонда

Вечером собрались посидеть и выпить вместе с мадемуазель де Йонг и ее приятельницей. С готовностью делится своими воспоминаниями военных лет, многим из того, чего нет в книге. Ее и всю организацию выдали два американских летчика, которым немцы пригрозили, что расстреляют их как шпионов, если они в доказательство того, что являются офицерами, не восстановят во всех деталях свой путь из Бельгии до Пиренеев[111]. Вообще-то американцы

во время побегов, как она убедилась, вели себя отнюдь не блестяще: они считали, что должен быть гораздо более легкий способ добраться до Испании, чем столько идти пешком; никто из них не умел ходить. (Она сказала, что американцы просто говорили ей, что не в состоянии идти дальше; британцы — что они ужасно устали, но что будут идти до той минуты, пока не в состоянии будут сделать ни шагу, — эта минута так никогда и не наступала. Те же упреки были и в адрес канадцев. Она явно предпочитала британцев. Однако хуже всего было с двумя бельгийцами, которых ее контрабандисту как-то пришлось разом тащить на себе в течение двух часов.)

История с Джефом (австралийцем) и Джимом (британцем), с их пререканиями и дружеским соперничеством. Джима ранило, и Джеф настаивал, чтобы тот прыгал первым. Он недостаточно хорошо пристегнул парашют, и его стало срывать, когда Джим схватил стропы одной рукой. Лицо у Джима было совершенно детское, у Джефа — решительное и твердое. Джеф нес Джима и твердил, что ни за что больше не потащит на себе англичанина. Джим отвечал, что ни за что больше не позволит тащить себя австралийцу. Врач, адрес которого им дали в Англии, сделал Джиму укол, который, по его словам, позволит ему пройти две мили до Ватерлоо. Но в Ватерлоо им вручили велосипеды и велели ехать прямо в Брюссель. В Брюсселе два железнодорожных билета, предназначавшихся для двух пленных, были доставлены в тот же вечер, и бедняга Джим снова вынужден был пуститься в путь. Сопровождавшему их велели прихватить складной стульчик и проследить, чтобы раненый сидел на нем, если все места в поезде будут заняты. Но так как у Джефа на лице был след от ожога, проводник решил, что он и есть раненый, и велел ему сесть на стульчик. Ни Джеф, ни Джим ни слова не говорили по — французски, так что никак не могли исправить ошибку, и всякий раз, когда Джеф делал попытку встать, ему приказывали сесть снова. И только в Париже, когда Джим, после того как поезд уже миновал станцию, упал без сознания, проводник понял свою ошибку. Через неделю после того, как их сбили, они уже были в Англии, и Джеф погиб в первом же вылете.

Она рассказывала так, словно все это была просто шутка, а те годы — счастливые годы, и лишь однажды обмолвилась о том, как напряжены были нервы. Ей удалось сделать забавным даже рассказ о концлагере, где для сна на пять человек отводилось так мало места, что все пятеро могли поместиться только в том случае, если лежали на боку вплотную друг к другу, и когда кто-нибудь переворачивался, переворачиваться должны были и все остальные. Как-то ночью она услышала негодующий женский голос с брюссельским акцентом: «Посмотрите на нее. Спит себе на спине, как королева».

Под жужжание насекомых за окнами докторского дома мы сетуем, что в Конго не бывает тишины никогда — разве что всего час после полудня, в такую жару, что все равно это не доставляет никакой радости. А ей вспомнилась удивительная ночная тишина в Пиренеях[112]

Я спросил ее, почему она приехала в Конго. «Потому что с пятнадцати лет я хотела лечить больных проказой. Если бы я помедлила еще немного, было бы слишком поздно».

Она католичка с 1947 года. 5 марта. Йонда

Тихое утро, почитываю «Дорогу в Рим»; я уже не испытываю к ней той неприязни, что в детстве (в этом романе рисовка простительнее, чем в «Плаванье “Ноны”», ведь Беллок писал его в молодости, а молодым это позволено): приходится быть бережливым — скоро под рукой не останется ни одной книги.

Множество молодых африканцев ездят на велосипедах. Они составлены возле амбулатории, в точности как возле колледжа в Кембридже.

Прибыл в Леопольдвиль. На вокзале меня встретил М. и отвез в гостиницу. Столь желанная

ванна, прерванная лишь двумя телефонными звонками и одним письменным посланием. 6 марта. Леопольдвиль

Беда с этими журналистами. Назначил свидание на завтрашний вечер, когда меня уже здесь не будет.

О, эти мечтатели — статья — писателями. Сидел в баре с одним усталым человеком, который когда-то прислал мне восторженное письмо о своем сыне и «Маленьком поезде». Он женат на необыкновенно красивой женщине — третья красивая женщина из виденных мною в Конго. Отвез меня назад в гостиницу и по дороге, как говорится, открыл свою душу. Он всю жизнь лелеял мечту о собственном творчестве — ну хоть одну — две страницы — и вот теперь он уже немолод, болен, устал. 7 марта. Браззавиль

Меня вынудили согласиться на интервью, но я решил прибегнуть к уловке и сел на пароход в 9.30. Крохотный порт Лео с билетной кассой, таможенником, проверяющим багаж только у африканцев, и чиновником иммиграционной службы, занимающимся только белыми. А на той стороне все чиновники негры, и не досматривают багаж даже у белых. Сколько возможностей для белого контрабандиста в наши дни в Африке!

Браззавиль гораздо более красивый и привлекательный город, чем Лео: в Лео Европа своими небоскребами давит на африканскую почву, а здесь Европа утопает в африканской зелени. Даже магазины тут шикарней, чем в Лео. Жители Лео называют Браззавиль деревней — но уж лучше милая провинциальная деревушка, чем скучный город.

Тихий день. Вечером отправился на такси в книжную лавку и купил первый том «Полного издания дневников братьев Гонкур». Выпил рюмку виски один у себя в комнате. Приятно недолго побыть одному.

Индуизм — религия тропиков: ответ на нескончаемое кровопролитие, которое встречается лишь там. На каждое насекомое, убитое в Европе, в тропических странах приходится по крайней мере сотня. Убивают не задумываясь — пятна везде: на салфетках, страницах книг.

Великолепный обед — наверное, поэтому так плохо спал.

Возможный эпитафия: «Вот они, пути и холмики праха для таких смертей и такого отчаяния». Диккенс. 8 марта. Браззавиль

Дочитываю «Дэвида Копперфилда». Из книги выпала страница или меня подводит память? Точно помню, была иллюстрация: Стирфорт среди обломков судна, а может, эта картинка была только в моем воображении? Стирфорт всегда притягивал меня, и хотя ребенком я трепетал, читая о мистере Мердстоуне и его трости, пожалуй, именно смерть Стирфорта породила во мне страх утонуть — умереть так, как он.

Двор гостиницы запружен бедными молодыми африканцами, которых какой-то никудышный художник — европеец выучил делать на черной бумаге «декоративные» изображения танцовщиц — все одинаковые. Наверно, продают их туристам. Этим художником восхищался библиотекарь в Лео, он с гордостью показал мне одну из его работ — не хуже, не лучше всех прочих; пожалуй, от работ, сделанных его учениками, эта отличалась только размерами. Сравнивая плоды трудов этого художника с искренней манерой одного американца на Гаити, ужасаешься тому, сколько он нанес вреда и сколько вкусов испортил.

Интересно, кто мог читать в браззавильском аэропорту «Англию в XVII веке» Дэвида Огга?

В самолете английские газеты за седьмое марта. Откуда? Либревиль: маленький симпатичный аэропорт, сплошь зелень и вода, словно на пригородной железнодорожной станции. За спиной, на западе, маячит Атлантика. Большая компания пришла проводить

африканца в Париж. Все в ней перемешано: белые и негры, мужчины и женщины. Совсем не так, как в Бельгийском Конго, где женщины до сих пор не получают образования. Негр — священник. Негритянские девушки очень хорошенькие, в европейской одежде, многие в коротких пышных юбках. Чрезвычайная сердечность, горячие рукопожатия, шумная приветливость. Колониализм поспешно и униженно сдает позиции. Стоит только сравнить с официальным отступлением в Бельгийском Конго и приказом чиновникам не «tutoyer»[113]. И все-таки нельзя отделаться от впечатления, будто худшие из белых перемешались с худшими из негров. В 4.30 пополудни почти все пьют виски. Влажные, потные волосы белых женщин.

В Дуала меня встретил Б., старый приятель по Индокитаю. Пошли в бар вместе с ним и одним американцем, а потом вдвоем с Б. ко мне в гостиницу. Номер с кондиционером, чудесный вид: пальмы, лес, водная гладь. Вечером: красивые, хорошо одетые женщины с прекрасной косметикой, танцы, веселье, не свойственные английским колониям. Вместе с Б. и еще с кем-то зашли во «Фрегат»: проститутки — негритянки и крохотная танцевальная площадка. Молодые французские моряки угощают выпивкой и танцуют с прости — тутками щека к щеке. Одна из девушек необыкновенно красива, с печальными, всепонимающими глазами.

Конвой в западную Африку

9 декабря 1941 года

Завтрак в Ливерпуле, в «Аделфи», — солидный, непомерно огромный паб: ощущение покоя, безопасности и твердой земли под ногами. Потом в такси по щербатым мостовым еду в порт, рву не пропущенные цензором письма и выбрасываю их в окно. Безлюдные, по — воскресному, пространства, и не у кого спросить дорогу. Даже такую махину, как корабль, отыскать нелегко. Наконец нахожу его небольшое, пятитысячетонное, дизельное грузовое судно, одно из новейших в пароходстве «Элдер Демпстер», с уютными, светлыми маленькими одноместными каютами и всего лишь двенадцатью пассажирами. Три офицера добровольческого морского резерва (один из них лишь дважды был в море, и то не дальше Гамбурга), несколько младших офицеров морской авиации, пожилой американец, профессор Уитмор, большой знаток византийского искусства и вегетарианец, два нефтяника, загадочный иностранец, очень слабо владеющий английским, с офомной квадратной головой и в престранных брюках гольф. Отчалили около 2.30. Прощальный взгляд на Англию в тумане над рекой Мерси, но это видение, казалось последнее, не исчезло: мы бросили якорь. После чая — шлюпочные учения, дело довольно шумное, без которого не обходится ни одно плавание; на этот раз серьезная репетиция. Она никому особенно не по вкусу. По обе стороны от корабля подвешены по борту надувные спасательные плоты, которые в любую минуту можно спустить на воду; резиновые плоты — в каждом из трюмов. На полуюте парни из противовоздушной обороны в хаки и старых свитерах несут постоянную вахту у зенитных пулеметов.

После обеда один из офицеров добровольческого резерва, пожилой, с шотландским акцентом, усердно пытается собрать нас всех вместе. Мы «добровольно» соглашаемся нести вахту по наблюдению за подводными лодками и у зенитных пулеметов.

Завтра выходим в Белфаст, загадочный иностранец — голландец; собираешь обрывки информации — в точности как когда-то в прежние времена в первый вечер круиза. Усфаиваешь себе гнездо из этих обрывков... Помощник командира уже дважды подрывался.

Я распаковал книги, посмотрел на новые обложки и снова все упаковал. Говорил со Спарксом. Он не был в море уже десять лет, у него теперь свой радиобизнес. Он вернулся на

флот без всякого энтузиазма, только чтобы избежать армии. Все на корабле, от капитана до матросов на камбузе, похоже, на этом судне впервые. Они то и дело путаются и не знают, куда идти, точно пассажиры.

Начал читать «Маску Димитриоса» Эрика Эмблера. Когда приходишь в дом к незнакомому человеку, обязательно разглядываешь его книжные полки. Уитмор взял с собой «Тюдора Корнуэлла» Рауса, «Серого кардинала» Хаксли, стихи Лоуренса Биньона; Ф., молодой офицер — резервист, который, похоже, будет моим партнером по выпивке, прихватил «Записки Пиквикского клуба». Тут в курительной каюте есть крохотная библиотека, но ее еще не открыли.

«Нас организуют как положено, — сказал шотландец из Глазго. — Завтра».

Сегодня будем спать, стоя на реке Мерси, спокойно и в безопасности. 10 декабря

Снялись с якоря после завтрака. Пассажиры поделили между собой три четырехчасовые дневные вахты: двое у пулемета на верхней палубе будут следить за появлением самолетов, а двое под капитанским мостиком — за подводными лодками. Старший в мою вахту — житель Глазго. Взбираешься по короткому отвесному стальному трапу в некое подобие боевой рубки, внутри которой находится пулемет. Один из матросов показал нам, как с ним обращаться: он из тех немногих, кто был на корабле в прошлый его поход. Тогда в первую же ночь после выхода из Мерси два корабля были торпедированы, а вахты пассажиров продолжались всего два дня. Тем, кто следил за подводными лодками, пришлось нести вахту на капитанском мостике, но они так напились, что капитан отказался пустить их на него еще раз. Но на сей раз едва ли стоит опасаться, компания подобралась необычайно трезвая и степенная. Воет сирена, страшно раздражает, если начинаешь считать гудки, семь коротких сигналов и один длинный, чтобы оповестить судовые посты.

Холодный серый день: море бурлит; солдаты в подшлемниках возле пулеметов, негр — стюард возится с водой в трюме.

Два часа вахты и еще полчаса сверх этого, чтобы дать предыдущей вахте позавтракать. Потом час наблюдения за подлодками — резкий холод, особенно когда ветер слева. Даже птицу можно принять за перископ. За обедом старший механик рассказал нам, что в такую погоду подводная лодка с легкостью, незамеченная, преследует корабль днем в надводном положении, а ночью погружается под воду для атаки. Два корабля, на которых он служил, после того, как он с них ушел, были торпедированы. Надеемся, что удача ему не изменит. Между выходами в море проходит не более пяти дней.

Час возле пулемета — на этот раз немного потеплее. Стальные щитки похожи на крылья черных ангелов. Прошли остров Мэн, в небе самолет, предполагаем, что наш. Сообщение по радио: японцы потопили «Принца Уэльского» и «Рипалс».

Странно, но при наблюдении за подлодками думаешь только об опасности, грозящей от них, а во время вахты у пулемета — только о самолетах. Если подняться на мостик, слышно, как ветер гудит в проводах: похоже на отдаленное церковное пение.

За чаем почувствовал приступ морской болезни, пролежал до обеда. Резкий холодный встречный ветер — чтобы отвлечься, молюсь Святой Деве. Снова и снова забываешь, что идет война, мечтаешь о юге, о теплой погоде, а потом, словно тошнота, вновь подступает страх. Вечером я надел фуфайку, но только отчасти для тепла. В полночь меня разбудила сирена. Я насчитал семь коротких гудков и, поспешно соскочив с койки, даже не заметил, что долгого гудка не последовало. В полной растерянности пытался сообразить, что надеть прежде всего. Потом услышал, что стало тихо, и задумался, что делать дальше. Мой сосед оказался менее осмотрительным. Форма морской авиации мелькнула в проеме двери, но вскоре он медленно вернулся обратно. Все мы тут новички и не знаем порядков. Мы только

подходим к Белфасту. После дня на море любопытный эффект: то и дело кажется, что за бортом слышится крик, по странности слагающийся во фразу: «Вам нужен лоцман?» 11 декабря

Бросили якорь в заливе вблизи Белфаста.

Мичманы морской авиации держатся обособленно: от остальных офицеров они отличаются неизменно чистыми рубашками и воротничками; целый день они ходят в перчатках.

Книги, что я захватил с собой для чтения на африканском побережье, скорее годятся для необитаемого острова. Только забывчивость помешала мне взять Гиббона и «Анну Каренину».

Рассказы Ги де Мопассана

Ветхий Завет (в серии «Мировая классика»)

Новый Завет и Деяния апостолов (в серии «Мировая классика»)

«Отец и сын» Эдмунда Госсэ

«Маска Димитриоса» Эмблера

«Скитания по Южной Америке» Уотертона

«Ранец» (антология Герберта Рида)

Оксфордское издание поэзии XVII века Избранные стихотворения Рильке Избранные стихотворения Вордсворта

«Золотая Сокровищница». Бродвейское издание английской поэзии

«Избранное» Браунинга (издательство «Пингвин»)

Однотомник Шекспира (под редакцией Блэкуэлла)

«Доброта в уголке» Т. Ф. Поуиса «Жизнь Толстого» Эйлмера Мода «Север и Юг» миссис Гаскелл «Автобиография» Хэйдона

Еще несколько романов Тrolлопа: «Дети герцога», «Вы сможете ее простить?», «Ангел Айалы», «Ралф — наследник», «Американский посол», «Сэр Гарри Хотспер» и «Мисс Маккензи».

Несмотря на морскую болезнь и вахты, в среднем одолеваю в день не менее пятисот слов для «Британских драматургов»[114].

Весь день лежали в дрейфе в заливе. Голландец оказался поляком, который родился в Грузии, сражался в русской армии в последнюю войну; он мусульманин. Объясняет что-то по карте Уитмору, и вдруг его квадратное массивное лицо смягчается — наконец-то он может поговорить на своем родном языке: Уитмор, похоже, владеет всеми языками. Пожилой мужчина, с лицом старой девы и женскими морщинами, в очках в стальной оправе, необыкновенно мягкий и добросердечный. У него квартира в Лондоне и дом в Массачусетсе, в котором он родился и который выстроил его прадедушка. И еще у него pied-a — terre[115] в Стамбуле.

В шесть часов слушали радио в каюте стюарда. Германия объявила войну Америке. Уитмор мягко и учтиво замечает: «Теперь мы союзники».

Открылась судовая библиотека. Читаю «Океан» Хэнли — история о путешествии в шлюпке. Выглядит неправдоподобно. Никаких упоминаний о холоде.

Судовой интендант оказался моим знакомым: он служил на «Дэвиде Ливингстоне», когда год назад я плыл на нем в Либерию.

Книги в каюте старшего стюарда: некий Дансейни, «Фонтамара» Силоне и «Испанская ферма» Мотрема. 12 декабря

Подходим к Белфасту. Маленькие белые маяки на сваях, буй, к которому, кажется, привязан стол; корабль, затонувший прямо в порту. Подъемные краны напоминают голые деревья в суровую зиму. То там, то здесь мерцание зеленого пламени в брюхе строящегося корабля. Сотни докеров одновременно дружно застыли, провожая взглядами маленький корабль, что входит в порт.

Нескончаемо, нетерпеливо ждем, когда на борт поднимется иммиграционный чиновник. Отчего мы так жаждем попасть на берег в таком скучном месте? Возможно, это просто дух путешествий. Я решил, что перед выходом в Атлантику неплохо бы исповедаться. Ужасная католическая церковь, которую не так-то просто найти в протестантском Белфасте. В ризнице взъерошенный ключарь, услышав о моем желании исповедаться, стал меня выпроваживать. «Сейчас не время для исповеди», — сказал он, пытаюсь выставить меня за дверь[116]. Жуткая комната, увешанная религи — озними картинами, неудобная, как приемная дантиста; а потом — спокойный милый молодой священник: он называл меня «сын мой» и понимал все самым бесхитростным образом[117]. На той же улице с церковного склада продают старушкам из-под прилавка дешевые сигареты.

Вечером в «Глобусе» полторы дюжины устриц и полторы пинты бочкового «гиннеса»[118]. И снова на корабль. У. обедал с генеральным консулом. «Последний раз мы виделись с ним, — сказал он мягко, — в Грузии, на военной дороге, которую тогда вели к Тифлису».

«Глазго» оказался тем самым пьяницей, без которого не обходится ни одно судно, курсирующее вдоль Западного побережья. Он ходил на берег, чтобы вырвать зубы и, вернувшись, показал нам две «дыры». До этого, когда капитан узнал о его просьбе, поведал старший стюард, он сказал: «Впервые такое слышу. Моряки, когда хотят сойти на берег ради женщины, отпрашиваются за мылом и спичками».

«Глазго» с его крючковатым птичьим носиком и неожиданным хмельным потоком рассуждений напоминал захолустного проповедника. В нем угадывался, наподобие главного героя в пьесе «Уходящий в плавание», своего рода хор, предупреждающий зрителей, что корабль обречен. «Итак, господа, он загнал нас всех в маленькую курительную каюту, нам предстоит провести вместе пять или шесть недель, и мы за это время превосходным образом обменяемся мнениями. Я мечтал о том, какие у нас будут замечательные дискуссии. Мы все пришли на корабль с разными мыслями, но когда мы покинем его, мы все будем думать одно и то же. Дискуссии — я не люблю споров. Дискуссии. Политические дискуссии. Меня не интересует, что думаете вы: меня интересует, что думаю я. Итог мы подведем сообща. Замечательный опыт. Самый замечательный опыт в моей жизни, самый серьезный. Я открою вам все, что я думаю. Я не скрываю от вас, господа: я пьяница. В августе я ведь похоронил свою жену, и с тех пор бедняге Джо остается только одно — пить. Полный крах. Я предвкушаю, господа, замечательные дискуссии. Я буду учиться, это единственная стоящая вещь в жизни. Многого мне не нужно, я буду учиться совсем немногому. Кто-то сказал: “Книгу стоит прочесть, если в ней есть хоть одно стоящее предложение”. Я бы не вспомнил этой цитаты, не будь я пьян». Во время всей этой речи внимательный, учтивый взгляд У. «Глазго», несомненно, удалось покончить с абсолютной трезвостью, царившей на корабле с первого дня. И теперь он больше напоминает старину «Дэвида Ливингстона».

Старший стюард дает нам инструкции. Держите двери своих кают приоткрытыми. После выхода из залива Белфаст — Лох спать всегда надо в брюках, рубашке и свитере: по тревоге в темноте не так-то легко одеться. Атака подводной лодки предпочтительней воздушного налета: больше времени, чтобы покинуть корабль. В прошлый раз их корабль был торпедирован, и у них было в запасе три четверти часа. Погиб только один матрос, из машинного отделения.

Когда «Глазго», пошатываясь, отправился спать, поляк затеял спор о религии: «Я мусульманин». Он стал показывать на стаканах: «Это неф, это католик, это протестант, это мусульманин». Бог один и тот же. Ему не нравятся английские шашки (в которые он проиграл) — то ли дело те, что на континенте. «Это несерьезно. Никакой сфатегии». И он, расстроенный, бросил ифу. 12 декабря

Покидаем Белфаст. Опять снопы искр ацетиленовой сварки и голубой и зеленый свет от электросварки. Как только начинается сварка, корпус авианосца освещается, точно ифушечная сцена, и на фоне неразберихи стальных конструкций видна крохотная фигурка сварщика, а потом снова тьма и снова зеленый свет и крохотная фигурка.

Весь день стоим на якоре в Белфаст — Лох. Капитан на катере отправился за приказаниями. Ходят слухи, что мы пробудем здесь фи дня. Вокруг — с дюжину грузовых судов поменьше нашего, эсминец, крейсер сопровождения с самолетом на палубе, выкрашенный в белый и голубой цвета, и изящный небольшой сторожевой корабль, увешанный флажками, словно с акварели Пикассо; ближе к вечеру он принялся снова вокруг кораблей, точно делая смотр своим подопечным. Похоже, скоро отправимся в путь.

В 16.30 шлюпочные учения. Раздали красные круглые фонарики, которые крепятся на плече и помогают следить за человеком в воде.

После обеда «Глазго» снова пришел в курительную навеселе. Он таки своего добился и втянул нас всех в спор, заявив: «Уинстон. Какой в нем прок? Политический авантюрист. Он хоть в чем-нибудь преуспел?» По — моему, старый У. был шокирован, возможно, даже не столько высказыванием, сколько невозмутимостью остальных пассажиров. Перед приходом «Глазго» У. время от времени делился приятными для него воспоминаниями: о лучшем ресторане в Каире, о том, как варят кофе на Кавказе, о растущем в Индии благоухающем по ночам цветке — он сидел в потрепанной мягкой шляпе, с обвязанным вокруг горла шарфом (шарф, думаю, был албанский). «Глазго» с жаром принялся восхвалять диктатуру и ругать демократию, и тут неожиданно мягко вступил У.: «У меня есть письмо Авраама Линкольна к моему деду. Мой дед сердился на Линкольна за то, что он не принял закон против рабства незамедлительно. Последнее предложение в ответе Линкольна было такое... — Голос У. зазвучал нежно, проникновенно: — Люди сами должны решать, иначе как нам возвыситься над королями?»

Четвертый механик прыгнул за борт и, очевидно, попытается добраться до Эйре. Он задолжал десять фунтов экипажу, и его лишили выпивки до тех пор, пока не расплатится. Сколько странных драматических случаев на корабле. В мое прошлое плавание — на германском пароходе из Веракруса — кок покончил с собой, чтобы не возвращаться на родину. Это было в 1938 году. Корабли вокруг нас не входят в конвой. Завтра утром идем к месту сбора, но, если будет туман, встреча может не состояться, а следующей придется ждать несколько недель. 13 декабря

Сегодня с девяти до четырех часов штормило, и к пяти меня начало мутить. Не могу писать. Мы вышли из залива и присоединились к цепочке из семи судов. Наблюдения за подлодками с 9.00 до 10.15, вахта у пулемета с 10.15 до 11.30, потом после довольно скудного ленча сменил кого-то у пулемета с 1.00 до 1.30. На последней вахте сильный ветер и гололед. После вахты никак не мог согреться. Отлеживался. К пяти часам на море стало потише, идем

мимо Бьюта к Гриноку, очевидно, чтобы встретиться с остальными судами конвоя. С одного борта виден ярко — коричневый вереск, а с другого — буйный, пылающий за холмами закат. Отблеск заката на крыльях чаек. Бросили якорь и ждем. Немного поработал над «Британскими драматургами». Как бы то ни было, еще одна ночь в безопасности и в пижаме. Радио в каюте стюарда — неистовствующий смеходром: восклицания комиков, отвратительный механический смех. В полночь снова тронулись в путь. Читаю «Герр чародей» Сары Гертруды Миллин. 15 и 16 декабря

Оба дня штормит. Скорость не больше четырех узлов — встречный зюйд — вест. Оба дня мучит морская болезнь. Во вторник во время дневной вахты над конвоем низко прошел самолет, и с другого корабля его обстреляли из пулемета. Самолет был наш, но пулеметчик с военной точки зрения был прав. Нашим самолетам запрещено пролетать непосредственно над конвоем. Ни в тот, ни в другой день ничего не писал. Старина У. взял с собой запас овалтина и никогда не забывает принять его на ночь. 18 декабря

Единственный погожий день, и снова штормит. В 10 часов утра в каюте старшего стюарда собралась небольшая компания; сидели до 12.20, когда я ушел на вахту. Второй механик играл на рояле, интендант пытался петь, а второй стюард приготовил, как он выразился, трехпенсовые коктейли (ром с молоком) и, водрузив на голову свою боевую жестянку, прочитал патетический монолог.

После ленча воцарилась тишина, и старина У. принялся тихо рассказывать о Генри Джеймсе и его брате Уильяме, о том, как он сидел в одной ложе с Генри и супругой раджи Саравака на той злополучной премьере «Ги Домвиля»[119]. Наблюдения за подлодками отменили, так как идем в середине конвоя.

Старший стюард рассказал мне, что ночами ему очень тревожно: это его первое плавание после того, как их корабль торпедировали, а его теперешняя каюта в точности такая же, как в прошлый раз. Второй стюард, слегка тронутый, уже три раза торпедировался, но цыганка нагадала ему, что четвертого не будет. У. рассказал забавный случай с Гертрудой Стайн: на одной из лекций ее спросили, почему она так ясно отвечает на вопросы и так туманно пишет. «Если бы Китсу задали вопрос, как вы думаете, он бы ответил на него “Одой греческой урне”»? 19 декабря

Второй стюард — тронутый, — судя по его словам, во время прошлой войны два года провел в плену в Сибири. Не понимаю, как это возможно. Поэтому, говорит он, у него и брюшко.

— Ненавижу их, — говорит он, белым кителем закрывая весь дверной проем. — Я, не дрогнув, убью немецкого ребенка. И беременную женщину, которая ждет еще одного такого же. Если я выживу, вы прочтете обо мне в газетах лорда Бивербрука после войны. После прошлой войны я мог бы стать членом парламента, если б меня избрали. А если я погибну, я оставлю послание двум своим дочерям — они продолжат мое дело. Если сейчас немцам все сойдет с рук, две мятежницы в Англии уж найдутся.

— Не надо говорить о смерти.

— Я никогда не умру. Я живу молитвами, я молюсь на рассвете и на закате, как магометанин (он католик).

При этом и он, и старший стюард страшно взбудоражены предстоящим Рождеством.

Второй стюард подстерегает пассажиров и с необычайной важностью уговаривает их устроить рождественский праздник. Грандиозные планы обсуждаются и тут же рушатся: авантюра с выпивкой (все складываются по два фунта каждый и пьют кто сколько хочет), за каждой бутылкой виски охотятся как за сокровищем. Без конца что-то обсуждают в каюте стюарда.

Сегодня на час — другой выглянуло солнце, даже было тепло, но теперь снова качка и небо заволокло. Вчера вечером мы должны были идти примерно на широте Ньюкасла — уже десять дней, как мы на борту.

Вечером «Глазго» снова пьян и всем докучает. «Я все время пьян. С завтрака. У меня в каюте бутылка рома. Я пьян и горжусь этим. Терпеть не могу упреков. Да и почему мне не пить? Быть пьяным приятно, это обостряет интеллект». Мичманы морской авиации смотрят на него осуждающе — те, что не снимают перчаток. 20 декабря

Снова штормит. Одиннадцать дней в пути, и очень сомнительно, чтобы мы были на широте Лэндс — Энда.

Около 6 утра взрыв на одном из кораблей, и сигнал тревоги для команды. Пронесся слух, что мы на широте Бреста. Сильное волнение, а в последнюю вахту напалз густой туман. 21 декабря

Ранняя вахта в густом тумане, видимость около ста ярдов; сирены на всех кораблях воют на все лады. Примерно в 8.15 туман рассеялся, и снова мы все точно на своих местах, пыхтим потихоньку. Эсминец сбросил глубинные бомбы, пока мы завтракали, и ушел в головную часть конвоя. Впервые мы целое утро попивали джин с вермутом. Похоже, помимо самолетов, мы везем еще и тринитротолуол. По этому поводу пассажиры начали нервно пошучивать. К вечеру вновь берем курс на запад. Неужели мы так никогда и не повернем на юг? Передали предупреждение, чтобы и за едой все были в спасательных поясах, находиться в них следует постоянно. Распили бутылку бона 1929 г. (5 шиллингов). На борту небольшой, еще довоенный, запас напитков. Кларет по 3 шиллинга и 6 пенсов и шампанское — 21 шиллинг бутылка. 22 декабря

Снова похолодало, но около восьми мы повернули на юг, а после ленча часть судов конвоя повернула на юго — запад. Мы с тоской смотрели, как они скрылись за горизонтом.

Стрелок, он служил в почтовом ведомстве, дрожит в своем свитере; грустные карие глаза — один из двух военных моряков нашего экипажа. Жаловался на невозможность раздобыть чехлы для своих пулеметов, ржавеющих от соленой воды. В пароходстве «Элдер Демпстер», говорит он, полно молодых женщин, которые то и дело заваривают чай: «Похоже, что у них сколько угодно и чая, и сахара». Замечаю, что на судне все время что-то привязывают, крепят веревками, балансируя в самых невероятных позах.

Покончил с «Родителями и детьми» Комптон — Бернетта, разделался с Конгивом в «Британских драматургах»[120], сыграл с поляком три партии в шахматы, одну из них выиграл. 23 декабря

Выпили вместе со старшим стюардом. Его охватывает страх по ночам. Все еще не отправился спать, лежит на своем диванчике. Глубинные бомбы и запасы взрывчатки находятся как раз под его каютой.

Легенда об иностранных судах в составе конвоя, которые специально зажигают огни, чтобы дать знать противнику. В этом случае командир конвоя назначает место сбора, и конвой рассеивается. Иностранное судно, подошедшее к месту сбора, оказывается в одиночестве: остальные суда конвоя сменили курс.

Первый раз за все время днем по — настоящему греет солнце и море синее. Играл в шахматы с поляком. Избежать этого невозможно. Стоит мне прилечь после обеда, он просовывает свою бритую монгольскую голову в дверь каюты с вопросом: «Сыграем?» За шахматами он неизменно напевает: «Хорошо, хорошо, это очень хорошо» — и то и дело пытается взять ход обратно. Я выиграл одну партию из четырех. 24 декабря

Все больше тепла и солнца. Идем в виду Азорских островов. Снова собираемся перед ленчем вместе со стюардом, интендантом и «Глазго». Стюард показывает, как проверить «французское письмо». Мы их надуем, это будут воздушные шары. На палубе несем вахту в шезлонгах.

Вечер начался с полбутылки шампанского. Обед с боном, портвейном и бренди. Потом — вниз, к стюардам, помочь им с праздничными украшениями, а там и сам праздник до половины третьего ночи. Воздушные шары повесили над креслом капитана. Неф — стюард Дэниэл стоял на руках, заложив ноги за голову. Морская авиация спела «Парнишку Дэнни», «Когда в глазах ирландских смех», «На Уидикемской ярмарке» и подобное в том же роде. Тронутый второй стюард всем надоел со своим заученным номером: мы уже столько раз слышали эти стихи во славу тех, кто охраняет торговый флот, написанные его дочерью, которые он декламирует неизвестно по каким соображениям в стальной каске. Старший стюард напялил на себя суконную кепку и с пафосом прочитал стихи о фонарщике. Затем выступил кок в фязной белой фуфайке и фязном белом переднике, с изможденной, чахоточной, фанатичной физиономией, длинным носом, осфым как бритва, и фехдневной щетиной. Он спел превосходную меланхолическую балладу о том, как пошел ко дну «элдер — демпстерский пароход “Вестрис”». 25 декабря

Первый день Рождества начал в 11 часов утра с бутылки шампанского в качестве лекарства с похмелья. За ленчем — передача всеимперской радиослужбы и довольно мрачная речь короля. Обед с грандиозным меню. Закуски, суп, жареная мерлуза, консервированная спаржа, жареная индейка и чиполатас, плам — пудинг, грейпфрутовое мороженое. Как в мирное время. Тосты за короля, за Черчилля, за Рузвельта (для У.), за Сикорского (для поляка) и пр. Потом капитан, помощник и старший механик удалились в курительную. Застенчивый офицер — резервист пытался пропеть псалмы (единственное, что он знал), но атмосфера для этого была не очень-то подходящей. Поиграли в фанты — загадки. В полночь, по традиции, спели «За счастье прежних дней» и разошлись — после чего я обосновался за шахматами с поляком. Тоска по дому меньше, чем можно было бы ожидать. Наверное, из-за выпивки. Около пяти утра был разбужен взрывом: подумал было, что досталось какому-то из судов конвоя, но это мог быть и порыв ветра при перемене курса. 26 декабря

Не о чем писать, одолевает сонливость. Даже конвой наш как-то повыдохся — поблекший как никогда, и никаких разноцветных флажков. 27 декабря

Старший стюард совсем раскис. В прошлый раз его торпедировали на этом самом месте: в девяти днях пути от Фритауна. Они потеряли семь судов за три ночи, его судно было последним. Не следует упускать из виду наличие таких вещей, как морские проходы в Атлантике, но между Дакаром и Фритауном африканский континент образует выступ навстречу аналогичному бразильскому выступу, и эта часть океана — раздолье для вышедших на охоту подводных лодок. Разумеется, ни один моряк не сомневается в том, что эти подлодки пользуются базой в Дакаре — что бы ни говорили политики.

Все теплее и солнечнее. Читаю «Серого кардинала» Хаксли — с неожиданным удовольствием.

Вечером вот уже третье шлюпочное учение. После этого на палубе почти никого, хотя вечер прямо-таки благоуханный. Не знаю, один ли я все время нахожусь в напряжении или то же испытывают и остальные. 28 декабря

День рождения дочери. Шампанское в ее честь перед ленчем и вечером две бутылки кларета. Затем — вечеринка в каюте старшего стюарда. Такое ощущение, будто избавляешься от воздействия наркоза; чувствую, что начинаю бояться одиночества, которое ожидает меня после окончания плавания. Начисто отказался от джина — от него такая тоска. 29 декабря

Жару и впрямь включили на полный ход. Весь день идем очень медленно — предположительно к месту сбора. Ночью — как повелось — снятся кошмары: снова во тьме, в ловушке. 30 декабря

Авария на флагманском корабле. С ним остается один из кораблей сопровождения. Говорят, что мы примерно на широте Дакара.

С полудня ужасно жарко. Читаю на палубе. «Зло под солнцем» Агаты Кристи и Рильке. Словно самый обычный, преисполненный лени день морского плавания мирного времени. Невозможно избавиться от ощущения, что сейчас мир и ты отдыхаешь, и тут же возникает мысль, что в любой момент может раздаться взрыв.

Собираемся перед ленчем и перед обедом в каюте стюарда. Обычные истории из жизни Западного побережья разрастаются, как растения с приходом тепла. Вспоминают случаи восьмилетней давности. О хирурге, который, вырезав из груди девушки — негритянки опухоль, бросает ее собравшимся в ожидании родственникам: «Вот вам эта подлюка».

Матросы — негры частично получают жалованье рисом — сколько-то жестянок из-под табака в день. Они настаивают, чтобы именно такая жестянка служила меркой, не догадываясь, что стоит слегка надавить большим пальцем на донышко, и порция риса всякий раз будет чуточку меньше.

Красный, страдающий от запоров мичман морской авиации, слоняющийся по палубе с мрачным, преисполненным серьезности видом, но при этом в белых перчатках. «Как-то у меня это длилось 17 дней», — говорит он. 31 декабря

Вчера, кажется в 10 вечера, всеобщее изумление вызвал вид не то острова, не то судна, сверкающего огнями на горизонте. Свет в нашем следовании при полном затемнении — это почти из Жюль Верна. Явление оказалось испанским или португальским лайнером[121] — первые огни вдалеке, увиденные нами с тех пор, как мы расстались с землей.

Флагманский корабль нагнал нас вскоре после завтрака, и тут же появился первый признак земли, первый признак Западного побережья — не какая-нибудь там морская птица, а «Сандерленд», гидросамолет противолодочной разведки. Так радостно было его увидеть — словно до этой минуты мы были совершенно затеряны в пустынном море.

В эту ночь снова приснился кошмарный сон. Мой друг проводит хлебным ножом по горлу и режется. Он оттягивает полутрезанный лоскут, чтобы посмотреть, насколько сильно он порезался. Я отвожу его в больницу и вижу, как женщина в автомобиле сбивает на тротуаре мальчика в возрасте моего сына, а затем нечаянно на него наступает. Содранная кожа обнажает красное, кровоточащее яблоко щеки.

Конвой внезапно меняет курс, и на мгновение кажется, что нас бросили. Резкое чувство одиночества.

Вечер с выпивкой в канун Нового года. Кок устраивает джаз-банд со своими поварешками и кастрюлями. Дэниэл, стюард — негр, танцует в коридоре и обвивает ногами шею. Стюард падает в камбузе во время матча по борьбе и до крови разбивает голову. Рыба с жареной картошкой на ужин. Расходимся в полтретьего ночи. 1 января 1942 года

Поляк пылко обсуждает преимущество иметь трех жен. «Одна жена — она командует, три жены — я король». 2 января

Весь день сопровождает нас гидроплан. Конвой разделяется. Несколько судов с локомотивами на палубе продолжают путь до Кейптауна. Одиннадцать остаются с сопровождением.

Ночная жара возвращает нас к теме многоженства. Кто-то спрашивает поляка: «Как же ты справишься со своими тремя женами в такую жару?»

— А, у вас на уме любовь по — европейски. *Passion Orientale*[122] — это совсем другое. Это трава, фонтан. Просторное ложе в саду.

Примерно часов в 11 вечера засекали подводную лодку в 60 милях от нас. Говорят, что четыре дня тому назад нас тоже какое-то время преследовала подлодка. 3 января

Впереди другой крупный конвой из больших судов, корпуса их скрыты за горизонтом, — наверное, транспорты.

Ужасно жарко. Около 10 утра в жаркой мгле холмы за Фритауном. К полудню подошли к бонам. Широкий залив, полно судов. Странные, похожие на пузыри горы, желтые полосы берега, нелепый англиканский собор из латеритного[123] кирпича в норманнском стиле. Чувство необычного, поэзии и восторга охватывает тебя, когда возвращаешься сюда через столько лет, — форма, оживающая после долгого хаоса. Словно обрести наяву место, которое ты увидел во сне. Даже сладковатый, жаркий запах земли — что это: увядающая зелень и краснозем, бугенвиллии, дымок хижин в Крутауне или горящие участки буша, освобождаемые под посадки? — казался до странности родным и знакомым. Он всегда будет со мной, этот запах Африки, и Африка навсегда останется Африкой старого викторианского атласа — нетронутым, нехоженым материком в форме человеческого сердца.

Эссе и интервью

Мир Генри Джеймса

Техника письма Генри Джеймса так много и успешно исследовалась, особенно в работах Перси Лаббока, что я позволю себе не останавливаться на профессиональных достоинствах Джеймса как писателя, а попытаюсь проследить истоки поэтического видения этого художника. У всех писателей бывают моменты самовыражения, когда их основная тема получает четкое и ясное определение, когда их внутренний мир открывается даже самому невосприимчивому читателю. Так, основной мотив творчества Гарди выражен в его часто цитируемой строчке: «Глава бессмертных... закончил свою игру с Тэсс»[124] — или в его предисловии к роману «Джуд Незаметный», в котором говорится о «тех муках и метаниях, насмешках и несчастьях, какие могут омрачить сильнейшие из чувств, ведомых человеку» [125]. Гораздо труднее найти такое самовыражение в произведениях Джеймса, который всегда заботился об объективности своего повествования, подобной той, которую мы находим в драме. И все же, я думаю, весьма показательно следующее высказывание из «Башни из слоновой кости»: «...богатство всегда связано с темными и жестокими делами». В этой фразе ключ ко всему творчеству Джеймса, в основе которого лежало ощущение зла, по своей силе равное религиозному чувству.

Конрад писал, что «искусство — это настойчивая попытка воздать по справедливости (в самом высшем смысле этого слова) окружающему миру». Ни одно определение в предисловиях самого Генри Джеймса не может лучше выразить суть того, к чему он стремился, если, конечно, слово «окружающий» не исключает его собственного видения этого мира. Даже если в некоторых случаях, например в «Святом источнике» или изысканной

«Золотой чаше», мы чувствуем, что судья — Джеймс чересчур увлекается свидетельскими показаниями, что он мог бы вынести свой приговор на основе меньшего количества улик, мы тем не менее должны признать, что, разворачивая перед нами длинную цепь свидетельств морального разложения общества, он не позволяет упустить из виду основное обвинение. И поскольку он стремится воздать по справедливости не только добру, но и злу, его повествование приобретает симметричность и складывается в стройную систему.

Все романы Джеймса одинаковы по своей этической направленности. Разница между его первыми и последними работами только в степени той оценки окружающего мира, о которой говорит Конрад в своем определении искусства. В своих ранних произведениях он, пожалуй, еще не достигает высшей справедливости; путь от «Американца» к «Золотой чаше» можно охарактеризовать как отход от наивного и примитивного понимания истины, переход от очевидного изображения зла как убийства к злу *in propria persona*[126], разгуливающему по Бонд — стрит, образованному, тонкому, обаятельному, к злу, которое отличается от добра лишь по своему крайне эгоцентрическому отношению к жизни. Эти характеры поздних романов Джеймса — настоящие анархисты; они предвосхищают тот предвоенный период аморальности и стихийно возникавшего насилия, когда была сделана попытка нападения на обсерваторию в Гринвиче, захвачена Сидни — стрит. Они создали атмосферу, которая позволила Конраду в «Тайном агенте» показать зло уже без прикрас. Это Мертон Деншер, собиравшийся жениться ради денег на умирающей Милли Тил и для этого вступивший в заговор со своей любовницей, которая была лучшей подругой Милли; это принц Америго, изменивший своей жене с ее мачехой и подругой; это Хортон, обокравший своего друга Грея. Все они свидетельствуют о последней стадии нравственного падения человека, так как во всех этих случаях предателем оказывается лучший друг. Такое видение жизни не является плодом горького опыта писателя, оно не пришло к нему с годами, а было у него всегда. Оно не изменялось со времени написания «Американца». От образа мадам де Бельгард, которая убивает своего мужа и продает свою дочь — первого, весьма прямолинейного изображения порока в женщине, — Генри Джеймс переходит к более тонкому образу мадам Мерль в «Женском портрете», а затем — к Кейт Крой и Шарлотте Стант, этим непревзойденным воплощениям зла.

Это очень важный момент. Джеймса часто обвиняли в том, что его персонажи абстрактны, что ему удаются не характеры, а социальные типы, так как он, оторванный от родины, лишен глубоких национальных корней (как будто сам факт локализации чьего-то таланта в Сассексе или Шропшире автоматически возвышает его над интернациональным талантом Джеймса). Но думать, что талант Джеймса интернационален, тоже заблуждение: он легко мог обойтись без географически точного места действия, так же как обходился без изображения в своих романах финансового мира Уоллстрита. Его истоки были не в Венеции, Париже или Лондоне, а в нем самом. Деншер и Принц, так же как рыжеволосый слуга Куинт и гувернантка, находящаяся с ним в любовной связи, — результат его собственного видения мира. Эти персонажи уже зрели в мозгу писателя, когда он создавал своего «Американца» в 1876 году; впоследствии, для того чтобы довести свои творения до безукоризненного совершенства, ему понадобилось техническое мастерство и мастерство другого рода, которое проистекает из умения быть «поверхностным» наблюдателем, из умения находить убедительные маски для личности самого автора.

Я употребляю слово «поверхностный» отнюдь не в отрицательном смысле. Я хочу сказать, что у Джеймса есть литературные опыты, такие как «Европейцы» или «Трагическая муза», в которых его художественный талант и фантазия не проявляются в полной мере, но которые могут служить образцом тонкого наблюдения и непосредственного объективного изображения действительности, еще никем не превзойденного. Он нигде больше не достигает такой наглядности в описаниях внешности героев, такого мастерства в подборе деталей. Конечно, мы знаем Шарлотту Стант лучше, чем мисс Бердси из «Бостонцев», но образ Шарлотты вырисовывается постепенно, на протяжении длинного романа, в то время

как мисс Бердси мы видим сразу и целиком:

«Это была маленькая старушка с огромной головой. Рэнсому сразу же бросился в глаза широкий, красивый, выпуклый, чистый и ясный лоб, а под ним — добрые, близорукие, усталые глаза... От долгого филантропического существования черты ее лица не заострились, а стерлись... На ее большом лице была едва заметна слабая улыбка. Скорее даже намек на улыбку, ею она как бы вносила взнос или платила по счету, словно говоря, что могла бы улыбнуться и шире, если бы не была так занята, но ведь и без улыбки видно, какая она кроткая и доверчивая... У нее был такой вид, как будто она провела всю свою жизнь на трибунах, в зрительных залах, на собраниях, в фаланстерах, на спиритических сеансах; на ее поблекшем лице лежал отблеск тусклых ламп, освещавших эти сборища».

Ни у одного писателя ранние произведения не содержат такой блестящей и обширной галереи литературных портретов: от мисс Бердси до миссис Брукенхэм в «Трудном возрасте».

«Миссис Брукенхэм была все еще очаровательна в свои сорок лет, и на ее лице было выражение прекрасного отчаяния, которое более всего соответствовало описанию, данному ее сыном. Она излучала обаяние молодости, которое, казалось, никогда не иссякнет; ее голова, фигура, ее подвижность, ее то и дело вспыхивающие щеки, ее прекрасные наивные глаза, ее милый воркующий голосок — все это вместе таинственным образом производило магический эффект молодости. Примечательно, что она редко выглядела веселой — по крайней мере в кругу семьи; чаще всего она переживала новизну и роскошь скорби, ее волновала непонятная печаль, она развивала в себе утонченные проявления безразличия. Это целомудрие с оттенком трагизма было ее отличительной чертой, от которой все остальные качества только выигрывали...»

Роман «Трудный возраст» — веха, разделяющая два периода творчества Джеймса. Он свидетельствует о решении Джеймса развивать линию, намеченную в «Американце», а не в «Европейцах»: фантазия у него берет верх над жизненным опытом. К тому времени он еще не определил своего метода, но, несомненно, уже нашел свою тему. Наверное, можно пожалеть о том, что у так называемых поверхностных романов Джеймса было мало последователей (в английской литературе вообще мало произведений, отличающихся легкостью, прозрачностью и ироничностью стиля). Однако вполне понятно, почему он исключил многие из них из собрания сочинений, даже элегантный и по — кошачьи грациозный роман «Вашингтон — сквер», пожалуй, единственный из романов, в котором мужчина успешно разрабатывает женскую тему (его можно сравнить с романами Джейн Остин), оставив менее отшлифованного «Американца».

Он и не мог поступить иначе, так как был верен своей творческой фантазии. Джеймс писал о «бедном Флобере»: «Он остановился слишком рано. Он никак не решался открыть входную дверь, все время оставаясь снаружи, по — видимому ослепленный блеском окружающего. Там он и стоит до сих пор, неподвижный, как часовой, и стройный, как статуя. Но эта неподвижность и стройность обошлись ему слишком дорого. Он должен был унестись в этих сияющих объятиях, входная дверь должна была открыться. Ему следовало по крайней мере прислушаться к голосу своей души. Это вынесло бы его на глубину; а главное — это успокоило бы его нервы».

В своих ранних романах, кроме «Американца», Джеймс, безусловно, тоже «оставался снаружи». Они, несомненно, сыграли свою роль: его маски становились все более совершенными, он оттачивал свое остроумие. Но когда он перешел к основной теме — исследованию зла — в «Крыльях голубки», он уже перерос все это; теперь вместо физической жестокости убийства он показывал более страшную моральную жестокость, вместо мадам де Бельгард возникла Кейт Крой, тонкий психологический анализ характера Милли Тил сменил мелодраматическое изображение мадам де Сантре.

Для того чтобы суметь воздать по справедливости злу, нужно сохранять чистоту и невинность: нужно внутренне сознавать, что предательство совершается по отношению к чему-то чистому и благородному. Если частица Питера Куинта — в вас самих, то и для ребенка, совращенного им, должно найтись место в вашей душе; если вы можете перевоплотиться в Освальда, то и Изабелла Арчер должна быть также близка вам. В романах Джеймса невинные существа, которых предают, почти всегда женщины: независимая и своенравная Изабелла Арчер, которая мужественно идет навстречу жизни, но становится жертвой Освальда; молодая девушка Нанда, которая, только начав выезжать в свет, сразу испытывает на себе его порочное влияние; Милли Тил, смертельно больная в расцвете жизни и от безвыходности своего положения покорно уступающая Мертону Деншеру и Кейт Крой (эти персонажи, пожалуй, самые одержимые и порочные из всех, не считая Куинта и гувернантки); Мэгги Вервер, славная, неискушенная молодая американка, встретившаяся с пороком в лице Принца и Шарлотты Стант; девочка Мэйзи, до которой нет дела взрослым, занятым своими романами. Эти женские персонажи — светлые пятна на общем темном фоне.

Образ мышления Джеймса, породивший все эти ситуации, никогда не менялся. При этом Джеймс обладал удивительной способностью замечать следы (по — видимому, у него были на это причины?). В блестящих предисловиях к своим книгам он рассказывает о происхождении сюжетов, об использованных методах изображения событий, о проблемах, с которыми он сталкивался: он похож на фокусника с засученными рукавами, который как будто от вас ничего не скрывает. Но я советую вам заглянуть глубже, чтобы за светскостью и непринужденностью разглядеть то, что лежит в основе его видения мира. Тут вам не помогут ни его предисловия, ни даже автобиография. Правда, из них мы можем узнать о той, которая служила для Джеймса образцом доброты и порядочности; он не позаботился уничтожить этот след, ведущий в его юность («позаботился», наверное, не то слово, так как это происходило бессознательно). Этим образцом была для Джеймса его двоюродная сестра Мери Темпл, мужественно переносящая неизлечимую болезнь и страстно жаждущая жить. Она и послужила, в частности, прототипом Милли Тил. Джеймс писал о ней:

«Я не знаю никого, кто бы в ее возрасте мог так отчетливо ощущать истинность и жизнеспособность людских характеров, прекрасно осознавая (часто не без ущерба для себя), что движет их поступками: сила или слабость... Жизнь заявляла на нее права, использовала ее, ставила в тупик в своем неуверенном движении по жизни, как бы на ощупь, ей приходилось сильно отклоняться то вправо, то влево... Она не боялась никаких поворотов судьбы, готовая встретить их с искренностью и любопытством. И я думаю: именно потому, что эта молодая девушка, только начинающая жить, оказывается в плену трагических обстоятельств, она может послужить основой образа мученицы и героини».

Мери Темпл, под какой бы маской она ни выступала в романах Джеймса, всегда была светлым пятном, но опять нужно заглянуть глубже, чтобы нащупать корни убежденного неверия Джеймса в человеческую природу, понять происхождение присущего ему ощущения зла. Мери Темпл была частью его жизненного опыта, а ощущение зла у него было, по — видимому, врожденным или унаследованным.

Как это ни странно, в книгах воспоминаний «Малыш и другие» и «Записки сына и брата» Генри Джеймс мало рассказывает о своей семье. Они написаны усложненным языком и стилем, красота которых напоминает красоту поздних картин Тернера. Эти книги также пронизаны воздухом и светом: нужно долго вглядываться в них, чтобы в сиянии красок различить размытые очертания предметов. Но о главных членах семьи — Генри Джеймсе — старшем и Уильяме Джеймсе — из этих книг вы не узнаете основного: того, что они были одержимы.

Когда мы видим нарисованную Джеймсом фигуру Питера Куинта с маленькими рыжими бакенбардами и белым порочным лицом или наблюдаем за Деншером и Кейт, терзающимися

от обреченности на успех их дьявольского замысла, мы понимаем, что зло было неотъемлемой частью внешнего, окружающего Джеймса мира, однако ощущение этого зла (о котором он никогда не говорит в своих воспоминаниях) было внутри семьи. Оно было присуще не только Генри Джеймсу, но и его отцу, брату и сестре. Источник самых сокровенных «темных» фантазий Джеймса нужно искать в его интеллигентной семье, живущей то в Конкорде, то в Женеве, — в семье, где впечатлительные мальчики были предоставлены самим себе. Почти два года отец мучился от приступов «необъяснимого и унижительного страха» (это его собственные слова), ему казалось, что его преследует какое-то исчадие ада, распространяющее на него свое «зловонное влияние». У сестры Генри Джеймса Алисы была мания самоубийства, а Уильям Джеймс страдал тем же недугом, что и отец.

«Однажды вечером, в сумерках, я зашел зачем-то в гардеробную, как вдруг совершенно неожиданно, как будто материализовавшись из темноты, меня охватил ужасный страх перед моим собственным существованием. Одновременно у меня в памяти всплыл образ эпилептика, которого я как-то видел в приюте. Это был черноволосый юноша с нездоровым, зеленоватым цветом кожи и всеми признаками безумия в лице, сидевший весь день напролет на жесткой скамье у стены, подтянув колени к подбородку. На нем не было ничего, кроме серой рубахи из грубой ткани, которая закрывала все тело... Мой страх и этот образ, возникнув одновременно, оказались тесно связанными цепью ассоциаций. В подсознании мелькнула мысль, что этот слабоумный — я. Я почувствовал, что ничто в мире не сможет предотвратить моей участи, если мой час пробьет, как он пробил для него. И от того, что я в любой момент могу стать таким, как он, меня охватил ужас, от которого я потерял опору и уверенность в себе и превратился в дрожащую от страха массу. После этого случая жизнь моя переменялась. Я просыпался по утрам с ранее мне неизвестным ощущением непрочности земного существования, от которого у меня холодело под ложечкой... Со временем это прошло, но еще много месяцев я не мог находиться один в темноте».

Этот идиот — эпилептик в воображении Уильяма, желание Алисы умереть, исчадие ада, страх к которому испытывал отец, образуют гораздо более значительный фон для романов Генри Джеймса, чем Гроувнер — хаус или поздняя Викторианская эпоха. Он действительно мог видеть моральную распушенность (характерную для его времени) в окружающем его обществе, но он бы не изобразил ее с такой силой, если бы она не нашла отклика в его творческом воображении. Его персонажи — материалисты, но даже поверхностного знакомства с романами Джеймса достаточно, чтобы убедиться в том, что их автор материалистом не был. На его воображении лежала тень преисподней. Когда он испытывал страх перед злом, его произведения получались менее убедительными. «Поворот винта» неверно изображается критиками как «простая и наивная», почти рождественская «сказка». Думается, она получилась такой потому, что здесь Джеймс дотронулся до запретного, но в ужасе отпрянул.

Юношеские годы писателя обычно представляют особый интерес для биографа: это исследование наивным юношей нового для себя мира; перспективы далекого будущего, открывающиеся в конце лавровой аллеи; голоса старших, напоминающие голоса мудрецов из арабских сказок; странные случайности, предопределяющие писательскую судьбу ребенка.

Вот, например, одиннадцатилетний Конрад, который готовит уроки в большом старом краковском доме, где умирает его отец, польский патриот — повстанец Коженевский:

«Там, в большой гостиной, с голыми, обшитыми деревом стенами, с высокими потолками и тяжелыми карнизами, я корпел над своими домашними заданиями, весь перепачканный чернилами. Стол, за которым я трудился, освещаемый пламенем двух свечей, был как маленький оазис света посреди пустыни тьмы. Он стоял прямо перед высокой белой дверью, постоянно закрытой; время от времени она приоткрывалась, в щель проскальзывала монахиня в белом чепце, проплывала через комнату и исчезала. Этих бесшумных сестер

милосердия было две. Их голосов я почти не слышал. И действительно, что они могли сказать? Когда они обращались ко мне, их губы едва шевелились, они произносили слова отчетливым шепотом, как в храме. Хозяйство в доме вела пожилая экономка, чье присутствие было тогда необходимо. Она носила черное платье, на высокой груди выделялся крестик на цепочке. Она тоже разговаривала очень редко. И хотя ее губы были более подвижными, чем у монахинь, она никогда не позволяла своему голосу подняться выше умиротворяющего шепота. Воздух вокруг меня был пропитан благочестием, смирением и тишиной».

Стивенсон уже в три года был доведен до кальвинизма своей няней Камми: «По ночам я постоянно просыпался от кошмара; мне снился ад. Я вцеплялся в спинку кровати и сидел, подтянув колени к подбородку. Моя душа содрогалась, тело билось в конвульсиях».

Тринадцатилетний Джеймс «ошеломлен и подавлен» увиденными в галерее Аполлона фресками Лебрена и огромными мифологическими полотнами Делакруа:

«Я никогда не забуду того впечатления, которое на меня произвели эти картины: они наполняли огромные залы скорее многообразием звуков, дробящихся и повторяющихся, как эхо, чем отчетливыми зрительными образами. Разобраться в этом запутанном, насыщенном, разноцветном мире звуков и красок было трудно — он не поддавался рациональному восприятию. Видимо, поэтому у меня сложилось впечатление (а первое впечатление самое сильное), что всю эту великолепную мозаику нужно воспринимать целиком, а не пытаться различить в ней отдельные части. Я лишь зачарованно смотрел вверх, туда, где кусочки этой мозаики то неистовствовали, то замирали в бесконечном экстазе, кружились в нескончаемом хороводе, образовывали огромные симметричные фигуры на необъятных пространствах монументальных полотен. На их фоне реальный Париж казался чем-то вроде уже слышанной истории, эффектным приемом, дерзкой неопределенностью, заполняющей пространство, но в то же время неизменно оставался увлекательным (иногда вполне ощутимым) источником жизненного опыта».

В таких воспоминаниях слышно, как «открывается дверь». В один из таких моментов «благочестия, смирения и тишины» в Конраде впервые зазвучала струна мрачного достоинства и скупого героизма; владелец Баллантрэ мог быть заживо похоронен еще в кошмарах маленького Стивенсона и только потом — на канадских просторах. И так же Джеймса — в знаменитой парижской галерее, где его, еще школьника, окружали богатства Пойнтонна и цветущая мадам Вионе в образе обнаженной Венеры взирала на него с потолка, — впервые коснулся воздух славы, богатства и «дерзкой неопределенности», как святой дух нисходит на вас в Троицын день.

Семейное окружение Джеймса представляет такой большой интерес потому, что уже в раннем возрасте он столкнулся с тем миром, которому он впоследствии будет стремиться воздать по справедливости. В автобиографических произведениях Джеймса есть еще два пробела: в них практически ничего не говорится о его братьях — Уилки и Бобе. Все, что мы знаем об этих простых парнях, с невысокими духовными запросами, выделявшихся на фоне своей утонченно — интеллигентной семьи, почерпнуто нами из дневника Алисы Джеймс, изданного мисс Берр. Для Уилки «сам процесс чтения был неестественным и внушающим отвращение». Он писал из военной части: «Скажите Гарри, что я с нетерпением жду следующего романа. Такие душещипательные истории пользуются большим спросом среди черномазых». Заметьте, он писал из военной части. Дело в том, что 18-летний Уилки и 17-летний Боб представляли семью на фронтах Гражданской войны. У Уильяма было всегда плохое зрение, а Генри избежал службы в армии из-за несчастного случая, подробности которого неизвестны. Ему, конечно, повезло, так как он избежал и печальных последствий участия в войне. Зато его братья ощущали эти последствия всю жизнь: Уилки стал инвалидом в физическом смысле, Боб — в душевном; оба в духе героев войны того времени сначала занялись земледелием во Флориде, потом открыли небольшое дело в Милуоки. Их жизнь не сложилась, и вполне возможно, что Генри Джеймс уехал из Америки, желая избежать участи

своих братьев — неудачников.

Может быть, именно фигуры Уилки и Боба позволяют выяснить происхождение основного мотива произведений Джеймса — темы предательства, с которым у него всегда ассоциировалось зло. Насколько нам известно, самого Джеймса не предавали лучшие друзья, как это происходило с его героями: Монтисом, Греем, Милли Тил, Мэгги Вервер и Изабеллой Арчер. Но какое предательство пережил Джеймс, что двигало им, когда он писал «Американца» в 1876 г. и «Золотую чашу» в 1905 г. и вообще создавал свою великую галерею одержимых подлецов? Для того чтобы так глубоко, как Джеймс, проникнуть в глубь человеческого характера, нужно было пережить нечто вроде предательства по отношению к самому себе, поэтому напрасно современные критики ищут причину во внешних обстоятельствах жизни писателя, например в «комплексе кастрации». Действительно, имеются свидетельства того, что причина, по которой Джеймс не служил в армии, была не вполне уважительной. Гражданская война — это не какая-нибудь обычная заварушка, какие бывают в Европе, ее причины глубже, и даже рядовые бойцы в ней участвуют по убеждению. Семья Джеймса в то время жила в Конкорде — там, где патриотические настроения северян были самыми сильными. То, что произошло с Джеймсом, окружено тайной (именно поэтому некоторые критики подозревают кастрацию в буквальном смысле), и также непонятна его почти экзальтированная поддержка во время Первой мировой войны нации, по поводу которой он не питал иллюзий: он частенько обменивался с Алисой анекдотами, высмеивавшими их коррупцию. Напомним, что в его блестящем рассказе о предательстве «Ряд визитов» Монтиса опять предает самый близкий друг. «Наш путешественник подумал, что этот внешне не изменившийся, коварный человек, сохраняя свою репутацию, должен был, по — видимому, постоянно в душе терзаться угрызениями совести». Можно предположить, что и самого Джеймса все время подсознательно мучил какой-то комплекс неполноценности.

Это был окружающий его видимый мир, и он был действительно видимым, так как Джеймс ежедневно сталкивался с ним, глядя на себя в зеркало. Предательство друзей, самая низкая ложь, «темные и жестокие дела, с которыми связано богатство», как он писал в «Башне из слоновой кости», — все это рождалось его творческой фантазией. Однако благодаря силе его таланта, широте взглядов и объективности оценок критики старшего поколения, например Десмонд Маккарти, рассматривали Джеймса прежде всего как писателя, изображающего с симпатией, даже с некоторым восхищением «высшее общество». Такое мнение могло быть у критиков потому, что ощущение зла никогда полностью не овладевало Джеймсом, как, например, Достоевским; он никогда не переставал быть в первую очередь художником слова (в отличие от Лоуренса и Толстого, этих одержимых гениев), и его щедрым талантом вполне могли быть созданы такие милые и изящные вещицы, как «Дэйзи Миллер» и «Пансион “Лакомый кусочек”». Они остроумны и сатиричны, но это такая мягкая и добрая сатира, что она вызывает ностальгию по простой и наивной жизни, в которой даже алчность не кажется пороком. «Может быть, она и была простовата, — писал Джеймс о Дэйзи Миллер, — но это определение лучше всего подходило для характеристики ее своеобразного природного изящества». На этих отступлениях от основной темы критики — марксисты, так же как и Маккарти, сосредоточивают свое внимание, не понимая, что Джеймса интересовала в первую очередь духовная жизнь общества, и лишь потом — социальная.

Правда, ни один писатель того времени не сознавал более глубоко, чем Джеймс, что его эпохе и обществу, которые он изображал, приходит конец. Он совершенно недвусмысленно предсказывал, что произойдет революция. Джеймс писал о том «классе, у которого, по моему мнению, было самое долгое и счастливое историческое прошлое... но чье будущее, по всем признакам, не могло быть таким же безоблачным и благословенным... Правда, я не могу сказать, насколько драматичными могут стать события: уничтожение многовековой привилегированности и, наконец, полное разоблачение тех, кто с незапамятных времен пользовался ею». Однако марксисты, так же как критики старшего поколения, не видят в

творчестве Джеймса основного. Не только богатство, но и страсть у него тесно связаны с предательством. Когда в своих лучших произведениях он начинает «прислушиваться к голосу своей души», то, о чем и как он пишет, нельзя объяснить, только исходя из социальных пороков капиталистического общества. Деншера и Кейт объединяло не только желание разбогатеть; правда, в «Послах» Джеймс клеймит частную собственность, но в «Пойнтонском богатстве» он с таким же пылом осуждает страсть. И хотя Джеймс жил в капиталистическом обществе и принадлежал к обеспеченным классам, которые, как правило, и были объектом его изображения, «темные и жестокие дела» не связывались у него с той или иной политической системой: он считал, что они свойственны человеческой при — роде в делом. Когда он говорил о «темных и жестоких» сторонах человеческой природы, он имел в виду такую степень эгоцентризма, когда кажется, что люди не имеют своей воли, а являются орудием в руках каких-то сверхъестественных сил.

В рассказе «Милый уголок» американский интеллигент Брайдон возвращается из эмиграции в Нью — Йорк и обнаруживает, что в его доме поселилось привидение. Он выследил привидение, загнал в угол и понял, что оно боится его (этот мотив нам знаком из его книги воспоминаний «Малыш и другие», в которой описывается детский сон с похожим сюжетом). Когда Брайдон хорошенько рассмотрел его при дневном свете, он увидел в этих «злых, отталкивающих, наглых, грубых» чертах свое собственное отражение. Таким бы он был, если бы остался в Америке и стал одним из процветающих дельцов Уолл — стрита. Очень легко увидеть в этом рассказе социальную направленность, но кто из социалистов или консерваторов способен сочувствовать тому злу, которое он обличает? Величие Джеймса — именно в этой способности сочувствовать: в ней заключается красота его произведений. Его бедняг — эгоцентристов можно пожалеть, так же как Люцифера. Женщина, которую любит Брайдон, тоже видела привидение; оно ей показалось таким же отталкивающим и безобразным, как Брайдону, — его потерянный вид, искалеченная рука и миллион долларов в год, — но она прежде всего почувствовала к нему жалость.

«— Он так несчастлив, его жизнь загублена, — сказала она.

— А я не несчастлив? Ты только посмотри на меня — моя жизнь не загублена?

— Но я же не говорю, что люблю его больше, чем тебя, — признала она после некоторого раздумья. — Он такой мрачный и изможденный, жизнь обошлась с ним слишком круто. Но он смело смотрел в лицо жизни, а не пользовался, как ты, изящным моноклем».

Джеймс не был пророком или моралистом; он стремился воздать людям по справедливости, а этого нельзя сделать, если ты их ненавидишь. Именно потому, что он был реалистом, он показал не только торжество эгоцентризма, но и то, как самовлюбленный человек становится пленником собственного «эго». «Хорошие» люди, вроде Милли Тил или Мэгги Вервер, всегда находили в чем-то утешение: в том, что они любили, могли пожертвовать собой, как Уилки и Боб; даже в своей безысходности они никогда не были совершенно одиноки. Но для эгоцентристов не было утешения; в их страсти не было нежности, а их погоня за деньгами не приносила им подлинного удовлетворения, но они не могли стать другими, никуда не могли деться от самих себя. Кейт и Мертон Деншер в конце концов получают желанные деньги, но они не получают друг друга. Шарлотта Стант и Принц удовлетворяют свою страсть, но ценой разлуки на всю жизнь.

Джеймс отнюдь не стремился к «идеальной» справедливости, когда зло наказано, а добро торжествует. Сочиняя свои сюжеты, он проявляет себя не моралистом, а реалистом. Семейное окружение Джеймса, таинственная личная драма определили его отношение к окружающему, видимому миру, когда он только еще начинал писать, и никакие общественные события, происшедшие с тех пор, не могли заставить его пересмотреть эти взгляды. Он всегда был верен своей истине, и самое большее, что могло измениться в его романах с годами, — это замена убийства адюльтером. Причем если в «Американце» он не испытывает

жалости к убийце, то в «Золотой чаше» уже способен сочувствовать нарушившему супружескую верность. В конце концов он приходит к выводу, что человек всегда проигрывает: действует ли он от имени Бога или дьявола, он все равно несчастлив. Джеймс верил в сверхъестественное, но он рассматривал зло и добро как равные силы. Он считал, что человечество — это пушечное мясо в войне добра со злом, которая из-за равновесия сил будет длиться вечно. Самого Джеймса можно обвинить в эгоцентризме как человека, сосредоточенного на себе и своей идее, но он оставил произведения, где в результате глубокого безжалостного анализа эгоцентризму воздается по справедливости, где отдается должное и подлецам, и негодяям.

«Спенсер Брайдон вскочил на ноги:

— Тебе нравится это чудовище?

— Он мог бы мне понравиться. По — моему, — сказала она, — он совсем не чудовище. Я принимаю его таким, какой он есть».

«Я принимаю его». Джеймс никогда особенно не интересовался теософской теорией Сведенборга, занимавшей его отца, но он кое- что почерпнул из нее для подкрепления своей более древней и более традиционной ереси. Так, например, его отец считал (и Джеймс был, по — видимому, с ним согласен), что «темная, дьявольская сторона человеческой природы, не подчиняющаяся божественному промыслу... не только более жизнестойка и мудра, чем этот последний, но и способна на выдающиеся земные поступки» (к таким поступкам относится, наверное, присвоение денег, принадлежащих Милли Тил). Однако различий в их теориях было больше, чем сходства. Сын не был оптимистом, он не разделял надежд отца, которые тот связывал с дьявольской стихией в человеке, он только сочувствовал тем, кто был поглощен этой стихией. Высшая справедливость этого сочувствия, которое распространялось даже на самых подлых и низких актеров его человеческой комедии, позволяет нам поставить Джеймса в один ряд с величайшими художниками слова. В истории романа он такое же исключительное явление, как Шекспир — в истории поэзии.

Два друга

Этих двух людей — Генри Джеймса и Роберта Льюиса Стивенсона — разделяло немалое расстояние: от островов Самоа до улицы Де — Вер — Гарденз в Кенсингтоне. С одной стороны — Генри Джеймс, с высоким крутым лбом, с респектабельной бородкой, придававшей ему, по мнению некоторых его знакомых, сходство с принцем Уэльским, с широкими плечами, которые казались немного сутулыми от долгого оберегания горевшего в нем драгоценного пламени. Это пламя он то раздувал, то бережно заслонял рукой, всегда неусыпно охраняя его — будь то на званом обеде или на рассвете за письменным столом. С другой стороны — Стивенсон, с нервным худым лицом, всемирно известными усами и тонкими, непомерно длинными ногами; Стивенсон, переходящий реки вброд по ночам, рискующий получить пулю в лоб, ввязываясь во всякие местные конфликты, каждый день подвергающий свою жизнь опасности, — и все это из-за страстного желания доказать, что он может быть не только писателем. На чем основывалась их странная дружба?

Мы глубоко признательны мисс Джанет Адам Смит, автору наиболее достоверной биографии Стивенсона, рассказавшей нам историю дружбы двух писателей. Многие из опубликованных здесь писем нам уже известны — правда, письма Стивенсона в искаженной редакции Колвина, — но здесь они являются частью переписки двух друзей, чего раньше не было. Читать письмо гораздо более интересно, если оно сопровождается ответом: зеркало в доме на Де- Вер — Гарденз отражает гораздо больше, когда оно освещено ответной вспышкой с

Самоа. Одну из причин этой дружбы мисс Адам Смит видит в том, что жизнь Стивенсона могла быть для Джеймса своеобразным источником вдохновения:

«Человек, постоянно живущий под угрозой смертельного кровоизлияния в мозг и тем не менее никогда не терявший вкуса к жизни; романист, который находил силы и здоровье для творчества, рискуя утратить их, преследуя другие цели; писатель, который должен был все время погонять свой талант, чтобы зарабатывать деньги, нужные ему для той полнокровной жизни, которая составляла основу его существования; человек, разрывающийся между жизнью и литературой, — такого рода судьбы можно встретить в романах и рассказах Джеймса».

Почему Джеймс хотел видеть своим другом Стивенсона, понятно. А вот понять мотивы Стивенсона в этой ситуации труднее. Писатель, как правило, не склонен превозносить чужой талант, а Стивенсон не мог не сознавать, что Джеймс — более талантливый художник, чем он. Однако в дискуссии о романе, с которой начинается этот сборник и их дружба, Стивенсон выиграл несколько очков у Джеймса в споре о том, может ли искусство «соперничать» с жизнью. Читатели «Лонгмэнз мэгэзин», без сомнения, предпочли остроумные построения и неожиданные метафоры Стивенсона серьезным рассуждениям его старшего коллеги. Стивенсон пишет: «Эти воображаемые воспроизведения действительности, пусть даже самой жестокой, доставляют нам несомненное наслаждение, в то время как сама действительность может приносить страдания и даже гибель»; «Изо всех сил пытаюсь уловить характерную интонацию, особые, неровные ритмы действительности, мы тем самым сохраняем Литературе жизнь». От первого высказывания вздрагиваешь, как от удара камешков, брошенных в окно; второе незаметно, но неуклонно разливается, как море.

В то время книги Джеймса покупали все меньше и меньше, а Стивенсона — все больше и больше, но успех не приносил ему радости. «Раз я популярен, значит, я плохой писатель» — воспитанный в кальвинистском духе, он был далек от самолюбования или тщеславия. «Нашей дорогой публике нравятся небрежно сделанные произведения, немного расплывчатые, многословные, немного вялые и бессюжетные; а если возможно, они должны быть еще и скучными вдобавок». Он никогда не обольщался похвалами — даже похвалами Госса или Колвина, — так как твердо усвоил еще в детстве, что вечное блаженство всегда предназначено не тебе, а кому-то другому. Будучи подростком, он проявлял неповиновение родителям, но никогда безоговорочно не считал себя правым, а отца виноватым. Поэтому, может быть, ему было легче, чем другому, менее щепетильному человеку на его месте, сохранить преданность своему более великому другу. Стивенсон всегда прислушивался к критике со стороны Джеймса. Он пытался защищать свою точку зрения, но никогда не обижался.

«Единственное, чего мне не хватает в этой книге, — это наглядности изображения. Мое зрительное чувство, зрительное воображение не мешало бы чуточку подкормить. Слуховое же воображение, наоборот, получает слишком много пищи, и шумные звуковые впечатления кажутся чрезмерными, особенно если принять во внимание обманутое ожидание наших глаз».

Так пишет Джеймс о романе «Катриона», и Стивенсон отвечает ему на это:

«Ваш отзыв о “Катрионе” очень помог мне в работе, особенно Ваше тонкое и правильное замечание о том, что зрительное чувство остается неудовлетворенным. Это действительно так, и если я не приложу усилий — и прежде всего не буду уверенным в их необходимости — в будущем, я боюсь, этот недостаток станет еще более заметным. Я

слышу, как люди разговаривают, и я

ощущаю их действия, и на этом, мне кажется, основано мое литературное творчество. Две

мои основные цели можно определить так:

1- я. Борьба с прилагательными.

2- я. Война со «зрительным нервом» — если принять во внимание то, что зрительный нерв играет огромную роль в современной литературе. Но в течение скольких веков литература обходилась без него?»

Эта книга должна понравиться всем, кто интересуется вопросами литературной техники Стивенсона, и, несомненно, поможет укрепить его несправедливо пошатнувшуюся репутацию в литературном мире. Кто осмелится относиться свысока к романисту, которому сам Генри Джеймс написал, посылая ему экземпляр своей «Трагической музыки», что «он единственный представитель англосаксонской расы, способный почувствовать... как хорошо она написана»? Джеймс умел по — восточному льстить тем, кто был менее талантлив, чем он, но Стивенсона он хвалит с откровенностью и теплотой равного. «Он осветил собой целое полушарие, и часть его мира живет в воображении каждого, кто когда-либо читал его».

Гранитная основа таланта

Репутация Стивенсона как писателя пострадала, может быть, больше всего из-за того, что он рано умер. Ему было всего сорок четыре года, и он оставил после себя огромное количество произведений, которые можно назвать юношескими или ранними. Хотя большинство из них, безусловно, не лишено яркости и увлекательности, они производят лишь ложное впечатление зрелости, которое заставляет забыть о том, что Стивенсону, так же как и остальным людям, нужно было время для развития. И только в последние шесть лет жизни — которые он провел на Самоа — его нарядный, щегольской талант стал освобождаться от всего поверхностного и напускного, обнажая прочную гранитную основу. Как плодотворны оказались эти годы, когда были написаны «Проклятый ящик», «Владелец Баллантрэ», «Вечерние беседы на острове», «Отлив», «Уир Гермистон». Долго ли он мог держаться на этом уровне? Размышляя о его последнем, незаконченном романе, Генри Джеймс заключает со снисходительным пессимизмом:

«...причина того, почему он не закончил роман, кроется в самом тексте, который несет отпечаток смутного предчувствия автора, что ему не нужно было завершать его. Этот изящный фрагмент возвышается среди других незаконченных прозаических произведений Стивенсона как святыня незавершенного совершенства, которым отличаются развалившиеся от времени мраморные статуи».

К сожалению, репутация Стивенсона зависела от критиков, гораздо менее осторожных и тонких. Его ранние претенциозные путевые очерки; слишком личная переписка, в которой было много «вздора о правилах человеческого поведения» и жаргонных словечек, выглядевших на письме так же вульгарно, как если бы в устах пастора прозвучало неприличное слово; незрелые рассуждения о своем ремесле («Литература для взрослого человека — то же, что игра для ребенка»); ранние философские эссе на этические темы (помешанные в сборнике «*Virginibus Pucisque*») — все это навязывалось публике в выходявших одно за другим изданиях его произведений. Календари до сих пор пестрят его юношескими изречениями. Его сравнительно небогатая событиями жизнь (она казалась полной приключений только степенным чиновничьим натурам вроде Колвина или Госса) была превращена в сагу; о неблагоприятии молодости предпочитали не упоминать — и в результате получился худой, бледный манекен в бархатной куртке, с усами, как у Ланга, то и дело преклоняющий колена в молитвах и изрекающий афоризмы типа: «Гораздо важнее двигаться к намеченной цели, чем ее достичь» и т. д. и т. п. Неужели этим неутомимым

поклонникам Стивенсона никогда не приходило в голову, что как искатель приключений, религиозный деятель, путешественник, друг и защитник «цветных» он меркнет рядом с другим шотландцем, носящим похожее, но более звучное имя: Ливингстон? Если он и останется в истории, то не как Туситала, или незадачливый любовник, едва не отошедший в мир иной в Монтеррее, или денди из Давоса, а как уставший, отчаявшийся писатель, каким он был последние восемь лет жизни, сосредоточенно и отрешенно работающий над произведениями, в которых он сам не разглядел своих шедевров.

Мисс Купер в краткой биографии Стивенсона традиционно пошла по проторенному пути, который, как замечает Джеймс, был проложен самим писателем. «Стивенсон никогда не заметал следов, — писал Джеймс. — Мы идем по ним, от года к году, от периода к периоду, так же замороженно, как следовали бы за его героем, преследуемым врагами». Как толкователь творчества писателя мисс Купер несравненно менее проницательна, чем мисс Джанет Адам Смит, которая написала, на мой взгляд, лучшую книгу о Стивенсоне в жанре краткой биографии. Нельзя согласиться с мисс Купер, когда она пренебрежительно отзывается о романе «Проклятый ящик» как о «tour de force»[127], иногда оживляемом всплесками черного юмора, но с совершенно неправдоподобными характерами». Ее разбор романа «Владелец Баллантрэ» слишком примитивен даже для книги из популярной серии:

«Читатель понимает, что Генри несчастен, хотя и не в состоянии ему сочувствовать, так как Генри, нужно в этом сознаться, — порядочный зануда». О романе «Отлив» читатель узнает из книги мисс Купер только то, что это «мрачное повествование о каких-то сомнительных личностях, действие которого происходит в южных морях».

Однако любознательный читатель сразу же обнаружит оставленный для него писателем след: Стивенсон как бы специально разбрасывает свои записки на расчищенном заранее пространстве, чтобы его преследователям было легче выследить его. Его обширная переписка создавалась не без задней мысли — он сам подал идею Колвину подготовить ее к публикации. Мисс Эмили Дикинсон необдуманно писала в одном из своих стихотворений: «Вид страдания прекрасен, так как это свойство самой жизни». Но ведь только в конце жизни человек узнает истинную цену страданиям. Сравните письма Стивенсона из Давоса («Вот лежит эта громадина, бедный Том Боулинг, и со слезами умиления вспоминает о прошлом» или «Теперь мне лучше. Мне кажется, что если я и не избавлюсь от волчонка, вцепившегося в мое плечо, то найду в себе силы с достоинством справиться с этой ношей») с письмами последнего года его жизни (у страдания, так же как у литературного творчества, есть юношеский и зрелый периоды):

«Горькая правда заключается в том, что я уже почти ничего не могу написать, и я прошу Вас не относиться слишком строго к “Сент — Иву”, когда он попадет к Вам... Сколько усилий потрачено на это неблагодарное полотно; но ничего не получается, а я должен как-то существовать, и моя семья тоже. Если бы не мое здоровье, которое не позволило мне в молодости заняться каким-нибудь честным, обычным ремеслом, я бы постоянно корил себя, что вовремя не подумал о том, как обеспечить свою старость... В моем творчестве было чуть — чуть вдохновения и немного стилистических уловок, давно забытых, но все это помножено на титанический труд. Пока что мне удавалось нравиться журналистам. Но я надуманная фигура, и давно это знаю».

За месяц до этого в письме к своему другу Бакстеру он признался в попытке превратить «безрассудное поведение» в религию и сравнил монотонность своей веры с новизной нарождающегося в Европе анархизма, сторонники которого «совершают подлые убийства, умирают как святые, оставляют после себя трогательные письма... Их поведение необъяснимо, но духовная жизнь привлекает своей насыщенностью». «Si vieillesse pouvait» [128], — процитировал он, а Колвин добавил многоточие. Он был на пороге романа «Уир», старая гладкая поверхность треснула, сквозь нее стал проглядывать гранит. Но именно там, где лопата натывается на камень, и должен копать биограф.

Филдингистерн

Вот Бывшей Эпохи мета:

Охота — почти Игра,

Любовь — но без клятв Обета,

А Брань на мечи скоро.

Промчалась эпоха эта,

И Новой настать пора[129].

Так писал Драйден, глядя назад с порога нового столетия на хаос надежд и разочарований, революции, контрреволюции и снова революции.

Время было бурное, но поэту в 1700 году казалось, что оно мало что дало: то, что уничтожил Кромвель, Карл создал заново; то, что мог бы создать Иаков, разрушил Вильгельм. Но литература может процветать в период политических потрясений, если потрясения эти достаточно глубоки и вызывают полное одобрение или отрицание. Приходит на память, что писал Троцкий о первом заседании Совета после Октябрьских дней семнадцатого года: «В их числе были совершенно темные солдаты, как будто в шоке после восстания, еще с трудом владевшие речью. Но именно они нашли слова, каких не мог найти ни один оратор. Это был один из самых волнующих эпизодов революции, впервые ощущавшей свою власть, поднятые ею бесчисленные массы, колоссальность задач, гордость успехом, радостное замирание сердца при мысли о завтра, которое должно было быть более прекрасным, чем сегодня». Слова эти вполне могут быть отнесены к семнадцатому веку, но не к восемнадцатому, когда в 1707 году родился Филдинг и шестью годами позже Стерн.

Беньян, Фокс, квакеры, левеллеры были той самой темной массой солдат, у кого нашлись слова, которых не нашел ни один оратор государственной церкви, и нет сомнения, что некоторые поэты, приветствовавшие возвращение Карла II, были преисполнены неподдельной благодарности за завтрашний день, который должен был быть еще более прекрасным. Фигура великого Драйдена как бы заполняет собой весь конец семнадцатого века. Подобно исключительно тонкому метеорологическому инструменту, он был чувствителен ко всякому ветру: он отразил в своем творчестве триумф Кромвеля, надежды Реставрации, католицизм Иакова, окончательное разочарование. С его смертью в 1700 году новый век, более спокойный, более рациональный, странным образом опустел. Политика приобрела вновь важность для творческого сознания только с появлением романтиков в конце восемнадцатого века, а официальная религия — только у Ньюмена и Хопкинса. Все, что осталось, было только личной чувствительностью и поверхностной панорамой общественной жизни, от грабителя с большой дороги и должника в тюрьме до похотливого лорда в Воксхолле и добродетельной героини, склонившейся над превосходными скучными трудами епископа Бернета.

Литературу и жизнь нельзя разделять. Если то или иное столетие представляется в творческом, поэтическом смысле пустым, справедливо заключить: такова была сама жизнь, без напряжения, без накала страстей. Я употребляю слово «поэзия» в самом широком смысле, в каком поэтом был Генри Джеймс, а Дефо не был. Когда Филдинг в 1742 году

опубликовал свой первый роман, «Джозеф Эндрюс», Свифт был на пороге смерти, так же как и Поуп, Кауперу было десять лет, а Блейк еще не родился. Драматическая поэзия, оказавшаяся после смерти Драйдена в слабых руках Аддисона и Роу, фактически прекратила свое существование.

Но литература — это одна из основных потребностей человеческой природы, и кто-то в этом опустевшем мире должен был опять приняться за творчество. В такое время не приходится ожидать великих произведений: когда спадает возбуждение, старые формы наглядно предстают как старые, и все, что могут сделать лучшие умы, — это создать новые формы, в которых в конце концов и обосновывается поэтическое воображение. Что-то должно было занять место драматической поэзии в восемнадцатом веке (не будет преувеличением объяснить обилие переводов Гомера и Вергилия именно поэтическим голодом). С елизаветинских времен Филдинг был первым, кто внес поэтическое воображение в прозу. То, что он начал с пародий на Ричардсона, может свидетельствовать о понимании им неспособности «Памелы», эпистолярного романа, удовлетворить потребность своего времени.

В семнадцатом веке различие между прозой и поэзией было простым. Можно сказать, что проза была по преимуществу порнографической, в том смысле, что представляла собой более или менее легкомысленное рассмотрение сексуальных отношений (такое обобщение справедливо во всех без исключения случаях, идет ли речь о пьесах Уичерли, комедиях в прозе Драйдена, романах Афры Бен или плутовском романе Ричарда Хеда и Фрэнсиса Керкмана), тогда как поэзия ассоциируется прежде всего с героической драмой; это различие особенно явно выступает в пьесах, подобных «Модному браку», содержащему элементы как поэзии, так и прозы — героическое и порнографическое. В литературе эпохи Реставрации нигде, кроме разве великой комедии Каули, не найти образцов прозы, использованной таким образом, как ее использовали Уэбстер и другие драматурги эпохи Иакова I как средства, равного поэзии по достоинству и глубине, т. е., в сущности, как самой поэзии, отличающейся только ритмом, присущим обычной речи. Романы Дефо восходят именно к традиционному идеалу прозы: «Молль Флендерс» — это «Английский мошенник», только в более краткой и выразительной форме. Создать литературную форму, способную привлечь поэтическое воображение, пришлось на долю Филдинга, не отличавшегося, кстати, поэтическим складом ума. Он откровенно заявлял об этом: «Я бы любил и почитал Гомера больше, если бы он написал подлинную историю своего времени смиренной прозой». «Том Джонс» оказался не только архетипом плутовского романа. Генри Джеймс и Джойс обязаны ему в такой же мере, как и Диккенс.

В настоящее время, когда романы Генри Джеймса созданы по-этом — метафизиком, а романы Лоуренса и Конрада — романтиками, мы можем легче постичь революционную природу «Тома Джонса» и «Эмили». У появившегося позже Стерна (первые тома «Тристрама Шенди» вышли в свет пять лет спустя после смерти Филдинга) эта революционность более очевидна просто потому, что он, в сущности, остается революционным и по сей день. Даже в наши дни он совершенно великолепно продолжает опрокидывать все наши представления о том, что должна представлять собой форма романа; прижились как раз его наименее ценные качества. Его чувствительность легла в основу целой школы бейджей, бэнкрофтов и блоуэров (я не помню, кто это писал: «Господи, если я не столь согрешил против Тебя, даруй мне великое благо опустить иногда серебряную монету, только не больше шиллинга, в холодную влажную руку опустившейся жены баронета»; но своей чувствительностью он обязан автору «Сентиментального путешествия»), в то время как его эксцентричность унаследовали эссеисты, особенно Лэм. Форме же его никто не пытался подражать; какой в этом был бы толк? Подражание могло бы только вызвать в памяти оригинал. «Тристрам Шенди» — очаровательная, бесплотная странность, последнее слово литературного эгоизма. Даже тот факт, что Стерн был иногда поэтом, менее важен для практикующих его искусство, чем тот, что Филдинг иногда — пытался стать им.

Окружающий мир нанес Стерну, лукавому, беспокойному, неудачно женатому священнику, сыну пожилого прапорщика, не имевшего ни средств, ни влияния для того, чтобы продвинуться по службе, так много унижений, что он вынужден был создать между этим миром и собой линию защиты из сентиментальности и мелких непристойностей (он восхищался Рабле, но как робко и «проказливо» отражает его глава «О носсах» автора «Героических деяний Гаргантюа и Пантагрюэля»), По нашу сторону этой линии ему нечего было нам предложить, кроме своей гениальной способности выражать личные чувства лукавого, беспокойного, неудачно женатого человека. Нас возмущает тщеславие этого гения, требующего признания потомства для своей книги, нимало не беспокоясь о ее достоинствах: «Чем отличается моя книга от деяний Моисея или “Сказки бочки”, чтобы и ей не плыть с ними в сточной канаве времени?» Этот сентиментальный, сторонящийся всего и всех человек ближе всего соприкасается с обычной жизнью в порнографическом кружке Холла — Стивенсона, а со страстью — в его письмах к Элизе, надежно отделенной от него Индийским океаном и разницей в возрасте. Мы чувствуем, что он не может рассказать нам ничего ни о ком, кроме как о самом себе, и его личность так приглажена и идеализирована, что собственная жена не узнала бы его.

Сравните жизненную ситуацию в его время и положение Филдинга: Филдинга — повесы, Филдинга — помещика, Филдинга — драматурга и, наконец, Филдинга — судьи в Вестминстере, который, как никто другой, знал жизнь изгоев общества, от воров и головорезов до оскудевших дворян и офицеров на половинном жалованье в суде для должников. Взгляните на тщательное построение «Тома Джонса»: вступление, позволяющее автору выразить свою точку зрения, а персонажам — идти своим путем, свободным, в отличие от персонажей Дефо, от несвойственного им морализирования; введение пародии таким же образом и с той же самой целью, как это делает Джойс в «Улиссе»; бесчисленные ответвления сюжета, где история Тома Джонса занимает свое место в общей оркестровке, придающие книге масштабность самой жизни; перемещения назад и вперед во времени, когда персонажи, как у Конрада, встречаются и повествуют друг другу о событиях прошлого, — художественный прием, требующий от всякого романиста особого мастерства, которому мы обязаны мгновениями проникновения в «бездну, именуемую прошлым». Сравните все это тщательно выполненное построение со школьничеством Стерна: пустые, темные, пестрые страницы и многоточия «Тристрама Шенди». Мы не можем не испытывать благодарности, думая о том, сколько труда вложил Филдинг в свои книги, о значении его новаторских приемов, и в то же время мы сознаем, что Стерн, ничего подобного не достигший, может все же доставить нам большее удовольствие тем, что мы называем его особым даром — его мастерством, проявившимся в создании автопортрета (даже дядюшка Тоби есть не что иное, как еще один пример его колоссального эгоизма: это единственный созданный им персонаж из внешнего мира, но и здесь мы прежде всего ощущаем, как любителю автор своей тонкой пронизательностью).

Как человек Стерн совершенно невыносим; даже эмоции, изображаемые им с таким изумительным мастерством, — это дешевые эмоции. Драйден мертв; великое время миновало; кавалеры и круглоголовые стали вигами и тори; Камберленд разбил последние надежды Стюартов при Каллодене; целое столетие не в состоянии породить заслуживающую уважения страсть. Так должен чувствовать всякий, кто воспринимает переход от эссе Бэкона и его подлинного последователя Каули к эссе Лэма как упадок человеческого достоинства. Это был именно упадок, выражающийся в переходе от творений типа «Месть — это необузданная справедливость» или «Это был день похорон человека, который заставил называть себя протектором» к подобным образчикам: «Ухо у меня отсутствует — не пойми меня превратно, читатель, заключив, что я лишен природой одного из этих идентичных наружных приложений или висячих украшений!..» — или позднему маленькому эссе на тему «О раннем вставании по утрам» или «Потеря запонки». Со времени Стерна в нашу литературу проникли личные эмоции, личная чувствительность и эксцентричность. Невозможно не чувствовать легкого отвращения к человеку, по крайней мере номинально

служителю церкви, который в «Сентиментальном путешествии» находит удовлетворение в своих собственных переживаниях по поводу сумасшедшей из Мулена: «Я уверен, что у меня есть душа; никогда все те книги, какими материалисты докучают миру, не убедят меня в обратном».

Немного досадно сознавать, что тщеславие такого человека оправданно. Как бы он, а точнее, его претенциозность нас ни раздражала, читать его легче, чем Филдинга, за счет чрезвычайно музыкального стиля, напоминающего разговор, который ведет заика в своем воображении: нет необходимости бороться с препятствиями, чинимыми языком и зубами, все слоги мягки, один ум кротко беседует с другим с бесконечной изысканностью тона.

«Предметом этого повествования станут различные несчастья, постигшие одну весьма достойную пару по вступлении их в брачный союз. Бедствия, которые им пришлось преодолеть, были столь велики, а события, повлекшие их за собой, столь невероятны, что объяснить их можно не только крайней злобой, но и крайней изобретательностью, какими суеверие наделяет судьбу».

Так Филдинг начинает свой самый зрелый, если не самый великий роман. Писателя в этой книге должен особенно привлечь ловкий прием, посредством которого на протяжении половины романа Филдинг рассказывает историю Бута и Эмили, ни разу не нарушая единство места действия, не выходя за стены тюрьмы, где заключен Бут. Это такой же замечательный прием, как и нарочитая путаница в «Тристраме Шенди». Но если читатель скажет: «Я читаю для развлечения» и стиль Филдинга чересчур тяжел по сравнению с дерзко — самоуверенным началом у Стерна: «Хотел бы я, чтобы мой отец или моя мать или оба они, если на то пошло, задумались бы, как велит им обоим долг, над тем, на что они идут, когда зачинали меня», у нас не найдется, что ему ответить.

Да, за Стерном следует признать множество ценных качеств. Но чего у него не было и чем обладал Филдинг, что было в такой же мере ново для романа, как и легкость и чувствительность Стерна, — это серьезное отношение к морали. Филдинг не был поэтом (в отличие от Стерна, который был, хотя и небольшим), но это качество дало ему возможность создать форму, впоследствии удовлетворявшую требованиям крупных поэтов, чего не могло сделать бесхитрое повествование Дефо. Восхищаясь Томом Джонсом как первым портретом «цельного человека» (определение, которому в литературе позднего периода соответствует один только Блум), мы воздаем должное этой серьезности Филдинга, его способности отличать безнравственность от порока. Он был невысокого мнения о человеческой природе: некоторая чувственность Тома Джонса, неисправимые пристрастия Бута, его собственная реакция на насмешки лодочников в Розерхите над его умирающим телом, изуродованным водянкой («Это была наглядная картина той жестокости и бесчеловечности в человеческой природе, которую я часто с тревогой наблюдал и которая наводит на очень неприятные и грустные мысли»), свидетельствуют об этом с не меньшей убедительностью, чем совершенно невероятные образцы добродетели, честность мистера Оллверти или героизм терпеливой Эмили. Ему на опыте были знакомы немало Бутов и Томов Джонсов (некто с таким именем и в самом деле предстал перед ним однажды в качестве подсудимого). Но примеры добродетели он находил в своем воображении. Нельзя поэтому согласиться с Сейнтсбери, необоснованно и странно заметившим по поводу героинь Филдинга: «Во всей литературе нет более трогательного изображения женской доброты и терпения, чем это, героическое и бессмертное».

Отнести эти неумеренные похвалы к Филдингу нелепо, так же как сравнивать содержанку мисс Мэтьюз в «Эмили», как это делал Добсон, с персонажем Бальзака. Его время не дало ему возможности достичь здесь многого. Свои героические образы он черпает из Драйдена — без особого успеха (связь между Эмилией и таким персонажем, как Альмейда, совершенно очевидна). Но чем мы действительно ему обязаны, это тем, что он воссоединил в своих романах два направления в литературе эпохи Реставрации, связав на своем собственном,

более низком уровне легкомысленную прозу драматургов с героической драмой поэтов.

Именно на низком, нерелигиозном уровне. Его добродетели — это природные добродетели, его отчаяние — это естественное отчаяние, переносимое с таким же мужеством, как и у Драйдена, но без участия сверхъестественного.

Катон и Брут могли усталым Душам

Дать вечный Отпуск — для иного мира:

Но мы должны в своих Ночах Беззвездных

Покорно ждать назначенного часа[130].

Так встречает смерть Драйден, так же это делает и Филдинг, последний, быть может, в более привлекательной форме, с чисто природным достоинством. Для Филдинга смерть означает еще и последний тяжелый шаг в выполнении общественного долга, предпринятый им в последние дни жизни, чтобы добиться пенсии от правительства для жены и детей: «Хотя я отрицаю всякую претензию на спартанский или римский патриотизм, из любви к обществу всегда готовый на любую жертву для общественного блага, я торжественно заявляю, что такова моя любовь к моей семье».

Он ненавидел беззаконие и действительно умер в изгнании. В его книгах есть нравственные столкновения, но в них совершенно отсутствуют сверхъестественные начала добра и зла. Элиот писал, что «с исчезновением идеи первородного греха, с исчезновением идеи напряженной моральной борьбы люди, предстающие перед нами в поэзии и прозе, становятся все менее и менее реальными». Именно этой напряженности и не хватает Филдингу. Зло — это неизменно только сексуальная проблема; борьба сводится к тому, сумеет ли «благородный лорд» или полковник Джеймс изнасиловать или соблазнить Эмилию. И в этой борьбе, показанной с такой же изобретательностью, какую проявляет дядюшка Тоби с его фортификациями, персонажи действительно все больше утрачивают реальность. Можно ли принять это всерьез, когда миссис Хартфри удается пять раз избежать насилия на протяжении двадцати страниц? Единственный положительный здесь момент — это более достойное изображение всего происходящего по сравнению с «Сентиментальным путешествием», где Стерн присваивает себе роль Памелы, Эмилии и миссис Хартфри, вынуждая нас трепетать за его собственную добродетель («Постель была в полутора ярдах от того места, где мы стояли. Руки ее оставались по — прежнему в моих, и как это случилось, я не знаю, но я не обращался к ней, не привлекал ее к себе, да я и не думал о постели...»). Но моральная сторона жизни у Филдинга напоминает игру, цель участников которой — пройти в кратчайший срок определенное расстояние на бумаге, и успех продвижения зависит от того, на какую ступень попадет игрок по числу выпавших ему очков. Если фишка у игрока попадет на Маскарад или Билет в Воксхолл, ему приходится опуститься очень низко.

Было бы неблагодарностью закончить на такой придирчиво — критической ноте. Плутовские романы существовали до Филдинга — со времен Нэша и до Дефо, — но плутовское начало не было возведено в ранг искусства, не получило той формы, той организации, которая отделяет искусство от простого реалистического описания, каким бы живым оно ни было. Филдинг поднял жизнь из обычной ее сферы и аранжировал, на радость всем любителям симметрии. Он может позволить себе предоставить Стерну изящную игру с эмоциями, забавные маленькие непристойности: человек, создавший Партриджа, определенно приходится сродни создателю Фальстафа. «Смерть — вот самое вероятное, что может постигнуть человека, идущего в бой, — заметил Джонс. — Быть может, мы оба падём в этом

бою, что тогда?» «Что тогда? — отвечал Партридж. — Ну, тогда нам придет конец, ведь так? Когда меня не будет, для меня все кончится. Что мне в том, кто победит, если меня убьют. Мне-то от этого толку не будет. Что колокольный звон и фейерверки тому, у кого шесть футов над головой? Конец бедному Партриджу».

Филдинг пытался внести в роман поэзию, хотя сам он не был поэтом, а только человеком справедливым, великодушным и мужественным, и созданные им традиции романа позволили этому жанру в более темпераментный век стать поэтическим искусством, заполнить пробел, образовавшийся в литературе со смертью Драйдена в конце XVII столетия. Он был лучшим продуктом своего времени, послереволюционного периода, когда политика впервые перестала представлять серьезные проблемы, а религия возбуждала только самые неглубокие чувства. Его материалом были бедные офицеры, разбойники с большой дороги, должники, аристократы, не нашедшие себе лучшего занятия, кроме любовных приключений, священники вроде пастора Адамса, наделенного качествами в такой же мере языческими, как и христианскими. Как говорит Элиот, «писатель, когда он пишет, остается самим собой, и ущерб, нанесенный всей жизнью, не может быть возмещен в момент творчества». Нам не приходится жаловаться; скорее нам следует изумляться тому, чего достиг в такое время столь прозаический ум.

Франсуа Мориак

После смерти Генри Джеймса над английским романом разразилась катастрофа. Еще задолго до этого момента можно уже вообразить себе спокойную, внушительную, довольно благодушную фигуру писателя, созерцающего, подобно единственному уцелевшему из потерпевших кораблекрушение, со спасательного плота море с плавающими в нем обломками. Он даже увековечил свои впечатления в статье, опубликованной в «Таймс Литерэри Сапплмент», — свою надежду на таких молодых романистов, как Комптон Маккензи и Д. Е. Лоуренс. Впрочем, была ли это действительно надежда, а не просто проявление его неизменной, чисто восточной вежливости? Мы, кому довелось жить после катастрофы, сознаем бесплодность таких надежд.

Со смертью Г. Джеймса английский роман утратил религиозное начало, а с ним и сознание важности человеческого поступка. Литература как бы утратила одно из своих измерений: персонажи таких выдающихся писателей, как Вирджиния Вулф и Э. М. Форстер, блуждали по тонкому, как бумага, миру наподобие картонных фигурок. Даже у наиболее материалистичного из наших великих романистов, Треллопа, мы ощущаем присутствие иного мира, на фоне которого поступки персонажей приобретают особую рельефность. Нескладный священник, пробирающийся по грязи в своих черных ботинках, не знающий, куда девать зонтик, жалующийся на скудость своего дохода, предлагающий, запинаясь, руку и сердце, вполне реален, в противоположность мистеру Рэмзи у Вирджинии Вулф, потому что мы знаем, что он существует не только для женщины, которой он делает предложение, но и для Бога. Его незначительность в нашем мире соизмерима только с его колоссальной значимостью в мире ином.

Писатели, ощутившие, быть может не отдавая себе в этом отчета, всю сложность создавшегося положения, нашли выход в субъективном романе. Им словно бы казалось, что, «разрабатывая» не тронутые доселе пласты личности, они сумеют извлечь на поверхность секрет «значимости». Но в этих поисках они утратили еще одно измерение. Мир зримый прекратил для них существование так же окончательно, как и мир духовный. Проходя по Риджент — стрит, миссис Деллоуэй замечает блеск витрин, плавный бег автомобилей, разговоры прохожих, но до читателя все это доносится только через восприятие миссис

Деллоуэй. Риджент — стрит стала очаровательным, причудливым, довольно сентиментальным стихотворением в прозе: дуновение воздуха, струя аромата, сверкание стекла. Но, протестуем мы, ведь Риджент — стрит тоже имеет право на существование, она более реальна, чем миссис Деллоуэй; и мы с ностальгическим чувством оглядываемся на лавочки, бедные дворики, затихающие по воскресеньям улицы Диккенса. Персонажи Диккенса имеют непреходящее значение; и дома, где они любили, и задворки, где они обрекали себя на гибель, приобрели это значение благодаря их присутствию. Они получили право существовать такими, какими они были, и если слегка и искажались, то только самим их непосредственным наблюдателем, а не воображаемым персонажем с еще большего расстояния.

Поэтому значение Мориака для английского читателя прежде всего в его принадлежности к числу великих традиционных романистов. Для него зримый мир не переставал существовать, в его персонажах ощущается значительность, основательность людей, в ком живет душа, которая может спастись или пропасть. Он утверждает основное и традиционное право романиста комментировать события, выражать свои взгляды. Мы так устали от догматически «чистого» романа, традиции, основанной Флобером и доведенной до совершенства в причудливых извивах романов Генри Джеймса. Такой роман напоминает детскую игру, где ребенку предлагается найти путь в центр изображенного на рисунке лабиринта. Но в «чистом» романе читатель начинает с центра и должен найти путь к выходу. Он водит карандашом по дорожкам, которые должны вывести его к границам лабиринта, в мир за его пределами, где можно найти моральные суждения и поступки сверхъестественной важности (даже написание романа может считаться важным действием, выражающим намерение более значительное, чем супружеская измена героя или убийство в главе 3). Но печатные дорожки бегут, извиваются, скользят, возвращают его к началу, и при пристальном рассмотрении читатель обнаруживает, что создатель лабиринта закрыл печатной строкой единственный выход.

Я не отрицаю высоких достоинств Флобера и Генри Джеймса. Роман переставал быть эстетической формой, а они вновь обратили к ней сознание художника. Это уже писатели более позднего периода, слепо восприняв догму техники, превратили роман в тусклую, безжизненную форму. Исключив автора, можно зайти слишком далеко. Ведь и автор, бедняга, имеет право на существование. Это право и отстаивает Мориак. Правда, флоберовская форма еще не вполне им утрачена в «Фарисейке», как это имеет место в «Поцелуе прокаженному»; рассказчик, вымышленное «я», играет свою роль в романе. Пуристы могут приписать все имеющиеся в романе комментарии этому «я», но это лишь поверхностное впечатление — подлинное «я» автора доминирует над воображаемым. Прочитую два отрывка:

«— И потом, такой красивый, ты не находишь?»

Нет, мне он не казался красивым. Что такое красота для ребенка? Несомненно, что и к силе, и к могуществу он особенно чувствителен. Но этот вопрос, должно быть, поразил меня, поскольку теперь, по прошествии целой жизни, я часто вспоминаю это место в аллее, где Мишель задала мне тот вопрос о Жане. Мог бы я лучше определить теперь то, что я называю красотой? Мог бы сказать, по какому признаку я распознаю ее, идет ли речь о лице, о горизонте, о небесах, о красках, о речи, о песне? По тому трепету плоти, затрагивающему, однако, и душу, по той отчаянной радости, по тому бесконечному созерцанию, которого не может заменить ни одно объятие...»

«В тот день я впервые увидел в открытую моего старинного врага — одиночество, с которым я теперь прекрасно уживаюсь. Мы знаем друг друга. Оно нанесло мне все возможные удары, и уже не остается больше места, куда можно было бы нанести новый. Я думаю, что не избежал ни одной из его ловушек. Теперь оно прекратило меня терзать. Бок о бок мы пошевеливали в камине угли зимними вечерами, когда звук падения сосновой шишки или

рыдание ноктюрна так же трогают мое сердце, как и человеческий голос».

В таких отрывках ощущается, как в шекспировских пьесах, внезапное нарастание напряжения, на душу нисходит тишина. Это нечто более значительное, чем Лир, король, или Отелло, генерал, нечто не ограниченное и не обусловленное сюжетом. «Я» вымышленное умолкает, говорит подлинное «я».

Рассматривать сюжеты Мориака особого желания не возникает. Кто может описать ход событий в «То, что было утрачено» полгода спустя после прочтения? Запоминаются простые сюжетные линии в «Поцелуе прокаженному», но чем проще события романа, тем легче они исчезают из памяти. Остаются только персонажи, кого мы узнали настолько близко, что события, происходившие в период их жизни, описываемый автором, забываются, а они нет. (В первых строках «Фарисейки» во всей полноте предстает перед нами ужасный граф де Мирбель: «Подойди, мальчик!» Я повернулся, думая, что он обращается к одному из моих товарищей. Но нет, это ко мне обращался, улыбаясь, старый зуав. Шрам на верхней губе делал его улыбку ужасающей». Персонажи Мориака в физическом смысле воплощены чрезвычайно полно (в этом он близок к Диккенсу), но их отдельные поступки менее важны, чем та сила, будь это Бог или дьявол, что ими движет. Мориак достигает высокого драматизма в своих сильных сценах, как, например, когда Жан де Мирбель, чья душа в такой опасности (вроде несчастного терзаемого Большого Мольна), является молчаливым свидетелем у деревенской гостиницы пошлого адюльтера своей обожаемой матери. Но в сюжете странным образом не хватает «сцеплений», событий, которые должны были бы обеспечить естественный и убедительный переход от одной сцены к другой. Если попытаться пересказать сюжеты его романов, они замелькают, как кадры старого немого фильма. Но кому придет в голову пересказывать сюжеты? Сотрите всю цепь событий, но персонажи у вас все равно останутся. Отнимите у миссис Деллоуэй способность самовыражения — и не останется не только романа, но и самой миссис Деллоуэй; отнимите сюжет у Диккенса — и персонажи, которые так живо существовали от одного события до другого, исчезнут, растворятся. Но если бы графиня де Мирбель не изменила мужу, если бы опекун Жана, зловещий зуав, не поднял на него руку, если бы мальчик не оказался на попечении неумелого, благонамеренного, почти святого аббата Калу, персонажи продолжали бы существовать точно так же. Наше спасение или проклятие в наших мыслях, не в наших делах.

В романах Мориака события служат не для того, чтобы изменять персонажи (и в самом деле, как мало меняют нас обстоятельства: в этом смысле «Лорд Джим» Конрада романтичен и неправдоподобен). Они служат их раскрытию, осуществляемому постепенно, с неподражаемой тонкостью. Его моральная и религиозная пронизательность есть прямая противоположность очевидному. У Мориака редко можно найти необоснованное предположение или шаблонный персонаж. Взять, например, бедного благочестивого причетника месье Пюибаро. Это тип, который мы называем «святоша», но Мориак показывает, как на самом деле святоша может обрести подлинную святость. В самой фарисейке под покровом разрушительного эгоизма и притворной жалости автором с сочувствием раскрывается религиозная сущность. Лицемерие приводит к искренности. Лицемерка не может всю жизнь сохранять иммунитет к проповедуемым ею взглядам. У Мориака есть ирония, но нет сатиры.

Я сознаю, что разбросал слишком много имен и сравнений в этом коротком и поверхностном очерке, но одно имя, величайшее, нельзя не упомянуть, говоря о Мориаке: это Паскаль. Современный романист, Мориак оставляет за собой свободу комментировать и делает это — от имени ли своих персонажей или своего собственного — исключительно в манере Паскаля.

«Люди не изменяются. Эта истина в моем возрасте бесспорна. Но они часто возвращаются к склонностям, с которыми они всю жизнь боролись до изнеможения. Это не значит, что они уступают самому худшему, что в них есть: Бог есть то благое искушение, какому в конце

концов поддаются люди».

«Есть существа, которые расставляют сети и могут долго голодать, пока в них не попадет жертва. Терпение порока беспредельно».

«Не должно пытаться войти в жизнь других вопреки их воле. Запомни это, малыш. Нельзя распахивать дверь ни в жизнь других, ни в жизнь вечную, которая ведома только Богу. Нельзя оборачиваться в сторону неведомого нам города, города, в котором были прокляты другие, если не хочешь быть превращенным в соляной столп...»

«Наш Спаситель велит нам возлюбить врагов своих; это часто бывает легче, чем не испытывать ненависти к тем, кого мы любим».

Будь Паскаль романистом, это был бы его метод и стиль.

Бремя детства

Есть писатели, столь различные между собой, как, например, Диккенс и Киплинг, которые так и не стряхнули с себя бремени своего детства. Диккенс никогда не забывал своего тяжелого существования на фабрике ваксы, так же как и Киплинг свою жизнь у бессердечной тети Розы на пыльной пригородной улице. Все пережитое ими впоследствии уходит своими корнями в эти несчастные месяцы или годы. Жизнь, обычно поворачивающаяся к нам своей жестокой стороной в то время, когда мы начинаем овладевать искусством самозащиты, настигла этих двух писателей врасплох в незащищенном раннем детстве. Реакция их не могла быть более различной: Диккенс научился состраданию, Киплинг — жестокости; Диккенс выработал стиль такой естественный и непринужденный, что мог, казалось, объять своим пониманием все человечество, — Киплинг создал великолепно сконструированный механизм разъединения. Иногда персонажи его бывают похожи на тархтящие на конвейере спичечные коробки.

В детских годах Киплинга и Саки много общего, и по своей реакции на пережитое Саки ближе к Киплингу, чем к Диккенсу. Киплинг родился в Индии, Г. Н. Манроу (я сбрасываю бессмысленную маску псевдонима) — в Бирме. У таких детей не бывает настоящей семьи. Невзгоды, о которых пишут Киплинг и Манроу, испытало множество безвестных и безгласных детей, родившихся в семьях чиновников или офицеров колониальных войск: прибытие в кэбе к дому незнакомых до той поры родственников, распаковывание чемоданов, наскоро устроенное подобие детской, ужасный момент расставания с родителями и на протяжении четырех лет — период, в детском измерении равный поколению (в четыре года ребенок еще младенец, в восемь — мальчик), — отсутствие чьей бы то ни было любви. Киплинг описывает это страшное время в «Паршивой Овце», рассказе, который невыносимо читать, несмотря на его сентиментальность: молитвы тети Розы, побои, приколотая на спине бумага с надписью «лжец», прогрессирующая, никем не замечаемая потеря зрения и наконец — взрыв протеста.

«Если ты меня будешь заставлять это делать, — сказал Паршивая Овца очень спокойно, — я сожгу дотла этот дом и, наверно, убью тебя. Не знаю, сумею ли я убить тебя, ты такая костлявая, но я постараюсь». За этим святотатством не последовало никакого наказания, хотя Паршивая Овца был готов вцепиться в сморщенную шею тетушки Розы и не отпускать, пока ее у него не отобьют!

В последней фразе мы слышим нечто напоминающее голос Манроу, звучащий в одном из лучших его рассказов — «Sredni Vashtar». Ни его тетя Августа, ни тетя Шарлотта, у которых он жил после смерти матери возле Барнстепла, не отличались бесчеловечной жестокостью

тети Розы, но Августа была вполне способна превратить жизнь ребенка в мучение. Сестра Манроу писала: «Это была примитивная натура, с неукротимым нравом, необузданная в своих симпатиях и антипатиях, властная, трусливая, без сколько-нибудь заметных признаков интеллекта». Манроу самого не били, Августа предпочитала упражняться над его младшим братом, но мы можем ощутить всю меру его ненависти к ней в рассказе о Конрадине, маленьком мальчике, чьи мольбы об отмщении, обращенные к его ручному хорьку, не были напрасными. «Кто же сообщит это ужасное известие бедному ребенку? — раздался чей-то пронзительный голос. — Я ни за что не могла бы». И пока они обсуждали это между собой, Конрадин приготовил себе еще один тост». Несчастье как нельзя лучше стимулирует память, и лучшие рассказы Манроу посвящены детству, его беспечному веселью, наряду с жестокостью и страданием.

Реакция Манроу на эти годы существенно отличается от реакции Кипплинга. Его стиль, рожденный самозащитой, также подобен механизму, но какими искрами сыпал этот механизм в действии! Кипплинг защищался мужественностью, искушенностью в житейских делах, воображаемыми приключениями солдат и создателей Британской империи. Хотя некоторую ностальгию по такой жизни можно найти и у Манроу в «Невыносимом Бессингтоне», но защищался он главным образом эпиграммами, которыми его произведения начинены, как пирог изюмом. Еще в молодости, пытаясь с помощью отца сделать карьеру в бирманской полиции, он в 1893 году сетовал в письме на свою сестру, не потрудившуюся посмотреть «Женщину, не стоящую внимания». Реджинальд и Кловис — это дети Оскара Уайльда: непрерывный поток эпиграмм и нелепостей ослепляет и очаровывает, но за ними скрывается ум менее снисходительный, более жесткий, чем у О. Уайльда. Кловис и Реджинальд не волшебные существа, они ближе к миру реальному, чем Эрнест Мальтраверс. Если Эрнест, подобно рубенсовскому купидону, парит среди неправдоподобно голубых облаков, сфера Кловиса и Реджинальда — это парк, файв — осколок в Кенсингтоне и вечера в Ковент — Гарден; можно сказать, что на них, как на суффражистках, отпечаток своего времени. Им не удастся скрыть, несмотря на остроту и блеск, одиночество барнстеплских лет; они спешат причинить боль раньше, чем заденут их самих, и разящие остроумные реплики ранят, как трость тети Августы. Рассказы Манроу — это по преимуществу рассказы о сыгранных с кем-то шутках. Жертвы этих шуток обычно слишком глупы, чтобы возбуждать сочувствие, все это люди средних лет, облеченные властью. То, что им приходится ненадолго оказаться в унижительном положении, вполне справедливо, поскольку в конечном счете свет всегда оказывается на их стороне. Манроу, как благородный разбойник, грабит только богатых; все его рассказы основаны на остром чувстве справедливости. Этим они отличаются от рассказов Кипплинга в том же жанре — «Деревня, которая проголосовала за то, что земля плоская» и других, где шутки заходят слишком далеко. У Кипплинга основное побуждение — это месть, а не справедливость (тетя Роза утвердилась в сознании своей жертвы и развратила его).

Возможно, я слишком подчеркиваю жестокость у Манроу. Иногда его рассказы напоминают только жизнерадостно — беззаботную панораму эдвардианской эпохи: молодые люди в канотье, ложа в опере, сэндвичи с огурцами к чаю, поданному в тончайшем фарфоре, непринужденная, изящная болтовня.

«Не спеши быть первым в чем бы то ни было. Именно первому христианину достается самый жирный лев».

«Возьмите, например, Марион Малсибер. Она упорно считала, что может съехать на велосипеде под гору. В тот раз она попала в больницу, теперь она вступила в какую-то религиозную общину. Утратив все, что у нее было, остаток она предоставила небесам».

«Ее туалеты изготавливаются в Париже, но носит их она с сильным английским акцентом».

«Требуется немало мужества, чтобы демонстративно удалиться в середине второго акта,

тогда как ваш экипаж не подадут раньше полуночи».

Грустно думать, что эта жизнерадостность и беззаботность не могла длиться бесконечно, но самая скверная и жестокая шутка пришлась на конец. Герой Манроу, остроумный циник Комус Бессингтон, нелепо умер от лихорадки в Западной Африке. Ранним утром 13 ноября 1916 года из мелкой воронки возле Бомона раздался голос Манроу: «Потуши ты эту проклятую сигарету». Кто бы мог предсказать, что это были последние слова Кловиса и Реджинальда.

«Болят суставы, головные боли...»

Печально, что малые нации стремятся всецело завладеть своими великими людьми, как ревнивая жена мужем. Вальтер Скотт, Стивенсон, Бернс, Ливингстон... Соотечественники относятся к ним как к своей собственности, их величие неприкосновенно, и ему не позволено расти или уменьшаться с течением времени. Они даже пошевелиться не могут в своих могилах под бременем возведенных над ними памятников: успех сувенирного бизнеса, развернувшегося вокруг их имен, целиком зависит от безоговорочного подчинения мертвых живым. Целая армия музейных работников, технических секретарей и гидов, находящихся на государственной службе, хранит их память. (Шестьдесят пять тысяч человек ежегодно переступают порог мемориального музея Ливингстона в Блантайре с его цветной скульптурой и тематическими залами, которые знакомят нас с предками писателя, его детством, путешествиями.) Ливингстон-путешественник страдает от созданной вокруг него легенды не меньше, чем Ливингстон — писатель, так как путешественник тоже творческая личность. Подобно тому как тело Стивенсона, вознесенное на вершину холма на одном из островов Самоа, заставляет нас забыть о писателе, бьющемся над образом Гермистона, драма с миссионерской моралью — по крайней мере так представлена последняя экспедиция Ливингстона — заслоняет от нас терпение, монотонность и усталость, сопровождающие любое путешествие, если оно связано с географическими открытиями и устранением белых пятен на карте. Самое главное — отошло на задний план поражение Ливингстона: мы нигде не найдем фотографий или рисунков с изображением кровавой резни в Блантайре. (Доктор Макнайр не способствует выяснению истины, называя Ливингстона Исследователем, Путешественником, Миссионером — с большой буквы.

Я предпочитаю четкие и логичные географические заметки, изданные Рональдом Миллером.)

Достоинство этого сборника в его сухости и педантичности: читатель сам должен как следует потрудиться, чтобы наглядно представить себе описываемые события. Для Ливингстона красоты природы или драматизм ситуаций не были главными. Его интересовало сначала расположение миссионерских стоянок, потом открытие торговых путей, которое, по его мнению, могло способствовать исчезновению рабства. Открытие озер Ширва и Ньяса не было для него событием; это произошло случайно.

«Мы обнаружили озеро Ньяса незадолго до полудня 16 сентября 1859 года. Его южные очертания простираются до 14°25 южной широты и 35°30' восточной долготы. В этом месте ширина долины — около 12 миль. По обеим сторонам озера возвышаются холмы».

Сюжет книги лежит на поверхности, но ее содержание глубже: «Истоки Нила важны для меня лишь как средство самоутверждения».

Совершенство художественного выражения не было целью Ливингстона: ему важно было сообщить факты, для восприятия которых достаточно беглого чтения. («Жаль, что важная

информация о двух огромных горных хребтах осталась неизвестной христианскому миру».) Однако в молодости, когда он писал свои «Путевые записки миссионера и исследователя: Замбези и ее притоки», он считал нужным следовать викторианским образцам книг о путешествиях:

«Мы стали быстро подниматься вверх по реке. Этот великолепный поток часто достигает мили в ширину и украшен множеством островов от трех до пяти миль в длину. Пейзаж здесь во многом обязан своей красотой финиковым пальмам с их яркими светло — зелеными изящно вырезанными листьями и величественным, возвышающимся над всем и вся пальмирским пальмам, чьи листья, словно опахала, покачиваются на фоне безоблачного неба. Берега реки равномерно покрыты лесом, и большинство деревьев тянется к воде корнями, как баньян. За лесом местность становится скалистой и неровной, там живут слоны и другие крупные звери, кроме тех, которые не любят каменистой почвы».

Вся эта красавица оказалась ненужной, когда Ливингстон перестал заботиться о продаже своих книг на родине, хотя это и давало ему возможность заниматься своим делом. В последних его дневниках мы находим характерное для него суровое и правдивое описание событий. Сделанные исключительно для себя, эти описания дают совершенно новое представление о личности миссионера, которого привыкли изображать в островерхой консульской шапке, с Библией в руках, окруженным толпой туземцев, обращенных в истинную веру. В действительности же это был изнуренный, разочарованный человек (поскольку теперь он зависел от тех самых работоторговцев, против которых боролся), во всем сомневающийся (даже в судосходности реки Замбези, которая до тех пор казалась ему бесспорной), кроме простой евангелической веры, свободной от сложных теологических догматов — есть только Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Апостольский символ веры был ему ближе, чем более поздние учения.

Даже неискушенный читатель сразу почувствует, насколько тяжелой была эта семилетняя экспедиция. Автор этих строк также испытал на себе, что значит четырехнедельное путешествие пешком по Африке, в течение которого один раз бастовали носильщики, встретился один «плохой» вождь, была одна ночь, проведенная в сильном жару, да еще в последние несколько дней иссякли запасы продовольствия. Но, увеличив продолжительность этого испытания в сотни раз, а лишения и невзгоды — во много сотен раз, еще раз поражаешься тому, как Ливингстон мог так долго продержаться вдали от цивилизации. Доктор Миллер великолепно описывает условия, в которых проходят все путешествия по Африке; дороги, которые чаще всего никуда не приводят, напоминают там паутину:

«Одной из особенностей африканского континента является замкнутая сеть пешеходных троп, которые есть повсюду. Это очень удобно для передвижения на небольшие расстояния, но сбивает с толку приезжего, который хочет пересечь страну из конца в конец. Он начинает всецело зависеть от проводников, которые могут намеренно или случайно повести его не той дорогой или просто парализовать его действия, отказываясь сопровождать его в пути... Ливингстона, как и многих других путешественников, выводили из себя дорого ему обходившиеся задержки в пути, вызванные тем, что вожди отказывались давать ему проводников. Плавая по рекам, он, конечно, уточнял карту с помощью секстанта, но этот прибор был неспособен показать, какая тропа от развилки ведет в поле, а какая — к ближайшей деревне; которая приводит к болоту, а которая — к переправе вброд».

Вот несколько записей, сделанных во время путешествия:

Рождество 1866 г. «Вся моя еда — это немного грубой овсяной каши, почти безвкусной, которая заставляет меня мечтать о лучшей пище».

Январь 1867 г. (заканчивался первый год великого путешествия). Сбежавшие носильщики украли «всю посуду, большой ящик с порохом, муку, купленную по высокой цене, которой

должно было хватить до Чамбези, инструменты, два ружья и патронную сумку; но самой большой потерей была аптечка. Я чувствовал себя так, как будто бы мне вынесли смертный приговор, как бедному епископу Макензи».

Октябрь 1867 г. «Болят суставы; головные боли; нет аппетита; мучает жажда».

Декабрь 1867 г. «Я так устал от путешествий...»

Июль 1868 г. «Здесь мы сварили немного каши, и я прилег в стороне от костра, а гребцы и мои помощники — в середине, у огня. Вскоре я заснул, и мне снилось, что я снимаю роскошный номер в отеле Миварта».

5 июля 1872 г. (Стенли в это время уже не было.) «Устал! Устал!» Но впереди еще было десять месяцев пути.

Все эти последние месяцы семилетней экспедиции Ливингстон и его спутники провели на земле прерии, унылой и иссушенной. Те остатки почвы, которые иногда встречались, прилипали к ногам, как пластырь. Однажды ночью выпало шесть дюймов осадков. Каное погрузились в воду и застряли в иле; палатки стали гнить, одежду не удавалось высушить. Иногда читателю дневников может показаться, что Ливингстон забыл о цели своего путешествия, которая заключалась не в том, чтобы выяснить предел человеческой выносливости, а в том, чтобы дойти до реки Луалаба и спуститься вниз по течению в надежде, что она приведет его к Нилу и его истокам (но даже это было только лишь средством для того, чтобы сделать Африку доступной для европейцев и способствовать расцвету торговли и уничтожению рабства). Он находился теперь как бы на земле Чайльд — Роланда: «В этом царстве воды и муравейников бродил лев, и его рычание раздавалось днем и ночью». Как далеко он был теперь от изящно вырезанных пальмовых листьев, живописных рек, величественных пальмировых пальм. Как Стивенсон, мучающийся над романом «Уир Гермистон», Ливингстон достиг вершины к моменту смерти.

Как это ни странно, эти два шотландца во многом похожи. Сквозь литературный лоск «Молитв из Ваилимы» просвечивает наивность веры, сходная с той, которая была у Ливингстона. Не от шотландского ли воспитания исходит это умение сожалеть без раскаяния, прощать себя и признавать свои слабости, умение вверять себя Богу? «За прощение и предупреждение наших грехов, за сокрытие нашего позора мы благословляем и благодарим Тебя, Господи». Так говорит Стивенсон, и то же мы читаем у Ливингстона:

«Заканчивается 1866 год. Он не был таким плодотворным и успешным, как я хотел. В 1867 году я постараюсь достичь большего и стать лучше — более добрым и любящим. И пусть Всемогущий, которому я вверяю свою судьбу, исполнит мои желания и поможет мне. Да будут отпущены нам все грехи прошлого года».

В конце прошлого года оба испытали горечь поражения. Кто из двоих страдал больше? Стивенсон, который за два месяца до того писал: «Я надуманная фигура, и давно это знаю. Меня читают лишь журналисты, мои коллеги — писатели и дети», или Ливингстон, оказавшийся вовлеченным в работоторговлю, которую он ненавидел: «У меня сердце разрывается при виде человеческой крови... Мне кажется, что Божья милость и воля оставили меня».

Их последнее желание было одинаковым. Трудно не вспомнить могилу Стивенсона на горе Веа и его слишком известные строки: «Он там, куда шел давно»[131], когда мы читаем запись в дневнике Ливингстона от 25 июня 1868 года:

«В лесу мы наткнулись на могилу. Это был маленький круглый холмик, как будто его обитатель не лежал, а сидел в нем. Она была посыпана мукой, сверху лежало несколько крупных бусин. Узкая тропинка говорила о том, что эту могилу навещали. Я бы хотел быть

похоронен в такой могиле. Лежать в тихом — тихом лесу, где никто не мог бы потревожить мой прах. Могилы на родине кажутся мне неудобными и тесными, особенно вырытые в холодной, сырой глине».

К последнему желанию Ливингстона, в отличие от Стивенсона, отнеслись с меньшим уважением, так как его набальзамированное тело было отправлено на родину, в «сырую глину» и «тесное пространство» в нефе Вестминстерского аббатства.

С тех пор как умер Ливингстон, прошло около ста лет, и теперь мы можем оценить всю глубину его поражения в Восточной Африке. Были открыты торговые пути и уничтожена работорговля, но основной урок, вынесенный из опыта его жизни, был совершенно забыт. Ливингстон писал об африканцах: «Добиться их нравственного возвышения можно с большим успехом, если наставник не будет прибегать к силе, вызывающей у них зависть или страх». В той же книге он написал: «Дикари заслуживают вежливого обращения так же, как и цивилизованные люди». Однако за то время, пока он находился в обществе Стенли, придерживающегося других взглядов, он не смог существенно повлиять на своего спутника. Будущее Восточной Африки принадлежало именно Стенли с его пулеметами и кожаными плетками, и именно эти методы вызвали недоверие и ненависть к белым, надолго воцарившиеся в Африке.

Смутно — сладенькая страна

Призрак — a revenant — не ожидает быть узнанным, навещая некогда знакомые ему места. Если он вызывает у вас чувство страха, это скорее его собственный страх, не ваш. Места настолько изменились с тех пор, как его не стало, что ему приходится с трудом отыскивать дорогу в джунглях новых домов и перестроенных комнат (ведь сталь и бетон размножаются, как тропическая растительность). Поскольку же сам он не изменился и воспоминания его остались прежними, призрак убежден, что он невидим. Вернувшись во Фритаун и Сьерра — Леоне прошлым Рождеством, я думал, что принадлежу какому-то странному прошлому, которое было только моим. Поэтому я был поражен, когда в первый мой вечер меня окликнули по имени, чья-то рука сжала мой локоть и чей-то голос сказал: «Скоби, а кто такой Скоби?» и «Пуджехун, помнишь мы встретились в Пуджехуне? Я был тогда в департаменте общественных работ. Давай зайдем в “Сити”, выпьем».

Я приехал на работу в Сьерра — Леоне более четверти века назад и высадился во Фритауне после четырехмесячного плавания из Ливерпуля. У меня было ощущение полной нереальности. Как это произошло? Под звуки кухонного оркестра из вилок и сковородок я спустился с грузового судна компании «Элдер Демпстер» в моторный катер, где меня встретил министр сельского хозяйства, чьим гостеприимством мне предстояло временно воспользоваться, который явно ожидал чего-то менее легкомысленного. Кирпичный англиканский собор возвышался над местом моей высадки, точно как это было в 1935 году, когда я впервые посетил Фритаун. Ничто не изменилось в захудалом, обветшалом, зачарованном городке с увитыми цветами балконами, жестяными крышами и похоронными конторами, но я не мог вообразить себе в свое первое посещение, что когда-нибудь приеду сюда на работу и стану одним из этих усталых мужчин, пьющих на закате джин в баре отеля «Сити».

Ощущение полной нереальности всего происходящего усиливалось с каждым часом. Я должен был лететь в Лагос, где мне предстояло работать три месяца до возвращения во Фритаун, и счел за благо уведомить моего хозяина, что мы еще увидимся. «А что именно вы собираетесь здесь делать?» — спросил он. Я дал нарочито неопределенный ответ, поскольку

никто еще не разъяснил мне, какого рода «прикрытие» будет у меня в этом мире, совсем непохожем на мир Джеймса Бонда. Все, что мне было известно, — это мой номер (не 007). Я обрадовался, когда в бар зашел сурово — сосредоточенного вида майор с большими усами и можно было изменить тему разговора. «Пройдемся?» — неожиданно предложил он. Идея была несколько странной в это время дня, но я согласился. Мы пошли по дороге в дымке горячего пыльного ветра.

— Жарковато здесь, не находите? — сказал он.

— Да.

— Влажность 95 процентов.

— В самом деле?

Он свернул в палисадник.

— Это пустой дом, — сказал он. — Хозяин в отпуске.

Я послушно за ним следовал. Он сел на большой камень и сказал:

— Есть для вас информация.

Я осторожно сел с ним рядом, помня услышанное в детстве предостережение, что от сиденья в жару на камне бывает геморрой.

— В прошлую пятницу была связь. Вы инспектор ОВТ. Понятно?

— Что такое ОВТ?

— Отдел внешней торговли, — сказал он резко. Неосведомленность в этом новом мире разведки считалась проявлением некомпетентности.

В то же время это известие принесло мне облегчение, и за завтраком у министра я осторожно навел разговор на мое будущее во Фритауне.

— На самом деле, вам-то я могу сказать, хотя это официально еще и не объявлено, что я буду инспектором ОВТ.

— ОВТ?

— Отдел внешней торговли.

Он скептически посмотрел на меня и был совершенно прав, так как вернулся я уже совершенно в другом качестве. ОВТ, как я слишком поздно узнал в Лагосе, отказался создать прикрытие для лжеинспектора. Попытка посягнуть в этом плане на невинность Британского Совета также не увенчалась успехом. После этого мне угрожали по очереди званиями в ВМС и в ВВС, пока не обнаружилось, что, если меня не произведут в капитаны 3 ранга или в полковники, мне не положено ни отдельного кабинета, ни сейфа для кодов. Когда я вновь вернулся во Фритаун, то оказался каким-то неопределенным образом прикомандированным к полиции, что было несколько трудно объяснить тем, кто ожидал встретить в моем лице инспектора ОВТ.

Вся моя жизнь во Фритауне отличалась такой же неопределенностью. Для нашего аппарата я не существовал, поскольку меня не было в списке сотрудников министерства колоний, где значились зарплата и статус каждого, а для местных жителей я был еще одним из труднодоступных правительственных чиновников. Я жил один в маленьком домике,

пространство вокруг которого во время дождей превращалось в болото. Напротив был нигерийский пересыльный лагерь, привлекавший грифов, а позади — заросли кустарника, служившие общественной уборной и привлекавшие мух. По этому поводу у меня было одно успешное столкновение с администрацией. Когда я послал письмо министру колоний с требованием построить уборную для африканцев, он ответил, что с моей просьбой следует обратиться по соответствующим каналам через полицейского комиссара.

В ответ я процитировал слова Черчилля во время войны о «соответствующих каналах», и сарай был-таки построен. Тогда я снова написал в министерство, что в анналах Фритауна мое имя, как имя Китса, будет начертано на воде. На некоторое время моя изоляция особенно усилилась, когда я поссорился со своим боссом в Лагосе, за 1200 миль, и он перестал высылать мне деньги на жизнь (или платить моим почти несуществующим агентам).

За период этого долгого молчания у меня было много времени снова задуматься, зачем я здесь. Наша жизнь формируется в детские годы, и когда недавно я начал писать о первых двадцати пяти годах моей жизни, мне было любопытно отыскать в них хоть какие-то намеки на то, что могло привести человека средних лет в это влажное одиночество, вдали от семьи, друзей, от настоящей профессии.

Из пережитого родился мой первый успех — «Суть дела», но я начал писать эту книгу только четыре года спустя, после того как все нелепости уже стерлись у меня в памяти. Из соображений безопасности мне было запрещено инструкцией вести дневник, меня также обучили употреблению чернил для тайнописи, которыми я никогда не пользовался, или птичьего помета, если чернил не хватит (грифов там было множество, три или четыре обычно сидели у меня на крыше, но я не думаю, чтобы их помет имелся в виду).

Начало моей жизни в качестве агента 59200 было неблагоприятно. Я известил о своем благополучном прибытии, используя в качестве кода книгу (я выбрал роман Т. Ф. Поуиса, откуда я мог извлекать для собственного развлечения малопрстойные фразы), и со следующим конвоем прибыл большой сейф с листочком инструкций и моими кодами. Кодовые списки были особенно интересны, поскольку в их неизбежно ограниченном словаре попадались самые неожиданные слова. Кому бы могло понадобиться слово «евнух», думал я, и не успокоился, пока не нашел возможности воспользоваться им сам в сообщении моему коллеге в Гамбии: «Как сказал главный евнух я не могу повтор не могу прибыть». (Странные развлечения находишь в одиночестве. Помню, как однажды я полчаса стоял на лестнице, ведущей в мою спальню, наблюдая за соитием двух мух.)

Сейф был совсем другое дело. Я совершенно неспособен читать любые инструкции технического порядка. Выбрав цифры, я набрал их, на мой взгляд, правильно, убрал мои вновь приобретенные коды, захлопнул сейф и попытался открыть его — тщетно. Вскоре я понял свою ошибку: я пропустил строчку в инструкции — и набор представлял теперь совершенно не известную мне цифру.

Телеграммы ждали декодирования и отправки. С трудом, при помощи Т. Ф. Поуиса, я солгал Лондону, что сейф был поврежден при транспортировке, пусть пришлют другой со следующим конвоем. Коды были спасены из вскрытого автогеном сейфа и помещены временно в резиденции губернатора.

Я с нетерпением ожидал вечеров и отправлялся вдоль заброшенного железнодорожного пути на склонах за Хилл — Стейшн, возвращаясь на закате, чтобы принять ванну, прежде чем появятся крысы (по ночам они раскачивались в спальне на шторах). Затем, свободный от телеграмм, я садился писать «Ведомство страха». Виски, джин и пиво строго нормировались, но некоторые дружески ко мне расположенные морские офицеры снабжали меня вином, поступавшим из Португальской Гвинеи, минуя таможеню. В полнолуние голодные бродячие собаки не давали мне спать своим воем. Я поднимался, натягивал ботинки на ноги, прямо на

пижамные брюки, и разряжал свою ярость, ругаясь и швыряя камни в узкий проулок за моим домом, где жила самая беднота. Мой бой говорил мне, что меня называли там «плохой человек». Поэтому, покидая Фритаун, как я думал навсегда, я послал несколько бутылок вина к свадьбе в одну из хижин, в надежде оставить о себе лучшее воспоминание.

В отеле «Сити», где началась «Суть дела», я бывал нечасто. Там можно было спастись от озабоченных протоколом сотрудников секретариата. Это был дом, родной для людей, кому ни на одном из поворотов их долгого жизненного пути не повстречался успех и которые уже не надеялись на эту встречу. Это не были бродяги, поскольку у них была работа, но работа эта была непрестижной. Это были неудачники, но они знали об Африке больше, чем те преуспевающие, кто ожидал перевода в колонию повиднее и старался как бы не подпортить свое личное дело. В баре отеля «Сити» собирались люди, которые состарились на своих постах без всякого продвижения, и все же они были неизмеримо моложе, чем молодые помощники министров. В них еще жила мечта, приведшая их в Африку: мечта не зависит от повышения по службе. Немногим более чем через полгода я был там как дома — я тоже начинал чувствовать себя неудачником.

Все мои блестящие идеи были самым решительным образом отвергнуты: спасение мнимыми коммунистическими агентами левого агитатора, находящегося под домашним арестом (я собирался поместить его, воображающего, что он работает на русских, в Конакри, которое находилось в ведении правительства Виши); открытие публичного дома в Бисау для посетителей из Сенегала. Португальские лайнеры прибывали и отбывали с контрабандой алмазов, и при самых тщательных обысках — от риса в мешках до косметики в каютах — не нашлось ни единого камня. В баре мне иногда случалось забыть о неотвязном вопросе, что я здесь делаю, потому что ответ был, вероятно, тот же, какой могли дать и мои собеседники: побег из школы? Повторяющийся отроческий сон? Прочитанная в детстве книга?

Вернувшись во Фритаун прошлым Рождеством, я нашел отель «Сити» совершенно неизменившимся. Какой-то белый смотрел с балкона, откуда Уилсон наблюдал за идущим по улице Скоби, и он помахал мне рукой, словно только вчера я заходил туда в последний раз. Не было только сикха в тюрбане, который предсказывал будущее в общественном душе, за неимением другого уединенного места. В углу балкона местный житель наигрывал грустные рождественские калипсо, а проститутка в алом платье танцевала, чтобы привлечь к себе внимание (внутри их не пускали). Даже добродушный грустный швейцарец — хозяин был все тот же, более чем тридцать лет он не покидал Фритаун. Он уцелел и в этом смысле преуспел, но, возможно, сама убогость такого преуспевания и делала его захудалый бар «вторым домом».

На следующий день я пошел поискать мой старый дом. Четверть века назад органы здравоохранения признали его непригодным для жилья, так что его могло уже и не быть. Сначала мне так и показалось. На месте нигерийского пересыльного лагеря стояла новенькая итальянская авторемонтная мастерская, заросли, где была построена уборная, занимал теперь жилой квартал, и на улице, где завывали бродячие собаки, стояли отличные дома (один из них занимал генеральный секретарь Совета национальных реформ, правивший в то время в Сьерра — Леоне). Я не сразу узнал мой старый дом, ярко выкрашенный, с палисадником на месте болота. Маленький кабинет стал кухней, блеклую жилую комнату с казенной мебелью оживляли теперь портреты в абстрактном стиле молодой аборигенки. Я поднялся наверх, заглянул в спальню, где некогда раскачивались на шторах крысы теперешний владелец сказал, что крысы остались, — и остановился на лестнице, где я так долго наблюдал за мухами. Этот образ напомнил мне томительную скуку моего отрочества, юношу, играющего в русскую рулетку... Возможно, все это и привело меня в голую пустыню Брукфилда.

Брукфилдская церковь, где мой друг отец Мэки говорил свои проповеди на креольском наречии, не изменилась: над алтарем была все та же плохая статуя святого Антония, та же

Дева Мария в ярко — голубом одеянии. За полночной мессой мне могло бы показаться, что я снова в 1942 году, но в тот год мессу я пропустил. Приятель — католик, представитель конкурирующей секретной службы, пришел ко мне пообедать вдвоем, и мы чересчур быстро перепились португальским вином, чтобы тащиться в церковь. Сейчас на сидящей впереди девушке было платье с набивным рисунком из манчестерского хлопка, какие редко стали попадаться с тех пор, как японцы наводнили рынок своей продукцией. На плече у нее было слово «soupsweet»[132], но только когда она поднялась, я мог увидеть, что там были еще слова: «Фенелла любит развлечься». Отца Мэки это бы позабавило, подумал я. И какое определение лучше подошло бы этой бедной ленивой, с прелестными красками стране, чем «сладенькая»?

С чувством некоторой неловкости мой спутник Марио Солдата и я переехали из отеля «Сити» в новый, роскошный «Парамаунт» со всеми традиционными удобствами, выстроенный на холме за бывшим полицейским участком, куда я приходил каждый день к комиссару за своими телеграммами. Старик не одобрил бы этих перемен во Фритауне. И я вспомнил утро, в сезон дождей, когда он сошел с ума от перегрузок, от того напряжения, какого ему стоило держать под контролем продажных полицейских, от изводивших его бюрократов из МИ-5. Он не пил, но по своим знаниям и гуманности он был ближе к обитателям отеля «Сити», чем я теперь. Я был слишком избалован для общественного душа и голой спальни.

Все отнеслись ко мне великодушно, когда я ушел, и тепло принимали меня, когда я возвращался туда выпить, но я чувствовал на себе вину несостоявшегося бродяги: мне не удалось стать неудачником. Откуда им было знать, что для писателя, как и для священника, такая вещь, как удача, не существует.

«Черная комната»

Наконец-то Борис Карлофф получил возможность проявить себя как актер. Подобно покойному Лону Чейни, он стал звездой экрана исключительно благодаря стараниям своего гримера. Тут с успехом могла бы подойти любая другая голова, венчающая массивное туловище, и любой другой актер смог бы издавать лай и вой и механически двигать руками — большего от него до сих пор и не требовалось. Было бы забавно прочесть хотя бы один сценарий, написанный специально для Карлоффа. Очевидно, все эти взрывания изображаются в тексте какой-то особой транскрипцией? Нетрудно представить себе, как Карлофф подкатывает в роскошном автомобиле к студии, где ему предстоит весь день напролет рычать в павильоне, как он поспешно просматривает в гримерной свою роль, пока ему залепляют один глаз, а изо рта один за другим исчезают зубы, как наступает ужасная минута, когда великий актер забывает, что ему надо делать по сценарию — то ли лаять, то ли рычать, — и вот он, торжественный миг: омерзительный урод появляется под лучами юпитеров... Но в «Вороне» Карлоффу было дано несколько минут нормальной речи перед тем, как его лицо обезобразилось, а язык отнялся — и мы обнаружили, что он обладает выразительным голосом и способен передать сильную страсть. В «Черной комнате» он в конце концов получил настоящую роль со словами.

Несмотря на всю искусственность и надуманность, мне понравился фильм, где Карлофф играет одновременно две роли: нечестивого графа и его близнеца — брата, изысканного и добродетельного молодого человека байронического типа. Над их семьей тяготеет проклятье: младшему из близнецов суждено убить старшего в «черной комнате» родового замка. Их отец замуровал эту комнату, но в нее ведет тайный ход, известный лишь старшему брату, негодяю, который проводит время в традиционных забавах — охотится на диких кабанов и бесчестит молоденьких крестьянок (когда очередная девушка наскучивает ему, он

сбрасывает ее тело в oubliette[133] под «черной комнатой»). Чтобы спастись от гнева местных крестьян и избавиться от родового проклятья, он убивает младшего брата, который отличается от старшего тем, что у него парализована правая рука, и переодевается в его платье. Дальше сюжет развивается по обычным канонам готического романа. Обман раскрывается у алтаря, когда граф собирается вступить в брак с «настоящей» героиней, юной и бледной. Он бежит к замку, его преследует разъяренная толпа крестьян, он скрывается в «черной комнате», где собака убитого брата сбрасывает его в подземелье, и он падает на торчащее вверх острие огромного кинжала, которым пронзен лежащий на дне подземелья разлагающийся труп. Карлоффу с трудом даются доблесть, нежность, влюбленные взоры, но он весьма вдохновенно играет нечестивого графа, и фактически на нем одном, если говорить именно об актерской игре, держится весь фильм.

Постановка удалась: в картине воссоздана — чего не сумел сделать мистер Джеймс Уэйл в «Франкенштейне» — подлинная готическая атмосфера. Самой миссис Радклиф не было бы стыдно за этот нелепый и восхитительный фильм, за горы костей, громоздящихся в oubliette, за сцену у алтаря, когда собака в длинном прыжке бросается на жениха и тот, защищаясь от нападения, вдруг поднимает парализованную руку; за отчаянное бегство графа к замку, за свист хлыста, за вздыбившихся лошадей, за мчащуюся повозку, за таинственную долину камней с покосившимся крестом, на котором распят всеми покинутый Христос, за кладбище с совами и увитые плющом надгробия. В этом фильме гораздо более тщательно выдержан исторический колорит, чем в любом, как выражается без тени иронии мисс Лежен, «научном» произведении мистера Корды. В нем оживает целая литературная эпоха: здесь Уайетт мог бы возвести огромную башню Фонтхилл, а монах Льюис написать историю о прекрасной и лживой Имоджен и ее женихе — призраке (вот еще одна роль для Карлоффа):

Он лик под тяжелым забралом скрывал.

Доспехи чернели на нем.

Все стихло. Лишь пес, заскулив, отбежал,

А сотни свечей, озарявшие зал,

Вдруг вспыхнули синим огнем[134].

«Анна Каренина»

Новый фильм с Гретой Гарбо — событие само по себе, конечно, замечательное, но оно имеет довольно отдаленное отношение к киноискусству. Этой картине требуется не столько великая актриса, сколько великий режиссер, ибо — я это говорю не в упрек Голливуду — пока никто не знает, что делать с Гарбо, с ее нескладным, непластичным телом и простоватым лицом грубой и тяжелой лепки, как в гипсах Эпстайна. «Мата Хари», «Гранд — отель», «Цветная вуаль» — вот типичные коммерческие поделки, где она, чтобы оправдать ожидания публики, должна была проявить всю силу ее недюжинной личности. А результаты оказались плачевными. Сила, примененная не по назначению, как правило, производит странное впечатление. Выдающийся талант Гарбо в полной мере мог бы раскрыться на сцене.

В «Анне Карениной» она оказалась в более выигрышных условиях, чем в других своих

фильмах. Вина, скорбь, страсть — для этого, кажется, и создан ее волшебный печальный голос. В этом голосе заключается едва ли не все ее актерское мастерство. Понаблюдайте за ней, когда она в переполненном зале танцует мазурку — скованная, неловкая, даже нелепая среди грациозных фигур и роскошных плеч. Но вслушайтесь в ее голос в сцене, когда она играет в крокет со своим любовником — до того, как по Петербургу поползли сплетни об их связи, — и вы ощутите всю глубину подлинного страдания.

Слово «рок» часто звучит в этом фильме, но нет в мире другой киноактрисы, которая сумела бы столь убедительно, сильно, без всякой фальши выразить идею рока, которая смогла бы заставить нас поверить, что с момента ее первого появления на московской платформе, когда ее лицо возникает из клубов паровозного дыма, и до самой последней сцены, когда сознание оставляет ее под перестук вагонных колес, она неотвратимо приближается к роковой черте.

Что может сделать кинематограф с актрисой ее дарования и ее типа? В картине, где строго соблюдаются законы кино, основное внимание уделяется изобразительному ряду и движению, а уж потом — диалогам. Тут в первую очередь требуется мастерство режиссера, а не сценариста или актеров.

Техника театральной игры, которой, находясь под обаянием личности Греты Гарбо, вынуждены следовать все актеры в «Анне Карениной», — все эти замедления действия, нужные для того, чтобы дать нам возможность подольше слышать ее восхитительный голос, видеть ее искаженное страданием лицо, — требует, для достижения необходимого эффекта, такого уровня актерского искусства, который многим актерам попросту недоступен, за исключением разве что Бэзила Рэтбоуна, исполнителя роли мужа Анны, создавшего яркий и щемящий образ человека, чья жизнь свелась к попыткам сохранить внешнее достоинство. Фредрик Марч, неизменно великолепный в девяноста девяти фильмах из ста, потому что его режиссеры всегда точно определяют для него рисунок образа, здесь, полагаясь на свою интуицию, выглядит неубедительно.

Личность Греты Гарбо — вот что «делает» этот фильм и придает окончательную форму этой безукоризненно точной, добросовестной экранизации, в известной мере передающей все величие романа. Никакая другая актриса не смогла бы до такой степени выразить силу физической страсти, чтобы зритель ощутил и поверил в ее достоинство и возвышенность. И все же нет другой актрисы, чье обаяние так мало зависело бы от ее собственной женственности.

Вспомните эту одинокую фигуру в углу заиндевевшего вагона под тусклым светом фонаря, с уродливыми тенями на лице, подчеркивающими каждую морщинку, — она больше похожа на мужчину, чем на женщину. Ее красота груба, резка — как у арабки, и тут мне приходят на ум строки Йейтса о посмертной маске Данте:

Тот призрак мог быть каменным лицом,

Что со скалы многоокой смотрит

На крышу бедуинского шатра

Или в траве лежит меж куч помета Верблюжьего...[135]

Меня иногда удивляет, серьезно ли у нас относятся к кинокритикам. Правда, критика, быть может, и впрямь кажется нам чем-то превосходящим наше понимание, однако появление «Сна в летнюю ночь» показало, вне всякого сомнения, что никто, кроме критика, не в состоянии овладеть искусством шамана или тайнами спиритических сеансов. Мы — великолепные медиумы, или, может быть, это просто бессознательная симпатия к поэту заставляет какого-нибудь Ласкома Уайта объявить нам, что Шекспир, «будь он жив сегодня», был бы доволен экранизацией своей пьесы, сделанной герром Райнхардтом. «Самый его дух восставал против тесных пределов освещенной свечами сцены. Ему понадобилось силой своего воображения взрастить дикие леса, где среди корявых деревьев обитают фантастические существа, коих он облек в столь зримые одеяния». Содержательная сентенция, не правда ли, уж точно сорвавшаяся прямо с поверхности доски для спиритических бесед.

К сожалению, медиумы не похожи друг на друга. Сидней Кэрролл сообщает нам еще более авторитетным тоном, что Шекспиру фильм мог бы и не понравиться. Он говорит, что «его долг, как человека, чьи предки с обеих сторон были чистокровными британцами, — постараться защитить и обезопасить нашего национального поэта — драматурга и от обожествления, и от осквернения. Действительно, нам, кинокритикам, как я уже сказал, все по плечу (правда, если не касаться собственно критики).

Увы, мне не удалось связаться с Шекспиром (мое английское происхождение не столь безукоризненно, как у мистера Кэрролла), но я убежден, что Анна Хэттауэй, «будь она жива сегодня», согласилась бы, что это очень милый фильм (я, правда, не знаю, что сказала бы Смуглая леди сонетов). Ей бы понравился хор подающих надежды Ширли Темпл, воспаряющих сквозь прозрачную дымку при мощном свете тевтонской луны, и я не сомневаюсь, что ей бы понравился медведь. Ибо герр Райнхардт понимает все очень буквально, и, когда Елена заявляет: «Нет, я дурна, противна, как медведь. Зверь на меня боится посмотреть», мы видим, как огромный черный медведь поспешно убегает прочь, продираясь сквозь заросли черничных кустов. И все же картина доставила мне удовольствие, возможно, потому, что я не особенно люблю эту пьесу, которую, как мне кажется, Шекспир писал с явным намерением с первой же попытки получить «универсальный сертификат».

Но герр Райнхардт, наделенный скорее богатейшей фантазией и изобретательностью, нежели воображением, слабо разбирается в новом для себя жанре. Хотя в созданных им картинах афинских лесов с серебристыми березами, густыми мхами, глубокими озерами и густыми туманами встречаются эпизоды исключительной красоты, все остальное невероятно банально. После замечательной сцены, когда крылатые слуги Оберона загоняют фей Титании под его развевающийся черный плащ, мы видим, как один из них, посадив последнюю фею себе на плечо, уносится с ней в ночное небо. Это очень эффектное зрелище: он погружается по колено во тьму, но когда камера — вот она, истинная тевтонская скрупулезность — следит за его постепенным исчезновением до тех пор, пока не остается лишь пара белых ладоней на фоне Млечного Пути, смех в зрительном зале обнаруживает хороший вкус публики.

В таком же духе — на грани нелепости — выдержана вся экранизация, ибо герр Райнхардт не может воочию представить себе, как его идеи будут выглядеть на киноэкране. Он ни на мгновение не дает нам забыть, что он — театральный режиссер, пусть и обладающий теперь безграничными возможностями на почти безграничной сцене. Во время диалогов мы словно оказываемся у края освещенной сцены, и камера неизменно фиксируется на лице говорящего. Более непринужденные, более кинематографические эпизоды сняты под музыку Мендельсона — вот так, разумеется, и нужно воплощать на экране поэзию Шекспира, чтобы

избежать замедления действия. Вообще к поэзии следует подходить как к музыке, а не как к сценическим репликам, вложенным в уста персонажей, словно подписи к журнальным карикатурам.

Актерская игра свежа и выразительна — по той очевидной причине, что в ней нет того, что Кэрролл называет «настоящей шекспировской интонацией и достоинством». Но не хочу показаться нелюбезным. Фильм не нагоняет скуку, а заключительные эпизоды, когда персонажи возносятся по лестнице в спальню и летучие феи на рассвете заполняют залы дворца, являются истинным и довольно эффектным воплощением образов «сладкого покоя», «мерцающего света», «сонного мертвенного огня».

«Новые времена»

Я слишком большой поклонник Чаплина, чтобы поверить, будто самая важная сцена в его новом фильме — это те несколько минут, когда он поет песню и мы слышим его приятный, чуть хриловатый голос. «Маленький человек» наконец освоился в современной жизни. До сих пор во всех его фильмах всегда присутствовали приметы его эпохи — мужество, противостоящее невзгодам. Правда, он никогда не ограничивался просто веселыми сценками в стиле Карно, с их нравами, нелепой одеждой, патетикой, старомодной нищетой. Вспомним его случайные встречи со слепыми цветочницами, или его похождения по городским трущобам, или появления в миссионерских хижинах, обитых смолистыми сосновыми досками, куда он забредал со своей котомкой и где его пантомима превращалась в назидательную проповедь на тему, почерпнутую из собственного житейского опыта, вроде притчи о Давиде и Голиафе, — во всех этих ситуациях казалось, что он пытается идти по стопам Диккенса.

В этом фильме перемены сразу бросаются в глаза — хотя бы уже в самом выборе героини: раньше они были хорошенькими, но бесцветными, словно лица на поблекшей любительской акварели. Таких девушек никогда не приглашали еще раз сняться в главной роли — настолько они были лишены индивидуальности. Но вот мы видим Полетт Годдар, смуглую, черноглазую, с забавным лицом простушки — горожанки, и понимаем, что «маленькому человеку» уже больше не придется балансировать на грани слезливой псевдопатетики, общаясь со слепыми девушками и малолетними сиротами. Глядя на нее, мы ощущаем те же чувства, какие в «Принцессе Казамассиме» испытывал Гиацинт к Миллисент: «Она смеялась, как смеются простолюдинки, но если ее ударить побольнее, она, подобно простолюдинке, могла залиться горячими слезами». Помахивая тросточкой и щегольски заломив свой потрепанный котелок, «маленький человек» впервые начинает странствия по бесконечной дороге, протянувшейся через весь экран, не в одиночку. Вместе со своей спутницей он отправляется на поиски приключений. Сначала судьба готовит ему работу на огромной фабрике, где он должен завинчивать гайки на мелких деталях каких-то непонятных механизмов, проплывающих мимо на ленте конвейера под неусыпным телевизионным оком менеджера, оком, которое следит за ним даже в туалете, где он ухитряется выкурить запрещенную сигарету. Эксперимент с автоматической кормилицей, позволяющей накормить рабочего без отрыва от производства, сводит его с ума (сцена, когда эта машина, вооруженная салфетками для вытирания губ, подает блюдо с индейской кукурузой, — чрезвычайно смешная, я думаю, это лучшая сцена из всех, когда-либо придуманных Чаплином). После выхода из лечебницы его арестовывают как коммунистического вожака (он подобрал с земли упавшее с грузовика красное полотнище) и выпускают лишь после того, как ему удастся предотвратить налет на тюрьму. Безработица и тюрьма — вот основные вехи его жизненного пути. Полуголодное существование сменяется полосой удач, и в какой-то момент он привлекает на свою сторону таких же, как и он сам, изгоев общества.

Возможно, марксисты сочтут этот фильм «своим», хотя в действительности он вряд ли имеет социалистическую направленность. В него не вложено никакого политического содержания: сначала полицейские избивают «маленького человека», а потом кормят сдобными булочками; и в изображении рабочих здесь нет и следа материнской теплоты и оптимизма в духе Митчисона: когда полицейские жестоки, пролетарии ведут себя как последние трусы и неизменно бросают «маленького человека» в беде. Мы не видим, чтобы он утруждал себя размышлениями о том, «как должен вести себя истинный социалист», он мечтает только о постоянной работе и приличном буржуазном доме. Чаплин, какими бы ни были его политические убеждения, — художник, а не пропагандист. Он не пытается разъяснять, он просто показывает, ярко и наглядно, безумный трагикомический хаос нашего бытия, но при этом его изображение бесчеловечных условий работы на фабрике вовсе не заставляет нас сделать вывод, будто «маленький человек» чувствовал бы себя уютнее на Днепрострое. Он изображает, он не предлагает политических решений.

«Маленький человек» галантно уступает место девушке в переполненном «черном вороне»; когда колокольчик нежным звоном зовет к обеду, «маленький человек» засовывает веточку сельдерея в рот старому механику, чья голова застряла между зубцами шестеренок; «маленький человек» преграждает перевернутыми стульями путь сыщикам, спасая свою девушку от преследования. У Чаплина, как у Конрада, есть «несколько простых идей» — их можно было бы выразить почти теми же словами — «мужество, преданность, труд», которые он отстаивает в тех же безнадежных условиях бессмысленного страдания: «миста Курц умерла». Этих идей недостаточно для революционера, но их оказалось более чем достаточно для художника.

«Ромео и Джульетта»

«Юноша встречается девушку: 1436 год» — так выражена суть фабулы «Ромео и Джульетты» в программке, где их печальная повесть пересказывается с некоторыми неточностями. Однако эта четвертая уже попытка экранизации шекспировской пьесы не так плоха. Сделанная без вдохновения, прямолинейная, отчасти банальная, она — с помощью Шекспира — не превратилась в откровенно плохой фильм. Похороны недавно скончавшегося продюсера Ирвинга Тальберга по своему размаху могли сравниться разве что с похоронами Рудольфе Валентино, но в этой картине нет ни единого намека на то, что он как продюсер обладал незаурядным талантом. Он создал большой фильм — в том именно смысле, какой придают этому прилагательному в Голливуде: все сделано с характерной для «Метро — Голдвин» монументальностью. Келья брата Лоренцо похожа, как выразился один критик, на роскошную современную квартиру, с батареей реторт и пробирок, достойных какого-нибудь уэллсовского супермена (какой там «кузовок плетеный» с «целебным зельем и травой сонной»), балкон столь высоко вознесен над землей, что по — настоящему Джульетта в разговоре с Ромео должна была бы орать в голос, как матрос, который, сидя на клотике, завидел на горизонте землю. А чего стоит помпезное начало, когда Монтеки и Капулетти всем семейством шествуют по улицам мимо картонных домов в церковь, причем, если судить по затихающим колоколам, явно с большим опозданием к заутрене. Или вид Вероны с высоты птичьего полета: и невооруженным глазом видно, что это игрушечный городок. Или громогласный жаворонок, возвещающий с воробьиным акцентом, что он не соловей. Или ночные небеса, где сверкают неправдоподобно ослепительные звезды из фольги, а освещение настолько не соответствует этому времени суток, что, хотя Джульетта и замечает: «Мое лицо спасает темнота, а тобя, знаешь, со стыда сгорела», ясно, что никакая веронская луна не смогла бы осветить ее лик так ярко.

К достоинствам фильма надо отнести то, что здесь больше шекспировского текста, чем мы по

привычке могли бы ожидать, даже чуть больше, чем он написал. Недостает только его тонкого чувства драматического, благодаря которому в пьесе катастрофа нарастает постепенно, начинаясь с ленивой перебранки двух слуг, а не сразу со скандала в разгар пышного праздника.

Картина была удостоена «универсального сертификата», и можно было бы приятно удивиться тому, как спокойно наши киноцензоры пропустили множество довольно-таки сомнительных пассажей — даже «похотливая стрелка часов» не нарушила спокойствия сих благодушных джентльменов. Существенный урон понесла Кормилица, правда, в большей степени от клоунады Эдны Мей Оливер, чем от цензуры. Эта роль и роль Меркуцио пострадали оттого, что актеры переигрывают. На немолодом лице Меркуцио, которого играет Джон Бэрримор, отпечатались следы грима тысячи бродвейских представлений. Бэзил Рэтбоун прекрасен в роли порочного Тибальта, а Лесли Хауард и Норма Ширер произносят стихи так, как их и нужно произносить, и выглядят вполне приемлемо, играя в традиционной романтически — мечтательной манере (мы все еще хотим видеть любовников, одержимых веронской лихорадкой, юных, страстных, безрассудных, как их враждующие кланы, «как огонь и порох, что, целуясь, превращаются в дым»).

Постановка дуэлей с кровопролитием производит неизгладимое впечатление — я имею в виду сцену смерти Меркуцио и Тибальта — и более убедительный, чем на сцене, финальный поединок Ромео с Парисом в склепе, но все же я еще менее чем когда-либо убежден, что вообще существует эстетическая необходимость экранизировать Шекспира. Воздействие на зрителя даже лучших сцен проявляется в том, что внимание рассеивается, почти так же, как это происходило в старых постановках Три. Мы не в состоянии с равным вниманием одновременно смотреть и слушать. Но я не спорю, что тут, возможно, есть некий социальный смысл: любым способом, даже лишая его наполовину драматизма и на две трети поэзии, дайте Шекспиру стать массовым достоянием. В театре вас окружают богатые стареющие дамы, впервые с волнением знакомящиеся с содержанием пьесы из программки; знатоки жарким шепотом подготавливают своих перепуганных спутниц к неожиданной и печальной развязке, когда Ромео спускается в склеп Капулетти. Может быть, в этом и заключается общественная миссия кино — познакомить великий средний класс с пьесами Шекспира. Но поэзия... Удастся ли нам когда-нибудь воссоздать на экране поэзию не только по крупницам (как в коротеньком эпизоде, когда Ромео уговаривает несчастного аптекаря дать ему яд, — это отлично сыграно и блестяще поставлено), если мы не откажемся от беспредельных возможностей, на которые нас обрекают огромные декорации и массовки? Даже в «Страстях Жанны д'Арк» Дрейера — помните: белые стены, длинная вереница лиц? — удалось сохранить чуть больше поэзии, чем в этом великолепном коммерческом творении.

«Мы из Кронштадта»

С той минуты, как пожилой комиссар с печальным и простоватым лицом, в потрепанном макинтоше и мягкой, выдавшей виды шляпе садится в катер и плывет в закатных лучах под мостами Петрограда навстречу огням морского порта, «Мы из Кронштадта» полностью завладевают воображением, и будет просто непростительно, если Британский Совет киноцензуры преградит этой необычной смеси поэзии и героики путь к успеху в Лондоне, который, наверное, смог бы сравниться с триумфом этого фильма в Париже и Нью — Йорке.

Это рассказ о событиях 1919 года, времени иностранной интервенции. До самого последнего кадра, когда матрос Балашов, стоя на краю скалы, откуда его товарищи были сброшены в море в объятия смерти, потрясает кулаком в сторону горизонта: «Ну, кто еще хочет взять Петроград?» — вся эта незатейливая история о соперничестве между матросами и рабочими

отрядами выдержана в духе детского рассказа: отчаянные атаки и схватки не на жизнь, а на смерть, самоотверженные подвиги, удачные побеги — все это потрясающе поставлено режиссером. Вот солдат ползет по — пластунски, сжимая в руке гранату, навстречу громадине танка, напугавшего моряков; вот нестройный оркестр в последней траншее, отделяющей неприятеля от города, наигрывает веселый марш, призывающий раненых подняться для последнего и решительного боя; голос, шепчущий: «Кронштадт, Кронштадт, Кронштадт» в телефонную трубку, и камера движется вдоль провода, под беспечное чириканье птиц, к оборванному концу, к взорванному пункту связи, к безмолвию.

Но что здесь действительно прекрасно, что делает эту картину просто замечательной, это не только героика, но и лиризм, поэтичность, напряженность действия. Вот чем должно быть поэтическое кино: не пьесы Шекспира, доведенные до среднего уровня, еще менее приемлемого, чем нынешние театральные постановки, но поэзия, воплощенная в образах, в которых жизнь проявляется ярче, чем в самом сюжете. На сцене это можно осуществить довольно грубо (с помощью слов), но киноискусство сродни романной прозе, а «Мы из Кронштадта» созданы соотечественниками Чехова и Тургенева. Разумеется, еще в ранних вещах Пудовкина мы видели прекрасные картины природы, но эти картины были жестко привязаны к революционной идее: мчащиеся облака, бури над азиатскими пустынями, ломающийся весенней порой балтийский лед — все это имело небольшую лирическую ценность, ведь такие кадры использовались метафорически для усиления однозначного смысла сюжета. С другой стороны, «Мы из Кронштадта», от первого до последнего кадра, буквально насыщены поэтическим смыслом (вспомним, как определял поэтическое Форд Мэдокс Форд: «не энергия аранжировки слов по мелодическому признаку, но энергия внушения»), подобно «Дворянскому гнезду», и, самое любопытное, несмотря на пушечные залпы, реющие знамена, рукопашные схватки, фильм пронизан такой же, как в романе, мягкой, задумчивой, меланхолической интонацией. Здесь есть сцена, исполненная юмора и высокой иронии, которая, кажется, могла быть целиком списана из романа какого-нибудь великого классика. Зал и лестница в бывшем дворце на берегу Балтийского моря битком забиты солдатами и матросами, лежащими вповалку. На рассвете дверь на верхней площадке отворяется и показывается стайка мальчишек, тайком забравшихся во дворец. Они осторожно пробираются вниз, готовые, как мыши, при малейшем шорохе юркнуть в свое укрытие. Они ощупывают револьверы, винтовки, пулеметы, замирают, если кто-то вдруг зашевелится во сне, и продолжают красться мимо спящих с одной только целью — прикоснуться к револьверной кобуре или стволу английской винтовки.

Можно привести еще множество аналогичных примеров поэтического использования образов и ситуаций: чайки, парящие в небе над скалами, где выстроились в ряд пленные красные, чтобы встретить в море свою смерть, — камера задерживается на тяжелых камнях, привязанных к их шеям, затем ловит легкое движение белых крыльев чаек. Одинокое почерневшее дерево нависает над массивными каменными стенами Кронштадта, над скамейкой, где матрос сжимает в объятиях женщину, а вдалеке виден мрачный прибой, движущиеся огоньки и силуэты пушек на боевых кораблях, откуда-то из тьмы доносится пение матросов, возвращающихся в свой железный дом. Вспоминается чеховское определение задачи писателя: жизнь как она есть, какой она должна быть. Каждый поэтический образ выбран по контрасту для изображения безмятежной будничности человеческого существования даже в героическую и тревожную пору войны.

«Копи Царя Соломона»

«Копи царя Соломона» станут разочарованием для всякого, кто, как и я, ставит книгу Хаггарда гораздо выше «Острова сокровищ». Большинство ее знаменитых персонажей

получили здесь удручающе плохое воплощение. Получилась экранизация исторической повести, но где, скажите, великолепная золотая борода сэра Генри Куртиса (в которую он, как мы помним, при первой встрече с Аланом Квотермейном пробурчал свое загадочное «счастливцев»)? Недельная щетина Лодера — негодная замена. Амбопа превратился в коренастого профессионального певца (это, кстати сказать, мистер Робсон), исполняющего сентиментальные арии, такие же псевдоафриканские, как и весь его облик, придуманный мистером Эриком Машвицем. Тягчайшим преступлением в глазах тех, кто помнит сентенцию Квотермейна: «Могу с уверенностью сказать, что женщины не оставляют своих следов в истории», становится появление блондинки — ирландки, которая каким-то образом вдохновила всех на эту экспедицию и которая в итоге стала леди Куртис (бедная Айша). Игра Анны Ли напоминает манеру Кэрролл, если смотреть на нее с противоположного конца телескопа: огромные кривящиеся губы, шумный шепот, тяжеловесное кокетство.

Но все-таки это «смотрибельная» картина. Сэр Седрик Хардуик предлагает нам настоящего Квотермейна, а Роланд Янг — если говорить о его весьма правдоподобном монокле и белых бриджах — самый что ни на есть капитан Гуд, хотя я что-то не разглядел у него вставной челюсти («У него было целых два прекрасных комплекта, которые пусть и не облегчали его существование, но заставляли меня нередко нарушать десятую заповедь»). Какой же хороший писатель Хаггард!). Одноглазый африканский король Твала великолепен; постановка Роберта Стивенсона значительно превосходит средний английский уровень; созданные мистером Баркасом африканские пейзажи из картона, веревок и прочего павильонного инвентаря выглядят лучше, чем обычно. Но я с сожалением вспоминаю старые немые ленты, в которых было куда больше подлинного Хаггарда. И, насколько я помню, там была золотая борода.

«Сын Монголии»

Трауберг, поставивший «Новый Вавилон» — блестящую, веселую, энергичную версию парижских событий 1871 года, — сделал «Сына Монголии». Трауберг наделен талантом воссоздавать легенды. У кого-то, быть может, до сих пор в минуту отчаяния дождливыми вечерами возникает в памяти мидинетка из «Нового Вавилона»: несуразная фигура, покрытое дождевыми каплями лицо, выражающее немое и наивное изумление, когда она, в глубине души болезненно пережив все стадии эволюции природы, умирает в момент первого проблеска в ней человеческого разума.

Сын Монголии — такое же простое, несмышленое существо, в ком прямо на наших глазах пробуждается разум. Правда, обладая большой физической силой и природным чувством юмора, он становится героем легенды с более счастливым концом, в которую, впрочем, труднее поверить, чем в ту, где сама доброта умирала под проливным дождем у стены.

Этот Сын Монголии влюблен в пастушку (более подходящее имя, чем Трианон, трудно придумать для этой девушки, разъезжающей на крепеньком пони, — маленькой, задиристой, с миндалевидными глазами). Чтобы избавиться от него, его соперник подкупает прорицателя в караван — сарае (на дворе свалены в кучу велосипеды, старики — священники, сидя у плевательниц, перебирают четки, и где-то протяжно поют меланхолические песни). И прорицатель читает у монгола на ладони: «Многодневное путешествие на Восток, там найдешь зачарованный сад. Если отведаешь в нем один плод, станешь героем. Если встретишь в пути препятствия, крикни: “Я Цевен из Шорота”». И простодушный бедняга отправляется в дорогу, как это обычно делал в сказках младший сын. В пути его застигает пыльная буря, благодаря которой он незаметно минует пограничные посты и оказывается в Маньчжурии, в стране феодального бесправия, коварных японских шпионов, казней без суда; стране, где страдания человеческие столь же естественны, как дыхание и сон. Он подружится

с пастухом, которого выпороли за предсказание того, что когда-нибудь Монголия обретет свободу; потом подслушает разговор японского офицера с цирковым борцом, замыслившим провести в страну неприятельские войска, и, после того как он разоблачит шпиона, его посадят в клетку, и он, приговоренный к смерти местным китайским правителем, решившим предать свою родину, попадет в зачарованный сад своей мечты.

Потом его ожидает освобождение и побег на маленьких сказочных пони, которых по бескрайним просторам монгольской степи преследует огромный танк. В последнюю минуту он, словно библейский герой, получит спасение: Цевен вместе со своим другом лежат на земле, под ногами невозмутимо жующего стада, пока солдаты в тщетных поисках беглецов направляют на горизонт свои лейтцевские бинокли. Не будем обращать внимания на неотработанный пропагандистский финал картины, а лучше запомним поразительную смесь древнего и нового, мелодрамы и сказки. В салоне «даймлера», с цветочными горшками на брезентовом верхе, подбитом атласной тканью, китайский правитель с торопливой похотливостью предается любовным утехам, шпион в долгополом халате качается в гамаке и обсуждает с полуголым борцом план передвижения войск, клоун прячет армейский револьвер в длинной седой бороде, и, пока палач ждет с обнаженным мечом, секретарь правителя, в костюме — двойке и в очках с роговой оправой, читает в томе «Арабских ночей»: «Цевен из Шорота должен стать короче на одну голову». Есть в этой картине один незабываемый панорамный кадр, когда камера скользит вдоль бесконечной китайской улицы: верблюды и велосипеды, сидящие на корточках преступники, чьи головы зажаты в деревянных «воротниках», мясницкие лавки и чайные, неизвестно за кем охотящиеся в толпе солдаты, ряды швейных машин, остроконечные башни городских ворот в древних стенах и пыльная степь, уходящая за горизонт...

«Грозовой перевал»

Насколько же лучше могли бы сделать «Грозовой перевал» французы! Они знают, как надо снимать сцены физической страсти, а в этом раскинувшемся в Калифорнии Йоркшире, где звучат чувственные и невротические английские голоса, нам предлагают секс в аккуратной целлофановой упаковке. Здесь нет ни себялюбцев, ни одержимых страстью. Этот Хэтклифф ни за что бы не женился из чувства, мести (нервный, срывающийся голос Оливье более подходит для балконов Вероны, романтической влюбленности), и трудно вообразить себе призрак этой Кэти, оплакивающей свою отвергнутую любовь у разбитого окна, хотя Мерль Оберон изо всех сил старается сыграть самую обыкновенную девушку. Сюжет упрощен (что вполне логично), воспроизводится только история одного поколения, второстепенные персонажи либо отступили на задний план, либо вовсе исчезли, и мрак, мрак почти на всем протяжении картины, мрак, заменяющий тревожную страстность романа. Мерцает пламя свечей, хлопают окна на сквозняке, устрашающие тени падают на невозмутимые лица актеров — и все это для придания значительности довольно-таки невнятного сценарию, который не стал проверкой способностей Бена Хекта к оригинальному творчеству. Может быть, Голдвин, которому не занимать смелости, и понимал, что от него здесь требуется, — он ведь выбрал отличного режиссера для «Тупика», и, возможно, не вся вина за неудачу этой картины ложится на Уайлера. Примем во внимание сценарий Хекта и игру актеров — чувствительных и именитых британцев. С каким же благоговением отнеслись к постановке картины, которая должна быть грубой, как стиральная доска! Кто-то может припомнить «Бурю» — не особенно знаменитый французский фильм: там любовники в душном номере заштатной гостиницы гоняют мух, лежа среди раскиданной одежды, не имея ни сил, ни желаний спуститься вниз к обеду. Такой вот чувственности и не хватает здесь. Сентиментальное рандеву Хэтклиффа и Кэти на утесе, где они любили играть детьми, — не лучшая замена. Да и вообще вся картина больше похожа на старомодное подарочное

«Собака Баскервилей»

Кинематограф до сих пор еще не воздал должное Шерлоку Холмсу. Последняя попытка оказалась не из самых худших, потому что тут пальма первенства должна быть отдана одной из первых звуковых картин с мистером Клайвом Бруком, где великий сыщик занимал пассажирскую каюту на борту современного трансатлантического лайнера и преследовал профессора Мориарти, который избавлялся от своих врагов с помощью электрических приборов, пулеметов, радио — это вместо запряженного парой лошадей фургона и падающего с крыши шифера... Первый приз за самый нелепый фильм, несомненно, завоевала Германия. В Мексике мне довелось увидеть «Шерлока Холмса» УФА, и я все еще недоумеваю, что поняли в том фильме невозмутимые метисы, занимавшие самые дешевые места в зале, за кого они принимали двух шаромыжников, попавших на воды где-то в Германии. Они называли себя Холмс и Ватсон и постоянно сталкивались с таинственным незнакомцем в охотничьем костюме и дождевике, который при виде их в фойе гостиницы заливался добродушным тевтонским хохотом и, в конце концов, был вызван в суд свидетелем, где, к удивлению судьи и полицейских, заявил, что таких субъектов, как Холмс и Ватсон, никогда не существовало и что его имя — Конан Дойл. Вот такой заумный, в духе Пиранделло, сюжетик!

В новой картине Холмс — это бесспорно Холмс, и ему не приходится вступать в единоборство с телефонами, скоростными автомобилями и 1939 годом. «Одевайтесь, Ватсон, быстро! Нельзя терять ни минуты!» Он бросился в свою комнату в халате и снова появился через несколько секунд уже в сюртуке». Еще не отравленная бензиновыми парами уличная суэта эдвардианской эпохи передана очень точно: злоумышленник несетя, не разбирая дороги, по Бейкер — стрит в двуколке, а наш герой намечает план действий, сидя в кэбе. Точно схвачен и облик подлинного Лондона времен Холмса — так, как он был виден из окна кэба: длинные юбки, волочащиеся по земле, сарджентовские шляпы. И если Дартмур походит на готический ландшафт, будьте уверены, что таким он и был в книге. Я думаю, легко можно простить то, что молодой доктор Мортимер превратился в импозантного мужчину в очках с толстыми стеклами и черной бородой и у него появилась запуганно — пугающая жена с кругленьким, как булочка, лицом, которая увлечена оккультизмом: фильм только выиграл от этого нового весьма подозрительного персонажа. Не очень-то меня беспокоит и тот факт, что собака не раскрашена фосфором — такой монстр хорош для печатной страницы, но на экране он выглядел бы нелепо. Даже превращению обесчещенной мстительницы миссис Стейплтон («он измучил и изуродовал мою душу») в мисс Стейплтон, невинную блондиночку, предназначенную для баронета, можно не придавать особого значения. Но что плохо, так это, конечно, предложенная Рэтбоуном трактовка великого персонажа: добродушный юмор (Холмс очень редко смеялся), жизнерадостность и отменное здоровье (есть только одно невнятное упоминание о порочном пристрастии к шприцу). И, разумеется, как оно всегда и происходит, все дедуктивные процессы сведены к минимуму, а сюжет изобилует ложномногочисленными эпизодами. Мы становимся свидетелями абсурдной сцены, когда Холмс преследует собаку по кровавому следу, освещая себе путь электрическим фонариком, и в конце концов оказывается запертым в пустом склепе, куда его заманил Стейплтон. Создатели детективов просто помешаны на действии, но в этом склепе нет и малейшего намека на драматическое действие. Холмс просто начинает складным ножом проковыривать кладку стены, хотя, как нам кажется, что-то все же происходит: раз рядом никого нет, значит, он занят разгадыванием тайны.

Что нам действительно нужно в фильмах о Холмсе, так это побольше диалогов и поменьше

действия. Пусть на нас, как на бедного Ватсона, обрушивается нескончаемый поток фактов, заставляющих делать умозаключения, и пусть отпечатки зубов на трости, грязь на ботинках, запачканный ноготь станут главными героями фильмов о Холмсе.

Писатели как они есть

Это интервью дано Г. Грином французской журналистке Мадлен Шапсаль.

— Что вы думаете о своем последнем романе?

Г. Г. — О «Нашем человеке в Гаване»? Ну, разумеется, я отношусь к нему как к шутке.

— Он бесподобен.

Г. Г. — Надеюсь, он заставил вас улыбнуться!

— Когда вы его закончили?

Г. Г. — В прошлом году. А принялся за него в ноябре 1957 года в Гаване.

— Вы быстро пишете?

Г. Г. — Нет, очень медленно. Когда я работаю над книгой, я стараюсь писать по пятьсот слов в день, но нередко топчусь на месте.

— А где вы работаете? В Лондоне?

Г. Г. — Нет, не в Лондоне. Там слишком отвлекаешься на телефонные звонки, знакомых... Пишу я, как правило, в деревне. Или уезжаю в Брайтон, к морю, работаю в номере отеля, где никто не может меня потревожить, а если заскучаю — что ж, Лондон ведь не за тридевять земель...

— Должно быть, вам часто задавали вопрос: почему своим романам, даже самым серьезным, вы придаете форму «триллера» или же полицейского романа?

Г. Г. — Люблю полицейские романы, читаю их с удовольствием. В колледже одной из моих первых страстей был Джон Бьюкен. А потом, в наши дни жизнь смахивает на полицейский роман, особенно после войны. Вам не кажется?

— Готовясь сесть за книгу, вы хорошо представляете себе ее сюжет?

Г. Г. — Только начало и конец, а между ними многое для меня неясно. И хорошо, иначе не над чем было бы работать. Потому-то я не могу писать рассказы: надо заранее все знать, и места для открытий не остается. Мне по душе, чтобы книга «росла» потихоньку.

— Собираетесь ли вы еще работать над книгами, которые будут не только триллерами, такими, как «Суть дела», «Сила и слава»?

Г. Г. —

Я немного устал от того, что меня причисляют к католическим писателям и не дают мне по этому поводу покоя... Вот почему в двух моих последних книгах совсем нет проблем,

связанных с католицизмом. Есть у меня одна пьеса, это всего лишь комедия, она поставлена и идет сейчас в Лондоне. Я написал ее, чтоб сбить с толку преследователей. Однако это нелегко: раз уж они решили, что вы — католический писатель, целая свора благонамеренных так и кружит вокруг вас...

— О чем ваша пьеса?

Г. Г. — Называется она «Снисходительный любовник», и этим все сказано.

— Вы полагаете?

Г. Г. — Объяснить сюжет невозможно. Всякий сюжет выглядит банально, а вот сочинять комедию было весьма забавно. У меня только три пьесы, и эта, думаю, лучшая. Сейчас Ануй переводит ее на французский.

— Что вы думаете о фильмах, поставленных по вашим книгам?

Г. Г. — Терпеть их не могу. Кроме тех, в основу которых легли мои собственные сценарии: «Третий человек» и «Падший ангел». Вы видели «Тихого американца»? Безобразно. Американец — истина в последней инстанции, англичанин — во всем не прав. Американец — воплощенная мудрость и героизм. Ужас, да и только!

Только что я завершил работу над сценарием «Нашего человека в Гаване», фильм уже в работе, в нем снимается Алек Гиннесс. Скоро возвращаюсь в Гавану.

— Для кого вы пишете?

Г. Г. — Думаю, для себя.

— А читатели что-то для вас значат?

Г. Г. — Нет. Мне кажется, у каждого писателя сложился свой образ читателя — так сказать, идеального.

— Каков он для вас? Кто он? Мужчина или женщина?

Г. Г. — Скорее всего гермафродит. Когда сочиняешь пьесу или ставишь фильм, поневоле думаешь о зрителях, поскольку речь идет о произведении, предназначенном для публики. Но книга — частное дело, и совсем не обязательно воображать ее будущих читателей.

— Повлиял ли на вас огромный успех, выпавший на долю ваших книг?

Г. Г. — Надеюсь, нет. Не дай бог! Нужно много работать, делать то, что тебе по плечу, бросать себе вызов. Вот и все. И потом, меня всегда увлекала манера письма. Техника. Может быть, я проявлял к этому излишний интерес.

— Изучали ли вы манеру письма других писателей?

Г. Г. — В молодости — да.

— Кем вы восхищаетесь как рассказчиками?

Г. Г. — Генри Джеймсом, Джозефом Конрадом. И не очень известным писателем Фордом Мэдоксом Фордом. До настоящего времени он больше прославился во Франции, чем в Англии, потому что здесь жил. Хороший писатель. Умер году в сороковом. Лучшее из написанного им — «Хороший солдат». Не знаю, переведена ли эта книга на французский[136]

— А из современных французских писателей?

Г. Г. — К сожалению, я читаю их не в подлиннике. Очень люблю Мальро, особенно «Орешники Альтенбурга», и «Падение» Камю. Есть в них что-то от Рильке.

— А Сартр?

Г. Г. — Кое — какие его пьесы мне нравятся. «За запертой дверью» великолепна. Но как романист он, на мой взгляд, находится под немалым влиянием Джона Дос Пассоса.

— Джон Дос Пассос стал поистине одним из наших послевоенных открытий.

Г. Г. — А мне думается, он немного устарел. Принадлежит к двадцатым годам: вырезки из газет, крупные заголовки — все это изрядно скучно.

— Вы следите за произведениями молодых английских литераторов?

Г. Г. — Немного. Меня восхищают два — три молодых писателя, но вообще романы я читаю мало. Должен признаться, есть всего лишь два современных автора, чьи только что вышедшие книги я открываю с абсолютной убежденностью в том, что получу удовольствие. Оба они из предыдущего поколения писателей, как и я сам: это Ивлин Во и сэр Генри Грин. С ними я нисколько не сомневаюсь, что приятно проведу время.

— Дают ли вам молодые авторы представление о современном мире, которое в чем-то полезно вам?

Г. Г. — Этого я не ощущаю. Может быть, только Мюриэл Спарк. Читаю я, правда, немного.

— Вы очень мало рассказываете о себе в своих книгах. Это сознательно?

Г. Г. — Да нет же, я рассказываю о себе! В книгах о путешествиях. Хотя вы правы, я не люблю исповедь и исповедующихся.

— При чтении ваших книг возникает ощущение, что вы не очень любите современную эпоху, ее нравы, засилье машин, считаете, что все это представляет опасность для внутреннего мира человека.

Г. Г. — Думаю, это не совсем так... Разумеется, когда описываешь что-то, ну, скажем, малопривлекательное, можно ведь и в это вложить душу, а читатель все равно увидит лишь негативное...

— Что вам не нравится в современной цивилизации?

Г. Г. — Америка. Под этим словом я подразумеваю все то, что не имеет никакого отношения к самой Америке: телевидение, всякие новшества быта, овощи в целлофановой упаковке, замороженную еду и тому подобное!.. Конечно, Америка к этому не сводима, просто я использую это слово.

— Почему вы не любите телевидение?

Г. Г. — По друзьям замечаешь: стоит кому-то появиться на телеэкране, как он тут же становится звездой.

— А сами вы?

Г. Г. — Я никогда не соглашался выступать с телеэкрана. Не дело, чтоб писателя узнавали. Ведь всех тех, кто согласился, узнают на улице... Вот уж поистине, писателю надо иметь что-то вроде оболочки, которая мешала бы ему быть узнаваемым.

— Вы много путешествовали. Зачем?

Г. Г. — Это просто мания! Говорю так, потому что подсчитал: в прошлом году я преодолел на самолете около 44 000 км, это чересчур, похоже на болезнь...

— Вы не любите холодильники, но любите самолеты?

Г. Г. — Люблю летать на лайнерах на большие расстояния. Мне нравится, когда объявляют: Дамаск, Хартум, Гонконг... А вот небольшие самолеты мне не по нраву, на короткие расстояния предпочитаю передвигаться поездом.

— Часто героями ваших романов становятся люди определенного социального пласта: отбросы, отщепенцы. Вы и в жизни предпочитаете иметь дело с ними?

Г. Г. — Ответить утвердительно — значит оскорбить всех своих друзей... Скорее всего людей со «дна общества» или тех, кого встречаешь в баре или в поезде, с кем завязывается получасовая беседа, я ценю как случайных знакомых. Так много людей любит рассказывать о своей жизни! Просто поразительно, сколько всего услышишь от соседа в самолете...

— А бывало так, чтобы подобные встречи служили отправной точкой ваших произведений?

Г. Г. — Нет, отправная точка всегда появляется сама собой. Например, роман «Конец любовной связи» начался с того, что я представил себе человека на балконе дома во Фритауне. Было две возможности дать ему встать и уйти с балкона, и мне понадобился год, чтобы выбрать одну из них: каждая могла стать отправной точкой для двух совершенно разных историй, выросших на основе одного и того же образа: человек на балконе. С одной из историй нужно было покончить, чтобы могла развиваться другая. Какую из них принести в жертву? Одна была полицейским романом, другая — тем, что получилось в конце концов.

Иной раз я представляю себе лишь начало и конец книги, не зная, чем заполнить промежуток между ними. Так, для той истории, за которую я, надеюсь, вот — вот примусь, отправной точкой послужило Бельгийское Конго: к камере направляется человек, это врач. Я уже написал его последние слова, которыми и заканчивается роман. Недостаёт середины. Трудно, не уверен, получится ли вообще когда-нибудь. Надо подождать. Так вот, замысел этой вещи зародился у меня еще до того, как я увидел лепрозорий, ну и пришлось отправиться в Бельгийское Конго, посмотреть, что это такое: я побывал там несколько недель назад. Полтора месяца провел в лепрозории для того, чтобы у моего героя появились среда и окружение. Но самая первая моя мысль была о нем самом.

— Что вас притягивало в прокаженных?

Г. Г. — В этой болезни есть стадия, которую обозначают словом «перегорело»: человек теряет пальцы, или нос, или уши, он кончен, но кончена и болезнь. Она «перегорела». Мне было интересно сопоставить больного проказой с человеком, который «перегорел» психологически, к примеру, исчерпал себя в профессиональном смысле или утратил веру; пусть он потом и вылечился, но все равно кончен... Впрочем, не надо об этом. В данный момент я занят пьесой, а роман лежит в ящике моего стола, откуда я, может быть, выну его этим летом. Пока не знаю.

— Написали ли вы книги, которые хотели написать?

Г. Г. — Конечно, нет. В юности я хотел сочинять исторические романы на манер английской романистки Марджори Боуэн, чьи произведения мне нравились. Вне всяких сомнений, я не хотел писать те книги, которые пишу. И читать бы их не стал, будь я читателем. На мой взгляд, они мрачноваты.

— А не кажется ли вам, что читатели любят мрачные истории?

Г. Г. — Не знаю... Только не я.

— Вы говорили, что вам не по душе, когда вас относят к католическим писателям. Считаете ли вы, что католики — это что-то особенное?

Г. Г. — Да, в той мере, в какой они исповедуют веру: поступи они противно вере, и это оказывает на них определенное воздействие, порождает конфликт, пусть даже в зародыше... Для романиста это представляет интерес. Но то же происходит с любой разновидностью верующих, например с коммунистами. В моих романах есть коммунисты.

— Много говорилось о том, что в ваших книгах речь идет о столкновении добра и зла, что ваши романы иллюстрируют всемогущество зла.

Г. Г. — Не понимаю, что это значит. Кому-то взбрела однажды в голову эта фраза о зле, и с той поры ее повторяют! Когда на вас вешают ярлык, от него потом не избавиться никакими силами в мире... Это еще одна причина того, почему я написал комедию: попытался сорвать ярлык.

— Вы верите, что вам это удастся?

Г. Г. — Видимо, потребуется время... Я осознал это на первых постановках моих пьес. Люди, пришедшие на пьесу какого-то конкретного, определенного автора, сдерживают смех, думают, что смеяться — нехорошо. Они полагают, что речь в ней пойдет о высоком, и полны решимости не веселиться. Нужно сражаться, сражаться со зрителем, чтобы рассмешить его помимо его воли; а все потому, что на вас нацепили ярлык «серьезный писатель»!.. Но свою последнюю пьесу я окрестил «комедией» в надежде, что мне повезет и публика придет на нее в более веселом расположении духа.

«Надеюсь на лучшее»

Как вы отнеслись к постановке в проекте новой редакции Программы КПСС вопроса войны и мира, использования результатов науч — но — технической революции на благо или во вред человечеству, осуждению империализма и неокOLONиализма? На этот вопрос парижского корреспондента «Литературной газеты» отвечает известный английский писатель.

— Я не коммунист и, по всей видимости, в свои восемьдесят с лишним лет уже не успею им стать. Это нисколько не умаляет моего интереса к тому, что происходит в Советском Союзе вообще, и в частности сейчас в связи с публикацией новых документов о его перспективном развитии. Поскольку в западной прессе о содержании этих документов можно судить главным образом по комментариям и докладу господина Горбачева, который он сделал на Пленуме ЦК КПСС в октябре, могу заключить, что в целом преобладает оценка, которую я назвал бы ворчливой похвалой. Но что касается меня, то я от всего сердца желаю вашей стране успеха.

Мир сегодня — это забота всего человечества. Господин Горбачев в своем, как я могу судить, весьма возвышенном докладе дал нам надежду на то, что на планете опять восторжествует разрядка и что она окажется более реалистичной, чем когда бы то ни было раньше. Я хотел бы пожелать, чтобы подобные надежды заронили у нас и действия президента США. Когда Рейган говорит о нарушении прав человека в мире, он, кажется, не сознает вины собственного правительства и всех предыдущих американских правительств. В список стран,

где, согласно его заявлениям, в нарушениях прав человека повинен Советский Союз, он включил, например, Никарагуа и Кампучию, а ведь именно в этих странах — добавлю к ним и Сальвадор — преступно замешаны Соединенные Штаты.

В истории бывали моменты, когда империализм и мир оказывались способными сосуществовать. Но не может быть ничего опаснее, чем империализм, которому не сопутствует успех. Американский империализм провалился на Кубе, провалился во Вьетнаме, терпит крах в Центральной Америке. Провалы ранят гордость, вызывают напряженность, способную перерасти в угрозу ядерного разрушения. Вот почему сегодня от людей, которые находятся у правительственных штурвалов, требуется высшая осторожность. Сейчас не время для научной фантастики и «звездных войн» в политике. Мир — не турнир двух держав, одна из которых присваивает себе право наклеивать на другую этикетку «зла». Чтобы предотвратить глобальное самоубийство, у человечества есть только один надежный путь — глобальное сотрудничество всех народов, всех стран.

Вспоминаю свою недавнюю поездку в США, где я беседовал со множеством людей. Я не встретил среди американской интеллигенции ни единого сторонника «жесткой политики» президента Рейгана. Это внушает мне надежду на лучшие времена еще в нынешнем веке.

«США опекали Дювалье»

Известный английский писатель Грэм Грин хорошо знает Центральную Америку. Он бывал в большинстве ее стран, и именно там разворачиваются события многих его произведений: «Наш человек в Гаване», «Сила и слава», «Почетный консул». Недавно 82-летний писатель снова совершил поездку в Никарагуа.

Действие его популярного романа «Комедианты», изданного в 1966 году, происходит на Гаити во времена Дювалье — старшего («папы Дока»). Некоторые критики склонны считать, что его главный герой Браун и есть сам писатель.

Вот уже многие годы Грин живет в небольшом французском городке Антиб, расположенном на берегу Средиземного моря. Я позвонил ему, и у нас состоялась беседа.

— Какие воспоминания остались у вас о Гаити времен Дювалье — старшего?

Г. Г. — Каждый раз, когда я приезжал в столицу Порт — о-Пренс и уезжал оттуда, меня обыскивали «тонтоном — макуты». Они были повсюду. Меня поражала ужасающая бедность населения и огромное множество калек. Помню, что проходить мимо президентского дворца Дювалье было запрещено. Я провел в стране несколько недель и был рад оттуда уехать. Еще до прихода к власти «папы Дока» я дважды бывал на Гаити. И тогда это была бедная, обездоленная страна, но положение в ней драматически ухудшилось во времена правления семейства Дювалье.

— Диктаторская династия Дювалье оставалась у власти благодаря опеке Соединенных Штатов?

Г. Г. — Конечно. Помню, правда, как однажды на какой-то срок США отозвали своего посла, но потом быстро передумали и вновь послали его на Гаити. Они также направили послание «папе Доку», которое передал Нельсон Рокфеллер, появившийся с Дювалье на балконе перед толпой, продемонстрировав тем самым свою поддержку диктатору. Американцы помогали Дювалье из-за маниакального страха за «свою безопасность» — того самого абсурдного страха, который толкнул их на то, чтобы направить десять тысяч солдат для

оккупации Гренады.

— Почему же американцы решили сменить «бэби Дока»?

Г. Г. — Я думаю: они поняли, что дальнейшая его поддержка становится невозможной и может обернуться для них позором. Народ восстал, и если бы это восстание было потоплено в крови «тонтон — макутами», вина за это легла бы и на Соединенные Штаты. Американцы осознали, что от Дювалье надо избавиться, чтобы таким образом спасти свое лицо.

— Но ведь теперь к власти пришли люди, которые раньше верно служили «бэби Доку»? По существу, теперь на Гаити воцарился «дювальизм без Дювалье».

Г. Г. — Да, это, пожалуй, так. Остается надеяться на то, что народное восстание преподнесло этим правителям хороший урок. Большинству гаитян, уехавших из страны, в том числе многим писателям, художникам, поэтам, не разрешили пока вернуться назад. А ведь они как раз могли бы принять участие в управлении страной.

— «Тонтон — макуты» были распушены, но не предстанут перед судом за совершенные преступления, а семьям тех, кто был ими убит или замучен, предложено их «простить»...

Г. Г. — Это не укладывается в моем сознании.

— Что же ожидает Гаити завтра?

Г. Г. — Как я уже говорил, это страна потрясающей бедности. Трудно представить, как большинству населения удастся выжить. Продолжительность жизни здесь чрезвычайно низкая. Многие умирают в тридцатилетнем возрасте. Мне кажется, что существует опасность того, что на смену Дювалье придет военная диктатура.

Несколько месяцев назад в интервью «Монд дипломатию»

Грэм Грин говорил о том, что он питает симпатию к народам Сальвадора и Никарагуа, знает многих сандинистов и сальвадорских партизан. «Я питаю к ним симпатию, как к членам собственной семьи, хотя эта семья находится далеко от меня, — говорил он. — Само существование этих людей находится под угрозой... Нелепо и несправедливо считать, что Никарагуа представляет собой угрозу для Соединенных Штатов. Сандинисты вынуждены сражаться с сомосовцами, которых содержит ЦРУ. Слишком мало говорят о зверствах, совершенных «контрас» в отношении женщин, детей, стариков... Всем известно, что экономические санкции, принятые Соединенными Штатами против Никарагуа, имеют целью попытаться поставить эту страну на колени». И вот месяц назад писатель побывал в Никарагуа.

— Каковы ваши впечатления от поездки?

Г. Г. — Самые хорошие. Если не считать, что я был свидетелем трудностей, с которыми стране приходится сталкиваться. Власти делают все возможное для преодоления этих трудностей. И я верю в успех политики сандинистского правительства. В стране прошли демократические выборы, и до сих пор вдоль дорог на больших щитах можно видеть плакаты различных политических партий, участвовавших в выборах, — консервативной, либеральной, христианско — демократической. Я считаю вздором, когда Папа Римский говорит о религиозном преследовании в Никарагуа. Это полный вздор.

Но Никарагуа вынуждена вести войну, и поэтому там существуют воинская повинность, цензура прессы. Без этого нельзя воевать. Правительство Никарагуа ведет войну с внутренними противниками, и положение в стране в последние недели обострилось. «Контрас» получают все больше ракет от американцев, а это создает большие трудности.

Прямо на наших глазах ими был сбит вертолет сандинистов.

— Как вы оцениваете положение в Никарагуа?

Г. Г. — «Контрас» убивают невинных людей, и вместе с тем их самих раздирают внутренние распри. Один американский журналист, который провел с сомосовцами около трех месяцев, рассказал о том, как конфликты среди «контрас» выливаются во взаимное убийство. И я не думаю, что Рейган совершит вторжение в Никарагуа. Это было бы столь же опасно, как и война во Вьетнаме.

— Тем не менее Вашингтон продолжает вооружать сомосовских бандитов?

Г. Г. — Конгресс США выступает против предоставления им оружия, и настроения там против интервенции усиливаются. В этом я вижу хороший признак. Я не думаю, что общественность США поддержит вторжение американских войск в Никарагуа. Сами же по себе «контрас», на мой взгляд, не могут оказать решающего влияния на ход событий, хотя являются серьезной помехой.

— Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация в Центральной Америке?

Г. Г. — Все ее проблемы, включая Гаити и Никарагуа, взаимосвязаны. Это происходит из-за стремления Соединенных Штатов безраздельно править на всем Американском континенте, в том числе и в Центральной Америке. Они по — прежнему рассматривают ее как свои задворки.

«...Быть очевидцем событий»

В Советском Союзе по приглашению Союза писателей СССР побывал известнейший современный английский писатель Грэм Грин. В программе пребывания Грина в СССР были интересные встречи с почитателями его таланта, которых в нашей стране много. На одной из них — со студентами МГУ им. М. В. Ломоносова — побывал корреспондент «Советской культуры» Б. Юнанов, который задал писателю несколько вопросов. Размышления Грэма Грина о литературном труде, о значении культурных контактов, об актуальных проблемах современности приведены в данном интервью.

Я рад снова побывать в Советском Союзе. С вашей страной у меня связаны давние приятные воспоминания. Хорошо помню один эпизод, хотя было это, пожалуй, более двадцати пяти лет назад. Я приехал в Ясную Поляну, и одна из посетительниц Дома — музея великого русского писателя, молоденькая девушка, видимо, узнав меня, подошла и попросила: «Передайте, пожалуйста, привет Фуонг», то есть героине моего романа «Тихий американец», девушке — вьетнамке. Так я воочию убедился, что мои книги читают у вас, что они пользуются популярностью, что моих героев воспринимают у вас как реально живущих людей.

К сожалению, я плохо знаком с современной советской литературой. Да и не только я один: на Западе вообще очень невежественны в этом отношении. Причин тому много. Я укажу лишь на одну из них — на изъяны издательской политики. Не знающий русского языка английский издатель, получая в руки произведение советского писателя, как правило, тут же отдает его на рецензирование, чтобы иметь о книге представление. А среди рецензентов нередко попадаются люди, предвзято относящиеся к советской литературе, или, хуже того, так называемые диссиденты. Затуманить голову издателю легко, куда сложнее восполнить пробелы в знании советской литературы у английского читателя. Надеюсь, в скором времени это несправедливое положение изменится.

Когда-то я начинал с журналистики, работал в лондонской «Таймс»... В английских вузах, в отличие от советских, нет факультетов журналистики. Английские журналисты в работе не проявляют особой тщательности в смысле достоверности излагаемых оценок и фактов. Десять фактических ошибок в материале? Помилуйте, в Англии это никого не удивляет. Однажды мой приятель — журналист написал репортаж о своем «свидании с писателем Грином», в котором было восемь фактических ошибок. Более того, после публикации этого материала у «писателя Грина» были большие неприятности: мне было приписано «постоянное ношение при себе заряженного револьвера» — естественно, чистая выдумка. Но штраф пришлось-таки заплатить, поскольку никакого права на ношение оружия у меня не было.

Меня часто просят поделиться мыслями о молодом поколении. Трудная задача. Наверное, я несколько утратил контакт с молодежью. Восемьдесят два года — все-таки возраст, да и сыну моему недавно исполнилось пятьдесят. Наверное, и герои мои состарились вместе со мной. Не знаю, отражают ли герои моих книг думы и чаяния современного молодого поколения. Они были представителями своего поколения — это я могу сказать с уверенностью. Сейчас я не взялся бы писать книгу о молодом человеке, которому двадцать пять лет. Так же как не стал бы писать книгу о войне, на которой никогда не был.

Для писателя много значит быть очевидцем событий. От этого непосредственно зависит степень актуальности того, что пишешь. Я часто подчеркиваю, как важно помещать действие книги не в контекст прошлого, а в современную эпоху, в наше время.

Современный мир сложен, противоречив, планета раздираема конфликтами. Противостояние сил мира и войны, прогресса и закоренелого консерватизма ощущается все явственнее. Я много писал о Латинской Америке, и мне небезразлично то, что происходит там сейчас. Я очень надеюсь, что Никарагуа устоит под натиском США. Янки не решаются на открытую интервенцию (им понадобилось бы для этого держать в Никарагуа сто тысяч солдат), они пытаются задушить Никарагуа с помощью наемников. «Контрас» — профессиональные убийцы. Они совершают ужасные преступления против мирных жителей. Одна американская женщина, католическая миссионерка, написала мне недавно о зверском убийстве одного молодого служителя прихода. «Контрас» кастрировали его, содрали с ног кожу, вырвали глаза. Такое больше не может продолжаться!

Мне кажется, в сознании американского народа сейчас происходят большие перемены. Все меньше в Америке остается тех, кто поддерживает политику правительства в отношении Никарагуа. Так же как все меньше и меньше остается людей, терпимых к бесчеловечной системе апартеида в ЮАР. Политика аннексий, насилия, интервенций в современном мире не способна принести дивидендов ее проводникам. Я часто вспоминаю слова моего друга Омара Торрихоса, сказанные им еще до того, как был заключен договор о Панамском канале с США: «Если бы янки решились военным способом аннексировать канал, мы могли бы удерживать его 24 часа. А после этого еще два — три года мы сопротивлялись бы оккупантам в горах и в джунглях. Пока это время истечет, сами американцы пошлют к черту войну, которая им слишком дорого обходится».

Я не коммунист. Я считаю себя католиком — агностиком. Но я против того, чтобы США использовали свои бомбардировщики, базирующиеся в Англии, как они это сделали во время налета на Ливию. Мне не нравится военное сотрудничество Великобритании и США. Я приветствую объявленный Советским Союзом мораторий на ядерные испытания. Заявление М. С. Горбачева о продлении моратория — голос разума. В позиции советского руководства нет какой-либо риторики — только призыв к здравому смыслу людей. Отказаться от ядерных испытаний, не имея никаких соответствующих гарантий со стороны США, — мужественный шаг. Я не согласен с позицией президента Рейгана, торпедирующей процесс разоружения.

Сейчас, на мой взгляд, сложилась благоприятная атмосфера для развития всесторонних

связей между Востоком и Западом. В том числе контактов в области культуры. Мы откровенно говорили об этом в Ленинграде с заместителем директора Эрмитажа. Мы признали, что сотрудничество Эрмитажа и музеев Англии находится, увы, на низком уровне. На еще более низком, чем контакты с музеями США. Нужно менять положение. Повторяю, сейчас сложились все предпосылки для развития конструктивного сотрудничества. Давайте же использовать все возможности для того, чтобы лучше знать друг друга.

Легче судить о других...

Это интервью дано Грэмом Грином С. Бэлзе в феврале 1987 года в дни работы московского форума «За безъядерный мир, за выживание человечества».

— Мистер Грин, многим вашим романам предпосланы эпиграфы — чаще всего это строки ваших любимых поэтов. Как вы выбираете их — перед тем, как начать роман, или после того, как он уже завершен?

Г. Г. — Обычно после написания романа. Любопытный случай произошел с книгой «Знакомство с генералом». Мне хотелось найти для нее эпиграф, но у меня не было на примете подходящего. И вот случайно я раскрыл том Теннисона — а он не относится к числу моих самых любимых поэтов, — и там в длинной поэме, которую прежде не читал, сразу же обнаружил строки, что как нельзя лучше устроили меня.

— Мне кажется, очень характерен для вашего мировосприятия выбор эпиграфа из Шарля Пеги к роману «Суть дела»: «Грешник постигает самую душу христианства... Никто так не понимает христианства, как грешник. Разве что святой». Не в этом ли «суть дела»?

А в автобиографическом повествовании «Часть жизни» вы написали, что если бы искали эпиграф для всех своих романов, то взяли бы слова Р. Браунинга о том, что нам особенно интересны «честный вор, нежный убийца, суеверный атеист...». Это, как и многие ваши книги, убеждает, что вам не чужда парадоксальность, причем вы любите не только парадоксальные истины в духе Оскара Уайльда и Бернарда Шоу, некоторые характеры, а иногда и целые произведения тоже строятся у вас по принципу парадокса. Итак, что означает для вас парадокс?

Г. Г. — Что касается эпиграфа, который вы упомянули, то там для меня особенно важна первая строка о притягательности опасной грани вещей. Если же говорить о присутствии парадокса в моих произведениях, то, должен признаться, я не всегда прибегаю к нему умышленно, иногда это получается непроизвольно.

— То есть таким образом отражается парадоксальная природа реальности?

Г. Г. — Да.

— Помимо парадокса, вероятно, другое излюбленное ваше средство приближения к истине — диалог. Порою ваши романы походят на пьесы или сценарии...

Г. Г. — Возможно, тут сказывается влияние драматургии на прозу. Я написал около десятка пьес. (Как выяснилось, совсем недавно Грин завершил новую пьесу, которая получила название «Дом с репутацией». — С. Б.) Для меня диалог — это не статика, а форма действия. Я не люблю диалога ради диалога. Цепь диалога, внешне даже самого простого, должна продвигать действие.

— Можно ли утверждать, что вы испытали также влияние кино — в построении диалога, в

монтаже, в подаче деталей «крупным планом»?

Г. Г. — В девятнадцатом столетии на романистов часто влияли живописцы. У Вальтера Скотта, например, описания занимают в романах большое место и напоминают картины в духе Констебля или других художников той поры. В наше время кино, несомненно, оказывает влияние на литературу прежде всего своей динамикой. Любое описание дается уже не статично, как в живописи, а как бы движущейся камерой. В этом одно из отличий писателя двадцатого века от писателя века девятнадцатого.

— В ваших романах, при всей острой их современности, важную роль играет литературная традиция. Мы находим в них реминисценции из Данте, Шекспира, Сервантеса. Тема Дон Кихота и донкихотства, по — видимому, давно волнует вас. Это проявилось не только в позднем романе «Монсеньор Кихот», но, пожалуй, и в «Сути дела»: ведь в майоре Скоби тоже есть черты Дон Кихота?

Г. Г. — Не думал об этом. Но если вы пришли к такому заключению, может быть, так оно и есть.

— Все же признайтесь, образ отважного испанского идадьго весьма привлекателен для вас?

Г. Г. — Конечно. Но в «Сути дела» у главного персонажа нет пары. У Скоби нет своего Санчо, как у монсеньора Кихота.

— А для вас, я заметил, важна не только правда Дон Кихота, но и правда Санчо Пансы, постоянно взаимопроникающие друг в друга. Не стремлением ли к открытию этой «конечной» правды объясняется ваше движение к высокой простоте? Ибо раньше ваши романы были более усложненными по форме, изощреннее были метафоры...

Г. Г. — Сейчас я вообще стараюсь избегать метафор, прилагательных и наречий.

— Считаете ли вы себя реалистом?

Г. Г. — Полагаю, что меня можно считать таковым. Мне надоели утверждения английских критиков, будто я все время пишу о некой «Гринландии», земле Грина. Но это вовсе не вымышленная земля, а вот эта наша земля, наш мир. Например, в «Тихом американце» я написал об убитом ребенке. Я ведь видел труп этого ребенка, и было это отнюдь не в «Гринландии»!

— Я считаю, что «Гринландия» — понятие скорее этическое, художественное, а не географическое.

Г. Г. — Конечно.

— У ваших романов часто очень «говорящие» названия, начиная с первого опубликованного — «Человек внутри» — и вплоть до «Человеческого фактора». Можно ли сказать, что вас всегда интересует именно «человек внутри», будь то «тихий американец» или «наш человек в Гаване», «тайный агент» или «почетный консул», «комедиант» или «монсеньор Кихот», если воспользоваться названиями ваших книг?

Г. Г. — Да, пожалуй.

— А можно ли считать, что название «Человеческий фактор» — своего рода кредо, ключ к вашей философии?

Г. Г. — Может быть. Поверьте, трудно анализировать собственное творчество.

— Но, по крайней мере, такое толкование близко к вашим взглядам?

Г. Г. — Несомненно.

— В ваших романах содержится немалая доза иронии, иногда вы прибегаете и к пародированию...

Г. Г. — В «Почетном консуле», к примеру, пародиен образ романиста Сааведры. Это комическая фигура, пародирующая слабые стороны некоторых латиноамериканских писателей. У Сааведры был прототип в действительности, но я не буду называть его имени.

— Во всяком случае, вы не имели в виду Мигеля де Сервантеса Сааведру?

Г. Г. — Нет, конечно!

— В «Потерянном детстве» вы выразили мнение, что прочитанные книги оказывают исключительное влияние в юные годы. Что бы вы могли сказать о роли чтения вообще? Это начало вопроса, потом я его продолжу.

Г. Г. — Сам я читаю много. В среднем, думаю, книг семь в месяц. Художественной литературе предпочитаю биографии, автобиографии, мемуары, книги по истории. Если взять беллетристику, то я стараюсь читать не романы, а определенных романистов — тех, кого уже знаю и ценю.

— Отличается ли писатель как читатель от читателя обыкновенного?

Г. Г. — Отличается.

— Означает ли это, что вы читаете скорее ради профессионального интереса, чем ради удовольствия?

Г. Г. — Нет, читаю в первую очередь для удовольствия. Я получил докторскую степень в Оксфорде по истории и долго не брал потом в руки книг по истории: был пресыщен ими. А со времени войны история вновь приобрела для меня важное значение.

— Представляете ли вы себе мысленно какой-нибудь образ читателя, когда работаете над книгой?

Г. Г. — Нет. Пишу для себя. Я свой главный читатель и критик.

— Вы считаете писательство автотерапией. Но в силу социальной значимости литературной профессии вы помогаете своим искусством не только себе, но и обществу.

Г. Г. — Этого я не знаю.

— Еще вы как-то назвали писательство своего рода болезнью. Можно добавить — благородной болезнью. Украшает или усложняет эта болезнь вашу жизнь?

Г. Г. — Я счастлив, когда работаю над книгой, которая удается. И я несчастлив, когда не пишу или когда книга не удается.

— Умеете ли вы «жить, чтобы жить», просто радоваться жизни или всегда относитесь к ней как к материалу для будущего романа?

Г. Г. — Нет, нет, я не занимаюсь постоянным сбором материала.

— Ваши книги пронизывает озабоченность несовершенством современного мира. Чрезвычайно важная вещь для вас и ваших героев — сострадание...

Г. Г. — Да, и разница между состраданием и жалостью. Потому что в жалости есть оттенок

превосходства одного над другим. А сострадание — чувство, объединяющее равных.

— Своеобразие вашей писательской манеры нередко обусловлено сплавом несоединимых, казалось бы, элементов — таких, как комическое и трагическое.

Г. Г. — Больше всего я люблю в драматургии сочетание фарса и трагедии. Мне кажется, именно фарс, а не комедия, хорошо сочетается с трагедией.

— Но такое у вас встречается и в прозе — скажем, в романе «Наш человек в Гаване», где фарс служит увеличительным стеклом, помогающим лучше разглядеть некоторые трагические аспекты жизни.

Г. Г. — Да, вы правы.

— Одна из ваших ранних книг озаглавлена «Это поле боя...».

Г. Г. — По — моему, первая приличная книга...

— Так вот, трагедия там заключается в том, что каждый видит лишь часть поля боя, а не целиком. Ваши романы в совокупности позволяют как раз увидеть все «поле боя» — то есть наш меняющийся мир. Преследовали ли вы такую цель — помочь его увидеть?

Г. Г. — Не знаю, право, было ли это моей целью. Возможно, такое желание и проступает в моих книгах. Но, как я уже сказал, чрезвычайно трудно анализировать собственное творчество. Гораздо легче судить о других.

— Ваши книги очень разные. Но вместе с тем есть между ними глубокая внутренняя связь, их объединяет общая атмосфера, в первую очередь нравственная — она-то и дает основание говорить о существовании «Гринландии».

Г. Г. — Да, но часто это слово толкуют превратно.

— В послесловии к «Тихому американцу» я написал, что хотя вы избегаете «посланий» в своих книгах, тем не менее доказываете в них ряд важных этических теорем. И одна из самых важных, на мой взгляд, вложена в уста коммуниста Хена в вашем «вьетнамском» романе: «Рано или поздно человеку приходится встать на чью-нибудь сторону. Если он хочет остаться человеком».

Г. Г. — Это оправдание для меня. Но дело в том, что человек часто не знает, когда ему придется делать свой выбор, вставать на чью-либо сторону.

— Позвольте вновь коснуться названий ваших произведений. В данном случае хотелось бы вспомнить публицистический очерк «Я обвиняю». По — моему, в этих заимствованных у Золя словах выражена суть многих ваших книг. Такой подзаголовок вполне мог бы быть у «Комедиантов» или у «Доктора Фишера», не говоря уж о «Тихом американце»...

Г. Г. — Да, это так.

— Хотя некоторые ваши книги окрашены скептицизмом, вас можно, думается, назвать оптимистическим пессимистом.

Г. Г. — Что ж, пожалуй. Так же, как я называю себя католиком- агностиком.

— Я вижу на вашем столе раскрытый перевод «Анны Карениной»...

Г. Г. — Да, я взял ее с собой. Захотелось в третий раз перечитать эту книгу именно здесь, в России.

— Известно ваше в высшей степени уважительное отношение к корифеям русской литературы девятнадцатого века. По вашим словам, объяснить, почему ты любишь того или иного писателя, столь же трудно, как объяснить, почему ты любишь женщину. Но попробуем все же разобраться, почему из всех русских классиков наиболее близок вам оказался Чехов? Не из-за его ли емкого лаконизма, к какому и вы стремитесь теперь в своих книгах?

Г. Г. — Скорее всего причина в этом. Обычно я с большей охотой читаю романы, а не рассказы. Но Чехов — исключение. Его пьесы и рассказы — любимое мое чтение из русской литературы.

Комментарии

Переводы фрагментов из публицистических книг Грина были сделаны по следующим изданиям:

1. Graham Greene. A Sort of Life. L., 1971.
2. Graham Greene. The Lawless Roads. L., 1955.
3. Graham Greene. In Search of a Character. Two African Journals. L., 1961.
4. Graham Greene. Collected Essays. L., 1969.
5. Les Ecrivains en personnes Ed. M. Chapsal., Paris, 1960.

Потерянное детство

Эссе, написанное в 1947 г., дало название первому сборнику очерков и критических статей Грина, вышедшему в 1951 г.

С.25.

Уэстермен (Вестермен), Перси Френсис (1876–1960) — английский прозаик, автор приключенческих «морских» романов и рассказов.

Капитан Бреретон — Фредерик Сэдлейр Бреретон (1872–1957), английский офицер, участник ряда войн (в частности, Англо — бурской и Первой мировой), автор многих документальных и исторических повествований о боевых подвигах английской армии.

Уэйман (Вейман), Стенли Джон (1855–1928) — английский прозаик, автор приключенческих романов и повестей, наследующих традиции прозы Р. Л.Стивенсона.

Сыщик Диксон Бретт — персонаж романов и повестей английского писателя детективного жанра Стэнлиена Кинга, которые издавались в 20–30-е гг.

С.26. «

Коралловый остров» — наиболее известный роман Роберта Майкла Баллантайна (1825–1894), шотландского писателя, перу которого принадлежат многие приключенческие романы и повести.

Капитан Гилсон — Чарлз Джеймс Луис Гилсон (1878–1943), английский морской офицер, участник нескольких войн, автор историко — приключенческих романов: «Пиратский аэроплан», «Пиратская яхта», «Потерянный остров» и др.

Энтони Хоуп — литературный псевдоним Энтони Хоупа Хокинза (1863–1933) — английского юриста, автора исторических романов.

«Софья Кравонская» опубликована в 1906 г.

С.27.

«Изъясняется она словами Спенсера...» — Грин цитирует строки из поэмы видного поэта английского Возрождения Эдмунда Спенсера (1552–1599) «Королева фей» (1590–1596), песня IX, строфа LXIII.

С.28.

Марджори Боуэн — литературный псевдоним Габриэллы Маргарет Кэмпбелл (1886–1952), английской писательницы, перу которой принадлежит более полутора ста книг для детей и исторических романов, вышедших под различными псевдонимами (Джордж Приди, Джозеф Ширинг). Роман

«Миланская гадюка» опубликован в 1906 г.

С.30.

А. Е. — литературный псевдоним английского поэта Джорджа Уильяма Рассела (1867–1935).

Часть Жизни

Первая часть автобиографической дилогии Грина опубликована в 1971 г.

С.33.

Кьеркегор, Сёрен (1813–1855) — датский теолог, философ, писатель, предшественник экзистенциализма.

Знаменитые георгианцы — современники эпохи царствования Георга V в первые два десятилетия XX века.

С.34. «

Тарзан » — первая кинематографическая версия цикла рассказов о «благородном дикаре» американского прозаика Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) появилась в 1915 г.

Генрих III — английский король (1207–1272) из династии Плантагенетов.

С.35.

Зеленый Джек — участник традиционного весеннего карнавала, мальчик или юноша, украшенный ветками ивы и зелеными листьями.

С.36.

«Сотби» — всемирно известная фирма, устроитель аукционов произведений искусства и предметов художественной ценности.

С.40.

Орден Бани — один из старейших английских орденов, учрежден в 1399 г. После долгого перерыва стал вновь вручаться с 1725 г. как за воинскую доблесть, так и за гражданские заслуги перед Британской империей.

Ютландское сражение — крупное морское сражение 31 мая — 1 июня 1916 г. между германским и британским флотами близ Ютландского полуострова, в котором обе стороны понесли значительные потери.

Ллойд Джордж, Дэвид (1863–1945) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, премьер — министр в 1916–1922 гг.

Лорд Нортклифф, Альфред Чарлз Уильям (1865–1922) — английский государственный деятель, член палаты лордов, владелец ряда крупных газет («Дейли мейл», «Дейли миррор», «Таймс»).

Карсон, Эдвард — английский журналист — публицист.

С.41.

Вильгельм, принц Оранский (1650–1702), представитель старинного рода нидерландской знати, в 1677 г. вступил в брак с Марией, дочерью герцога Йоркского, который приходился братом английскому королю Карлу II; после долгой политической борьбы и ценой хитроумных интриг против Карла II, а затем Якова II сумел занять английский престол под именем Вильгельма III. Коронация Вильгельма и Марии состоялась в апреле 1689 г. «

Эпоха Вильгельма и Марии » была отмечена крупными военно — политическими конфликтами с Ирландией и Францией, а также рядом важнейших перемен во внутривластной жизни страны: в частности, был принят «Билль о правах», значительно расширены полномочия парламента, провозглашена свобода печати и др.

С.42

.Уилсон Джон Довер (1881–1969) — английский литературовед, автор исследований о литературе эпохи Возрождения, в частности о творчестве Шекспира.

С.45.

«Лесные любовники» (1898) — романтический роман английского поэта, драматурга и прозаика Мориса Генри Хьюлетта (1861–1923).

Войны минувшего столетия... — речь идет о Крымской войне 1851–1854 гг., об англо — зулусской войне 1879 г., завершившейся образованием Зулунда, новой южноафриканской колонии Англии, о восстании индийских солдат — наемников (сипаев) в 1857–1859 гг. против английских колонизаторов и об Англо — бурской войне 1898–1899 гг.

С.46. «

Титаник » — океанский лайнер; затонул, натолкнувшись на айсберг в Атлантическом океане, в апреле 1912 г.

Ангкор — Ват — вишнуистский храм в городе Ангкор — столице кхмерской империи XII в.; расположен на современной территории Кампучии.

С.47. «К-1» — немецкая реактивная управляемая ракета «Фау-1» дальнего действия, прообраз современных баллистических ракет, впервые применена в июне 1944 г. при бомбардировках Лондона.

Блерио, Луи (1872–1936) — французский инженер, конструктор аэропланов, летчик, в 1909 г. совершил первый в истории перелет через Ла-Манш.

С.48.

Рейврет, Гвендолин (1885–1957) — приятельница Грина, общественная деятельница, университетский преподаватель.

Генерал Сматс, Иэн Кристиан (1865–1937) — английский военный и государственный деятель, занимавший важные посты в колониальном правительстве Южной Африки, автор философских эссе.

Шрайнер, Оливия Кронрайт (1859–1920) — сестра Уильяма Шрайнера, премьер — министра Капской колонии в Южной Африке, автор многих новелл и очерков о быте и социально — политической жизни Южной Африки.

Прерафаэлиты — группа английских писателей (Д. Г. Россетти, К. Россетти, Ч. А. Суинберн и др.) и живописцев (У. Моррис, Э. Берн-Джонс и др.) середины XIX в., поставивших своей целью возродить «наивную искренность» ощущений и эмоций, характерную для искусства раннего Возрождения, «до Рафаэля», выступали с романтической критикой современного им буржуазного общества.

«

Либертизм» — крупный универсальный магазин товаров для женщин в Лондоне.

С.49.

Кингсли, Чарлз (1819–1875) — английский священник, прозаик, поэт, публицист, автор исторических романов, религиозных проповедей, моралистических сочинений для детей. В 1877 г. его вдова выпустила двухтомник «Чарлз Кингсли: его письма и воспоминания о его жизни». Это издание, очевидно, и имеет в виду Грин.

С.51. «

Дракула» (1897) — знаменитый роман о вампире ирландского прозаика Брэма Стокера (1847–1912), выдержанный в традициях пред-романтической «готической» прозы. Прототипом заглавного героя послужил валахский князь Влад II (1431–1476) по прозвищу Дракул.

«Путешествие капитана Кука» — беллетризованная хроника трех плаваний в Южные моря английского путешественника Джеймса Кука (1728–1779).

С.52.

Намюр — бельгийский город, при котором произошло одно из крупнейших сражений Первой мировой войны.

С.54.

Квислинг — здесь имеется в виду «предатель». Виднун Квислинг (1887–1945) — лидер норвежских фашистов, премьер — министр марионеточного пронацистского правительства Норвегии в 1942–1945 гг. Расстрелян как изменник родины. Его имя стало нарицательным

для обозначения предательства.

С.55.

Бьюкен, Джон (1875–1940) — шотландский писатель, публицист, поэт, политический деятель, автор приключенческих романов в духе Р. Л. Стивенсона.

Моррис, Льюис (1833–1907) — английский поэт, автор эпических и драматических поэм, в том числе «Поэмы о Гадесе» (1876), где пересказаны основные древнегреческие мифы.

С.56.1

Филлипс, Стивен (1864–1915) — английский поэт и драматург. Стихотворная драма «Паоло и Франческа» написана в 1899 г.

Фрай, Кристофер (1907–2005) — английский поэт, драматург, автор лирических комедий, драм на религиозную тематику, в ранней драматургии тяготел к экспрессионизму.

Батиста, Рубен Фульхенсио (1901–1973) — кубинский государственный деятель, президент в 1940–1944 гг. и 1954–1959 гг., установил

диктаторский режим; свергнут в результате социалистической революции.

С.57.

Лорд Грей — Эдвард Грей, лорд Фоллоденский (1862–1933) — английский государственный деятель, видный дипломат, член либеральной партии, играл большую роль в формировании британской внешней политики в начале XX в. В 1916 г. из-за прогрессирующей болезни глаз вынужден был уйти в отставку.

Папа Павел — римский папа Павел VI (1897–1977).

С.59...

.как Лазарь с его каплей воды... — имеется в виду Лазарь Убогий из евангельской притчи о богаче и бедняке (Лук., гл. 16, ст. 19 и далее).

С.61.

Мар, Уолтер Джон де ла (1873–1956) — английский поэт, прозаик, литературный критик.

С.62.

Кокберн, Клод (1904–1982) — английский журналист, писатель.

Квеннелл, Питер Куртни (1905–1993) — английский поэт, литературный критик, автор ряда книг о творчестве Дж. Г. Байрона.

...ее написала... Гертруда Стайн. — Намек на известную фразу «роза есть роза есть роза» американской писательницы — авангардистки Гертруды Стайн (1874–1946).

Эредиа, Жозе Мария (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения, автор сборника сонетов «Трофеи» (1893), где ощутимо влияние лирики парнасцев.

«Вехи французской словесности» (1912) — историко — литературный труд английского критика Джеймса Литтона Стрейчи (1880–1932).

Фичмонд Кеннет — психоаналитик Грэма Грина.

«Береника» (1671) — трагедия Жана Расина.

Политическая баллада Честертона... — имеется в виду «Баллада о первом дожде» из сборника «Избранное» (1915) английского поэта, прозаика, критика и публициста Гилберта Кита Честертона (1874–1936).

С.64.

Берхемстэд ассоциируется у меня... — Грин цитирует стихотворение австрийского поэта Райнера Марии Рильке (1875–1926) «Где тянется последний ряд лачуг» (1898):

...и мягкий вечер тает на равнине, темнеет стадо, и пастух в овчине у фонаря последнего стоит.

(Перевод Е. Витковского)

«Сезам и Лилии» — два эссе английского философа, искусствоведа и общественного деятеля Джона Рескина (1819–1900), опубликованные в виде брошюры в 1865 г., где современный ему английский капитализм XIX в. критиковался автором с позиций, близких к социализму.

Isoult La Desirous (Изольда Желанная) — персонаж романа М. Хью-летта «Лесные любовники» (см. комм, к с. 45), красавица, воплощение чувственной любви.

С.65.

Лорд Дансейни — Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт, барон Дансейни (1878–1957) — английский прозаик, драматург, поэт, переводчик, эссеист. Пьеса «Если» опубликована в 1921 г. Пьеса «Потерянный цилиндр» вошла в сборник «Пять пьес» (1914).

Эйнли, Генри Хинклифф (1879–1945) — английский актер и импресарио.

С.66.

Стихотворение принадлежало Эзре Паунду... — Грин цитирует заключительное двустихие стихотворения американского поэта Эзры Лумиса Паунда (1886–1972) «Белый олень» из сборника «Маски» (1909).

С.67.

«Улисс» — первое издание романа ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) вышло в Париже в 1922 г.

С.73.

Гладстон, Уильям Юарт (1809–1898) — английский государственный деятель, консерватор, член парламента, премьер — министр в 1868–1874, 1880–1885 и 1892–1895 гг.

Барри, Джеймс Мэттью (1860–1937) — шотландский писатель, автор сатирических и нравоописательных романов, пьес, рассказов и очерков.

Робертс, Сесиль Эдрик Морнингтон (1892–1976) — английский прозаик, поэт, драматург. Роман «Ножницы» вышел в 1923 г.

С.74.

Микобер — персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд».

Крукшенк, Джордж (1792–1878) — английский живописец и график, автор политических карикатур, сатирических шаржей, иллюстратор романов В. Скотта, Ч. Диккенса и др.

С.75.

Поэты — метафизики — английские поэты XVII в. (Джон Донн, Джордж Херберт, Эндрю Марвелл и др.), чье творчество отличалось изысканной изощренностью метафор, нередко носивших умозрительный, «метафизический» характер.

С.76.

Мэйсфилд, Джон (1878–1967) — английский поэт, прозаик, драматург, продолжал традиции героической романтики РЛ. Стивенсона и Р. Киплинга.

Мур, Джордж (1852–1933) — английский прозаик, поэт, драматург, его социально — бытовые романы стали заметным явлением позднеореалистической прозы XIX в.

Хергесхаймер, Джозеф (1880–1954) — американский прозаик, автор многих романов из американской и кубинской жизни.

С.75.

Дейн, Клеменс — литературный псевдоним Уинифред Эштон (1887–1965), английской писательницы, автора социально — бытовых романов и пьес.

С.79.

Родственник с Самоа — РЛ. Стивенсон с 1890 г. жил на Самоа. Впечатления об этом периоде его жизни легли в основу книги мемуаров «Жизнь на Самоа», написанной им совместно с женой Фанни в 1890–1893 гг. и опубликованной в 1956 г.

С.80.

Лаббок, Перси (1879–1965) — английский прозаик, литературовед, представитель так называемой новой критики, сторонники которой главное внимание уделяют анализу повествовательной техники. Книга Лаббока «Искусство прозы» (1921), в значительной степени посвященная творчеству Г. Джеймса, — основной труд ученого.

Мне следовало бы поучиться у Стивенсона... — Грин цитирует роман Р. Л. Стивенсона «Похищенный» (1886).

С.81.

Морган, Чарлз Лэнгбридж (1894–1958) — английский прозаик, литературный критик.

Даррел, Лоренс Джордж (1912–1990) — английский прозаик, поэт, драматург, эссеист.

Гоулд, Джералд (1885–1936) — английский поэт, литературный критик, журналист.

Штраус, Эрик Бенджамин (1894–1961) — английский психолог и психиатр, в 20–е гг. сотрудник журнала «Спектейтор».

С.83.

Фокс, Гай (1570–1606) — один из участников так называемого порохового заговора, составленного английскими приверженцами католицизма с целью взорвать резиденцию короля Иакова I и здание парламента. В ночь на 5 ноября 1605 г. заговор был раскрыт, а заговорщики арестованы и после суда казнены. В Англии до сих пор празднуется годовщина

разоблачения заговорщиков — День Гая Фокса (5 ноября) — с фейерверками и сжиганием чучела Гая Фокса.

Суиннертон, Фрэнк Артур (1884–1955) — английский прозаик, литературный критик, автор многих романов, статей и монографий об английских писателях XIX в. Ему принадлежит одна из первых биографий Р. Л. Стивенсона. В 30–40-е гг. — сотрудник литературного отдела газеты «Обсервер».

Онеггер, Артюр (1892–1955) — французский композитор, автор опер, балетов, оперетт, симфоний. Симфония «Пасифик 231» написана в 1923 г.

С.84.

Лорд Рочестер, Джон Уилмот (1647–1680) — английский поэт и вельможа при дворе короля Карла II. Егобеллетризованная биография «Обезьяна лорда Рочестера» написана Грином в 1934 г., опубликована в 1974 г.

С.85.

Смелые наездники Рузвельта — добровольческий кавалерийский полк, созданный Т. Рузвельтом, будущим президентом США, во время испано — американской войны 1898–1899 гг.

С.86.

Томас, Джеймс Генри (1874–1940) — английский политический и общественный деятель, один из лидеров профсоюзного движения. В 1920–1924 гг. был президентом Международной федерации профсоюзов.

Болдуин, Стенли (1867–1947) — английский государственный деятель, лидер консервативной партии, премьер — министр в 1924–1929 и 1935–1937 гг.

«Добрые друзья» (1931) — пьеса Джона Бойнтона Пристли (1894–1985).

Рид, Чарлз (1814–1884) — английский писатель, автор популярных в середине XIX века социально — бытовых романов и пьес.

Дороги Беззакония

В 1937 г. Грин совершил длительное путешествие по Мексике. Впечатления от этой поездки отразились в книге путевых заметок «Дороги беззакония», которая была опубликована в Англии в 1938 г. (одновременно — в США под названием «Другая Мексика»), а также легли в основу одного из лучших романов писателя «Сила и слава» (1940).

С.92.

Чичен — Итца — столица древнего государства индейцев майя, в XII в. город был разрушен.

Митла — город на юге Мексики, религиозный и культурный центр индейцев сапотек в X–XVI вв.

Паленке — город в мексиканском штате Чьяпас, один из культурных центров майя, известен «Храмом надписей», архитектурным памятником доколумбовой эпохи.

Альберт — холл — концертный зал в Лондоне.

Аграрные реформы — проводились в Мексике после революции 1910–1917 гг. вплоть до середины 30–х годов.

С.93.

Уилл Роджерс — Уильям Пенни Эдгар Роджерс (1879–1935), американский актер — комик.

С.95.

«Книга красоты» леди Блессингтон — Маргарита Блессингтон (1789–1849), английская графиня, писательница, чей литературный салон пользовался известностью в Лондоне начала XIX в. Ей принадлежит книга мемуаров «Разговоры с лордом Байроном» (1834). «Книга красоты» — литературный альманах, который она издавала и где публиковала свои прозаические опыты.

С.96.

Энциклика «Quadrogesimo anno» («Квадрогезимо анно», 1931 г.) — энциклика римского папы Пия XI развивала положения энциклики «Рерум новарум» в области социальной теории католицизма.

С. 101.

«Баронесса и ее дворецкий» — кинокомедия (1938) американского режиссера УЛэнга с участием популярных актеров — американца Уильяма Пауэлла и француженки Аннабеллы (наст, имя: Сюзанна Шар- пантье).

С. 103.

Убийцы Кэмпиона говорили... — английский католический священник, иезуит Эдмунд Кэмпион (1540–1581) выступал против официальной англиканской церкви. Обвинен в государственной измене как якобы участник заговора с целью свергнуть с престола королеву Елизавету I. После длительного тюремного заключения был подвергнут мучительной казни.

Беккет, Фома (1118–1170) — архиепископ Кентерберийский, убит сторонниками короля Генриха II на почве разногласий в религиозной политике.

С. 104.

Тур, Френсис — этнограф, уроженка России, натурализовавшаяся в Мексике, автор многих трудов по истории культуры народов Латинской Америки. Очевидно, Грин цитирует ее «Путеводитель по Мексике» (1936).

С. 109.

Вилья, Панчо (Франсиско) (наст, имя: Доротео Аранго, 1877–1923) — руководитель крестьянского движения в Мексике во время революции 1910–1917 гг., национальный герой, убит политическими противниками.

С.110.

Пепельная Среда — первый день католического Великого поста перед Пасхой.

С.112.

Карранса, Венустиано (1859–1920) — мексиканский государственный деятель, один из

руководителей революции 1910–1917 гг., первый президент революционной республики. Свергнут и убит во время государственного переворота.

С. 115.

Диас-де — ла — Крус, Порфирио (1830–1915) — мексиканский государственный и военный деятель, президент страны в 1877–1880 гг. и в 1884–1911 гг., установил военную диктатуру. Свергнут в ходе революции 1910–1917 гг., эмигрировал во Францию.

С.122.

Мадеро, Франсиско (1873–1917) — государственный деятель Мексики, один из руководителей революции 1910–1917 гг., убит во время государственного переворота, организованного В. Уэртой.

Уэрта, Викториано (1845–1916) — мексиканский государственный и военный деятель, один из лидеров вооруженного сопротивления революции, в 1913 г. захватил власть, но в июле 1914 г. был свергнут после поражения от армии Панчо Вильи.

С. 129.

КРОМ— сокращенное название Мексиканской региональной рабочей конфедерации, демократической политической организации мексиканских трудящихся, созданной в 1918 г.

С. 133.

Коббет, Уильям (1763–1835) — английский публицист.

«Сельские прогулки» (1830) — нравоописательный очерк и политический памфлет, где с романтических позиций подвергалась критике внутренняя и внешняя политика Британской империи.

С.135.

Монтесума (или Моктесума, 1390–1469) — верховный правитель государства ацтеков (с 1440 г.) с центром в г. Теночтитлан.

С.141.

Reverum Novarum («Рерум новарум», 1891 г.) — энциклика римского папы Льва XIII, в которой были изложены взгляды католической Церкви на важнейшие социально — политические проблемы того времени, в том числе и рабочий вопрос.

С.143.

Итурбиде, Агустин де (1783–1824) — мексиканский государственный и военный деятель, один из руководителей движения за национальную независимость страны от испанских колонизаторов. В 1821 г. после обретения Мексикой национального суверенитета провозгласил себя императором Агустином I. В 1823 г. отрекся от престола.

С. 145...

.как в стихах Уолтера дела Мара. — Грин цитирует стихотворение «Слушатели».

С. 158.

По словам Хемингуэя... — Грин цитирует слова миссис Гордон из романа Хемингуэя «Иметь и не иметь» (1937).

С. 159.

Ромен, Жюль — литературный псевдоним Луи Фаригуля (1885–1972) — французского поэта и прозаика, автора многотомной эпопеи «Люди доброй воли» (1927–1946).

С. 160. Максимилиан и Карлотта — Фердинанд Максимилиан (1832–1867) — брат австрийского императора Франца — Иосифа. В 1857 г. вступил в браке Карлоттой, бельгийской принцессой, в 1864 г. был провозглашен императором Мексики.

Челищев, Павел (1898–1957) — американский живописец русского происхождения.

С. 162.

Дольни, Карло (1616–1686) — итальянский живописец — классицист, мастер портрета.

С.164.

Гастингс, Патрик (1880–1952) — известный английский юрист, автор нескольких пьес.

Путешествие без карты

Книга опубликована в 1936 г. Издана на русском языке в 1961 г. Фрагменты перевода печатаются по изданию: М.: Географиздат., 1961.

С. 179. «

Миллион » — картина французского кинорежиссера Рене Клера, вышла на экраны в 1931 г.

С.180.

Горер, Джеффри Эдгар Соломон (1905–1985) — английский социолог, психолог, путешественник, автор многих трудов по этнопсихологии народов Европы, Азии, Африки. Монография «Пляски Африки», рассказывающая о культуре туземных народов Западной Африки, вышла в США в 1935 г.

С.203

«Открытое письмо» Стивенсона — имеется в виду письмо РЛ. Стивенсона от 12 февраля 1890 г. пресвитерианскому священнику

Чарлзу Хайду, которое 12 марта того же года было отпечатано в виде брошюры в Австралии под заголовком «Отец Дамьен: открытое письмо преподобному доктору Хайду в Гонолулу от Роберта Льюиса Стивенсона». Впоследствии неоднократно переиздавалось. В письме Стивенсон защищает честь католического миссионера Дамьена (Жозеф Девестер, 1840–1889), который в 1866 г. приехал в лепрозорий одного из островов Полинезии в качестве духовника. В 1884 г. заразился проказой, отчего и умер пять лет спустя. Вскоре после его смерти священник

Ч. Хайд стал распространять о покойном клеветнические слухи, вследствие чего было приостановлено сооружение памятника отцу Дамьену в Гонолулу.

В поисках героя

ДВА АФРИКАНСКИХ ДНЕВНИКА

Книга вышла в 1961 году. Фрагменты из второй части публиковались в журнале «Вопросы литературы» (1965, № 4) в переводе Е. Гусевой.

С.249.

Грин, Жюльен (наст. имя: Джулиан Грин, 1900–1998) — американский прозаик, родился и получил образование во Франции, писал на французском языке. «Дневники» выходили отдельными частями в 1928–1939 гг.

С.265.

Грейс, Уильям Гилберт (1848–1915) — английский спортсмен, игрок в крикет, автор книги мемуаров.

Хаксли, Олдос Леонард (1894–1963) — английский прозаик, поэт, драматург, философ, автор известных философско — утопических произведений («Дивный новый мир», «Остров»).

С.270.

Эллингем, Марджори Луиза (1904–1966) — английская писательница, автор приключенческих и детективных романов. «Тигр в дыму» опубликован в 1956 г.

С.271.

«Плавание “Ноны”» — книга путевых очерков (1925) Х. Беллока.

С.282

. «Дорога в Рим» — книга путевых очерков (1902) Х. Беллока.

С.284.

Огг, Дэвид (1887–1965) — английский историк, преподавал в различных университетах Англии и США, автор многих трудов по истории Англии. Грин путает названия разных монографий Д. Огга: «Европа в XVII веке» (1925), «Англия во времена правления Карла II» (1934) и «Англия во времена правления Якова II и Вильгельма III» (1955).

С.286.

Эмблер, Эрик (1909–1998) — английский писатель детективного жанра, роман

«Маска Димитриоса» вышел в 1944 г.

Раус, Альфред Лесли (1903–1975) — английский историк, литературный критик, автор многих исследований истории английского общества, творчества Шекспира. Монография «Тюдор Корнуэлл: портрет общества» вышла в 1941 г.

«Серый кардинал» (1941) — беллетризованная биография французского государственного деятеля, монаха — капуцина отца Жозефа (наст. имя: Франсуа Леклердю Трамбле, 1577–1638), личного секретаря и конфидента кардинала Ришелье.

Биньон, Роберт Лоуренс (1869–1943) — английский поэт — романтик, автор многих драм в стихах.

C.288.

Гиббон, Эдвард (1737–1794) — английский историк — просветитель, автор очень популярной в XIX в. «Истории упадка и разрушения Римской империи», где дана критика деспотизма и бюрократии, ставших, по мнению автора, основной причиной падения Рима.

Госсе, Эдмунд (1849–1928) — английский поэт, прозаик, критик, анонимно изданный автобиографический роман

«Отец и сын» вышел в 1907 г.

Уотертон, Чарлз (1782–1865) — английский натуралист, путешественник. Книга путевых очерков

«Скитания по Южной Америке, Северо- Западу Соединенных Штатов и Антильским островам» опубликована в 1825 г.

«Золотая сокровищница» — антология англоязычной поэзии (1861), составленная английским поэтом и критиком Фрэнсисом Тернером Полгрейвом (1824–1897), пользовалась огромной популярностью у массового читателя в последнюю треть XIX в.

Повис, Теодор Френсис (Поуис, 1875–1953) — английский прозаик- реалист. Роман

«Доброта в уголке» вышел в свет в 1930 г.

Мод, Эйлмер (1858–1938) — английский литературный критик, переводчик с русского. В 1880–е годы жил в Москве, помогал русским духоборцам эмигрировать в Канаду. Редактировал переводы романов Л. Н. Толстого для серии «Мировые классики». Первое издание его двухтомного труда «Жизнь Толстого» вышло в 1908–1910 гг.

Гаскелл, Элизабет Клегорн (1810–1865) — романистка и публицистка, посвятившая свое творчество изображению быта и труда манчестерских рабочих. Двухтомный роман

«Север и Юг» опубликован в 1855 г.

Хэйдон, Бенджамин Роберт (1786–1846) — английский живописец, искусствовед, страстный почитатель античности. Трехтомное

«Жизнеописание Бенджамина Роберта Хейдона, составленное из его автобиографии и писем» вышло в 1853 г.

C.289.

Хэнли, Джеймс (1901–1975) — ирландский прозаик — маринист. Роман

«Океан» вышел в 1941 г.

Силоне, Игнацио — литературный псевдоним Секондо Транкилли (1900–1978), итальянского политического деятеля — социалиста, прозаика и публициста; выступал с критикой режима Муссолини. В конце 20–х гг. эмигрировал в Швейцарию, где вышли его главные произведения, в том числе и первый роман

«Фонтамара» (1930), описывающий жизнь итальянской деревни при фашистской диктатуре. Роман был издан во многих странах мира.

Мотрем, Ральф Хейл (1883–1971) — английский писатель, автор исторических романов, биографий исторических деятелей. Трилогия о Первой мировой войне

«Испанская ферма » опубликована в 1924 г.

С.293.

Миллин, Сара Гертруда (1889–1968) — английская писательница, долгое время прожившая в Южной Америке, автор многих романов, пьес и очерков о быте английских колонистов. Роман

«Герр чародей» опубликован в 1941 г.

С.293.

«Ги Домвиль» — трехактная пьеса (1894) Генри Джеймса, премьера которой закончилась провалом.

Эссе и интервью

Мир Генри Джеймса

Эссе опубликовано в 1936 г.

С.303...

.в его часто цитируемой строчке... — Грин цитирует заключительный абзац романа Т. Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891).

С.310.

Одиннадцатилетний Конрад... готовит уроки... — Грин цитирует мемуары Дж. Конрада «Воспоминания» (1912), переиздание: «Моя летопись» (1916).

С.311.

Галерея Аполлона — художественная галерея в Париже.

Два друга

Рецензия на книгу Джанет Адам Смит «Генри Джеймс и Роберт Льюис Стивенсон; история дружбы и критики», опубликована в 1948 г.

С.317.

Колвин, Сидней (1845–1927) — английский литературный критик, душеприказчик Р. Л. Стивенсона, издатель его писем.

Гранитная основа таланта

Рецензия на книгу Летиссы Купер «Роберт Льюис Стивенсон», опубликована в 1948 г.

С.322.

Эмили Дикинсон писала... — Грин цитирует одноименное стихотворение выдающейся американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830–1886).

Эссе опубликовано в 1937 г.

С.323.

Драйден, Джон (1631–1700) — английский поэт, драматург, критик, крупнейший представитель классицизма.

Карл 7/(1630–1685) — английский король из династии Стюартов.

Иаков — имеется в виду Иаков II (1633–1701) — английский король (1685–1688) из династии Стюартов, исповедовал католицизм.

С.324.

Хопкинс, Джерард Мэнли (1844–1889) — английский поэт, эссеист, католический священник, член ордена иезуитов.

Бернет, Гилберт (1643–1715) — шотландский историк, епископ, автор фундаментального трехтомного труда «История реформации Церкви в Англии» (1679, 1681, 1715).

Аддисон, Джозеф (1672–1719) — крупнейший английский поэт, драматург и эссеист эпохи классицизма.

Роу, Николас (1674–1718) — английский поэт и драматург — классицист.

С.325.

Уичерли, Уильям (1640–1716) — английский комедиограф- классицист.

Бен, Афра (1640–1689) — первая в Англии профессиональная писательница, автор многих романов и пьес.

Хед, Ричард (1637–1686) — английский прозаик;

Керкмен, Френсис — английский прозаик. В 1671 г. роман

«Английский мошенник» опубликован как плод совместного творчества обоих романистов.

«

Модный брак» — комедия (1672) Дж. Драйдена.

Каули, Абрахам (1618–1667) — английский поэт, комедиограф, эссеист.

С.326

...в основу целой школы бейджей, бэнкрофтов и блоуэров... — Бейдж, Роберт (1728–1801) — автор фантастических романов об «идеальном устройстве общества».

Бэнкрофт, Эдвард (1744–1821) — английский эссеист, автор заметок о путешествии по Гайане (1769).

Блоуэр, Элизабет — английская писательница, современница Р. Бейджа и Э. Бэнкрофта, автор популярных романов об экзотических странах.

Лэм, Чарлз (1775–1834) — английский поэт, прозаик, эссеист. Основное произведение — «Очерки Элии» (1823), образец романтической эссеистики.

«Сказка бочки» — политический памфлет (1704) английского писателя — сатирика Джонатана Свифта (1667–1745).

С. 327.

Камберленд — имеется в виду граф Генри Камберленд (1592–1643), сторонник короля Карла I Стюарта, участник ряда военных походов на Шотландию.

Бэкон, Фрэнсис (1561–1626) — один из крупнейших деятелей английского Возрождения, эссеист, философ, автор утопического сочинения «Новая Атлантида» (1627).

С.329.

Блум — один из главных героев романа Джеймса Джойса «Улисс».

Сейнтсбери, Джордж Эдвард Бейтман (1845–1933) — крупный английский литературовед культурно — исторической школы, автор многих трудов по истории европейских национальных литератур.

Добсон, Генри Остин (1840–1921) — английский поэт и литературный критик, выпустивший ряд монографий о творчестве английских писателей XVIII в.

С. 330...

.С таким же мужеством, как и у Драйдена... — Грин цитирует трагедию Дж. Драйдена «Дон Себастьян» (1689), акт II, сц. I.

С. 332.

Пастор Адамс — персонаж романа Г. Филдинга «Джозеф Эндрюс».

Франсуа Мориак

Эссе опубликовано в 1945 г.

С.

332. Маккензи, Эдвард Монтегю Комптон (1883–1972) — английский писатель, автор популярных в годы Первой мировой войны нравоописательных романов «Зловещая улица» и «Сильвия Скарлет».

Бремя детства

Эссе опубликовано в 1950 г.

С.337.

Саки — литературный псевдоним английского прозаика, мастера короткого рассказа Гектора Хью Манро (Манроу, 1870–1916).

«Болят суставы, головные боли...»

Рецензия на книгу «Путешествия Ливингстона. Под редакцией Джеймса Макнайра», опубликована в 1954 г.

С.344.

Гермистон — персонаж романа Р. Л. Стивенсона «Уир Гермистон» (1880).

Смутно — сладенькая страна

Эссе написано в 1968 г. специально для книги «Избранные очерки» (1969).

С.345.

Пуджехун — город на юге Сьерра — Леоне.

С.347.

Британский Совет — государственная информационно — пропагандистская служба Великобритании, созданная в 1934 г., которая занимается культурными связями с зарубежными странами, в том числе организацией обменов преподавателями и студентами, лекционных турне деятелей культуры, туризмом, распространением художественной литературы и т. п. Находится в подчинении министерства иностранных дел.

«Черная комната»

Рецензия на кинокартину английского режиссера Роя Уильяма Нийла, опубликована в журнале «Спектейтор» 20 сентября 1935 г.

С.395.

Карлофф, Борис (наст. имя: Уильям Генри Прэтт. 1887–1969) — английский актер, снимался в американских кинофильмах — триллерах («Черная кошка», «Франкенштейн», «Невеста Франкенштейна»).

Чейни, Лон (1883–1930) — американский киноактер, играл уродов, калек, вампиров и т. п. (горбун из «Собора Парижской Богоматери», «Призрак в опере», «Лондон после полуночи» и др.).

«Ворон» — фильм ужасов (1935) американского режиссера Луиса Фридландера.

С.353.

Уэйл, Джеймс (1896–1957) — английский кинорежиссер, поставивший многие историко — приключенческие фильмы, детективы, «фильмы ужасов» и т. п. («Франкенштейн», «Человек — невидимка» и др.) с участием Б. Карлоффа.

Радклиф, Анна (1764–1823) — английская писательница, корифей так называемого готического романа, популярного в конце XVIII — начале XIX в. жанра приключенческой прозы, отмеченной запутанностью сюжета, нагнетанием ужасов, тайн и т. п.

Уайетт, Джеймс (1746–1813) — английский архитектор, работавший как в классическом, так и в готическом стиле, автор проекта лондонского театра «Пантеон» (снесен в 1937 г.), а также нескольких принесших ему известность готических замков, в том числе аббатства Фонтхилл в графстве Уилтшир.

Льюис, Мэтью Грегори (1775–1809) — английский писатель, автор готического романа «Монах» (1796).

Имоджен и ее жених — призрак — персонажи этого романа.

«Анна Каренина»

Рецензия на кинокартину американского режиссера Кларенса Брауна, опубликована в журнале «Спектейтор» 11 октября 1935 г.

С.354.

Эпстайн, Джекоб (1880–1959) — английский скульптор — экспрессионист.

С.355.

Строки Йейтса о посмертной маске Данте... — Грин цитирует стихотворение ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939) «Ego Dominus Tuum».

«Сон в летнюю ночь»

Рецензия на кинокартину немецкого режиссера Макса Райнхардта, опубликована в журнале «Спектейтор» 18 октября 1935 г.

С.356.

Уайт, Ласком — английский кинокритик 30–х гг.

Кэрролл, Сидней (1918–1958) — английский театральный и кинорежиссер, литературный и кинокритик ряда крупных журналов.

Хэттауэй, Анна (1557–1623) — жена Шекспира.

«Новые времена»

Рецензия на кинокартину Ч. Чаплина, опубликована в журнале «Спектейтор» 10 февраля 1936 г.

С.358.

Карно, Фред — английский актер и режиссер, художественный руководитель труппы пантомимического театра, где вместе со своим старшим братом Чаплин начал актерскую карьеру.

...слепые цветочницы... малолетние сироты... скитания по городским трущобам... — Грин имеет в виду фильмы Чаплина «Малыш», «Огни большого города», «Золотая лихорадка».

«Принцесса Казамассима» (1886) — роман Генри Джеймса.

Милли -

сент, Гиацинт — персонажи этого романа.

С.359.

«Миста Курц умерла» — презрительное восклицание чернокожего раба, ставшего свидетелем смерти своего белого повелителя мистера Куртца, героя повести Дж. Конрада «Сердце тьмы» (1902).

«Ромео и Джульетта»

Рецензия на кинокартину американского режиссера Джорджа Кьюкора, опубликована в журнале «Спектейтор» 23 октября 1936 г.

С.360.

Тальберг, Ирвинг (1899–1936) — американский кинопродюсер.

«Кузовок плетеный» с «целебным зельем» — см. «Ромео и Джульетта», акт II, сц. III, перевод Б. Пастернака.

С.362

.Дрейер, Карл Теодор (1889–1968) — выдающийся датский кинорежиссер и кинодраматург.

«Страсти Жанны д'Арк» (1927) — один из лучших фильмов мирового немого кино.

«Мы из Кронштадта.

Рецензия на картину советского режиссера В. Пудовкина, опубликована в журнале «Спектейтор» 10 февраля 1937 г. В более поздней статье, опубликованной в журнале «Найт энд дей», Грин писал: «Нет необходимости долго ломать голову над вопросом, какой лучший фильм из тех, что идут сегодня в Лондоне. Это, без сомнения, “Мы из Кронштадта”» («Найт энд дей», 1 июля 1937 г.).

С.364...

.чеховское определение задачи писателя... — Грин цитирует известное письмо А. П. Чехова к М. В. Киселевой: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная» (14 января 1887 г.).

«Копи царг Соломона»

Рецензия на картину английского режиссера Роберта Стивенсона, опубликована в журнале «Спектейтор» 12 августа 1937 г.

С.364.

Айша — героиня одноименного романа Р. Хаггарда (1905).

«Сын Монголии»

Рецензия на картину советского режиссера Л. З. Трауберга (в советском прокате — «Потомок Чингисхана»), опубликована в журнале «Спектейтор» 19 августа 1938 г.

«Грозовой перевал»

Рецензия на картину американского кинорежиссера Уильяма Уайлера, опубликована в журнале «Спектейтор» 5 мая 1939 г.

С.367.

Хект, Бен (1894–1964) — американский романист, в 30–е гг., подобно Ф. С. Фицджеральду, Э. Хемингуэю, У. Фолкнеру и другим писателям США, работал в Голливуде в качестве сценариста.

«Тупик» — кинокартина (1937) У. Уайлера по сценарию Л. Хеллман.

«Буря» — кинокартина (1939) французского режиссера Марка Алле-гре с Ж. — Л. Барро и Мишель Морган в главных ролях.

«Собака Баскервилей»

Рецензия на картину американского режиссера Сидни Лэнфилда, опубликована в журнале «Спектейтор» 14 июля 1939 г.

С.368...

.падающего с крыши шифера... — Грин неточно упоминает о покушении на жизнь Шерлока Холмса, описанном в рассказе «Последнее дело»: однажды, когда Холмс шел по улице, с

крыши дома упал кирпич, по счастью не причинивший великому сыщику вреда. В другой раз его чуть не сшибла мчащаяся по мостовой двуколка.

«УФА» — сокращенное название крупнейшей киностудии Германии в 10–30-е гг. «Универсум фильм». «Шерлок Холмс» (точное название: «Человек, который называл себя Шерлоком Холмсом») был поставлен на этой студии в 1937 г.

«Писатели как они есть»

Опубликовано в сборнике интервью, взятых французской журналисткой Мадлен Шапсаль у нескольких крупных европейских писателей: «Писатели как они есть» (Париж, 1960). Фрагменты интервью в переводе Е. Гу-севой опубликованы в журнале «Вопросы литературы» (1965, № 4).

С.371.

Ануй, Жан (1910–1987) — французский драматург, близкий экзистенциализму; наибольшую известность получили его философские трагедии на мотивы древнегреческой мифологии и Библии.

Гиннес, Алек (1914–2000) — английский драматический актер, играл в пьесах Шекспира, Гоголя, Чехова.

С.372.

Грин, Генри — литературный псевдоним Генри Винсента Йорка (1905–1973), английского прозаика, пользовавшегося известностью в конце 20–30-х гг.

«Надеюсь на лучшее»

Интервью опубликовано в «Литературной газете» 6 ноября 1985 г.

«США опекали Дювалье»

Интервью собственному корреспонденту «Известий» в Париже Ю. Коваленко; опубликовано в газете «Известия» 19 февраля 1986 г.

«Быть очевидцем событий»

Интервью корреспонденту газеты «Советская культура» Б. Юнанову, опубликовано 20 сентября 1986 г. под заголовком «Я приветствую мораторий».

Заявление М. С. Горбачева о продлении моратория... — сделано Генеральным секретарем ЦК КПСС 15 июля 1986 г. по истечении срока шестимесячного моратория на все ядерные взрывы, объявленные в СССР 15 января 1986 г.

Интервью, которое вел С. Бэлза, опубликовано в «Литературной газете» 3 июня 1987 г.

С.383.

«Знакомство с генералом» (1982) — публицистическая книга Грина, рассказывающая об истории его знакомства и дружбы с президентом Панамы генералом Омаром Торрихосом, погибшим в 1981 г. при загадочных обстоятельствах. Русский перевод вышел в свет в издательстве «Прогресс» в 1988 г.

Пеги, Шарль (1873–1914) — французский поэт, эссеист, журналист, в чьем творчестве проявились христианско — социалистические идеи. Погиб на фронте.

С.388.

«Я обвиняю» (1981) — политический памфлет Грина о преступлениях французской мафии. Русский перевод опубликован в журнале «Иностранная литература» (1983, № 7).

«Доктор Фишер» — имеется в виду роман Грина «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1980). Русский перевод опубликован в журнале «Иностранная литература» (1982, № 6).

О. Алякринский

Святослав Бэлза 5 В поисках «сути дела»

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

23 Пер. А. Бураковской

ЧАСТЬ ЖИЗНИ 31 Пер. А. Бураковской

ДОРОГИ БЕЗЗАКОНИЯ Пер. Т. Казавчинской 89 и А. Ливерганта

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ КАРТЫ

Пер. Е. Голышевой 167 иБ. Изакова

В ПОИСКАХ ГЕРОЯ Два африканских дневника. 241

Пер. Д. Сильвестрова

301 ЭССЕ И ИНТЕРВЬЮ

Мир Генри Джеймса.

303 Пер. В. Задорновой

Два друга.

317 Пер. В. Задорновой

Гранитная основа таланта.

320 Пер. В. Задорновой

Фиддинг и Стерн.

323 Пер. И. Гюббенет

Франсуа Мориак.

332 Пер. И. Гюббенет

Бремя детства.

337 Пер. И. Гюббенет

«Болят суставы, головные боли». 340

Пер. В. Задорновой

Смутно — сладенькая страна.

345 Пер. И. Гюббенет

«Черная комната».

352 Пер. О. Алякринского

«Лнна Каренина».

354 Пер. О. Алякринского

«Сон в летнюю ночь».

355 Пер. О. Алякринского

«Новые времена».

357 Пер. О. Алякринского

«Ромео и Джульетта».

360 Пер. О. Алякринского

«Мы из Кронштадта».

362 Пер. О. Алякринского

«Копи царя Соломона».

364 Пер. О. Алякринского

«Сын Монголии».

365 Пер. О. Алякринского

«Грозовой перевал».

366 Пер. О. Алякринского

«Собака Баскервилей».

367 Пер. О. Алякринского

Писатели как они есть.

369 Пер. Т. Чугуновой

375 «Надеюсь на лучшее»

«США опекали Дювалье».

377 Подг. Ю. Коваленко

«Быть очевидцем событий».

380 Подг. Б. Юнанов

«Легче судить о других...».

383 Подг. С. Бэлза

Комментарии.

390

О. Алякринский

Литературно — художественное издание Мой 20 век

Грэм Грин Путешествие без карты

РЕДАКТОР А. Г. Николаевская МЛ. РЕДАКТОР Д. В. Савиновых ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР С. А. Виноградова ТЕХНОЛОГ С. С. Басипова ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ
ВЕРСТКИ Ю. С. Симонова ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ ОБЛОЖКИ И БЛОКА
ИЛЛЮСТРАЦИЙ Е. В. Мелентьева КОРРЕКТОРЫ Т. П. Поленова, Н. В. Семенова

Подписано в печать 17.08.2007 Формат 60x90/16 Тираж 3 000 экз.

Заказ № 6035

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1.

Отдел реализации издательства: (495)510–56–09, 510–56–10

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Примечания

1

Перевод Р. Дубровкина.

2

Перевод Р. Дубровкина.

3

Возможно, у меня здесь вполне объяснимый провал в памяти, потому что Раймонд писал мне много лет спустя: «Ты и вправду видел, как тот человек перерезал себе горло, стоя у окна на втором этаже, хотя няня могла закрыть тебе глаза. Но то, что он покончил с собой, я знаю точно». —

Прим. автора.

4

Усадьбе (португ.).

5

Наверное, это произошло во время рождественских каникул 1897–1898 гг., когда уехал друг Уайльда Бози и писатель жаловался на «нездоровье, одиночество и общую *ennui* [тоску] от трагикомедии существования». —

Прим. автора.

6

Я уверен, что поступил правильно. Вот как описывает этот день мой десятилетний брат Раймонд: «Мы встали в четверть пятого утра, позавтракали и двинулись в путь. Возле Юстона мы наняли экипаж, но он застрял в толпе у Трафальгарской площади. Кое-как мы добрались до Адмиралтейства, где прождали еще два часа. Потом показалась процессия: сначала солдаты, затем кареты с гербами, в которых сидели герцоги в горностаевых мантиях и венцах. За ними снова солдаты и кареты с гербами и наконец — карета короля, а в ней король. Потом опять солдаты и проч. После обеда все началось снова, и в тот момент, когда на голову короля возложили корону, на улицах зажглись фонари, выстрелила сорок одна пушка, а потом мы ужасно усталые вернулись домой». О, эта детская усталость, которую испытываешь только в детстве и в старости! — Прим. автора

7

С годами я не стал бояться летучих мышей меньше. В Ангкор — Вате мне понадобилось все мое самообладание, чтобы пройти мимо раненой летучей мыши, бившейся на полу в коридоре, а наверху под сводами башен, похожих на ананасы, маленькие, ловкие люди, скользя по веревкам, собирали помет этих тварей. В те дни вокруг Ангкора было полно вьетминовских засад, но этой раненой летучей мыши я бы предпочел засаду. — Прим. автора.

8

Памяти свойственны преувеличения, но лет двенадцать назад, задумав написать роман о школе, я побывал там снова и увидел, что ничего не изменилось. Я бросил роман, потому что не мог заставить себя прожить там несколько лет даже мысленно, предпочел школе колонию для прокаженных и отправился в Конго, чтобы узнать там цену потери. —

Прим. автора.

9

Перевод Р. Дубровкина.

10

Прерванного сношения (лат.).

11

Партизаны

(фр.).

12

Дикарем, нелюдимом

(фр.).

13

Перевод Р. Дубровкина.

14

Изольды Желанной (фр.).

15

Любовью с первого взгляда (фр.).

16

Мы редко задумываемся над тем, какой короткой была литературная жизнь Стивенсона. Он начал (и бросил) писать первый роман, когда ему было 25 лет, а в 44 года он умер. — Прим. автора.

17

Курильню (фр.).

18

«Кто вечная мученица?» (исп.)

19

Перевод И.Кутика.

20

Невежа (исп.).

21

Перевод И. Гуровой.

22

Перевод И. Кутика.

23

В тени (исп.).

24

«Моли Бога о нас» (лат.). — Из Литании Богородице.

25

Нет, сеньор. Да, сеньор (исп.).

26

Я уважаю все живые существа (исп.).

27

Пита, или м а г е й , — разновидность агавы.

28

Пита, или магей, — разновидность агавы.

29

О новом положении (лат.).

30

Перевод Г. Симановича.

31

«Жизнь Иисуса»

(фр.).

32

Красивый город — калька с испанского Villahermosa (Вилья — Эрмоса).

33

Здесь: живое выражение (фр.).

34

Покой (исп.).

35

Перевод Е. Калашниковой.

36

Перевод И. Гуровой.

37

Теперь Гвинейская Республика

38

Политический клуб в Нью — Йорке, связанный с местной организацией Демократической партии.

39

Район увеселительных заведений в Лондоне.

40

Улицы в Лондоне.

41

Здесь все — гармония и красота, И чувств, и мыслей полнота. (Перевод Б. Слуцкого.)

42

Порт и административный центр британской колонии Гамбия.

43

Столица Гвинеи.

44

Крупнейшая английская монополия, эксплуатирующая богатства Африки.

45

Шесть лет спустя, когда случайности войны снова привели меня во Фритаун, я нашел Ламина и спросил его об Амеду. Он громко рассмеялся. «Старый повар, — сказал он, — старый повар в порядке, но Амеду... он уже под землей». — Прим. автора. (1946)

46

В 1 шиллинге — 12 пенсов.

47

Колониальные державы затеяли в Лиге Наций «расследование» условий принудительного труда. «Комиссия по расследованию» сосредоточила свой огонь на Либерии: это был маневр колонизаторов, рассчитанный на то, чтобы отвлечь внимание от гнета в колониях империалистических держав. — Прим. автора.

48

Известная негритянская эстрадная певица и танцовщица.

49

Теперь, в 1946 году, доктор Харли уж отработал больше 20 лет в Ганте. — Прим. автора.

50

Остров в Гвинейском заливе. Входит административно в состав Испанской Гвинеи.

51

Освежающий напиток.

52

Племя ваи гордится тем, что из всех африканских народов у него одного есть письменность, но баса ему подражают, и я нашел листок с записью, воткнутый в крышу моей хижины, по — видимому, в качестве талисмана. — Прим. автора.

53

Аристократическое учебное заведение в Англии.

54

Две недели назад в Леопольдвиле бушевали беспорядки, и журналисты никак не хотели верить, что мой приезд — намеченный давным — давно — не связан с ними. — Прим. автора.

55

Стыдливы (фр.).

56

По африканским понятиям, это кажется чересчур утонченным. На самом же деле мой спутник просто боялся, что нас забросают камнями. — Прим. автора.

57

Как позднее объяснил мне доктор Леша, многие больные были незаразны, да и данные о вероятности заражения при открытых формах до сих пор спорны. Опасность заражения сильно преувеличена. — Прим. автора.

58

В 10 часов утра в слепящем зное радушный епископ настаивал, чтобы я выпил чистого виски. — Прим. автора.

59

Экономный романист слегка сродни бережливой хозяйке, которая не выбрасывает ничего, что может сгодиться. Или скорей повару — китайцу, что пускает в дело чуть ли не все части утки. Эта история, вложенная в уста доктора Колена, помогла мне заполнить паузу в «Ценой потери». — Прим. автора.

60

Этой идеей я не воспользовался. — Прим. автора.

61

Позднее я узнал, что это не трава, а водяные гиацинты. — Прим. автора

62

Речь идет о докторе Мёллер — Кристенсене. По рассказам о нем в Ионде он казался мне легендарным; позднее он был так добр, что прислал мне свою книгу «Костные изменения при проказе». — Прим. автора.

63

Таможню (фр.).

Не знаю, почему Х., который затем стал Керри, утратил половину своей английской национальности. — Прим. автора.

Я — не автор католических романов, но писатель, который для четырех — пяти своих книг избрал персонажей, разделяющих идеи католицизма. Тем не менее в течение ряда лет — особенно после появления романа «Суть дела» — ко мне постоянно обращаются люди за помощью в решении своих духовных проблем, помощью, оказать которую я совершенно не в состоянии. Среди них было даже несколько священников. То раздражение, которое у меня вызвал этот бедняга — учитель, мне остается приписать только жаре, а также тому, что я стал понемногу ощущать себя в шкуре Керри, человека, которого уже загнали в угол. — Прим. автора.

Прививку (фр.)

Некультивируемые земли, покрытые зарослями дикой растительности.

Они прожили почти двадцать пять лет в Конго, и почти все время в глухих районах, поначалу без лодки и без почты. Они разъезжали по лесам двадцать дней в месяц (это была их обязанность), а остальные десять дней отдыхали в крохотных миссиях, вроде тех, что описываю я. Они учили конголезцев выращивать маниоку и рис, руководили строительством амбулаторий, инспектировали местные суды. Все это жена губернатора описала в своих рассказах, которые были опубликованы за ее же счет, — не первый раз убеждаюсь, как безразлична Бельгия к своим колониям. Это всего лишь один из драматических примеров ее расточительного отношения к скромным, героическим судьбам. — Прим. автора.

«Прекрасное сегодня» (фр.).

70

Уборную (фр.).

71

В 1942 году я жил в окрестностях Фритауна в доме на болоте, которое туземцы использовали как уборную, чем плодили бесчисленных мух. (Однажды, закрыв окна своей комнаты, я за две минуты убил полтораста штук.) Я направил министру колонии требование построить для туземцев уборную, на что он ответил мне, что подобное требование должно пройти соответствующие инстанции, но так как в данном случае никаких инстанций не было, мне пришлось напомнить ему о замечании на этот счет мистера Черчилля. Я получил свою уборную и мог пометить в официальных документах, что после Китса «начертано водой» и мое имя. — Прим. автора.

72

1 Туземцев (фр.).

73

Молодежь (фр.).

74

«Вы что, немой?» (фр.).

75

1 Чиновника (фр.).

76

Во время ежедневной мессы буфет служил алтарем. — Прим. автора..

77

1 Крупная торговая компания, ведавшая судами, которые возили и пассажиров по реке Конго и ее притокам. — Прим. автора.

78

От англ. burnt out — перегореть. Бельгийские врачи пользуются этим английским выражением за отсутствием французского эквивалента, поэтому для моего романа, вышедшего на французском, пришлось придумывать другое название.

79

Волоклюи (фр.).

80

В Европе я не раз подмечал, что излюбленный напиток духовенства — виски, но здесь на борту капитан пил только пиво, отец Анри выпивал не больше рюмки перед обедом, остальное доставалось мне. А содовая пригодилась для чистки зубов — вода из Конго была цвета глины. — Прим. автора

81

Рад сообщить, что перелом у епископа сросся. Истинный денди тихих колониальных времен принял свой сан в беспокойные дни. Он оставался на своем посту, пользовался доверием конголезцев, выстоял во всех бедах и оказывал помощь белым, оставшимся в Экваториальной Африке. Как часто судьбы отдельных священников порождают историю церкви! — Прим. автора.

Эти замыслы были оставлены или полностью изменились. — Прим. автора.

Это мне напомнило деревушку на реке Меконг в Лаосе недалеко от Луан- Прабана, возле которой заглох мотор моей лодки. Это было во время войны в Индокитае, и мы пытались добраться до особо почитаемого буддистского храма и вознести там свои молитвы о поражении наступавшей армии Вьетминя. Я с самой живой радостью вспоминаю нашу трапезу на полу того домика на сваях и его стены, увешанные фотографиями коронации королевы Елизаветы из «Пари Матч», при том что наш хозяин, крестьянин, ни слова не знал по — французски. Я не прошу извинить меня за подобные отступления. Воспоминания — это форма сравнения: мы вспоминаем и говорим: «Это похоже». — Прим. автора.

Я спросил отца Жоржа, а не мог бы я купить ее как жену на время путешествия, но он объяснил, что вряд ли она того стоит. Все дети принадлежат матери, и перед родами она должна будет вернуться в семью. И если бы я захотел получить ее вновь, мне пришлось бы снова заплатить за нее брачную цену. — Прим. автора.

При семинарии кроличья ферма. Отец Анри, не лишенный некоторой жестокости, прозвал одну крольчиху Брижит Бардо. — Прим. автора.

В действительности же я отказался от начала с «доктором», который растерял свою раздражительность так же, как и свои сигары. — Прим. автора.

Еще один оставленный замысел. — Прим. автора.

88

Пожалуй, необходимое название найдено. — Прим. автора

89

По мере того как роман понемногу проникал в мое сознание, доктор отказался играть роль ревнивца. Вскоре он потерял свою жену, так же как и свои сигары, которые вернулись к законному владельцу, отцу — настоятелю. В конце концов ревнивым супругом стал один из колонистов. — Прим. автора.

90

Ничего общего между моим умным симпатичным хозяином и молчаливым Рикером, но на фабрике у Рикера тоже «сквозь оконную сетку доносился запах прогорклого маргарина». — Прим. автора.

91

Еще одно отвергнутое начало. Начало книги таит для романиста больше опасностей, чем конец. Прожив с романом год — другой, автор как бы действует бессознательно — так что конец уже задан. Но если начать книгу неверно, ее можно и не кончить. Я помню, как бросил по крайней мере три романа, и по меньшей мере один из них из-за неправильного начала. Так человек раздумывает, чем нырнуть в воду, — в эту минуту решается его участь: выплывет он или утонет — Прим. автора.

92

Санитаром (фр.)

93

1 Я вспоминал леса вокруг Имбонги, когда описывал, как Керри искал Део — Граттаса. — Прим. автора.

94

Колонист (фр.).

95

Полицейские романы {фр.}.

96

Хандра (фр.).

97

3 Девы (фр.).

98

«Социальная помощь» (фр.). Насколько я понимаю, что-то вроде светского ордена с обетом целомудрия, но без других постоянных обетов.

99

Мой скептик доктор, видимо, добавит: «Если только у африканцев можно поднять настроение с помощью цветов». Но для белых в этой гнетущей атмосфере ценна любая психологическая поддержка. — Прим. автора.

100

Не считая пробной игры, когда я показал им правила, я проиграл на корабле отцу Жоржу и отцу Анри все партии, а мы играли не меньше четырех партий в день. Я научился этой игре в

Сайгоне или в Ханое у офицеров службы безопасности, которые меня охраняли, и, видно, поэтому они позволили мне выиграть у них разок — другой. — Прим. автора.

101

Мучительное, но столь существенное начало почти родилось. Вот оно: «Пассажир пишет в дневник, перефразируя Декарта: “Я испытываю неприятные ощущения, следовательно, я существую”, и откладывает перо, потому что больше написать ему нечего». — Прим. автора.

102

«...Эти идиоты, эти всюду сующиеся идиоты...» — чуть ли не единственная фраза, удержавшаяся на последней странице моего романа.

103

«...Эти идиоты, эти всюду сующиеся идиоты...» — чуть ли не единственная фраза, удержавшаяся на последней странице моего романа

104

Не знаю, почему Х. так неожиданно стал С. Если уж не давать героям фамилий и таким образом избежать указания на их национальность, «С» кажется мне единственно приемлемой буквой — «Д» я уже использовал в «Тайном агенте». Почему я отверг остальные двадцать две буквы, совершенно непонятно: «С» обладает для меня нужными качествами. — Прим. автора.

105

Интерес к снам, и не только моим, но моих героев, возможно, вызван тем, что в шестнадцать лет меня водили к психоаналитику. Сон Керри в «Ценой потери» об утрате священного сана и поисках церковного вина — точная копия моего собственного сна, который мне приснился в то время, когда я писал роман, — в самую нужную минуту. И наутро я сразу же вписал его. Мой роман «Это поле боя» зародился во сне. — Прим. автора.

106

1 Это потому, что больница в Коке принимает только незаразных туберкулезных больных. Всех заразных отсылают в Йонду. — Прим. автора.

107

2 Старшей сестрой (фр.).

108

Медаль Св. Георгия (англ.)

109

«Маленький циклон» (фр.). Больничный врач, вообразивший, будто меня страшно интересуют его пустые палаты, обращался с этой женщиной как с обычной подчиненной — посылал ее за чаем, не давал присоединиться к нашей беседе. Я попросил Д., когда мы вернемся домой, пригласить ее в Йонду. — 1 Прим. автора.

110

Мне приятна была его похвала — всегда приятна похвала профессионала, на этот раз особенно из-за нападок на этот персонаж Джорджа Оруэлла (ему приходилось иметь дело с полицейскими в Бирме): он считал Скоби слишком гуманным для комиссара колониальной полиции. Но я был очень тесно связан по работе со старым комиссаром во Фритауне и видел, как он любил африканцев и глубоко им сочувствовал. Его гуманность выражалась в причудливой форме: всякий раз после казни через повешение, на которой он обязан был присутствовать, он две недели не мог есть мяса (это испортило ему Рождество 1942 года). — Прим. автора.

111

Мисс де Йонг, тогда ей было чуть больше двадцати, ворвалась в Британское консульство в Сан-Себастьяне, сразу же после падения Франции, вместе с двумя штатскими, гражданами одной из стран-союзниц, которых она сопровождала напрямиком из Брюсселя, и попросила консула снабдить ее деньгами для устройства маршрута побегов. Подозревая подвох со стороны немцев, консул ответил, что его интересуют только военнотружущие союзников.

Спустя несколько месяцев она вернулась с двумя летчиками, которых сбили над Бельгией. Она заручилась помощью контрабандиста в Пиренеях, но перед последним переходом границы он слег от гриппа, и пока она с тремя летчиками (двумя американцами и одним британцем) скрывалась на ферме, дожидаясь, когда он поправится, их выследила вишистская полиция. Спасением своей жизни она обязана тому, что была передана германской военно-воздушной полиции под вымышленным именем, и там так и не узнали в ней ту самую знаменитую де Йонг, за которой охотилось гестапо. В результате предательства американцев весь маршрут побегов был провален, несколько человек были казнены (включая ее отца) и более сотни отправлены в концлагеря. — Прим. автора.

112

Немецкий патруль всегда можно было услышать издалека по стуку сапог. — Прим. автора.

113

Тыкать (фр.).

114

Небольшая книжка, которую мне заказали для серии «Британия в иллюстрациях», давно уже вышла. — Прим. автора.

115

Пристанище (фр.).

116

Спустя годы этот случай попал в мою вторую пьесу «Навес для посуды».

117

Правда, мне показалось, что он с ненужным любопытством осведомился о конвое. — Прим. автора.

118

Крепкий ирландский портер.

119

Я точно помню, как У. рассказал нам об этом, но по утверждению Лейона Идела, Джеймс не присутствовал на премьере, а появился за кулисами лишь после того, как упал занавес. — Прим. автора.

120

Не штормовое ли море и пронизывающие холодом вахты вынудили меня так резко отозваться о Конгриве? «У бедного, презираемого Крауна в “Сельском острослове” не менее прекрасные сцены, у Шедуэлла больше живости, а Уичерли гораздо более театрален, — Конгрив же, словно угодливый школьник, захватил все награды». — Прим. автора

121

До чего же этим португальским лайнерам предстояло портить мне жизнь — и жизнь Скоби — во Фритауне: бесконечные поиски коммерческих алмазов или же почты. Никаких алмазов никто никогда не находил, почта же каждый раз оказывалась вполне безобидной. Одно происшествие ненадолго нас взбудоражило: министр колоний вынужден был просить флот перехватить лайнер, который уже благополучно миновал заградительные боны и приближался к границе трехмильной зоны, из-за того что на борту его находился некто заподозренный в шпионаже. Тот самый случай, когда в записной книжке этого подозрительного пассажира оказалось имя моего друга, французской переводчицы Денизы Клеруэн. (В дальнейшем ей предстояло быть арестованной в качестве британского агента и умереть в немецком концлагере.) — Прим. автора.

122

Восточная страсть (фр.).

123

Рыхлая коричневатая глина, распространенная в тропиках.

124

Перевод А. В. Кривцовой.

125

2 Перевод Н. Шерешевской.

126

Здесь: как таковому (лат.).

127

Здесь: литературном фокусе
(фр.).

128

Если бы старость могла... (фр.)

129

Перевод И. Кутика.

130

Перевод И. Кутика.

131

Перевод. А. Сергеева.

132

Здесь: смутно — сладкий (англ.).

133

Подземелье

(фр.).

134

Перевод А. Казарновского.

135

Перевод А. Казарновского.

136

Вышла в переводе Жака Папи под названием «Тяжесть на сердце» в «Клуб франсэ дю Ливр». — Прим. перев.